

International Literary Magazine

KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

П А Р И Ж

#65

KRESCHATIK
International Literary Magazine



В издательстве «Алетейя»
вышли в свет книги:



Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор

Борис Марковский (Германия)

тел. (+49) 5631-50-31-42

Зам. гл. редактора

Елена Мордовина (Киев)

тел. (+38) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

Андрей Коровин (Москва),

Виталий Амурский (Париж),

Борис Херсонский (Одесса),

Игорь Савкин (Санкт-Петербург),

Борис Констриктор (Санкт-Петербург),

Владимир Алейников (Коктебель),

Вальдемар Вебер (Аугсбург),

Сергей Шаталов (Донецк),

Айдар Хусаинов (Уфа)

Художник

Иван Граве (Санкт-Петербург)

Год издания шестнадцатый

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markowskij, Tränke Str. 16

34497 Korbach, Deutschland

e-mail: borismark30@T-Online.de

www.kreschatik.nm.ru

http://magazines.russ.ru/

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»

192171, Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 53.

Журнал выходит 4 раза в год

ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2014 г.

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Петр Брандт / <i>СПб.</i> /	В магазине «Старой книги»	5
Евгений Каминский / <i>СПб.</i> /	Брейгель	20
Сергей Шилкин / <i>Салават</i> /	Борису Рыжему	35
Валерий Топорков / <i>Москва</i> /	В июне начинался листопад	45
Дмитрий Ратников / <i>Смоленск</i> /	Античное 2.0	65
Сергей Попов / <i>Воронеж</i> /	Моря и берега	73
Сергей Слепухин / <i>Екатеринбург</i> /	«Покупал резину зимнюю...»	102
Владимир Алейников / <i>Москва</i> /	Из цикла «Над киевскими снегами»	149
Пётр Чейгин / <i>СПб.</i> /	«И море не моё, и камень сух...»	160
Рафаэль Шустерович / <i>Ришон ле-Цион</i> /	Триумф флоры	170
В гостях у «Крещатика»	Русские поэты Франции	
Александр Радашкевич	Сибирские верлибры	116
Светлана Кочергина	Тишина	175
	Лауреаты поэтического конкурса «10 стихотворений месяца» газеты «Истоки»	
Сергей Ивкин	«Юношей жаждал...»	87
Мариян Шейхова	Восхождение	88
Андрей Торопов	«Скажи слово "Моцарт"...»	89
Анастасия Лиене	Приеднице	90
Виталий Тараканов	«Деревья в февральское небо...»	91
Александр Петрушкин	Сергею Ивкину	92
Светлана Чернышова	Китайский бог	93

Проза

Михаил Окунь / <i>Аален</i> /	Второе высшее	11
Борис Ванталов / <i>СПб.</i> /	Письма в никуда	24
Сергей Соловьев / <i>Москва</i> /	Два монолога самоубийц	40
Наталья Леванина / <i>Саратов</i> /	Вне очереди. <i>Рассказ</i>	50
Анастасия Филимонова / <i>Берлин</i> /	Чугуниха. <i>Рассказ</i>	69
Люся Цветкова / <i>Москва</i> /	Как выходила замуж во Францию Алла Щетинникова. <i>Рассказ</i>	80

В гостях
у «Крещатика»

Николай Боков
Владимир Загребя
Леся Тышковская
Марк Казарновский
Татьяна Масс

Русские прозаики Франции

Мой последний Марбург. *Рассказ* 95
Дама в голубом. *Рассказ* 105
Прогулки со словарем 153
Шесть соток Ивана. *Рассказ* 165
Франсуа совсем не похож на Иакова 172

Переводы

Марк Пети / *Париж* /
Перев. с франц. Е. Трынкиной
Из французской поэзии XIX в.
Перев. Веры Орловской

Третий Фауст. *Роман (фрагмент)* 126
Пробуждение в карете 190

In memoriam

Ирина Одоевцева / *1895–1990* /
Елена Рубисова / *1897–1980* /

На берегах Леты 195
Из книг «Дуэль», «Огни на дорогах» 211

Контексты: эссеистика, критика, библиография

Борис Хазанов / *Мюнхен* /
Борис Левит-Броун / *Верона* /
Евгений Кержнер / *Регенсбург* /
Евгений Замятин / *Москва* /
Борис Марковский / *Корбах* /
Юлиана Данилова / *Москва* /
Ирина Чайковская / *Бостон* /

Троица, или Время 178
Убийственный город 217
Внутренний пожар 230
О мгновенности бытия 290
Черное солнце Мандельштама 292
«Личная правда» Ю. Холодова 350
Время поэзии и правды 354

В гостях
у «Крещатика»

Ирина Емельянова
Елена Менегальдо
Ара Мусаян
Камиль Чалаев
Екатерина Лободенко
Виталий Амурский,
Кристина Зейтунян-Белоус
Галина Белова,
Наталья Энке-Круглая

Русские писатели Франции

Вечерние записки 262
Сердце и долг 277
По-разному о разном 283
Похвала праву на движение 309
МАД, Линский и другие 317
«Иллюстрации, стихи и перевод —
это части одного целого...» 329
Уехать, чтобы сохранить в себе
человека 336

Латинский квартал

Василий Чернявский / *Киев* /
Михаил Наумов / *Берлин* /

Цыганская игла 359
«Ведь дважды два всегда четыре?...» 363



Пётр БРАНДТ

/ Санкт-Петербург /

В МАГАЗИНЕ «СТАРОЙ КНИГИ»

Лучи полуденного солнца
 сквозь задымленное оконце
 и полувыцветший витраж
 полуподвала осветили
 в уютном, старомодном стиле
 в углу устроенный стеллаж.
 Здесь среди гербариев и схем
 есть звездный купол мироздания.
 Полузабытые издания,
 давно не чтимые никем
 потухшим золотом горят.
 Здесь же ютятся дружно в ряд
 Времен прошедших анекдоты,
 Сэр Конан Дойл и Томас Мур,
 старинных грамот и гравюр
 малиновые переплеты,
 Рембрандта, Дюрера, Доре
 собрание оттисков в картонах,
 парижский русский Похитонов —
 квартал Монмартр и Маре,
 анонсы церемоний брачных,
 фотопортреты важных лиц,
 эмблемы старых фирм табачных
 и кипы строгих и прозрачных
 математических таблиц.
 Кто был до нас, кто нам вослед
 пройдет в борении упорном
 звеном цепи нерукотворным
 сквозь искусства грядущих лет?
 При всех грехах мы все же часть

неоскверненного пространства
бессрочности и постоянства,
не угодившего во власть
природы, зыбкой и неверной,
изменчивой и лицемерной,
не оставляющих следов
людских воззрений и судов.
Мы капля водного потока,
что от далекого истока
неведомо куда рекой
влеком неведомо откуда.
Мы образ явленного чуда
судьбы, неведомо какой.
Мы буква записи ученой.
Мы камень улицы, мощенной
нечеловеческой рукой.

2012 г.

БЛОШИНЫЙ РЫНОК

Мелькают футболки цветными флажками,
где жмутся друг к дружке лотки с пирожками,
где старый тряпичник, сопя и ворча,
торгует обновкой с чужого плеча.

Былой красоты дорогие осколки
ютятся в углу городской барахолки,
и тлеет соблазном в зрачках продавщиц
таинственный блеск старомодных вещей.

Мерцает в собрании скупочной лавки
граненый рубин антикварной булавки,
и гордо маячит над пыльным столбом
игрушечный пупс с целлулоидным лбом.

В таверне, где бродят бокалы пивные,
плывут под стеклом осетры заливные,
совет от дыма, вина и жратвы
лихая компания местной братвы.

Любуясь собой, петербургская дива
плывет в полудреме, хмельна и блудлива,
и скорбно глядит на базарный кабак
голодная свора бродячих собак.

2013 г.

* * *

Знакомая улочка — центр квартала,
убогий пейзаж — проходные дворы,
как ретро-музей кирпича и металла,
зачем-то оставленный здесь до поры.

Приезжий таджик — гастарбайтер Джафарка,
вдыхает, что дом затравили клопы.
Бутылка (на сленге — «пузырь») и сигарка —
набор приבלатненной, хмельной шантрапы

мы видим на старой, разбитой лавчонке.
Старик-книгочей протирает очки.
Скукожившись жмутся подростки-девчонки,
хихикая дружно себе в кулачки.

Бранит богомолка соседа-пьянчужку.
Тяжелую дверь отодвинув плечом,
протиснувшись тихо в пустую лачужку,
она с самопальным спешит куличом.

Старушка, пристроив слепого котенка,
блюдет сиротинку и ночью, и днем.
От красных салфеток ее комнатенка
сверкает воскресным, пасхальным огнем.

Да, это в эпоху измен и распада —
всего лишь мираж, ностальгия, но ты
не рушь этот призрак надежды... Не надо!
Пусть он помаячит среди пустоты.

2012 г.

СТАМБУЛ

Город грозных твердынь на развалинах братских,
Православных вериг и мечей шариатских,
Где с лихвой подсластили его берега
Разносортный арахис, лукум и нуга.

Где морской аскетизм состязался с пиратством,
Деловой практицизм — с неумным богатством,
Где сияет огонь византийских идей
В помраченных умах суверенных людей.

Где царит простота у подъездов парадных
Средь террас мандариновых и виноградных,
У притонов поэтов, бродяг, мудрецов,
Возле стен минаретов и царских дворцов.

Раскаленная почва вздыхает и жаждет.
Под лучами светила сгорает и страждет,
Как истлевший пергамент прошедших веков,
Изможденная кожа сухих стариков.

Беспощадное солнце, смешавшись с эмалью
Охлажденных тазов с серебристой кефалью,
Отразилось в зрачках городской гольтьбы
Ускользнувшем лучом обманувшей судьбы.

Наконец, обратясь в многоцветные блики
Драгоценных лампад, где горят сердолики
У богатых витрин и торговых лотков,
Утонуло впотьмах городских закутков.

Не в пример прожигаящим жизнь вхолостую,
Мы с тобою отыщем кофейню пустую,
И взлелеяв в себе благородную лень,
Проведем в созерцанье отпущенный день.

Здесь, в тенечке, вдали от житейского гула,
Приобщившись к легендам и тайнам Стамбула,
Мы в себе разглядим двуединый исток —
Все взыскующий Запад, все нашедший Восток.

2013 г.

В ТЕНИ КОМАРА

(На тему Владимира Шали)

Встретив тьмой преступлений и смертных грехов
Утро нового века под крик петухов,
Дом мой тонет в зловоньях, истертый до дыр,
Став притоном прохвостов, воров и проныр.

Средь миллионных афер маклаков и менял
Я все бросил, все отдал и все потерял.
Но теперь, когда мир истребляет жара,
Я один оказался в тени комара.

Я иду, как по чьей-то чужой стороне,
По какой-то натянутой тонкой струне,
И от бешеных стрел неземного огня
Эта тень бережет и спасает меня.

Так, лишившись всего в непредвиденный день
И взамен получив эту легкую тень,
Среди пропастей мира и адских огней
Я танцую, упившись свободой своей.

Я лечу, я свободен от уз и оков
Лабиринта бессмысленных, злых тупиков!
Я лечу... Так летят от чужого двора
За трепещущим в небе крылом комара.

2012 г.

* * *

О, влюблённый! Тобою разбуженный мрак,
окружив тебя грозным презреньем,
ненавидит тебя. Каждый угол — твой враг,
каждый дворник глядит с подозреньем.

Ты, влюблённый, похоже, невзрачен на вид
и исполнен священной боязни.
Каждый встречный тебя зацепить нарочит
и предать осуждению и казни.

И какие-то духи, что ревностно бдят
во дворах, что угрюмы и гулки,
за тобой напряжённо и злобно следят
сквозь проёмы дверей и проулки.

Этот мир, что себе же погибель растит,
твоего откровенья тебе не простит.

* * *

Если ты Христа так любишь,
если я Его люблю,
значит мы родные люди,
Пасху раздели мою!
инок Всеволод (Филиппев)
«Брату пустыннонику».

Если в городе сумрачном, злом и нарядном
ты свой страждущий ум воздеваешь горе
и в душе считаешь жильем презрядным
неприметный чуланчик в пустынном дворе.

Если узы, глубокая скорбь и разлука
для тебя — лишь предлог избежать суеты,
и все то, что другим предназначено в муку,
с благодарным усердьем приветствуешь ты.

Если, следуя в жизни законам влюбленных,
ты и голод, и жажду считаешь постом
и встречаешь с восторгом в очах воспаленных
одинокую старость в подъезде пустом.

Если, вдруг, неприветливы и строгí,
оценив заслуги твои,
от тебя с уваженьем отступят враги,
но ударят в спину свои...

Что ж, заварим наш чай у меня в комнатушке,
всего лучше, в простой алюминиевой кружке
и восславим же прок от сего пития,
с наслажденьем вкушая настой бытия.

2013 г.



Михаил ОКУНЬ

/ Аален /

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ

Второе высшее

На рейсе Петербург—Берлин оказался в компании людей, летевших на некую выставку в столицу Германии. ими был заполнен почти весь самолет. Все они знали друг друга, называли себя питерскими, хотя речь их была типичным «говором». Кроме того, в группе «питерских» летело несколько важных азербайджанцев или дагестанцев (звучали имена Мамед, Али) — в длинных черных пальто, белых рубашках и остроносых «штиблетах», — такой гардероб, вероятно, считается признаком преуспевающего бизнесмена.

Стюардессы сбились с ног, пригоршнями таская двадцатиграммовые бутылочки «Абсолюта». Мужчины предпочитали пить стоя в проходе. Сливая по несколько пузырьков в пластиковый стакан.

Девицы были громогласными, довольными собой, однако внешне весьма ординарными. Фигуры ни кривые, ни ровные — в общем, усреднённые. Громко переключались через весь салон:

- Светка, давно тебя не видела! Ты где сейчас?
- В Голландии второе высшее делаю!
- Сколько в год максаеть?

Я пригляделся к той, которая делает «второе высшее», и подумал: «Господи, зачем оно ей?! Приступала бы сразу к третьему...»

Люди «системы»

Рассказывают, что отставной генерал ФСБ (хотя отставными они, говорят, не бывают), назначенный руководить инспекцией по охране памятников в Петербурге, привел с собой аж пять замов. Один алкоголик, второй идиот, а третья ничего делать не в состоянии. То есть не способна ни к какой осмысленной деятельности. Генерал ей так и говорит: сидите в кабинете, ничего не делайте, и, не дай бог, ничего не подписывайте...

Один писатель рассказывал мне, что нынче литераторов в правительстве Петербурга курирует молодой человек, являющийся сыном неизвестной деятельности от юмора, возглавляющей бригаду «смешных людей» на телевидении. Он, по мнению писателя, недоумок природный. Причем настолько, что пристроить его в Москве нигде не удалось, и нашлось ему место лишь в Петербурге.

На различных встречах куратора с «писательской общественностью» участники прикалываются друг над другом: ну, задай ему любой вопрос! — хоть сколько сейчас градусов на улице. И с весёлым нетерпением ждут, когда куратор, собравшись с мыслями, начнет отвечать — напряжётся, лицо разведется в разные в стороны, и он заговорит...

Когда-то, во время оно, оргсекретарь (была такая должность) ленинградской писательской организации, дама с железной выдержкой, прошедшая школу Смольного, на мой вопрос о делах ее взрослого сына неожиданно расслабилась и сказала со вздохом: «Сделал глупость — ушел из системы. А ведь с таким трудом пристроила...»

Да, «с и с т е м а» не любит, когда ей изменяют. А в России она вечна — во все времена, при любой власти...

По морде от Довлатова

До шестнадцати лет я жил на Большой, а потом на Малой Московской улицах. Большая Московская пересекает Разъезжую, а та метров через пятьдесят впадает в знаменитый петербургский перекресток Пять углов, образуя его вместе с Загородным проспектом и улицами Рубинштейна и Ломоносова.

На Рубинштейна, в доме 23, жил до эмиграции в 1978 году Сергей Довлатов. Таким образом, одними улицами ходили.

Можно что-нибудь сочинить по этому поводу. Как сделал сам Довлатов, вспоминая о своем детстве в Уфе — мол, его, младенца, хотел ущипнуть сам Андрей Платонов, бывший там в эвакуации. Но делать этого не буду. А впрочем...

Однажды в школе, классе в шестом-седьмом, был объявлен сбор макулатуры, и в поисках ее мы обходили окрестные дворы. В каком-то дворе-колодце на Рубинштейна нас отсекали от выхода местные. Сразу стало ясно, что дело плохо, но самый здоровый из нас, Гришка Рожков, пытается сохранить хорошую мину, как ни в чем ни бывало сказал им: «Ну что, ребята, есть у вас лишняя макулатурка? Сдавайте, сдавайте...» И немедленно получил по физиономии от рослого парня кавказской внешности. Гришка не ввязался, чем сильно уронил себя в наших глазах. Хотя, по трезвому разумению, поступил он правильно, парень был значительно старше нас. Да и остальные тоже... И с напутствиями «Больше в наш двор не суйтесь!» нас развернули лицом к подворотне и проводили к выходу увесистыми поджопниками.

Несколькими годами спустя я, страдавший в юности от невысокого роста (позже вполне добрал), с жадной завистью высматривал на улице высоких людей. Подходил поближе, примеривался, намного ли я ниже.

Помню длинного, обычно расстегнутого и слегка нетрезвого человека, которого иногда встречал у Пяти углов. Я подходил к нему поближе, старался идти в ногу. Мне казалось, что это тот самый парень, когда-то смазавший по физиономии моего одноклассника Гришку.

Напомню, что рост писателя Довлатова составлял 194 см, и некоторое время он занимался боксом.

Ленинградские пельменные семидесятых годов

В самом начале семидесятых годов я работал лаборантом в техникуме морского приборостроения (ул. Чайковского, д.11), а после работы ездил на вечерние занятия в ЛЭТИ. Заезжать домой не успевал, и поест заходил в пельменную на Литейном, д.13. Сейчас там офис какого-то мелкого банка.

Пельменная эта была не простая, «стоячая», а типа кафе — посетители располагались за столиками, официантки принимали заказ. И еще там часто бывало бутылочное пиво, которого в те годы в магазинах днём с огнём не сыскать.

Пельмени были самым дешёвым блюдом. И одна официантка, рыжая (крашеная) старая карга, при заказе пельменей имела обыкновение предупредить скрипучим голосом, но с доверительной интонацией: «Пельмени магазинные!» Тем самым намекая — мол, не берите эту дрянь, закажите что-нибудь посерьезнее. Но «магазинных» тогда, как и пива, в магазинах и в помине не было, а потому всё равно заказывали в основном пельмени.

Как-то раз услышал, как один молодой человек в ответ на «пельмени магазинные» нетерпеливо сказал: «Тем не менее, Рая, несите!» И к моему удивлению, та вежливо ответила ему: «Хорошо, Иосиф Александрович!»

Напомню — чуть дальше по направлению к Невскому, на другой стороне Литейного, находится знаменитый дом Мурузи, в котором Бродский жил и откуда уехал в 1972 году в эмиграцию.

Из других пельменных помнится одна на Пионерской улице. Там неподалеку жил один мой приятель, с которым мы познакомились, когда лежали в военном госпитале на Суворовском. У него была знакомая пельменьщица (т.е. повариха, которая их варит), и она выносила нам тарелки через заднюю дверь заведения прямо в прилегающий скверик, где мы распивали портвейн.

Две пельменные были и на Петроградской стороне. Одна напротив метро, на другой стороне Кировского, под арку налево. Другая — подальше, на ул. Чапаева. Остались в памяти тогдашние цены: пельмени с уксусом (т.е. «без ничего», так как уксус стоял на столиках свободно) — 32 коп., пельмени с маслом или со сметаной — 36 коп. Многие брали двойную порцию. Иногда посетители подбивали пельменьщиц на должностное преступление — уговаривали продать пачку.

Вообще-то говоря, некоторые пельменные играли в то время не менее заметную роль, чем распиаренный нынче «Сайгон». Один знако-

мый деятель ленинградского андеграунда утверждал: кто не пивал бор-мотуху в пельменных, тот настоящим питерским поэтом считаться никак не может...

Первое и последнее...

В 1986 году Илья Олегович Фояков (1935 — 2011) «на волне перестройки» начал вести поэтическую студию в Доме писателя им. Маяковского. В нее собрали «продвинутых» молодых поэтов. Тех, кто уже, так сказать, перерос уровень лито. Имевших журнальные публикации, а то и выпустивших вожделенную первую книжку.

Свежая идея, поначалу воспринятая с энтузиазмом, быстро скисла. Народ ломанулся в студию в ожидании каких-то публикаций, выпуска сборников, хотя бы коллективных. В то время именно они были желанны и «придавали весу» молодому поэту (а отнюдь не участие в многочисленных поэтических фестивалях, как нынче, — собственно, тогда их и не было).

Но дело свелось к стандартным литошным обсуждениям, которые и так навязли на зубах, и многодумным рассуждениям Ильи Олеговича о поэзии.

Кроме того, люди собрались весьма разные, приверженные различным поэтическим линиям. И потому обсуждения часто перерастали во взаимный обмен колкостями.

Вот поэт Ш., ныне покойный, прочтя стихи о русской природе, о танковой битве у Прохоровки и немного о партии, в заключительном слове порицает «далёких от жизни» авангардистов. На что С., живущий уже много лет в США, подает реплику с места:

— Не всем же, как тебе, для народа валять!..

Вот язвительный Г. на обсуждении поэта А., ученика Кушнера, прочитавшего стихи о своей службе в армии, говорит:

— Ну зачем нам еще один Кушнер?! — теперь в солдатской шинели?

Наш «плюралистичный» руководитель, будучи сугубым традиционалистом, старался раздавать всем сестрам по серьгам, но получалось как-то натужно. И довольно скоро студия Фоякова прекратила свое существование.

Но всё это необходимое предисловие, а вот и сам рассказ.

Еду как-то раз после студии домой. Весенний вечер, стемнело. Настроение благостное (возможно, стихи мои в тот день похвалили).

Как вдруг из дворов выскакивают два человека, которые тащат под мышки третьего. Он избит, видимо, без сознания, голова свешивается, ноги волочатся по земле.

Они подсакивают к только что отошедшему от остановки автобусу — так, что водитель резко забирает влево и тормозит. Тогда эти двое деловито пристраивают свою жертву между передними и задними колёсами автобуса и требуют у водителя, чтобы он двигался дальше. То есть переехал лежащего под колёсами человека.

Судя по обрывкам фраз, это «лица кавказской национальности». Водитель, естественно, не едет. Люди в заполненном автобусе притихают, не понимая, что происходит.

После недолгих препирательств с водителем двое забирают свою жертву и волокут обратно в темноту дворов. Автобус трогается дальше. Все молчат, стараясь не смотреть друг на друга. Никто даже не делает попытки выйти, чтобы позвонить в милицию из автомата.

(Никаких мобильных, естественно, еще не было. А нынче позвонили бы? — во всяком случае, сняли бы на телефон и выставили в YouTube точно.)

Из окна уходящего автобуса я вижу, как парочка тащит жертву за руки по асфальту обратно во дворы. Перед поребриком они разгоняются и врубают человека головой в гранитный брус. Автобус тем временем набирает ход.

Что это было? Часом раньше мы рассуждали о тонкостях поэзии, и вот... Всё происходит как некое кажущееся событие, которого реально не было, потому что и быть не могло.

По прошествии почти тридцати лет мне кажется, что я увидел предупреждение из восьмидесятых. Первое и последнее...

Палиндром Геннадия Григорьева

Друзьями, даже приятелями, мы с ним никогда не были. Ну, выпивали иногда в ресторане Дома писателя, — да кто ж с кем тогда не выпивал?

Вот предыстория палиндрома. Шли девяностые годы — время, кроме всего прочего, громких разоблачений. И в газете «Петербургский литератор» опубликовали воспоминания одного эмигранта, бывшего ленинградца. В них он утверждал, что известный детский писатель и прогрессивный деятель В. — кагэбэшный стукач.

Через некоторое время в той же газете появился ответ В. Отпираться он не стал — да, было! Поймали при возвращении из зарубежной поездки с журнальчиками фривольного содержания. Пришлось согласиться сотрудничать, а то выкинули бы из литературы, лишили работы в редакции журнала. Да, отчеты о разговорах на кухонных посиделках «диссидентствующих», в круг которых был вхож, писал. Но при этом старался информировать, так сказать, «по минимуму». Никого не посадил.

Но главное — сам обличитель, бывший в той же тургруппе, ему эти журнальчики перед проходом таможни и подсунул! Мол, не возьмешь ли несколько штук? — а то у меня слишком много. А сам при этом не попался. Таким образом, он и есть подлый провокатор, работавший на КГБ и способствовавший вербовке.

Ну, кто их там разберет... Писатель В. прекрасно существует и по сию пору: тихо, этого не афишируя, живет в Германии, при этом и семинары молодых писателей в Липках ведет, и секцию детской литературы в союзе писателей возглавляет.

Вот Григорьев и отозвался на тогдашнее разоблачение палиндромом. Не знаю, существует ли он в опубликованном виде и сохранился ли вообще — мне он его прочёл вслух:

В тоске сексот В.

В последний раз видел Григорьева незадолго до его смерти. Он стоял на мостике неподалеку от метро «Чёрная речка» и со своей обычной хитровой ухмылкой продавал кучку подосиновиков.

Уловка №...

Вычитал, что некий писатель Дэвид Кэмерон провел эксперимент: взял рассказ из старого номера знаменитого «Нью-Йоркера» и предложил его под другим именем различным изданиям. Отказали все, в том числе и сам «Нью-Йоркер».

Эк удивил этот тезка британского премьера! — заметим мы. В советское время некоторые доведённые до крайности соискатели публикаций запрятавали в глубинах своих подборок, отсылаемых в журналы, малоизвестные стихи Ахматовой, Пастернака, Цветаевой. Достигавшийся результат был, понятно, равен нулю. Причем люди, сидевшие в редакциях на «самотёке», частенько оказывались малосведущими и классиков не распознавали.

Бывали, впрочем, исключения. Таковым, например, являлся петербургский критик Толя Пикач, ныне от литературы отошедший. Обнаружив подлог, он потом грустно пенял стихотворцу: «Не надо со мной так...»

Друг Бахыта

На литературном вечере выступавший прочел стихи, посвященные его другу Бахыту К. Затем он рассказал, какие важные темы они с Бахытом обсуждают по скайпу. Затем снова объявил: «А вот еще одно стихотворение, посвященное Бахыту...» И тут одна дама из публики, не выдержав, спросила: «А кто такой Бахыт? — тоже поэт?..»

В печать!

Есть на Москве очень крупные литературные деятели — что ни напишут, всё тотчас издается. Поэзия (или то, что под нею понимается) — пожалуйста, и в «толстяках», и книгами. Проза — аналогично (эх, нет уже «роман-газеты» с ее тиражами, через которую в старые годы у маститых всё пропускалось). Газетные статьи — отдельным сборником! И колонки, если автор «колумнист» (одна, кстати, из самых идиотских «калек» с английского) — туда же. Блоги в различных сетях? — а мы из них роман слепим. Что бы еще? — может, издать подарочным томом подписи к домашнему фотоальбому? Почему бы и нет...

Актуальная литература без кавычек

Астроном Клеомед о литературном стиле Эпикура:

Всю эту и подобную мерзость он заимствовал, можно думать, из лексикона публичных домов низшего разряда или собраний и сходок женщин на празднике Фесмофорий... Все его слова какие-то стёртые и пресмыкающиеся.

Цицерон о «Записках» Цезаря:

Записки, им сочиненные, заслуживают высшей похвалы: в них есть нагая простота и прелесть, свободные от пышного ораторского облачения. Он хотел только подготовить всё, что нужно для тех, кто пожелает писать историю, но угодил, пожалуй, лишь глупцам, которым хочется разукрасить его рассказ завитушками, разумные же люди после него уже не смеют взяться за перо.

Светоний об Августе:

Любителей старины и любителей манерности он одинаково осуждал за их противоположные крайности и не раз над ними издевался. В особенности он вышучивал своего друга Мецената за его, как он выражался, «напомаженные завитушки», и даже писал на него пародии; но не щадил он и Тиберия, который гонялся иной раз за старинными и обветшалыми словами. Марка Антония он прямо обзывает сумасшедшим, утверждая, будто его писаниям удивиться можно, но понять их нельзя; и потом, высмеивая его безвкусию и непостоянство в выборе слов, продолжает: «Ты и не знаешь, с кого тебе брать пример: с Анния Цимбра и Верания Флакка, чтобы писать такими словесами, какие Саллюстий Крисп повыватаскивал из Катоновых «Начал»? Или с азиатских риторов, чтобы перенести в нашу речь их потоки слов без единой мысли?»

Двадцать рублей и меховая шапка

Мама рассказывала о двух необычных случаях, произошедших сразу после войны и связанных с ее отцом, моим дедом, умершим в лагерях ГУЛАГа в 1942 году.

Однажды в дверь квартиры позвонил человек. Он сказал, что несколько лет назад, еще до войны, занял у деда двадцать рублей и теперь хочет их вернуть. Знает при этом, что Ивана Евграфовича (т.е. деда) уже нет в живых.

Он был татарин, видимо, дворник. Старые ленинградцы еще помнят, что в довоенное и первое послевоенное время почти все дворники в городе были татарами. (История практически повторяется — только тогда не было понятия «понаехавшие»).

Его пригласили в комнату. На столе в ней в тот день стоял гроб с телом Веры, сестры матери, умершей от туберкулёза совсем молодой. Но татарин отказался, поспешно отдал деньги и ушел.

Сумма по тем временам была немалой и оказалась очень кстати — предстояли похороны...

И второй случай, также начавшийся со звонка в дверь. Мужчина сказал, что был знаком с дедом, сидел с ним в одном лагере и хочет вернуть семье его меховую шапку. Но сейчас ее у него с собой нет, и он хотел бы зайти еще раз.

Бабушка гостя в дом не пригласила, расспрашивать ни о чем не стала. После ареста деда в 1940 году она жила в постоянном страхе. Даже извещение о его смерти сожгла. Никаких разговоров о лагере слышать не хотела.

Человек пообещал зайти еще раз, но больше не пришел. Возможно, никакой шапки и не было, а бывшему лагернику просто некуда было идти...

Солдат вермахта

Ему 91 год. Он из «выбитого» поколения. Его призвали в девятнадцать, в 1941-м, на русский фронт.

Пять лет он пробыл в плену в Воронеже. Работал, работал, работал... Выжил, вернулся на родину.

Уже три года он лежит почти без движения в своем доме. К нему приходят пять фрау из служб по уходу. Одна бреет, вторая подмывает, третья готовит, четвертая кормит, пятая — не знаю, что. Плюс медсестра. Он старается выполнять их просьбы и указания.

Он всё время молчит, говорить не хочет. Психически он почти здоров. Может быть, за одним маленьким исключением. Время от времени, без всякой связи с действительностью, он повторяет одну и ту же фразу по-русски: «Хлеба дай!..»

О, Русь!..

Иду утром по своему окраинному району. Из окна второго этажа «хрущобы» торчат две улыбающиеся пьяные рожи. В запое, очевидно, не первый день (а возможно, и не первую неделю). Над ними густым облаком — хриплый шансон. Хитровато переглядываются, явно собираются как-то пошутить. Надеюсь, не пульнут обглоданным суповым маслом и не плеснут неизвестной жидкостью, как у нас принято. Что же произойдет?

— Гутен морген! — кричат хором. — Гутен морген!

Петербургские мистики

Борис Иванович был везуч всю жизнь. Например, как-то раз, прочтя в состоянии сильного похмелья стихотворение Александра Блока «В октябре» (там, напомним, есть строка «Лечу, лечу к мальчишке малому...»), он, подобно герою стихотворения, решил совершить полет и выпрыгнул из окна. Но, когда Борису Ивановичу оставался буквально метр до дна его двора-колодца, с неба слетел огромный орёл, вонзил когти в потертый махровый халат на спине Бориса Ивановича, и аккуратно поставил летуна на ножки. После чего таинственная птица, столь редкая для Петербурга, точкой исчезла в синем небе.

В отличие от свидетелей небывалого происшествия, Борис Иванович ничуть не удивился. Он пересчитал деньги, бывшие при нем, и понял, что неизвестный орел поставил его перед серьезной дилеммой: наличности хватало либо на четыре бутылки пива, либо на «маленькую». Борис Иванович выбрал последний вариант — в первую очередь вследствие простоты транспортировки покупки домой.

Постскриптум: записано со слов Бориса Ивановича.

Столько и мнений...

Знакомая художница сказала продавщице в кафе на Невском:
— Что же у вас на ценнике написано «пироженое»? Надо — пирожное.
Та, не моргнув глазом, ответила:
— Сколько людей — столько и мнений!

Достойный ответ

Как-то раз Джордж Форман, на тот момент чемпион мира по боксу в тяжелом весе среди профессионалов, обратился в полицию с жалобой, что уличный грабитель отобрал у него купюру в двадцать долларов.

— И вы не оказали ему сопротивления? — удивились полицейские.

— Я за такую мелкую сумму не боксирую! — отрезал Форман.

Достойный ответ! А мы-то всю жизнь «боксируем» — и бесплатно, и без надежды на успех...

Aalen, февраль 2013 — апрель 2014

Евгений КАМИНСКИЙ

/ Санкт-Петербург /



БРЕЙГЕЛЬ

«Художник и ценитель»

Мир этот вами выдуман. И все ж
он не лишен примет и жестов верных.
Ну, в частности, из жизни этот нож
отчаянный и все же эфемерный.

Тут на холсте — хоть дырку просмотри —
а ни лица людского в полной мере...
Так живописец видит изнутри?
И ведь тогда выходит люди — звери?!

Но разве не об этих, в простоте
живущих так, Всевышнего забота?
(и даже несмотря на то, что те
сегодня на костре сожгут кого-то).

Нельзя же в них, забывших про Отца,
бесчувственных к словесным пируэтам,
провидеть только низость без конца,
не видя тяги к горнему при этом?..

Мир пива и колбас широк в кости,
и счастлив даже в двух шагах от ада...
Наверно, жизнь от смерти не спасти.
Но эту правду знать ему не надо.

«Сорока на виселице»

Хрипело сколько здесь еретиков,
под сколькими столбы гудели пьяно!

Увы, удел мятежника таков...
Хотя, кто в этом мире без изъяна?!

Работа на износ и только для
того, чтоб жизнь, змеясь, текла лениво.
Но отдыха не зная петля,
похоже, ничего не изменила:

приземист, как и прежде, бег зверья,
и липнет к телу в ужасе рубаха...
Но безнадежен голос соловья,
а злые языки не знают страха.

Сей род не вразумить (мартышкин труд!)
не выровнять в колонны, даже строя...
Рождаются, живут безбожно, мрут,
но кто на смену им — безбожной втрое.

«Пляшущие крестьяне»

Итак, всё в дымке, ост притих и вест,
лишь виселица осеняет жутко
дремучий лес, селения окрест,
и воздух неподвижный в промежутке.

Итак, мир темен и несправедлив,
жизнь — коротка, а времена так мрачны...
Но что там за движенье возле ив,
круженье юбок, визг и стук башмачный?

Постойте, вы, хмельные от вина,
вы, разум потерявшие от счастья,
летающие сейчас сквозь времена,
эпоху эту рвущие на части,

невольно уходящие туда,
где — вдруг через себя переступая —
не ведают ни страха, ни стыда...
О, жизни дух... и плоть ее святая!

«Несение креста»

Все время в гору... В сердце птичья дрожь
вот-вот и захлебнется на пределе...
И все ж пока нет воли — не умрешь,
ведь *чашу ту*, умри, а не поделишь

уже ни с кем до самого конца,
где Ты — вот там, в толпе второго плана,
но Твоего не разобрать лица
среди тех, кому чужая кровь — как манна...

Где мысли вдруг отчаянно просты,
и небо давит тяжестью, твердея,
где холод обретенной высоты
пронзает грудь под ропот иудея.

Где силится сорваться в небеса
из человека выросшая птица,
где смертных мук — еще на полчаса...
(Не может же *такое* вечно длиться?!)

«Деревенский танец»

Мол, с вами Бог... А где тогда харчи?
Что ж, сдохнем, если так угодно Богу.
Гуляй, босяк, отчаянней топчи
сухими деревяшками дорогу.

Над площадью дымы, вороний грай.
На площади костры — мороз по коже...
Не трусь, волынщик, лучше подыграй —
пусть смерть-старуха с нами спляшет тоже.

Пока грозят тут плахой да огнем,
рвут языки, пока судьба на пятки
нам наступает — пятки отобьем
в обнимочку с безносой, без оглядки.

О смерти пусть теперь забудет всяк,
вцепляясь ей в бока без пиетета!
Волынщик, дуй, отплясывай, босяк...
А ты молчи, что песня наша спета.

«Безумная Грета»

Мир выгорит дотла, но много позже,
когда погаснут камни. А теперь
шаг — и восторг мурашками по коже,
другой — и шевельнулся в сердце зверь.

Да будет тьма без проблеска рассвета!
Пусть колокол безумный бьет и бьет —
безумная, идет сквозь пепел Грета,
хватая жадно пепел ртом, как мед.

Вперед, вперед, огня и пепла фея,
вперед, ударам колокола в такт.
Глаза пылают, звякают трофеи...
И у колена — кухонный тесак.

В горячей схватке с гадами средь ада,
вдыхая горечь выжженных сердец,
забудут люди, кто они. И гады
равны им духом станут наконец.

И птицезвери, рыбчеловеки
с немymi ртами, скользкой чешуей,
самих себя забывшие навеки,
без боли станут черною землей.

«Охотники на снегу»

Молчат нагие мумии дерев,
и с высотой не справиться рассудку...
И сердце, перед небом обмерев,
во мгле немеет радостно и жутко.

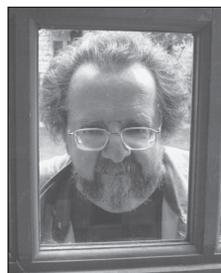
Лишь слово, не сдаваясь падежу,
тая в себе игры опасной смуту,
опять толкает душу к мятежу,
все ждущую чего-то почему-то.

Чего еще, скажи на милость, ждать,
ведь всё уже, что здесь от жизни взято,
по Гамбургскому счету — благодать,
когда в себя заглянешь не предвзято.

Что попусту печалиться?! Просты,
как белый свет, все формулы, покуда
ты тьмою не изъят из красоты
и сам, хотя б отчасти, — свет и чудо.

Борис ВАНТАЛОВ

/ Санкт-Петербург /



ПИСЬМА В НИКУДА¹

31

Дорогой брат!

Самый невразумительный раздел «моей» библиотеки — современная поэзия. На этой фразе сдохла очередная гелевая ручка.

Сколько ручек сдохло во время «моих» экзерсисов? Не счастье!
Ручное кладбище.

Так вот, современная поэзия — это хаос. Книги самого разного размера (про качество «я» не говорю), от малюток до альбомных изданий. Их невозможно расположить по алфавиту, тогда фитюльки и циклопы должны будут стоять вперемежку. Все мои линнеевские потуги хоть как-то систематизировать эту вербальную магму потерпели полное фиаско. Поэтому книги лежат перед полками стопками, перекрывая доступ к литературе двадцатых-тридцатых годов. Чтобы взять, например, Вагинова или Добычина, «мне» приходится сначала убрать кучку современников, а потом снова положить ее на место.

И еще. Многие из них считают хорошим тоном выпускать по несколько книг в год. На новой брошюрке они с гордостью пишут порядковое число изданной книги. Хорошо, что это число, как правило, не выходит за пределы двухзначного.

Самое кошмарное, что опусы дарятся часто с автографом.

«Мне» приходилось помогать ликвидировать библиотеки умерших литераторов. Обряд с вырыванием титульной страницы с дарственной надписью, перед выносом книги на помойку, пройден не раз.

Поэтому груда перед стеллажами угнетающе действует на «мою» психику. И хотя «я» мало куда хожу, она продолжает прирастать, грозя намертво перекрыть доступ к мировой литературе.

Зачем делать из поэтической книги пантагрюэлевскую подтирку?!

¹ Продолжение. Начало — «Крещатик» №№ 62, 63, 64.

Или вот, например, кладовка, брат. Раза два в год мы ее разгребаем и там образуется небольшое пространство (пяточок), где можно стоять и поворачиваться вокруг своей оси. Но проходит небольшое время, и войти туда становится невозможно, более того, вещи, как тесто из кастрюли, начинают проникать в комнату. Это напоминает бесконтрольное деление клеток раковой опухоли. Бытовая онкология.

А «мне» так хотелось к финалу оказаться в незахламленной комнате-келье.

Видать, не судьба, брат.

В общем, новообразовавшийся разнокалиберный атолл современной поэзии «мне» стал мешать. И уборщице его не отдашь. Не поймут, как говорил поручик Ржевский.

Что делать, Николай Ильич?!

У «меня» ведь есть еще куча антологий современной поэзии, там каждой твари по паре.

Помню, как Кудряков незадолго до смерти собрался разгрести свои авгиевы. И сообщил мне, что снес на помойку журнал «Черновик» со своей публикацией. «Я» изумился. Боб, ведь это довольно редкий журнал, и к тому же визуально привлекательный. Лучше бы ты уж его мне отдал.

«Я» никогда не был на этой новой квартире у Боба. Он хотел такую, чтобы в окне не было никаких домов. На краю ойкумены Боб хотел жить. Так и поменялся со Свечного. Эпопея с обменом длилась мучительно долго. Борис Александрович нанял юриста, который курировал (помимо ризтера) эту сделку. Но когда он въехал в новое жилье, то бывшие хозяева забрали с собой унитаз, и бедный эскапист остался один на один с фановой трубой. Эта флейта похлеще чем у Маяковского будет. А потом на пустыре начали строить новый дом. Беспредельности и Бориса вскоре не стало.

А еще мой приятель Гоша перед отъездом в Израиль тоже стал потихоньку выносить книги. «Я» ехал с ним в деревню Юршево. «Нива» парковалась около помойки. Книга со знакомой физиономией поэта лежала около мусорного бака. Что-то во «мне» ёкнуло и я забрал ее, хотя она в «моей» библиотеке была.

Разболталось «я» сегодня, брат. Извини. Чао.

17.01.2013

32

Дорогой брат!

Позавчера с Петей Казарновским разбирали новонайденную коробку с твоими писаниями. Кучу разного Петя взял с собой для изучения и дальнейшего использования при составлении книги.

Сегодня «я» стал просматривать оставшееся и обнаружил вдруг письмо из села Медное, о котором здесь уже упоминал (см. № 16).

Это было так странно, через несколько недель увидеть то, что было смутным воспоминанием, и вдруг, вот он, графически конкретный текст. Письмо датировано четырнадцатым июля 1972 года. А про полячек ты так

писал тогда: «Ехали в село с поляками. Польские девушки пели: "За Сталина, за белого царя, за мир, за Гитлера. Е* твою мать! Мы ведь культурные люди!"».

Очень хорошая песня.

У них (у полячек) фиолетовые ногти на ногах и руках, как у трупов».

Порой «мне» кажется, что в этих «письмах в никуда» «мое» я выписывает какие-то петли Нестерова, только не в пространстве, а во времени.

Что нам эти сорок лет. Это было вчера. Это было сейчас. Вообще, может быть, ВСЁ происходит сразу и всегда. Времени нет. Его феномен обусловлен только кривизной «нашего» сознания. Просто, выбрало оно почему-то именно такую интерпретацию сущего. Запрограммировалось на время, на язык, на человека. Вот и ходим в этих калошах, выписываем петли Нестерова в несуществующем времени.

Но до чего же кайфово, брат, лететь по параболе этой петли на истребителе мозга, зная, что катапультироваться невозможно. Разобьешься, войдя в штопор, непременно. Как успевает вырулить мозг вовремя, кто соблюдает правила техники ментальной безопасности? «Я» не знает. Но, когда в голове задувает ветерок, надо ставить нейронные паруса. На вахте надо быть. А «я»-то ведь почти всю жизнь сторожем работаю. «Я» начеку.

«Я» — чекист.

Еще одна петля на чулке «времени». Из «моего» письма (11.12.1973) к тебе из той же коробки.

«Представь, например, человека, который живет вне зависимости от времени и пространства, в XX веке до н.э. и в двадцатом веке нашей эры, на Сатурне и Венере одновременно, сознание, вбирающее в себя всю вселенную ежесекундно в ее прошлом и будущем. То есть, по сути, это вселенная. Представляешь, планета с такого рода существами, миллионы вселенных».

Ладно, пока, брат, на аэродром пора.

19.01.2013

33

Дорогой брат!

Сижу на аэродроме в не раз декларируемой позе. «Мои» хождения в салат приняли оригинальный характер. Вместо положенных суток, «я» там провожу всего несколько часов. Дело в том, что у предыдущих двух сидельцев были либо родственники, либо любовницы. Сами они, как гундосят в метро, не местные (из Иваново, из Ульяновска). А у нынешних охранников ни родственников, ни любовниц нету. И шляться по замороженному Питеру и тратить денежки на обогрев тела им не в кайф. Мужики элементарно экономят. Поэтому «я» прихожу в воскресенье к девяти часам, принимаю звонки и ухожу. А они, Эдмоны Дантесы, месяцами почти безвылазно сидят в салате, как слизняки.

Чем больше воруют, тем больше охраняют. Если при Сталине пол-России сидело, а пол- охраняло, то теперь пол- ворует, пол- украденное сторожит.

Нельзя сказать, чтобы между этими половинами не происходило диффузии. Государство обворовывает население, население пытается ответить тем же. Оксюморон «вор в законе» стал реальностью. Наблюдается нечастый в истории феномен самоедства. Россия, если сохранится нынешний тренд, сожрет себя сама. Даже не знаю, как это явление назвать. Может быть, антропологической энтропией. Так что, «я» живу, брат, во время эпидемии самораспада. Если бы писал мемуары, то мог бы их озаглавить «От самиздата до самораспада». Любопытно последний сопоставить с самодержавием.

Чувствуешь, Николая, это в моем истребителе мотор прогреться начал. Заработал движок в половине десятого зимнего утра. Вибрация по организму пошла. В мозгу защекотало. Пропеллер...

«Я» — Карлсон!

Если это двухсложное имя написать через дефис, будет самое то. Сон Карла «я», а СССР — сон Карла Маркса. Сюр — тук. Кап и тал.

Да, был «я», Коля, когда-то студентом! Штудировал политэкономиию социализма. А где теперь этот социализм. Раскапывай его, как Шлиман Трою. Жалко, конспекты лекций давно выбросил, сейчас бы процитировал какой-нибудь аппетитный кусочек лженауки.

Видишь ли, брат, когда понимаешь, что твоего «я» нет и никогда не было, во всяком случае, в том ракурсе, как цацкается с эго большинство, то все эти перипетии истории (на фоне твоего личного апокалипсиса) становятся более понятными, но отнюдь не менее ужасными. Просто, это иное качество ужаса.

Ужас состоит в том, что его нет.

Да взять хотя бы эту мульку, когда история вселенной сжимается до суток. Земля возникает к вечеру, динозавры к полуночи, а человек существует только последние две секунды. Попробуй сосчитать: ноль-один, ноль-два. Вот и весь наш век. А кровищи-то успели пролить сколько за эти две секунды. Спермы бы столько пролили — уже бы Марс протоплазмой заполнили. Луна бы коричневой от экскрементов стала. Извини, брат, пора под одеяло.

21.01.2013

34

Дорогой брат!

Сегодня без пятнадцати семь утра побывал в твоей старой квартире на Ропшинской. Там ремонт. Комната, где жили родители, была абсолютно белой, без каких бы то ни было следов человеческого присутствия. «Я» оказался на Петроградской в результате длинного, запутанного сна, предшествовавшего ритуальному посещению клозета после пробуждения.

Мочепускаясь, я вспоминало прошлое. В мозгу замелькали персонажи твоего цикла рассказов о родственниках. Теперь здесь они есть

только благодаря этим опусам. Ведь зачастую текст долговечнее кладбища. Писатели мумифицируют через себя других. Пирамида собрания сочинений.

«Я» бы хотел, еще при жизни, взглянуть на твоего хеопса. Литература — наш египет, наша пустыня, в которой мы все моисеи. Земля обетованная — молчание. Умершие поэты тоже молчат, но в отличие от всех, они подают знаки оставшимся живым.

Читайте и обряцете сусти. Не надо грусти. Отпусти, пустыня, «меня». Ня-ня-ня.

P.S. Что-то, брат, я на стихи стал переходить в конце писем. Причем произвольно. А вдруг «я» поэму пишет? «Нас нет» называется.

Не прощаюсь.

23.01.2013

35

Дорогой брат!
Как тут простишься?!

Стоило «мне» во сне побывать в твоей квартире, и Надежда тут же обнаружила в своих анналах папку с фотографиями, где «я» с алыми щеками, пьяный (еще без бороды) сижу на кухне, у тебя на Ропшинской, на фоне могучей спины Зои Николаевны, как всегда, разогревающей что-то. Мне даже кажется, что «я» слышу ее коронную фразу (фразу человека, пережившего блокаду): «Коля, ешь!». Вот, где генезис твоего моностиха «Петербург — это город, где ужин остыл».

Все эти фотографии лежат в белом конверте, с «моей» надписью «У А. Ника». В нем есть и маленькая фотография, где, наверное, Кудряков (а кто же еще!) снял нас с тобой во дворе. Мы только что вышли из твоей парадной. Стоим в расщелине между двумя домами, как будто выползающие из какой-то космической вагины существа. Ты впереди в шляпе и темных очках. «Я» чуть позади стою, положив руку тебе на плечо, в меховой шапке-ушанке, очках в роговой оправе, мохеровом красно-черном шарфе и сером пальто. Так слепые идут друг за другом. «Я» все еще безбород.

Аксельрод — Безбород.

В этой фотографии есть что-то символическое, метерлинковское (мизансцена из пьесы «Слепые»).

Глядя на «себя», «я» понимаю, что это я. Но почему-то испытываю полное равнодушие к этому субъекту. С таким же бы интересом «я» бы разглядывал «свою» оплодотворенную яйцеклетку.

Вообще, брат, «я» давно заметил, что текст (если он не вымороченный), словно паутина, начинает сам притягивать со-бытия. Сны и предметы вовлекаются в его сеть уже помимо авторской воли. Тексту надо отдаваться, как течению. Плыть на спине мозга и смотреть на «буковки блестящие» звезд.

Чего больше, их в космосе или букв в земных текстах? Бежим вдогонку за Универсумом. Если некачественно, так количественно догнать Бога в письменах.

Ах!

25.01. 2013

36

Дорогой брат!

А знаешь, что вчера на «меня» вдруг снизошло. Все ищут инопланетян где-то вне, снаружи. А почему бы их не поискать внутри...

Мозг — инопланетянин. Вернее, та его часть, что не обслуживает инстинкты. Они внутри нас поселились, эти иноземные ребята. Наше «я» — их топливо. Им по неведомым причинам надо продержаться на Земле сколько-то миллионов лет, и они нас используют в качестве домашних животных, кормя приманкой «я». Ослепленные «собой», мы живем в навязанном мирке. Не надо никаких капсул с проводами, в которых держат белочек (от слова «белок»), как в фильме «Матрица», ничего такого бутфорски-грандиозного, а просто в башке безболезненно копошатся отредактированные, заданные мысли, а не занятые в шоу клетки пашут на дядю.

Как мило!

«Мозг повернулся в нетуда».

Может быть, вообще весь технический прогресс — это кошмар, навязанный извне. Эта кровавая медицина, войны из-за Бога, игра в прятки с половыми признаками, все это развилки какого-то страшного тупика, в котором топчутся наши кастрированные «я».

Может быть, посылать радиосигналы в космос, это также глупо, как при помощи испускаемых газов наигрывать «Барыню». Мы, не познавшие «себя», хотим встречи с «другими», но ведь мы еще не встретились с «самыми собой».

Ау?!

P.S. Это, Коля, было фузте из «моего» ментального балета. «Я» исполняло партию белки из спектакля «Мозг-инопланетянин». Музыка Б. Констриктора. Либретто Бориса Ванталова. Постановка Б.М. Аксельрода.

28.01.2013

37

Дорогой брат!

Паутинка-то «моя» продолжает вибрировать. Вчера на сон грядущий читаю книгу Александра Редько «Тибетский гамбит» (М; 2012), он путешественник, экстремал, врач-спасатель и т.д. и т.п.

И, вот, пожалуйста: «В научном мире нынче модно говорить о безграничных возможности человеческого разума в познании тайн Мироздания. Мне думается, это глубокое заблуждение. Человек всего лишь одна

из мельчайших частиц природы. Каждой такой частице Создатель выделил свой своеобразный «коридор» допустимых знаний: муравей может познать одно, дельфин — другое, человек — третье.

Этот коридор имеет свои границы: от и до. Поэтому мозгу человеческого биоробота не дано познать, например, предыдущие воплощения своей души, ее настоящее имя, свои будущие перерождения...»

Какая разница, Коля, кто нас ограничивает, «инопланетяне» или Создатель. Коридор-то он и есть коридор. Плохих учеников именно туда и выгоняли. Белочки мы или все-таки белочки.

Мыслящий белок.

Сверхзадача — передать колебания паутины текста. Ветерок мысли. Ментальный бриз. Иного парадиз.

Во, брат, опять стих попер. Надо завязывать с этой силлаботоникой, а то тут такое вырастет. Такое...

Еще весь день впереди. Сейчас на красненьких 10 ч. 41 м.

Твой летатлин.

P.S. 12 ч. 00 м.

Читаю этого Редько дальше, описание устройства буддийской ступы: «в специальных местах "древа жизни" написаны сверху вниз живородящие слоги. ОМ, АХ, ХУМ, ТРАМ, ХРИХ, звуковые вибрации которых обладают магическими свойствами».

Письмо №35 у меня заканчивалось этим «Ах». Не в ступе ли мы с тобой, брат?! Похоже, и Хармс в этой ступе был.

P.P.S. 14 ч. 41 м.

Сварил фасольевый суп. Снова углубился в редьку.

Ом, брат, Ом!

«Я»-то все про вибрацию уже в которой книге талдычу. Про бриз-парадиз. Нат, как говорил хулиган барышне, извлекая из широких штанин:

«Дело в том, что все элементы духовного и материального мира находятся в постоянной вибрации (или «все танцует», как писало я, — Б.В., Б.К.), которую современная физика называет кручением торсионных тел. А мы называем просто жизнью. Вибрируют микрочастицы, их совокупности, вибрируют целые системы. Все это происходит в соответствии с четкими энергетическими, полевыми и волновыми константами, позволяющими существовать всему живому на Земле. Именно она, наша матушка-планета и задает нам эти константы, духовное и физическое ощущение которых мы обычно называем жизнью в гармонии с теми или иными силами разнополярной природы.

И есть на Земле места, где она источает из себя комплексы своего рода эталонных вибраций...»

Стихи, проза, музыка и т.д., оргазм — все это «комплексы эталонных вибраций». Кастаньеты констант.

«Я» — вибратор.

Pardon.

ХУМ.

P.P.P.S. 22 ч. 05 м.

Выпил пива. Жена вернулась из театра. Прочел у Редько о «похоро-
нах на небо».

Это про то, как птицы расклевывают труп. Довольно длинное писание. Целиком переписывать лень. Вот кусочек из него на прощание: «Монахи-рагябы положили труп на большой плоский камень, на котором были выбиты стоки-желобы для крови, образующие слова гуру Пхадампа Сангая из текстов «Танджура»: «Прекрасны цветы летом, но они увядают и умирают в осенние дни. Так и это бренное тело цветет, а затем исчезает».

ТРАМ, брат! ХРИХ, брат!!

29.01.2013

38

Дорогой брат!

Снова грызу редьку.

«Важно понять, что знание в тибетских тантрах, да и вообще в буддизме понимается вовсе не как некая интеллектуальная конструкция, не как информация, но как нечто, полностью преобразующее весь умственный континуум индивида».

Брат, да это, ведь, определение поэзии или искусства вообще. На этом основан «эффект мурашек», о котором я тебе уже писало (см. №30).

При декламации мантр «необходима тщательно разработанная мелодическая и вибрационная техника произнесения заклинаний».

Не с этими ли реликтами мы сталкиваемся, когда поэты читают стихи. Шаманские корни.

Еще бальзам на мою израненную душу, брат. «Это (медитативное погружение в «пустоту», которое есть единственная и конечная реальность — Б.В., Б.К.) помогает лишить его своего «я», отстраняет от личности ее индивидуальные качества».

Верьте «мне», яки!

Читайте дальше, и обрячете ничего.

И вот опять паутинка задрожала. Помнишь, про балет «мозгинопланетянин» писал, про неприличные звуки посылаемых в космос радиосигналов (см. №36)? И вот Редько туда же: «Скорее всего, только на примитивных стадиях развития науки (типа нашей нынешней) Космос пытаются осваивать с помощью ракет».

Ракета как первобытная пещера.

А дальше-то, Коля, они и до «моих» спиралек добрались. «Я» где-то писало, что рисунки в левоспиральной и правоспиральной манере отличаются друг от друга. По-разному получается, хоть тресни. Наберись терпения, брат, и прочти, что мракобесы эзотерики по этому поводу пишут.

«Это развитие происходит в яйцеклетке планеты под влиянием потоков энергии времени, льющихся из Космоса. Так вот: можно особым образом воздействовать на эти потоки, изменяя направление кручения их торсионных полей. (Вспомним о теории лево и правоспиральных спинов академика Акимова.)»

Кстати, о большей устойчивости в организованности живого вещества левовращающих полимеров писал Вернадский (см. Раиса Берг «Почему курица не ревнует» СПб., 2013., с. 101).

А «я»-то тысячи таких спинов навращало. То вправо. То влево. То в свет, то в тьму — получается?! И вашим, и нашим.

На кого работаете, гражданин Б. Констриктор?

30.01. 2013

39

Дорогой брат!

Над компьютером в гостиной у «меня» висит в рамке большой визуал. Там в форме креста изображена «моя» формула «Бог — поэт».

В слове Бог буква «о» разорвана на две половинки, как это делается в офтальмологических таблицах для детей, которые еще не умеют читать. В правой половинке скобка снабжена черточкой посередине. К этой разорванной букве «о» справа и слева приставлены соответственно буквы «п» и «т». Вот и весь сказ.

А под этой большой висит маленькая картинка в технике «дыма» или ее еще можно назвать «коптской графикой». Это очень просто: к бумаге подносится спичка и то, что остается от воздействия пламени интерпретируется в смутные образы. Обычно изображения едва различимы, как в густом тумане.

Так вот, на той маленькой картинке изображен некто (даос, буддист) с исходящим из головы в бесконечность (выходит за пределы листа) лучом.

Сегодня утром Редько «мне» объяснил, откуда он взялся: «Этот dmu-thag представляет собой сияющий шнур радужного света, который своим нижним концом был прикреплен к макушке Учителя, а верхним концом уходил в Шамбалу. Каждый посланник страны с в е т а обладал таким проводником из радужного сияния, который напрямую соединял его с небесной родиной. В момент земной смерти его физическое тело растворялось в чистой лучистой энергии, а его сознание в виде света возвращалось по радужному пути в его небесный мир».

А у «меня», брат, есть на эту тему еще и стихотворение, кроме картинки, оказывается. Сейчас сообразил. «Северное сияние» называется.

AVRORA BOREALIS

Живет в гостях у самого себя,
кто в человека не поверил.
Всегда скользит под ним земля,
и в голове сияет Север.

Ничтожный малостью своей,
которой нет у остальных в помине,
он там остался, до смертей...
В сухой, растрескавшейся глине.

В чем цимес старости (если ты не в маразме). Что все аккумулирует-ся, сжимается. Стихи, проза, рисунки — все это начинает клубиться и спрессовываться в некое целое. В идеале должно образоваться неделимое нечто, которое для личности предстанет как долгожданное ничто, а для оставшихся остальных — как *сусти*. Как крупинка атолла, как точка в мозаике большого взрыва.

Прости, брат, если надоел. Уж полночь близится на красненьких твоих.

31.01.2013

40

Дорогой брат! В нашей с тобой переписке с молчанием можно дать такой подзаголовок: исчезнувшему от исчезающего.

Видимо, это исчезание сказывается на восприятии обыденных вещей. Вот читаю в газете: «Ведь есть философское утверждение — ничто не может преодолеть собственную природу». И «я» воспринимаю эту банальность как Откровение, представив себе, что ничто пишется с заглавной буквы, рукой Мейстера Экхарта.

Или вижу в метро в киоске книгу Габриэля д'Аннуцио «Леда без лебедя» с картинкой «Поцелуй» Густава Климта на обложке. Сначала «я» думает о том, что декоративное начало в Климте перерастает в абстрактное так убедительно, что начинает казаться, будто целуются не люди, а клетки в электронном микроскопе. Потом «я» вспоминает, что последняя книга Лены Шварц («Перелетная птица» вышла уже посмертно) была «Крылатый циклоп» о том же Габриэле. Но и это еще не все, «я» вдруг с трепетом вспоминает, что совсем недавно получило от Кирилла Козырева по интернету детскую фотографию Лены, где она сидит в огромном лебеде-качалке. Все проносится в голове, как вихрь. И «я» осознаю, что это знак в тексте *сусти*.

Скоро (11 марта) будет уже три года, как Лены нет. А «я» каждый день о ней вспоминает, как и о тебе теперь. Для «меня» вы живее многих существующих.

«Я» вас любит.

Оно вас любит, и «я» ничего не могу с этим поделать.

А с Козыревым-то чего было, брат.

Сидит он у самого Белого моря (домик там у него), в лесу, однако. Костерок. Косячок. Вдруг лиса подходит, садится у огня и смотрит на него. Он гнал ее и кидался чем ни попадя. А та отбежит, а потом опять у костра садится. Бешеная, видать. Путешествует, знай, себе. Знаем мы эти знаки. Знаем эти путешествия на северо-запад.

Помнишь, «я» писал тебе об этом (см. №34). Работает поэтический спиритический телеграф для того, у кого третье ухо и третий глаз еще не совсем заросли.

Родничок-то на головушке пусть не окостеневаает, пусть мягоньким останется, как Обломов. Вставь туда соломинку мандельштамовскую вместо антенны, и дуй шерри-бренди в астрале.

Вот ты, Николай Ильич, уже все там, поди, за жизнь излетал-избегал, достаточно «Сны» твои почитать. А у Лены Шварц — «Ночная толчая». Башку сломать можно. Если «я» было бы композитором, оперу бы написало. Может, оно и напишет в другой жизни. На слове «жизни» закончила свое существование очередная гелевая ручка. Кто не верит, пусть в рукописи проверит.

«Я» не только «истребитель мозга» (амбивалентно получилось), но и гелевых ручек.

«Я» — бумажный Щекотило.

Мозговик-затейник в поисках утраченных мурашек.

Пока.

05.02.2013

(Продолжение в сл. номере)



Сергей ШИЛКИН

/ Салават /

БОРИСУ РЫЖЕМУ

Чувства — шалый пожар.
Мысли — дикие орды.
Я был юн и поджар,
Как английские лорды.

Был я громкоголос,
Дерзок, крут и брутален.
В чаще взбитых волос
Без седин и проталин.

Крал, где можно, металл.
Делал острые финки.
Знал базарных «кидал».
Бился насмерть на ринге.

Пил портвейны «Самтрест».
Был в страстях неуёмен.
Но однажды мой крест
Стал, увы, неподъёмен.

Душу выкрошил червь,
Словно диггер траншею.
Чую, галстуком вервь
Туго вздета на шею.

Мне б подняться со дна,
Да опутан я дрянью.
В небо тропка одна —
От греха к покаянью.

По пятьсот выпил три —
Всё закончилось комой.
Слышу голос внутри,
Мне совсем незнакомый:

«Хочешь муки? — Изволь!»
В душу вбили мне сваю...
Покаянную боль
Я в стихи отливаю.

Что стекает с пера —
Люди хают облыжно.
Наступила пора
Удалиться неслышно.

Но в тумане пути
И тропиночки склизки.
Мне отсюда уйти
Не дадут по-английски...

Мне б подняться со дна,
Да опутан я дрянью.
В небо тропка одна —
От греха к покаянью.

По пятьсот выпил три —
Всё закончилось комой.
Слышу голос внутри,
Мне совсем незнакомый:

«Хочешь муки? — Изволь!»
В душу вбили мне сваю...
Покаянную боль
Я в стихи отливаю.

Что стекает с пера —
Люди хают облыжно.
Наступила пора
Удалиться неслышно.

Но в тумане пути
И тропиночки склизки.
Мне отсюда уйти
Не дадут по-английски...

МУЗА-ОСЕНЬ

Пожелтев, покраснев, изменив свою суть — гугеноты,
Оторвавшись от веток, взметнулись стеною цунами.
В сонной роще гудящие басом деревья-блокноты
Разбросали вдогонку вселенным листки с письменами.

Я ищу письма и шиваю неспешно стежками
Перекрученных троп, крутизной восхищаясь извилин.
Сквозь тягучий мираж пролетел, с площадными смешками,
Над кустами рябин до конца не проснувшийся филин.

Под ногой перезрелых листков шелестящая осыпь.
Стылый ветер мне в уши свистит несусветную ересь.
На пригорке кургузом ольхи одинокая особь
Ждёт печально кого-то, накинув истлевшую ферязь.

Бабье лето, спеша, поклонилось друидову храму
И стремглав унеслось, за собой не оставив и следа.
Октябрю чёрный дятел стучит на ольхе телеграмму,
Умоляя вернуть, хоть на время, сбежавшее лето.

Тихо музы поют — слышу явственно ямбохореи —
Время их подошло. Мир мой с духом искусства соосен.
Объявись, наконец, и покой привнеси поскорее
В беспокойную душу мою, благодатная осень!

ПАРИЖ

Висит над Ситэ в небесах апостроф —
Латунный дамоклов топор.
Колышется струями древних ветров,
Как знаменье, призрак — Собор.

Ещё не родился в Париже Гомер,
Воспевший бы — чёрт подери! —
Как с вечностью спорят дозоры химер,
Храня Нотр-Дам-де-Пари.

Степенные воды с изгибом волны
Оттенка смарагдовых спарж
Скрипят о причалы — и в этом вольны —
Бортами ржавеющих барж.

Над Сенной ажурный паритет алконост,
Как в сказках Алён да Ерём —
Меж Русью и Францией дружеский мост,
Построенный русским царём.

Но время нещадно, губительна даль —
Свалялся клубками ажур.
Осыпались медленно краска и сталь
Ошмётками ржавых кожур.

Под шелест волны и молчанье турбин
Во чревах дешёвых кают
Девчонки из русских дремучих глубин
Парижу себя продают.

И в небо, где россыпь далёких Стожар
Пульсирует сгустком бластом,
Тоскливо взирает парижский клошар
Из ямы под Русским мостом.

ТАНГО С ПАРИЖЕМ

За стеною у соседа
Мучают клавиш.
У меня в руках анкета —
Хоть сейчас в ОВиР.

Я решился, всем на зависть,
Умотать в Париж.
Осмотреть каштанов завязь,
Черепицу крыш,

Как крепчает в чанах круглых
Терпкое вино.
Но смущает — много смуглых,
«Голубых» полно...

Вдруг, как гуд басов фагота,
Рядом низкий глас:
«Прежде чем судить кого-то,
Вынь бревно из глаз»...

...Я в анкете всё «открыжу»,
Вытащу бревно.
Мчусь в мечтах я по Парижу
В голубом «Рено».

Едешь влево — там Сорбонна.
Вправо — будет Лувр.
В нём сушеная Горгона
И портреты курв.

Сгинул город в птичьей мантре.
Пейзажист-апрель

Взмахом кисти на Монмартре
Пишет акварель.

Как Полынь в пыли ураньей,
Тлеет в тьме каштан.
Распахнул порою ранней
Дверь кафешантан.

А в полях, где нет селений —
В местности Орли,
В медный рог трубя, олений
Гнали короли.

По Булони, где овражный
В перелесках склон,
Ищет попусту вчерашний
День Ален Делон.

Издаёт сухой валежник
Под ногами хруст.
В нём следы мгновений прежних
Не отыщет Пруст.

НОЧНОЙ СНАЙПЕР

Хмурый взгляд ледников. В тёмном ельнике склон.
Терпкий запах альпийских лугов.
Краску серую в небе размазал циклон.
Из травы я устроил альков.

Стрекотал полоумных цикад оверлок.
Рядом холмик латунный из гильз.
Я охотник на «духов» — сибирский стрелок.
А напротив, в «зеленке» — Ильгиз.

Ветер в кронах шумел. Новый месяц блажил —
Жёг сквозь тучи огрызком стручка.
Левый глаз я прищурил и перст наложил
На изгиб спускового крючка.

Я нажал... Эхом всхлипнул вдали водоём,
Заскрипела столетняя ель.
В эту ночь был Ильгиз с Амирханом вдвоём...
Вспышка... всё — проиграл я дуэль.

Дух мой взвился туда, где печальный причал.
Ветер плакал, меня тормоша.
Обездоленный ангел беззвучно вскричал,
Надо мною крылами маша.

Сергей СОЛОВЬЕВ

/ Москва /



ДВА МОНОЛОГА САМОУБИЙЦ

Семен Николаевич, 53 года

Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с годами вытерпеть сумел. Вот именно — вытерпеть. А зачем? Есть ли тут радость? Нет. Смысл? Тоже. Тело ветшает, чувства притупляются, обездвиживаются, жизнь переходит в режим самосохранения, день ото дня не удерживая и этот режим. И только память бродит по лабиринту, перекраивая, перешептывая, сиюсья вспомнить, а на самом деле стремясь к одному — забвению. Память, заплетающая венки, как Офелия. Так зачем? Все, что могло быть сделано, совершено. Все, что имело крылья — детство, юность, зрелость — прожито. Лет человеческих — 70 лет, говорит Соломон, и лучшие из них — труд и болезнь, но и они проходят, и мы летим. Нет, не летим, немощные и бескрылые, а падаем, валимся. Да и не труд уже, а лишь болезнь. Болезнь к жизни. Цепляемся за нее, не держась на ногах. В чем же он, смысл, где почва? В заповедях? Не стоит преувеличивать. Далеко не во всех культурах, и, чем дальше от Запада, тем меньше этого. Да и здесь — когда это началось? Не сразу, а на пути к тому, что потом обрядится гуманизмом. Но и с ним не сладит. И начнет стирать человека с прибрежного песка. После Бога. И рисовать снова. Мышкой. Путь бегают мышь по камню. Забудь только слово «мышь», «камень», забудь слово «время» — начнется мерцание. Там, где был человек.

Надо Оле записку оставить. И сыну. Когда подрастут — и записка, и сын. И лучше бы, не в последний день. Уж или писать, или уходить. Да и мало ли, какое в тот момент будет... настроение. Да, удачное слово — настроение. Нет, ничего параноидального — заранее подготовить все, обдумать, написать сейчас. Так и делали прежде зрелые и трезвые умы. А не с головой в петле и выбитой из-под ног табуреткой писать завещание. Или прощание. Кстати. Уж конечно, не вешаться. И не вываливаться из окна. И вены не резать — это для девочек. Достойней, цивилизован-

ней. Но что ж им напишешь — Оле, сыну, друзьям. Чтoб не думали лишнего, не терялись в догадках, не мучились. То есть, хоть этим не мучились — почему да зачем. Да она и не будет, она все понимает. Другое дело — чувства. Но со временем и это затянется, как ранка, заживет. Просто зеркало занавесить, и всё.

Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, и не дочел ее романа. Вот именно. Уйти, пока еще стоишь на ногах. Пока ты в силе, и взгляд не замутнен. Пока ты еще в уме и способен не только на мысли и чувства, но и на действия. Потому что вовлекся в жизнь, отвлекся — и пропустил этот момент, когда еще способен на поступок, когда еще силы есть. А потом все — с горочки катишься, и все тише, потом уж ползешь. Кому ты нужен? Ни людям — не обольщайся — ни себе, ни жизни. Да и твоя жизнь — горбом, столько всего в ней, чего уже не поправить. А было ведь светло, с парусом, с осанкой, бегущей по волнам была. А теперь и в могилу не сложишь — горбы, муть, кривь, кось. Как по минному полю память ходит. Ходила, а теперь уж и этого нет, две-три тропки обхаживает — там, где удобно ей, тихо где и не страшно. Вот и вся старость, весь ее Рим. Который не читки требует, а полной гибели. На которую ты уже не способен, ветошь. В лучшем случае. Еще и больная, ничтожная, одинокая, беспомощная, нищая, у которой все позади, и слава богу еще, если не выжившая из ума. А что позади, кроме законченной, но еще длящейся жизни? Ничего. И что — самодовольно токовать на этом суку о том, как она удалась? Или рвать волосы, которых и без того не густо? Вглядываться близорукo слезливым взглядом в мнимое будущее — в детей? Не они твое продолженье, прошли времена те. Оставь это женщинам. Как сказал поэт: что женщина? — растение! — расцвела, родила, дальше некуда.

Да, Оленька? Да, мой оленёк? Вот с чем труднее всего будет расстаться — с уголками губ твоих, когда вздрагивают, когда берешь в ладони мое лицо и смотришь в глаза мои так, что сердце слепнет от нежности. Невыносимо без рук, без тела твоего, без голоса... Без сына, без его смеха, без ладони его в твоей руке. Без земли под ногами, без неба, без жизни, без себя...

Всё сказал? Вроде бы. Ну и как — держишься? Ничего не дрогнуло? Нет. То есть да, но в пределах контроля. Точнее, сил. Значит, двинемся.

Да, с легким чувством голода надо вставать из-за стола, как говорят французы. И никакой драмы. И тем более — трагедии. Просто внимательный к естественным процессам подход. Рациональный. Предусмотрительный. Не беспечный. Иначе — та голова страусовая, которая в песке до поры поднимается, моргает глазами, а поздно уже — старость.

Уверен ли я в этом решении? Нет. Есть ли у меня достаточно сил, чтобы покончить с собой? Нет. Знаю ли, что меня ждет в том и другом случае — здесь и там? Нет. Колеблюсь ли? Да. Страшно ли? Да. И все же — из этих двух зол — уйти сейчас — меньшее. Уйти в полете, в силе. А не инвалидом души и тела.

Да, в зените, точней, на его излете. Когда отошли родители и уже совершеннолетние дети.

Пока не выцвели краски в картине мира, выстроен дом, посажено дерево, и провожает тебя любовь.

Верю ли я в загробный мир, в суд, в возвращенье сюда? Ни да, ни нет. Посмотрим. Во всяком случае, будет кому смотреть — этому мне, а не тому идиоту, в лучшем случае милому, который не сможет ни видеть, ни на ногах стоять, а лишь улыбаться в ответ.

Мир понемногу в это и превращается — в дом престарелых. Треть — в нем, треть в обслуге. Всего несколько поколений тому назад сорокалетний человек воспринимался стариком. А женщина за тридцать — старухой.

Вот так и надо уходить — где-то между сорока и пятьюдесятью. А не засиживаться, елозя по жизни, как зимние мухи по стеклу.

А что, собственно, отличает человека от других видов? Разве что это: способность к самоубийству и чувство юмора. Да и то относительно.

Хватает ли мне последнего? Прекрасное безумие покидает нас, слышном много рациональных сумасшедших, говорит Шекспир. Но не тот ли это случай, когда оба становятся единым? Надо подумать. Подумать... Но скорее, уже не здесь.

А здесь и сейчас — привести все в порядок после себя, чтобы чисто было и светло. Пока при памяти.

И поменьше этого обоготворения себя в жизни. Умеренней, без фанатизма. Она не грудь, и ты уже не младенец.

Испытываю ли я благодарность за этот «бесценный дар» жизни? Да. Потому и готовлюсь к этому шагу. Он со мной. Как меч самурая. Он со мной. Пока еще в ножнах. Я его чувствую. Да, не сейчас, не сегодня, но уже близко.

Лидия, 35 лет

Не хочу. Не хочу... Не могу. И ничто не может удержать меня за руку. Сквозь зубы. Сквозь плотно сжатые зубы она звучит: жжжизнь. Жужжит. В стекло. И мягко в конце. Мягко, с окошечком. Как живот.

Не хочу. И когда это солнце восходит, и деревья стоят — живые, шелеятся, и люди... И все говорит: мы, здесь, живые. А потом заходит на закате, окрашивая: мы, здесь, живые... живем. Я не в них, не в «мы» — где это? У меня и себя нет. Где я? Вся — там. Но и там меня нет. Но буду. Буду, Аленька, девочка моя, роднуля, буду. Буду, Коля, я знаю, ты ждешь меня, там. И ты смотришь за Аленькой, чтобы не простудилась — там. Наверное, холодно там. Может, даже и ветер. Одевай ее лучше... там и одежды нет ведь, грей у груди.

Я знаю, вы там стоите у окошка, приходите к нему и стоите. Темному окошку — как след от дыханья на стекле в зимних узорах. Как на могилку приходите — там, ко мне, на мою, здесь. На мою могилку, в которой я живу, здесь, на земле, без вас.

Я не хочу. Я не могу больше. Зачем? Я ведь сразу хотела — туда, за вами. Когда это всё случилось, перевернулось... не машина — жизнь, вся. И ту шапочку ее желтую вязаную, с поперезками, я все время с собой но-

шу. Выну, расправлю, а она смотрит на меня оттуда, из пустоты этой, Аленька, доченька моя, выздорови меня, шепчет, выздорови... Как тогда, в больнице: больно — одними губами шептала, без звука, только воздухом, выдохом: мамочка, выздорови меня, больно... Вот этот воздух в шапочке и остался, шепчет, дышит... И я к губам его прижимаю, дышу им...

Выздорови, шепчу, божечка, выздорови меня, уведи отсюда — туда, к ним, прими меня. Это грех ведь — здесь, мне, без них. Это, а не уход отсюда. Если Ты есть, если Ты хоть немножечко человек, если Ты мать немножечко, если Ты хоть каким-то краем в жизни еще — выведи меня, пойми, помоги, прими... Приведи меня к ним, отдай...

А Коля, когда еще живы были, как-то вдруг говорит, а за окном листья метет, желтые, красные, все на свете, так, что неба не видно даже, и Аленька сидит на полу, рисует, взяв в кулачок все карандаши сразу, и они вываливаются из кулачка, а я сморю на нее: боже, какая худенькая, одни ребра, а Коля говорит вдруг: знаешь, мы должны как-то договориться — если кого-то из нас не станет, где нам встретиться. И так смотрит на меня, улыбаясь, вроде как шутит. А я посуду мою, через плечо на него глянула: думай что говоришь... А он подошел ко мне сзади, обнял: вот поэтому многие и не встречаются там, что не договорились здесь — где будут ждать. А я стою, руки мокрые, вода льется, и не вижу его лица — то ли шутит он, то ли всерьез.

А теперь что? Так и не договорились ведь. Да и как он придет? Я и смотреть не смогла на то, что от него осталось после той аварии. Не смогла. В море. Только издала — там, на столе... И обмякла вся, увели меня.

Обнял меня сзади, а вода течет, до сих пор течет, и руки его — на моем животе — до сих пор, а лица не вижу: улыбается он или всерьез...

А потом я в такое тяжелое неподвижное стекло превратилась: все из стекла — лицо, тело, руки. И будто в этом стекле только крохотная полость такая внутри, пустая, где душа была. Или жизнь. И время остановилось. Во мне, да. Это только потом поняла, что во мне. А куда ему было идти во мне? А снаружи мир обходил меня, обтекал как препятствие, как камень. Потому что он чувствует, что по пути с ним, а что нет. Как зверь, она чувствует, жизнь, свою территорию — на запах. А что мне с нею делить? Всё верно.

А потом, когда понемногу я начала приходиться... ну не то чтоб в себя — это уже никогда — нет той, не стало, в кого приходиться. Но я помню тот день — такая же осень была — будто в руке у нее, у осени, все те цветные карандаши, и все окно заштриховано, но так неумело... И я помню, как к зеркалу подошла, а оттуда на меня смотрело то, та, которую я и представить себе не могла, настолько чужое, чужая... как вырытая из земли. И моей рукой водила по волосам, моими губами что-то шептала... А потом подошла к шкафу одежному — она, открыла, а там все наши вещи — мои, Колины, Аленькины. На плечиках, на полках... Она ведь и выбросить их не смогла. И не отдать кому-то... Так и жила. Потому что так себе она говорила: кто-то должен был оставаться здесь. Для чего-то. Так уж выпало почему-то, что из троих это выпало ей. Значит, в этом какой-то должен быть смысл. Какая-то связь между ними — там, и ею — здесь. Между тем и этим

светом должна же какая-то связь быть и смысл, если оба они существуют. Если разорвано то, что было одним, единым, и без которого уже быть не может оно — ни на каком свете. Значит, какой-то смысл, связь, срок...

Ведь не может же смыслом — всем смыслом — стать память? Или страдание? Этот тихий тоненький вой каждой клеточки жизни в тебе. Чтобы что? Для чего? Чтоб всю меру его испытать? Но куда уже больше? Чтобы надежда блеснула, лелеять ее? Какая, на что? Не вернуть уже ничего. Или заново жизнь начинать? Новую жизнь? И себя новую, и Аленьку новую, и Колю нового, и платьице новое с туфельками, и глаза новые, и голос, и душу, и смертушку новую им, другую.

Выздорови, говорит, а он улыбается — с того света, Коля, а ладони его — здесь, на моем животе.

Вот эти ладони и шапочка Алина — все, что есть настоящего у меня — здесь. Вся моя жизнь. А всё остальное — будто песок в глазах, до рези, и не промыть их уже никогда. Да и чем?

Аленька, доченька, я иду к тебе, Коля, впереди у нас долгая жизнь... Настоящая, вместе. Много у нас впереди и посуды немойтой, и карандашей цветных, и неважно где — только вместе. Видишь, я улыбаюсь, я давно уже здесь не плачу, это песок, песок...



Валерий ТОПОРКОВ

/ Москва /

В ИЮНЕ НАЧИНАЛСЯ ЛИСТОПАД...

Господним летом, памятным втройне,
в родной столице, в римской западне,
не без труда однушку сняв в Отрадном,
как чудь, как перемётная сума,
я думал о сошествии с ума,
не думая уже взойти обратно.

В июне начинался листопад.
Жара стояла или Дантов ад,
не ясно было мне. Неразлично.
Народ тянулся к знаниям причин,
и если был в мозгу такой почин —
то вот тебе и первая причина:

в Московской синеклизе все равны.
Так всяческие признаки вины —
и в том, что так и что не так подавно —
Отцовских сил с сыновними, по всей
несоразмерности таких идей,
становятся задумчивостью Фавна...

В то лето хлеб в продаже был тяжёл,
ведь мне, ленивцу, сорок первый шёл.
И я им шёл, как божий вздох при Босхе,
всем этим, не легко сказать, годам,
когда я стал, твой выкормыш, Адам,
как бы без малого уже *большим лебовски*.

А значит, не пропал и не подох,
весь корвалол с «Сердцами четырёх»,
как первую любовь, сменив на грифель,

рисующий, чертяка, в голове
тень Юдина в булгаковской Москве,
где третьей тенью станет Павел Шпрингфельд,

и сам Самойлов этот круг замкнёт.
Кино как будто здесь совсем не в счёт,
да тридцать шесть в термометре — не шутка.
В июне начинался листопад.
Писал стихи я как-то невпопад,
но так читал, что становилось жутко.

ПУТИНА

Как, бывает, легко, как легко, вот,
для стихов подвернётся повод, —
скажем, чайка летит речная
и кричит тебе:
— Мать честная,
не дурак дурака во славу,
ты, рыбак, научи халяву
жирный жемчуг икры по-братски
заводить в твой сачок дурацкий!

...Ничего ей не отвечаю.
Так, иду себе, сочиняю.
Ведь Эвтерпа сродни авгуру,
наблюдая, не то чтоб сдуру,
как путём отдалённо сходным
стало в мире добро подводным,
раз уж он и на водах тесен
от азартных козлиных песен.

Впрочем, зная, какого рода
глаз под бровью путепровода,
можно посуху без водички
в рыбий рай махнуть в электричке;
можно пёхом — но как дознаться?
Проще рыбке не заиграться,
ползунков не сносив по каждой
крупной сделке с духовной жаждой.

Сей железнодорожный узел,
кругозор до грузил не сузив,
поплавки мне напомнил было,
с чёрной леской на все удила...

Пост замера тóков утечки
миновал ровно в пять, до речки
остаётся не больше мили,
а по совести — всё, чем жили.

* * *

Густая листва на деревьях судьбы,
над спящей землей мы лавиной нависли.
Не плотник-сентябрь нам сколотит гробы —
но тот, перед кем не достанет нам смысла.

Вот так, без надежды на вечность спустя,
всего и делов-то — нести ахиною:
мы — шутка в сознании небытия,
но некому, видно, смеяться над нею.

ЭХ!

Эх, непокой, неволя!
Лихо по вам прошлись мы:
Мыслями о расколе
Куплена зрелость жизни;
Мир нищеты безбрежной
Крепок зело и стоящ,
И не вместить нам, грешным,
Всех-то её сокровищ.

Да! мы сыны той силы,
Немощь сквозит которой.
Не оглянусь уныло
На Воробьёвы горы:
Ягодки рву попутно,
И по одной, и по две, —
Всё отдаляю будто
Сорокадневный подвиг;
В помыслах ли, признаться,
В будничной ли программе
Всё не могу расстаться
С сытными пирогами...

Странно, но вот с годами
Горшей даётся болью,
Ставший грозой над нами,
Спор о свободе воли.

ТЫ УВИДИШЬ

До *Кончанского* доеду — и умру.
Положи меня в ближайшую нору,
вход землицею присыпь и тёплым мхом.
Стань, прошу, моим последним худруком!
Тем единственным, кто жил и будет жив!
Репетиции на вечность отложив,
Ты увидишь, что и я смогу начать
странно думать и божественно молчать.

* * *

На вагонном табло: «22:22».
Будто в школьный дневник отойти голове
и вернуться со справкой дубовых теней:
«*Это смерть, и тебе не угнаться за ней*».
Не учебник, iPad потрепать недосуг
о путевный гранит ритуальных услуг,
об учительский пульт или табельный лист
сатурнической ломки твоей, машинист!

.
.

Восемь бед позади: «22:23».
Так-то лучше. А двойки — соплями сотри.
Вот и ранец для ран, ни к чему нам ковши,
с красной больше не надо, ты с вечной пиши:
«Пой, моё колесо: "Ерунда, ерунда!..",
как любовь, утомляй, круговая езда;
поворачивай, время; буксуйте, часы;
забывайте, как звали; маруся, не...».

* * *

Александровский сад как сад
спят деревья-солдаты спят
и кремлёвских часов заряд
на прицельный мой взгляд
не вперёд летит а назад

словно в этом саду как саду
с миром миру да с славой труду
я уже ничего не жду
никого не жду и народ
ни себя ни меня не ждёт

так что хлынет ли кипеш весь
из-за сада как сада здесь
нашей кровью в ином краю
знать не зная я говорю
что война нам от века мать

ЗИМНЕЕ

Если режет ветер глаза,
раздирает ветер тулупчик,
как не скрыться мне с болью за
боль Твою, Человеколюбче,
тихо веря, коль неспроста
моль и ржа эту боль не тронет,
что и я смогу, как звезда,
просиять на Твоей ладони.

* * *

посад за посадом крыльцо за крыльцом
иудин пожар что коврижки съедает
уже и овины покрылись пунцом
а город злодей всё войну объявляет

сама себе снится его каланча
и ветер огонь воздаянья разносит
и некому рельс потревожить с плеча
когда вся деревня от армии косит

* * *

Пусть твои стихи мастеровитее
и прекрасней всех стихов на свете,
всё одно: от споров до открытия —
весть о непременно близкой смерти.

Что ещё за ней тебе обещано,
что ещё тебе от жизни нужно,
если слов последних горькой трещиной
смазали беспечную наружность
редких чувств испачканные лезвия,
трудных мыслей вольтовые сети?

Господи, кому нужна поэзия
на такой трагической планете!

Наталья ЛЕВАНИНА

/ Саратов /



ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Однажды пригожим летним днём я опустила на гранитные ступени Королевской набережной, что в Стокгольме. Умаявшись от туристического марафона, присела к воде вытянуть ноги и перевести дух в ожидании своего автобуса. Тогда и оказалась свидетелем эпизодов, происшедших буквально один за другим.

Кто-то явно торопился сообщить мне нечто важное, а потому совсем не заботился о таких пустяках, как уместность и достоверность.

Вначале, запнувшись о бордюр, прямо передо мной упала на бегу русская туристка. Пробормотала «Ничего себе!», превозмогая боль, поднялась и, потирая ушибленное колено, заковыляла к соседней скамейке. Там принялась спешно приводить себя в порядок: вначале промокнула салфеткой с колена кровь, потом вытащила зеркальце и, ахнув на отражение, быстро подкрасила губы, поправила причёску и, прихрамывая, снова куда-то зашла.

Не успела я перевести взгляд на аппетитно целующуюся парочку, как хлоп! — на том же месте падает другая женщина. Судя по клёкоте, поднятому вокруг неё спутником, — какая-то скандинавка.

Женщина тоже рухнула смачно, в полный рост, но, в отличие от нашей, торопиться не стала. Мне даже показалось, что отлетели не только её очки, но и сознание. Во всяком случае, признаков жизни она некоторое время не подавала. Лежала посреди Королевской набережной, самым видом взывая о помощи и сочувствии.

Всё это она и получила в полной мере: кто-то сбегал в соседний магазинчик и принёс воды, кто-то пощупал пульс, кто-то осмотрел очки: не разбились ли? Не поранили? Нет, вроде бы целы.

Её спутник только что не рыдал. Он в отчаянии топтался рядом, окликав её по имени. Боясь к ней прикоснуться (Не дай Бог! Нельзя! Вдруг пелом!), — он дрожащими руками теребил телефонные кнопки.

Прошло минут десять. Собрав возле себя немалую толпу и доведя спутника до истерики, она с душераздирающими стенаниями, наконец, поднялась и зависла на его жидком плече, а вскоре с мужской помощью двинулась дальше.

Я наблюдала за этой парой ещё некоторое время. Они осторожно пересекли дорогу. Женщина оживала довольно быстро. Мужчина был вне себя от такого счастливого воскрешения. Он заботливо обнимал подругу за талию, что-то шептал на ушко, предупреждая каждый её шаг.

Все акценты были расставлены. Определённо, женщина не зря свалилась: в итоге она получила публичное подтверждение своей значимости, а мужчина доказал свою надёжность. Это был не просто досадный эпизод с падением, это было знаковое происшествие!

Совместив падение нашей туристки (Быстро, быстро! Сама, сама!) с этим скандинавским спектаклем под открытым небом, я задумалась. Почему так по-разному? Почему лядащая скандинавка выжала из эпизода всё по полной, обратив случившееся падение в свою пользу, а наша милая соотечественница по привычке перетопталась и, сконфуженная, не желая привлекать к себе внимания, по-быстрому ухромала с места падения? Почему мы всегда так невнимательны к себе? Почему так мало ценим себя, своё здоровье, жизнь, наконец? Может, это в нас национальное? Ведь и я не стала бы делать из падения события, а побыстрее ретировалась бы с места происшествия. И дело не в наличии или отсутствии спутника...

...Народ в автобусе, утомлённый многочасовой стокгольмской беготнёй, стал потихоньку клевать носом. Опытный гид знал, как помочь: запустил привычное снотворное — телевизор. На экране тут же объявился штатный бодрячок и принялся весело усылплять публику.

Что? Что он сказал? «Жизнь — это очередь за смертью, но есть дураки, которые лезут без очереди»? Обхохочешься, в самом деле...

Я таких дураков знаю великое множество, сама такая.

За окном мелькали причёсанные скандинавские пейзажи, отмытые и размеченные трассы, разумно обустроенное жильё, а меня вдруг абсолютно некстати одолели воспоминания. И старый дом выплыл из памяти с такой неожиданной ясностью, будто кто-то с силой вытолкнул его из заиленных глубин.

Толчок, несомненно, был. Ведь не сами же эти бедные женщины для наглядности растянулись у меня под носом!

...Домик был еще тот! Пятиэтажный, новенький. На фоне раздолбанного частного сектора в этом районе города он тогда, в начале семидесятых, смотрелся небоскрёбом. На всю округу такой один. Нет, конечно, ближе к центру встречались и просторные «сталинки», и купеческая архаика, и даже облупившиеся дворянские строения, — но здесь, в закутке между горой и оврагом, лепились, в основном, самопальные постройки типа скворечен, сляпанные по-быстрому из всего, что попало под руки.

И вдруг — дом, кирпичный, четыре подъезда, пять этажей! Как белый гриб на помойке. Для каких таких господ, спрашивается?

На самом деле, это была банальная хрущевка, только новенькая. В её кирпичные клетушки за успехи в труде не без труда были расфасованы работники местного кирпичного завода.

Народ здесь всегда жил лихой коммуной. Работали на заводе, который стоял метрах в ста от жилья и выглядел как после бомбёжки — грязь,

мусор, разбросанные кирпичные осколки. У печки периодически отрывало часть бока, и тогда она нещадно на всю округу воняла газом. Но на это особо не обращали внимания. Воняет и воняет.

Бабы сушили бельё по-деревенски — во дворе на длинных верёвках; в непогоду — на кухне, в комнате или где придётся. Рабочие спецовки, детские одёжки, халаты, бельё постоянно болтались на верёвках и были частью местного пейзажа. Впрочем, женщины здесь не унывали и за словом в карман не лезли.

— Фай, ты чё эт какую срань развесила? Верёвки тока пачкаешь!

— Не перживай, Катя! Когда твой мужик ко мне придёт, я новое застелю.

— Да тьфу, бесстыжая!

— А Митьке твоему ндравится.

И разошлись. Всё просто, а главное — чистая правда, за исключением нового белья, конечно. У Фаи его отродясь не водилось, но Митьке на это было плевать. Не за крахмальным хрустом мотался он к бесшабашной Файке.

Особую атмосферу дополняло и то, что всё в округе было своё, *кирпичное*: магазины, детский садик, амбулатория, ЖЭК. Большинство кирпичников — либо земляки, либо зэки, отработывающие (или отработавшие) на заводе свою законную «химию».

Так уж повелось, что жен своих с чьей-то легкой (или нелегкой) руки эти наколотые ухажеры обычно привозили из одного — Колупаевского района, где женщины были красивы, работящи и не слишком разборчивы. В городе среди своих они не утрачивали деревенских навыков: быстро осваивались, рожали детей и обзаводились бросовой землей на окраине города, запасливо огородив ее кривым частоколом. На этих нелегальных сотках выращивали отменный урожай, обеспечивая дармовым провиантом быстро растущую семью (свой труд не считался) и отменной закусью — мужа.

Мужики здесь всегда пили много и тяжело, периодически впадая в запои и устраивая дебоши. Если пьяница отыгрывался не на жене, та искренне считала свой брак счастливым.

На протяжении многих лет кирпичный завод расселял своих неприхотливых трудяг по баракам и коммуналкам. Но в начале семидесятых сюда, наконец, просочилась хрущёвская *оттепель*, и начальством решено было строиться. «Каждой семье — по отдельной квартире!» Не коммунизм, конечно, но что-то вроде того.

Тогда и возникла эта серая пятиэтажка, начинённая микроскопическими кухнями, почти отсутствующими прихожими и не совпадающими с человеческими габаритами туалетами. И всё-таки это было неожиданно образовавшееся личное пространство, как обходиться с которым — подавляющее большинство просто не знало. А ещё была горячая вода, которую керосинила шипящая на всю кухню газовая колонка. И для неизбалованных граждан это был, конечно, полный разврат!

Потихоньку, ревностно поглядывая друг на друга, принялись обзаводиться шифоньерами, комодами и трюмо, заполнять типовые серванты сер-

визами и фужерами. Особым шиком считался ковёр на стене и люстра под потолком. Телевизор становился предметом первой необходимости. Книг дома не держали, разве что школьные учебники.

Но непринуждённость общения вполне сохранялась: в подъездах и на балконах разговаривали с таким расчётом, чтобы можно было докричаться до глухой подружки на другом конце деревни. Вообще вся интимность прежних общинных отношений никуда не делась. Особенно это ощутимо было на нашем — первом — этаже. Всё слышно, а ещё хуже — видно.

...Утро. Я, в то время студентка университета, только пролупив глаза, ещё в ночной рубашке, ставлю на плиту чайник. Вдруг форточка (которая в этом доме просто — третья часть окна) с грохотом распахивается, и ко мне в кухню засовывается с воли страшная харя. Харе, определённо, что-то надо. Обладатель хари требовательно шевелит грязными пальцами в сторону посуды. Ага, стакан, значит, требуется, из горла принципы не позволяют. Протягиваю банку из-под майонеза, обойдётся, аристократ не пророхший: «Вот, оставь себе».

Но физиономия не унимается: «Зжжватть...» — упорно шипит непослушными губищами. Спорить бесполезно. Проще выдать кусок хлеба. Пойдёт? И пара неизвестно сколько суток гудящих мужиков располагается со всеми удобствами на скамейке, прямо под нашими окнами. Полное впечатление, что я в этой компании третья. Только что не наливают.

Скамейку, конечно, пришлось срочно выкопать, но это мало что изменило. Компании стали усаживаться на травку, тоже в непосредственной близости от нашей личной жизни, и принимались на свежем воздухе от души пить, курить, мочиться и так далее, не отходя от кассы. Понятное дело, очень скоро воздух, поступающий из форточек, свежим назвать было трудно.

Но это ещё полбеды. По весне у кирпичников обычно резко активизировалась сексуальная жизнь. Да так, что мама не горюй! Например, соседка напротив, Клава, была одинокой женщиной средних лет с железными зубами во рту, могучей «химией» на голове и двумя детьми в однокомнатной квартире. Детей она родила, так и не успев сходить замуж. Мне она тогда казалась старой. На самом деле, было ей в те годы лет тридцать пять. Уж не знаю, чем она там была мазана, и что у неё был за секрет, но мужики всех мастей и возрастов, как кобели к нашей беспородной Бусе, просто стояли в очередь, карауля её под окном и в подъезде.

Такого успеха у противоположного пола я больше никогда в жизни не наблюдала. Клавка не была проституткой, она работала на заводе чуть ли не бухгалтером, но во внерабочее время становилась просто одержимой. Было это обычно так. Приходила Клава, усталая, со службы, ужинала, передевалась в широченную плиссированную юбку неопределённо-тёмного цвета и золочённую немислимими турецкими огурцами блузку, — и понеслось! Дзинь-дринь! Хлоп-топ! Следующий! И так до утра.

Перепадало и нам.

...Бреду я как-то поздно вечером в ванную, готовлюсь, обчитавшись высокохудожественной литературы, мирно отойти ко сну, — вдруг в распахнутую форточку влетает горячечный присвист: «Клава, я здесь! Можно?»

— Давай, если жить надоело!

— А чё так? — не понимает взбеленный парень (Ба! Молоденькие пошли! Совсем одурели!).

— Влезай, узнаешь, если в фортку просклизнёшь, — продолжаю я развлекаться.

— А чё, в дверь нельзя?

— В дверь-то и дурак войдёт, а ты в фортку давай, — подначиваю я Клавкиного хахалю. И вдруг вижу, как парень легко подтянулся к подоконнику и вот-вот просочится в не такое уж и маленькое отверстие.

— Пап! — ору я истошно. — Воры!

Парень оставшейся снаружи частью осыпается в темень и летит сломя голову.

Старшего, Димку, на время Клавкиных загулов брала к себе бабушка, во весь голос популярно объясняя причину очередного переселения: «Опять, мать твою за ногу, пошла, зараза, свистеть дырой!»

Видимо, благодаря этим перемещениям Димка как-то вырос, ушёл в армию и остался на сверхсрочную службу где-то на Дальнем Востоке. Клава потом, когда с возрастом чуть поостыла, этим фактом очень гордилась. Мол, воспитала воина. На армию вообще местные женщины возлагали большие надежды: в ней и дисциплине сын обучится, и человеком станет. Была такая вера.

А малолетнюю Клавкину Соньку тогда в расчёт никто не брал. Просто путалась под ногами. А потом она как-то незаметно выросла и запуталась окончательно: незаметно пристрастилась к травке, потом перешла на уколы и в восемнадцать лет тихо умерла под забором от передозировки. Как и не жила.

Вообще смертей, самых диких, в доме, как и во всей округе, было великое множество.

Жил у нас на третьем этаже дядя Саша — по виду настоящий Бармалей, кряжистый мужик с копной всегда нестриженных чёрных волос. Глаза немного навывкате, говорит неразборчивой скороговоркой. Жил он в двухкомнатной квартире вместе с женой, дочкой Люсей и зятем. Был ещё внук Ванька, семи лет, в котором дядя Саша души не чаял. Несчастья посыпались на мужика как из рога изобилия. Жену Людмилу, очень полную, нестарую ещё женщину, неожиданно разбил инсульт, и она слегла практически без движения. Вскоре ушёл из семьи зять, а дочь впала в депрессию — молча плакала и худела. Ванька стал дерзить и плохо учиться.

Дядя Саша вначале мужественно претерпевал свое горе. Но однажды его сорвало и понесло.

Он бросил ходить на завод. Только пил и спал. Потом деньги кончились, и дядя Саша пошёл по знакомым занимать на выпивку. Скоро кредит иссяк, а желание пустить себя в распыл всё не проходило. Особенно это желание обострялось по ночам. И тогда неумолимый дядя Саша, опухший, невымытый и заросший, принимался звонить в первую подвернувшуюся под

руку дверь. Он вдавливал кнопку звонка и держал её до тех пор, пока из квартиры не выскакивали разбуженные, переполошённые хозяева. Реакция, понятное дело, была разной. Кто-то сходу заезжал дяде Саше в распухший пятак; кто-то выносил выпить, понимая, что без *подкачки* пропадёт мужик; кто-то орал благим матом на весь подъезд...

Женщины с ним пробовали говорить, стыдили, напоминали про большую жену и любимого внука, но дядя Саша только бормотал в ответ что-то неразборчивое и вытаскивал дрожащими руками из-за пазухи то утюг, то шампунь, то ещё что-нибудь. Предлагал купить.

Добром это кончиться не могло.

...Нашу квартиру, полученную отцом-военным по разнарядке, дядя Саша обходил сколько мог. Стыдился. Всё-таки — не свои! Но *свои* все вышли, а пожар, бушевавший в мощной дядьсашиной груди, спалил последние принципы и тупо требовал подпитки. Уже любой ценой. И тогда...

Я проснулась от какого-то назойливого звука. Не сразу поняла, что это, как тревожная сигнализация, верещит наш мирный дверной звонок, — громко и беспрестанно.

Тогда ещё не принято было из-за двери задавать осторожные вопросы, типа: кто там и что надо? У нас в семье это вообще считалось дурным тоном. Обалдев от пронзительного звука, я просто распахнула дверь и чуть не закричала. На пороге стояло нечто — волосатое, опухшее, дрожащее. Оно скрючилось и что-то, не поднимая волосатой головы, шипело.

Это был дядя Саша. Он вынырнул из каких-то своих пучин и образовался перед нашей дверью глубокой январской ночью, босиком, в широких семейных трусах до колен, намертво припаяв грязный палец к звенящей кнопке. Судя по всему, он не слышал звука, не чувствовал холода, и уж, конечно, не испытывал стеснения от того, что перепугал чужих людей. Это был вой авральной сирены: люди хорошие, спасите! Погибаю! Дайте выпить!

На шум подлетели мои разбуженные родители, и мне велено было убираться в свою комнату.

Уснуть от увиденного я долго не могла. В кухне раздавался мамин голос. Она предлагала попеременно то горячего чая, то корвалола и валерьянки. В ответ слышались невнятные дядьсашины бормотанья и бульканья.

Через некоторое время отец повёл его домой, на третий этаж, но тот вдруг вырвался и бросился на улицу.

Вместе с дочкой Люсей отправились искать беглеца. Но того и след простыл. А утром возвращающиеся с ночной смены рабочие нашли его в сугробе. Замёрз дядя Саша. Или вначале умер от водки, а потом уже замёрз... Никто в этом особо не разбирался. Просто на третий день похоронили дядю Сашу, а на девятый убралась к нему под бочок и жена Людмила.

Так Люся стала завидной невестой с жилплощадью. Но ненадолго. Вскоре к ней вернулся муж. И она его приняла. Мужиками здесь западливые местные женщины не разбрасываются, даже пьяницами и ходоками. Авось, сгодится на что-нибудь!

А вскоре разыгралась в нашем подъезде и ещё одна трагедия. Та самая чистюля Катя, что стыдила Файку за плохо отстиранное бельё, неожиданно умерла. Пришедшие проститься бабы обнаружили с ней в одном гробу... мёртвого младенца.

Новость разнеслась быстро. Народ повалил узнать: что случилось? Но муж Митька молчал, а со старшей дочерью-подростком в соседней комнате беседовала милиция, результаты этой беседы общественности пока известны не были.

Зато на лестничной площадке проболталась Файка, которая была с Катей из одной деревни, жила этажом ниже, а главное — успешно делила с ней её мужа Митьку — здорового бугая с ранними залысынами на румяной физиономии.

В Файкиной версии это выглядело так. Катька, прости Господи, толстая корова. У неё ни хрена не поймёшь — так поправилась или уже беременная? Родила двоих и совсем расплылась. Ну, все видели, знаете... Так что удумала? Залетает, живёт себе спокойненько, а потом на больших сроках делает укол, йода, что ли... Вызывает роды, и простаётся дома потихому. Давно уже такое практиковала. А младенца уморит да и выкинет куда-нибудь.

— Как выкинет? — ахнули хором бабоньки.

— А вот так и выкинет, — подтвердила Файка. — И на этот раз хотела. Да что-то не пошло у неё: то ли со сроком затянула, то ли Бог наказал. Только родить-то она родила, дома, конечно, да тут кровотечение у неё и открылось. Лежит, истекает кровью, ждёт, когда младенец помрёт. Светка, дочка, ревмя ревёт, давай, говорит, мам, Скорую вызову, а та упёрлась — и ни в какую! Понятно ведь, сразу догадаются, что баба родила недавно, дитё искать начнут, так и в тюрьму загремишь за душегубство.

Вот и дождалась — и сама померла, и младенчика хорошенького такого, ну, вы видели, вон лежит, как ангел, — уморила.

Бабы слушают, онемели. Кто-то неумело крестится: «Господи, грех-то какой!» А Фая деловито продолжает:

— Теперь Светке младшего Борьку поднимать придётся. Осиротила Катька двоих...

Мысль о сиротах приводит женщин в чувство.

— А почему не отцу, не Митьке?

Фая и тут в курсе:

— Он куда-то завербовался, уезжать собирается. На Севера, что ли...

— Выходит, ни ей и ни тебе Митька не достался? — подытожила Клава, у которой по ходу дела сложились какие-то свои планы на освободившегося мужика. Здесь это делается быстро.

— Больно нужен... — фыркнула Файка.

— Раньше нужен был, — не отстаёт соседка.

— Так то — раньше. У нас с покойной свои счёты... были.

— А-а-а... А чё это Митька заторопился? Может, рыльце в пушку? Может, сообщник был Катькин? — простодушно вывалила Клава то, о чём думалось каждой.

Фая передёргивает плечами:

— А тебе что, обязательно посадить его хочется? Если не тебе, то и в тюрьму не жалко? О детях подумай! Светка-то совсем без подмоги останется.

— Это да... — опомнилась Клавка. — Да я просто... разговариваю...

— Думай, что говоришь! — рывкнула вдруг Файка. — Мало тебе своих кобелей, уж и на Митьку рот свой поганый раззявила!

— Эт у кого это рот поганый?! — пошла в наступление Клавка.

На обеих зашикали:

— Гроб вон стоит, а вы собачитесь, нашли время! Уйдите с глаз обе, бесстыжие, тут Светка вон плачет!

— Сучки др-р-я-ные! — прошипел туберкулёзной фистулой появившийся из своей *однушки* ещё один обитатель вертепа — скелетообразный Гришка, о котором местная молва толковала страшное. И с полудохлой радостью добавил на неискоренимом блатном наречии ещё пару фраз, не поддающихся не только литературному переводу, но и самому разнужданному воображению.

Он прошаркал к гробу, с нескрываемым удовлетворением рассмотрел соседку Катерину и убиенного ею младенца и молча двинулся к выходу.

К этому времени публика поприличнее ретировалась на этаж ниже, от греха подальше. Гришка даже в этих небрезгливых краях был персоной *нон грата*. Большую часть своей жизни он провёл в тюрьме. Там научился валить деревья, пристрастился к цифирю и заработал туберкулёз в открытой форме. Было ему сейчас лет сорок пять, но выглядел он на все семьдесят — худой, зелёный, желчный. Еле ноги таскает. Со своего пятого этажа уже не спускается, сидит целыми днями на балконе и выхаркивает на прохожих остатки своих прогнивших насквозь лёгких. Радует, если попадёт. Уж что только ни делали жильцы, чтобы угомонить зэчару. И просили, и требовали, и про детей, что играют внизу, рассказывали. А он, зная себе, хохочет, запрокинув змеиную голову и выкатив чудовищных размеров кадык.

Оставалось лишь набить ему морду. Мужиков останавливало одно: помрёт, зараза, а ты потом, как за порядочного, в тюрьму сядешь. (Тюрьма вообще неизменно входила в круг соображений кирпичников. Тем более что многие продолжали тянуть свой срок, освободившись очень условно.)

Если бы не жена его Мария, которая работала начальником смены и за многолетний безропотный труд и получила эту квартиру, — с Гришкой, конечно бы, расправились. Но Машу уважали и жалели. Была она женщина тихая, работящая, убогая. В детстве переболела полиомиелитом и с тех пор при ходьбе сильно кренилась в правую сторону, что не мешало ей справляться со своими неженскими обязанностями на работе и с нечеловечески ми — дома.

С Гришкой она познакомилась восемь лет назад по переписке. При личном свидании пожалела мужика — уж больно он ей отца напомнил, на фотографии, где тот после блокадного Питера был сфотографирован. Кожа да кости. Отец прожил недолго, а Мария на всю жизнь сохранила свои детские воспоминания о нём: как любил её, баловал, как весело играл на балалайке. И как горько она плакала, когда отца не стало.

Гришка на первом же тюремном свидании позвал её замуж, а она и пошла. И сразу по возвращении начала писать письма в разные высокие инстанции, хлопотать о Гришкином лечении (на его освобождение она не рассчитывала!).

Вместо этого через три года, после очередного консилиума, доверившись прогнозу врачей, что с такими лёгкими просто не живут, — Гришку неожиданно условно выпустили — к жене, умирать. Однако вот, благодаря стараниям Марии, он жил уже пятый год.

Бабы шушукались меж собой: и как она *такого* не боится? Ведь если не зарежет, то заразит — точно! И что за радость с таким большим и страшным жить?

Как они жили — никому известно не было, за их дверью было тихо, а Мария про свою семейную жизнь молчала, да и Гришка на эту тему особо не распространялся.

Вообще отношение к рождению, жизни и смерти в кирпичном околотке было самым будничным. Женщинам положено рожать — и рожали; положено стирать, готовить, растить детей — и делали это всё, не слишком задумываясь ни над процессом, ни над результатами. Никого как-то особо не волновало, что в их детском саду детей не развивают, а пасут; что у деток там почти поголовно глисты, а частенько и вши; что в близлежащей школе, куда ходят их детишки, знания дают слабые, для поступления в институт недостаточные.

Да и на кой тот институт? Инженеры, вон, меньше наших работяг на заводе получают. Ну и всё!

Так на моих глазах новорожденные ангелята в колясках вскоре превращались в точную копию своих родителей: рано прилаживались к табаку и бутылке, ошивались ватагами по гаражам и подъездам, чуть не публично демонстрируя чудеса раннего полового созревания. Наркотики в этой питательной среде заводились, как тараканы в грязной кухне. Теперь понятно, почему армейская служба была в таком авторитете у местных матерей: может, за два года сынок разучится пить и куролесить!

Надо признать, что демобилизовавшиеся сынки подпитывали эту надежду: поначалу ходили с нездешней выправкой и пили очень дисциплинированно — не со всеми подряд и не где попало. Правда, очень недолго...

И было очень жаль женщин: зачем мучились, рожали? Зачем ночей не спали, растили? Зачем таскали на себе дитя по поликлиникам на прививки и лечение? Зачем стирали себе руки и горбатили спины над корытами? Зачем всё это, если в результате неизменно получается чёрт-те что?

...Грязнувшую перестройку кирпичное потомство встретило вполне готовым к трудовым свершениям на ниве проституции, рэкета, спекуляции и сутенёрства. Юная самогонщица Танька стала легальным предпринимателем в ничем не стесняемых обстоятельствах, она по-стахановски круглосуточно разбавляла водой из-под крана нечто под названием «Рояль», едва успевая разливать драгоценное зелье по собранным на помойке пластиковым бутылкам.

Отошли в прошлое и бесплатные ночные забавы. Постаревшую Клавку быстро сменили не успевшие толком вырасти конкурентки. И образовалось их такое множество, что местным паханам (они тоже, оказывается, были наготове и как-то быстро стали в открытую хозяйничать), — так вот, им очень скоро пришлось организовывать притон с размахом, приспособив для этого *отжатый* у некогда богатых железнодорожных профсоюзов их загородный пансионат.

Главная шалава Ленка, из шестой квартиры, была делегирована активизировавшимся общаком на курсы повышения квалификации почти что за границу — в Прибалтику. И сразу всё стало грамотно и культурно: товар — деньги — товар. И деньги вперёд. Судя по тому, как гордо подъезжала к дому на импортном авто с личным шофёром эта бизнесвумен, дела у них спорились.

Народ попроще вообще узнал много нового. Например, что *счётчик* — это совсем не тот чёрный ящик с дыркой, считающий электрические киловатты, а что-то совсем другое, учитывающее дни и деньги, которых всё равно не хватит, чтобы выкупить свою никчёмную жизнь. *Поставленные на счётчик* были обречены.

...Жила в нашем подъезде на четвёртом этаже большая семья: муж — рабочий-кирпичник, его жена и трое детей. Старший сын Васька в армию не ходил, видимо, по причине некоторой дураковатости. Но с лица был ничего, а потому женился рано и быстро настрогал двоих детей. Всем этим колхозом они разместились в десятиметровой изолированной комнатке, щедро выделенной родителями из имеющихся сорока пяти квадратов.

Васькина жена Зоя оказалась женщиной работающей, пробивной и скандальной. Поняв, что на десяти квадратных метрах вчетвером, да ещё и со свекровью, жить у них с Васей вряд ли получится, она принялась действовать. Пристроив детей в местные ясли-садик, безо всяких там декретов, пошла работать на кирпичный завод и скоро добилась в коммуналке отдельной комнаты попросторней. На том не остановилась. Нашла себе ещё одну работу, уборщицей, потом уговорила свою деревенскую родню продать скотину и внесла первый пай за кооперативную двухкомнатную квартиру. Это была вторая (и последняя) новостройка кирпичного завода. Зойка успела туда, буквально впрыгнув в уходящий поезд!

В то время как худенькая Зоя в своей пыльной, несгибаемой робе металась между работами, детьми и домом, её муж Васька, вальяжный и растолстевший, во всём чистом, ходил на службу в ресторан «Азия». Служил он там то ли сторожем, то ли вышибалой.

Зоя мужем чрезвычайно гордилась. И то сказать, был Василий, не в пример остальным, без вредных привычек: не пил, не курил, не шалберничал. Правда, играл. В карты. Но до перестройки это было невинно (самый большой *интерес* — ящик дефицитного пива). Однако вскоре Васёк сыгрнул по-взрослому и влип по полной.

Началось с того, что Вася вдруг исчез. Тогда, в начале девяностых, людей вообще пропадало много. Останки некоторых потом находили на городской свалке или откапывали в лесопосадках, кого-то вылавливали

из реки, кто-то исчезал бесследно. Выстрелы звучали среди бела дня. Разборки шли пачками, буквально стенка на стенку. Уголовный мир алчно грабил и бодро сколачивал первоначальный капитал.

Сбитые с толку, запуганные мирные граждане, лишившись работы и стабильности, обвешившись виртуальной и реальной уголовщины, вовлечённые в водоворот всеобщего разрушения, быстро утратили способность сочувствовать и удивляться. Разбрелись по своим углам и затаились.

Так что Васьки хватились не сразу, тем более что Зойка продолжала метаться в прежнем ритме, разве что ещё больше похудела и почернела. Между тем на вдову она, вроде бы, не походила, не плакала, а потому особенно никто и не вникал: их дела, найдётся мужик, наверное... Тем более что не только Зойка, но и Васькины родители про его исчезновение говорили крайне неохотно.

И только когда Зоя с детишками и нехитрым своим домашним скарбом вновь переехала в барак, выяснилось, что Васька не просто исчез, он, оказывается, проиграл в карты новую квартиру и был *поставлен на счётчик*.

Остаётся только догадываться, что пережила Зоя, разве что душу не заложившая за свою кровную «двушку».

Слухи ходили разные: что Васька будто бы жив и прячется где-то в деревне; кто-то, вроде бы, видел его на югах; другие говорили, что он завербовался в Испанию апельсины собирать. Как бы то ни было, Васю больше никто не видел. Но Зою теперь это не слишком волновало — ей надо было в одиночку поднимать двоих детей и как-то продолжать разбираться с бандюганами, которые, даже отобрав квартиру, не оставляли её в покое.

Если и раньше меня удивляла готовность кирпичников пустить себя на распыл, причём в самых диких формах, то в перестроечное время эта готовность приобрела характер эпидемии. У нас в подъезде она получилась с запахом уксуса. В том смысле, что сразу несколько человек дорогу на тот свет нашли именно в бутылке с уксусной эссенцией.

Как объясняют специалисты, только у нас в России это дёшево, доступно и надёжно.

... Восемнадцатилетний Костик совсем не походил ни на какого мужа. Между тем толстенная Галя с пятого этажа — та, что с короткими ногами и поперёк себя шире, — привезла его к себе из родной деревни именно в этом качестве.

В Михайловке Костик, как и его мать, учительница местной малокомплектной школы, Ольга Ивановна, были, конечно, белыми воронами. Ольга Ивановна приехала в сельскую школу по распределению, после университета, в 76 году, да там и осталась. Ей поручили вести чуть не все предметы, от физкультуры до пения, зато обещали помогать и не обманули — выделили заброшенный дом на окраине деревни, куда она перевезла чемодан с вещами и коробки с книгами и пластинками.

Вскоре родила Ольга Ивановна сына Костика — милое существо в кудрях и складках. Отцом Костика (как теперь говорят, *биологическим*

отцом) был Костя Лисовский — танцовщик из областного театра оперы и балета. Ольга все пять лет, пока училась, подрабатывала в этом театре осветителем. Там и подработала себе очаровательного мальчишку.

Мать умерла, когда Ольге исполнилось тринадцать лет. Жили они вдвоём с отцом в крошечной однокомнатной квартире на девятом этаже. Жили бедно и недружно. Отец после смерти жены сломался и часто напиивался в хлам, а потом сидел в сиротской кухне и плакал в голос, размазывая по заросшей щеке мутные слёзы.

Так что деревенское жильё Ольге Ивановне было очень кстати, особенно ввиду прибавления семейства, которое будущая мать, сколько могла, держала от всех в строжайшей тайне.

Сына своего она обожала, это был тихий, послушный ребёнок, и они практически не разлучались. Ольга Ивановна ведёт уроки, а Костик при ней в классе — сидит за последней партой, читает-рисует-лепит. Так и вырос. Даже не друг — подружка! Мать с сыном то болтали без умолку, а то замолкали на несколько часов, под настроение. У них это как-то синхронно получалось, без напыга. Фоном для разговоров и молчания почти всегда была обожаемая Ольгой Ивановной оперная музыка.

Они часто строили планы о том, как Костик после школы поступит в университет, станет студентом, будет ходить в театры, жить у деда.

Вначале всё пошло наперекосяк с дедом.

Дело в том, что, оставшись в одиночестве, Ольгин отец стал часто болеть, ему потребовалась помощь, и к нему определили делать уколы и другие процедуры молоденькую медсестричку из поликлиники. Сестричка с её процедурами оказалась не душой, она быстро сориентировалась и женила на себе одинокого больного, для надёжности (контрольный выстрел!) добившись от него завещания исключительно на своё имя. Почему-то отец это сделал.

Так что, когда Ольга Ивановна, получив телеграмму о смерти отца, приехала на похороны и узнала все эти новости, — дело было сделано. Чувствуя себя виноватой перед отцом, она не стала ничего оспаривать, просто заторопилась домой и, добравшись до места, объявила Костику, что нет теперь у него ни деда, ни квартиры.

Но Костик и не думал расстраиваться: дед своего он практически не знал, а печалиться о такой мелочи, как квартира, ему и в голову не приходило! Мать постаралась, воспитула свою копию — сделала из парня книголюбца, меломана, одним словом — абсолютно не приспособленного к реальной жизни человека. К тому же был он в том нежном возрасте, когда откуда-то бралась уверенность, что всё у него устроится самым волшебным образом: и учёба, и жильё, и, конечно, личная жизнь.

Костик перешёл в десятый класс, когда приехала к ним в Михайловку Галя. Здесь у неё жила мать, баба Вера Обухова, их соседка, — кроткая, религиозная женщина.

Галя, конечно, и раньше к ней приезжала, но нечасто, и тогда их с Костином пути как-то не пересекались. А тут пересеклись. В то лето Костик был особенно хорош, он повзрослел, вытянулся, возмужал. Гале он очень понравился.

К тому же и мать вдруг попросила ее за Костика. Мол, сделай, Галя, божеское дело, мальчик на следующее лето в город собирается, на учителя учиться. Для общежития он, ты же видишь, не пригоден, мальчик хороший, домашний, может, пустишь на постой? Ну, хоть для начала, пока не освоится в городе. Приглядишь за ним.

Уж больно люди они хорошие. По первому зову идут, я только на них и надеюсь. Случись что — ты далеко, а они тут, рядышком, помогай им Бог!

У Гали аж слюнки потекли, еле сдержалась, чтоб аппетит свой женский не выдать. Сделала постную физиономию и пообещала: мол, если просишь, пущу, конечно, друг дружке помогать надо.

И к Ольге Ивановне сходилась, не поленилась, тоже пообещала. Та обрадовалась, обнимать кинулась.

Никому тогда и в голову не пришло, что взрослая женщина Галя имеет какие-то свои виды на этого неопытного курёнка.

Галя была старше Костика на семь лет, но вообще-то дело даже не в возрасте — это были люди практически из очень параллельных миров. Он — наивный дуралей, почерпнувший сведения о жизни из книг и от мамы. Она — взрослая женщина, хитрая и практичная. У него к восемнадцати годам дым в голове — так, мечтанья одни! А у неё к двадцати пяти — довольно серьёзное прошлое: три года сожительства с человеком, которого пару лет назад посадили за разбой.

Кроме тяжёлого женского опыта, у Гали от той поры осталось и кое-что посушественней: лихие двойняшки Митька и Витька, которые, как только научились ходить, стали нещадно тузить друг друга. «Все в батюшку родимого...» — вздыхала баба Вера, разнимая драчунов.

Но сама Галя не унывала. По мере того как с тела начали исчезать следы мужниного внимания, она снова ощутила прилив сил и интереса к противоположному полу.

Галя всегда сама зарабатывала на жизнь, она была портнихой, причём, хорошей портнихой, недостатка в клиентах у неё никогда не было, так что денежки у Гали водились. Раньше, конечно, было лучше, пока не выплыло на базары китайское и турецкое тряпье. Но и сейчас к ней часто обращались: что-то срочно пошить, укоротить, перелицевать, обновить... За всё бралась. Вот и лифчики шить научилась. В магазине-то дорого, да и не всегда найдёшь нужный размер. У наших бабонек-то ого-го! А тут — пожалуйста, по персональному замеру! Из хэбэ, всё натуральное, к телу приятное. Так что, нет, грех жаловаться, не жирует она, конечно, но на хлеб хватает.

Квартирант бы какой не помешал, Галя и сама об этом думала, но в округе были всё кандидаты, типа её бывшего мужа: детей строгаёт, а ты и родить не успеешь, как он в тюрьму загремит. Ну, уж нет! Такие жильцы ей не нужны! Вот Костик — другое дело! Подожду годик, решила женщина, оно того стоит!

А на следующее лето Костик поселился у Гали. Он хорошо сдал экзамены в пединститут и при малом перестроечном конкурсе легко поступил учиться на учителя начальных классов, как и мечтали они с мамой.

Митька с Витькой уходили теперь на весь день в садик, а Галя на приволье вдумчиво обхаживала Костика: готовила ему борщи, пекла пирожки с повидлом, подгоняла по фигуре брюки и пиджаки, гладила рубашки. Через неделю она ночью забралась к нему под одеяло и прихлопнула ладошкой его открывшийся от удивления рот.

Воспитанный матерью в твёрдых моральных устоях, преисполненный благодарности к своей хозяйке, Костик не нашёл ничего лучше, как жечь на ней.

От этой новости все — и в доме, и в Михайловке — были в шоке. Но дело было сделано.

А дальше — что и должно было быть: заработали, набирая обороты, центробежные силы: ему надо в библиотеку, ей — чтоб грядки копал; в консерватории органнный концерт, а у Гали — генеральная уборка; сокурсники собрались в Ясную Поляну, а Галя нашла ему приработок.

Очень скоро Галя принялась ревновать Костика ко всему подряд: к институту, книжкам, новым знакомым. Она следила за ним, устраивая скандалы за любое опоздание, подозревала в корысти. Кричала, что Костик живёт с ней, пока учится, пока ему деться некуда. Что привела, дура, нищего. Что толку от него нет ни днём, ни ночью.

Язык, на котором изъяснялась его жена, Косте был неизвестен. Вначале он пытался что-то говорить, потом понял, что бесполезно, и замолчал.

Она же так боялась потерять своего студентика, что сделала его жизнь невыносимой. Закончилось тем, что через полгода он ушёл к другу на квартиру. Галя на следующий же день полетела в деканат. Рыдала, требовала вернуть мужа, призвать его к ответственности, врала, что ждёт от него ребёнка.

У Костика в институте начались неприятности, ребята его подкальвали, декан посматривал с подозрением. Пришлось вернуться, но это мало что изменило. Скоро всё пошло по-прежнему: слезка, истерики, попреки. Костя совсем запутался.

Положение осложнялось тем, что и мама, вроде бы, была не на его стороне. Приехав к ним в гости, она так и не поговорила с сыном по душам, зато одобрила Галины борщи и занавески. Она, конечно, заметила, что Костик изменился: повзрослел, выглядит как городской, вот только невесёлый какой-то. Но ведь жизнь — штука сложная, решила она и, усаживаясь в поезд, велела сыну быть умным и терпеть.

Костик протерпел ещё полгода. А потом хлебнул уксусной эссенции и шагнул с балкона. Чтоб наверняка.

Получилось.

...Зачем я потревожила этих бедолаг своими воспоминаниями? Ведь давно это было, уже уехала оттуда, и вообще — нашла тоже время! Качу в комфортабельном автобусе посреди благополучной Европы и тащу за собой свои самые невозможные мысли.

И опять почему-то припомнилось, что ещё три-четыре десятка лет назад именно спокойные шведы, которые и тогда занимали одно из первых мест в мире по уровню жизни, были на тех же местах и по уровню само-

убийств. Парадокс! У этих-то, вроде бы, всё было: дом, машина, может быть, и яхта... Тогда, помнится, в наших газетах не без ехидства писали о том, что нет у шведов самого главного — целей, которые удерживали бы их от последнего шага.

Другое, мол, дело — советский человек: сплошные преодоления и победы. В большом и в малом. И это тонизирует. К примеру, втискивается наш человек в битком набитый троллейбус — маленькая, но победа. Достал в честной драке пару детских колготок — и счастлив. Привёз из Москвы палку колбасы — и жирует в блаженстве. И вывод: постоянно человеку надо к чему-то стремиться, что-то преодолевать... Тогда и бодрость духа будет неимоверная.

С преодолением и сейчас у нас всё в порядке. Не только автобусную толчею — перестройку кровавой ценой одолели; с безработицей, не считая потерь, боремся; через кризисы разные, теряя народ, переваливаем с завидной регулярностью. Растеряли своих — не считано! Это насчёт преодоления.

Вот только с целями проблема. Для чего преодолевали-то? На какой алтарь эти бессчётные жертвы? И как бедному разуму тех, кто ждёт своего часа в терпеливой очереди, не поломаться, наблюдая за невероятными ухищрениями сограждан, пытающихся проскользнуть на тот свет с заднего крыльца?

А может, как когда-то в очереди за водкой, встать плотной стеной и не пускать никого — без очереди? Всем миром держать оборону. Поддерживать, убеждать, помогать. Если надо — наподдать. Может, теперь это и есть наша главная задача? — Уцелеть. Выжить. Сохраниться. А там, Бог даст, доживём и до других целей. Если доживём.



Дмитрий РАТНИКОВ

/ Смоленск /

АНТИЧНОСТЬ 2.0

*Лёле,
свидетелю не нашей эры*

I

Ты выходишь утром из душа на босу ногу, —
как когда-то древний философ, накинув тогу,
выходил на квадрат агоры, будь то — под своды храма, —
и стоишь в полотенце, точно оживший мрамор;
мир застыл, что у Скиллского мыса — триера,
и повсюду, где взгляда хватает, не наша эра,
а руины античности: статуи в зелени лавра;
и чугунная ванна в сбруе сего барахла
упирается краем в ладони, ища тепла,
точно в стойле — бедро кентавра.

II

«Дом Культуры» — диптерическая колоннада,
точно делимый атом в момент своего распада,
смешивается с тенями. В этой архитектуре —
образ времени в миниатюре.
По утру светило, застревающее в кипарисе,
оголяет обломки фермы по биссектрисе,
остаются от зданий части, что рифма от
песни, становится слышно, как ропщут травы,
и смиренно выходит на место рогатый скот,
оборачиваясь в минотавров.

III

Провинциальный полис — точно утраченный эпос;
в полночь вещи вырастают обратно — в эйдос,

то есть — в хаос, в космос, точнее — в логос.
И над ухом писаки Евтерпа терзает голос,
будто в душном саду цикада творя мимесис.
Бородатые боги держат в ладонях месяц,
отражаясь на дне колодца из стратосферы;
в полночь ветер яблоню клонит туда-сюда,
ее тени текут, что под землей вода,
как у Платона в пещере.

IV

Вода, несомненно, прекраснее, чем что-либо, —
особенно ранней весной во время ливня
в прибрежном городе, что на краю обрыва
лег плашмя, как сухопутная рыба, —
ибо вода — есть причина любого предмета,
в том числе — философии, бытия примата;
прекрасно о том полагал Фалес из Милета:
материя, коль существует — течет всегда,
точно и речь мудреца, — все одно вода, —
которой нету названья и нет возврата.

V

С наступлением сна, заползающего под веко,
точно волна морская под лодку во время ветра,
человек превращается в память, ее отражение,
в череду событий, помнящих происхождение —
выходящей на сушу рыбы, амфибии, динозавра,
птицы с чириканьем, что наступило «завтра»,
в древнегреческий профиль в двойном овале
на раскопках в складках, ризóмах плато,
в абсолютную душу, эйдос, и в то,
чему названья еще не дали.

VI

Лунная ночь в квартире. От беспокойства
в спальне голое тело находит свойство
анатомии статуй, лишенных ворса —
мускулов, складок торса.
И сползает с бедра одеяло у смуглой девки,
точно кокон — у бабочки-однодневки.
Я смотрю на нее молчаливей сфинкса:
в полутьме остаются от сей фигуры
только части, будто от фурнитуры,
точно слепок из гипса.

VII

Совершенно забытый всеми кусок равнины,
там когда-то стояли храмы — теперь руины.
На три тысячи стадий отстроенный остров
погружался, точно тритона остов.
В той Империи знали, как сеять пашни,
как вырывать каналы и строить башни,
как побеждать на войне и плести интриги,
но богам стало страшно. И все исчезло.
Есть такие Империи, коим свободного места
не хватает даже в начале книги.

VIII

Говоря о звездах, горящих вверху во сто крат
сильнее светильника в южном краю менад,
точно на дне кувшина с красным вином и над,
вел диалог по душам Сократ.
Вел диалог, вспоминая себя, да тряс бородкой.
Вечность делала жизнь короткой —
профиль созвездий, что дан окулярам,
мир отражал в чем мать родила,
вещи свои покидали тела,
словно музыка — полость футляра.

IX

Весною нимфы дурнеют, в этом закон «натуры»:
в городе, выросшем в зарослях сорной дурры,
бабы выходят из дома, точно полускульптуры
с примесью ландыша, арматуры;
бедрa, запястья, груди, мышцы, каркас костей —
все их тела и души собраны из частей
амфоры, арфы, клине, некой такой вещицы
из интерьера спальни за чешуей портьеры;
и даже при этом всем тела такой гетеры,
мучая, не добиться.

X

В полдень свет застревает в кроне садовых дерев,
оголяет углы и окружности стройных дев.
Как сказал бы когда-то Пракситель: их нагота
заключается в скобках грудей, живота;
но и этим формам в хитоне менять свой вид, —
суждено обратиться в мрамор, не то в гранит;

тем не менее, камень — тоже источник мер.
Девы бродят, качая бедром, возмущая вокруг
всю природу, как будто подделки Венер, —
совершенны, — без ног и рук.

XI

Вечеру небеса выжимают поток воды.
Ты приходишь домой с безымянной войны,
на которой забыл, где свои, и, сказать не грех,
снимаешь рубашку, точно литой доспех;
хочется пить вино и смотреть натошак,
как замирают вещи при взгляде, как
буря за стеклами воеет, как будто в горны.
В это мгновенье по телу ползет усталость
и плоть каменеет, точно и ей досталось
от взгляда медузы-горгоны.



Анастасия ФИЛИМОНОВА

/ Берлин /

ЧУГУНИХА

Занятий у Чугунихи всегда хватало. Маленькая, сухонькая, не по годам бодрая старушка, дочерна загорелая, в по-восточному пёстрых обносках и калошах на босу ногу. С сиротливыми сизыми глазами, выбивающимися из-под платка жидкими седыми волосами и торчащими веером железными зубами. Карманы её полны были жареных семечек, алычи и зелёного гороха, который Чугуниха лущила с такой скоростью, что вся местная голопузая шпана в возрасте от четырёх лет застывала в немом восторге и восхищении при виде такого божественного дара.

Чугуниха внезапно появлялась в неожиданных местах, в самой гуще событий. Гуща эта иной раз заваривалась не без непосредственного её, Чугунихи, участия. Не зря старые люди приговаривают, будто новости по станции распространяются со скоростью Чугунихи. Она заменяла собой сериалы, женские журналы, и даже святая святых станичников — газету «Жизнь», журналисты которой многому могли бы у неё поучиться.

Чугуниха доподлинно знала о наведённых порчах и сделанных приворотах, о дурных болезнях, о том, кто с кем кому изменил или только ещё намеревался. И конечно, о тех, кто ещё и думать не собирался.

В истории свои Чугуниха вкладывала столько изощрённой фантазии, а рассказывала их так вдохновенно, что при других обстоятельствах могла бы стать королевой любовного или детективного романа. Но так как произведений её никто не записывал, со временем они становились фольклором.

К тому же, у Чугунихи был прекрасный голос, и одно время она даже пела в церковном хоре. Пока вусмерть не переругалась с батюшкой и остальными хористками, как только выяснилось, что серебряная церковная утварь осела у Чугуновых дома. Впрочем, саму Соньку Серебряную Ручку конец певческой карьеры нимало не обеспокоил.

А ещё была Чугуниха матерью-героиней, чему имелось подтверждение в виде медали. В далёком детстве Чугунихино потомство посещало коррекционную школу, но только трое из десяти её закончили. Чугунята доводили до белого каления учителей, соцработников и районную детскую комнату милиции. Поджигали школу, вешали собак, сдавали в металлолом

надгробья и дорожные знаки, мочились на Вечный огонь в тщетной надежде его затушить. Маменьку вызывали на ковёр, она горестно кивала, обещая спустить «с малолетних развратников» три шкуры, и даже гонялась за ними по улице со здоровенным дрыном. Правда, без особого успеха. Собственно, с тех пор для Чугуновых в этом отношении мало что изменилось. Разве что масштаб действий.

Кормилось многочисленное Чугунихино семейство преимущественно собирательством того, что росло на колхозных грядках, а также продажей всего, что плохо лежало. И ещё Чугуновы были постоянными клиентами на бойне: выпрашивали или покупали за копейки коровьи хвосты, копыта, кишки, птичьи лапки, и варили свою добычу в огромном котле прямо посреди двора, так что жирный, густой и тяжёлый запах настигал уже на дальних подступах к дому.

В том же котле Чугуниха раз в несколько месяцев вываривала одежду, на что у неё имелись веские причины. Во-первых, это помогало избавиться от вшей, клопов и прочих непрошенных соседей. Во-вторых, новой одежды Чугуновы практически не покупали, а та, что они носили, доставалась им от мёртвых. Дело в том, что глава семейства была профессиональной плакальщицей. Каким-то таинственным образом она раньше прочих узнавала о печальных событиях, и первой оказывалась в нужное время в нужном месте, чтобы всласть (и весьма убедительно!) поплакать, поесть и выпить на дармовщинку, и, разумеется, что-нибудь выклянчить. Хорошую одежду она продавала или сдавала в комиссионку, а что похуже — обменивала на самогонку или донашивала сама.

* * *

Уже мало кто из станичников застал дочугунихинские времена. И лишь немногие помнили, как местный добряк и недотёпа Ярослав, он же Славочка, которого выгнали сперва из университета, потом из колхоза, и наконец, из милиции, вернулся домой не с пустыми руками, а с трофеем в виде молодой жены, спасая ее тем самым от тюремного заключения.

О чугунихином прошлом ничего доподлинно известно не было. Менялось оно у неё чаще, чем бельё на верёвке. То был её легендарный папочка хирургом, зав. отделением в ростовской больнице, то капитаном дальнего плавания, то лётчиком, то бандитом в Одессе. То греком, то немцем, а то и испанцем. Сама она родилась вроде как в Сибири, но потом в списке родных городов отметились Владивосток, Ереван и даже Улан-Батор. Причём, судя по подробнейшим реалистичным описаниям, пожить она все-таки успела в каждом из них. Болтали, с чугунихиной же подачи, что в своё время она начинала учиться на швею-мотористку, аптекаря, кондитера и даже на трактористку, нигде, впрочем, надолго не задерживаясь. Пока не споткнулась, по собственному выражению, о Славку-козявку. Теперь же она строила планы перебраться в город и стать артисткой.

Славочка потихоньку спивался, становясь махровым подкаблучником, а Чугуниха в молодые годы слыла известной щеголихой и пользовалась немалым успехом у мужчин. «У-у, кусок шаболды», — шипели старики вслед.

Поначалу замужество казалось ей лишь временным пристанищем, перевалочным пунктом на пути к чему-то большему, но чем дальше, тем глубже засасывало её уютное болото станичной жизни. О том, чтобы уехать, она уже не заговаривала, рожая одного за другим, слишком скоро опустившись, изнашившись и состарившись.

Как-то раз на Пасху в кругу нарядных, сытых и пьяных станичников дёрнул чёрт Славочку за язык похвастаться, что у кого, мол, машина, у кого скотина, а у него, счастливчика, восемь сыновей и две девочки, такое ему богатство привалило. «А хочешь, я тебе тоже похвастаюсь? — подняла на него невинные голубые глаза супруга, — Ни один из них не твой, Славка».

После этих слов всегда такого тихого и безобидного Славика, теперь погнавшегося за Чугунихой по станице с топором, пришлось сдать в отделение. Семейная жизнь их дала трещину, и вскоре Славочка убрался из станицы от греха подальше, оставив за собой широкий след из алиментов. А Чугуниха так никуда и не уехала и ещё многие десятилетия не давала скучать себе и другим.

* * *

До глубокой старости отличалась она завидным здоровьем, только что боли в спине очень уж её донимали. Не особо доверяя традиционной медицине, Чугуниха отправилась к доморощенной массажистке-костоправу. Та сломала ей позвоночник.

Через три дня Чугуниха умерла в больнице. Она не жаловалась, только обиженно смотрела в окно и тихо плакала, размазывая слёзы крошечным кулачком по сморщенному личику и не желая ни с кем разговаривать.

На похороны собралась вся станица. Организацию взял на себя колхоз, в котором Чугуниха проработала до пенсии, и из которого одного за другим за воровство или за пьянку поувольняли её сыновей. И похороны, и поминки вышли очень достойными. Только вот не верилось никому, что у истории этой невзрачной такой конец.

Неделю спустя, протрезвав, Чугунихины дети отправились к нотариусу, чтобы уладить необходимые формальности. Тут-то станицу как громом поразила новость: на сберегательной книжке у Чугунихи лежало 87 тысяч рублей. Сумма по станичным меркам огромная. Как ей удалось столько накопить? На что она откладывала? О чём мечтала? Бабы сон и аппетит потеряли, зубы себе под корень сточили. Оставалось им одно лекарство: хоть умри, но придумай. Так что слухи о чугунихином богатстве ходили самые невероятные.

Четыре месяца у Чугунихиного дома дым коромыслом стоял — ребята пропивали маменькино наследство, гуляли алкаши местные и окрестные. И только приезжавший раз в неделю из райцентра нотариус знал, но молчал.

Знал о том, что началось всё много лет назад с большой несправедливости. После того как за передовые успехи в работе поездкой на золотые пески Болгарии наградили не её, а дочку бригадира, Чугуниха, обидевшись на весь мир, решила купить путёвку сама: «За жисть окаянную хоть отдохнуть по-человечески». Почти три года она откладывала каждую добытую

правдами и неправдами копейку, но, скопив нужную сумму, узнала, что беременна вторым ребёнком. Беременность проходила тяжело, Чугуниху положили на сохранение, а потом ещё, как назло, старшенький заболел. Так и не пришлось ей в Болгарию съездить.

Через пару лет появилась у Чугунихи новая мечта. Как только соседи обзавелись последней модели «Жигулями», у неё прямо пелена с глаз упала: вот, оказывается, чего ей недоставало! Поди-ка намотай двенадцать километров туда-обратно в бригаду по самому пеклу. Оно, конечно, оскотишься тут. Нет бы, взять бы доехать, а после работы со всеми разбойниками вместе по холодку искупаться съездить, а не тащиться через лес, как тёлка на бойню. В больницу, опять же, а то и за покупками. Или вон, в санаторий. Да мало ли куда, хоть бы и на море Чёрное. Живут же люди!

Начали они всем семейством на машину теперь откладывать. И почти уж совсем было накопили, когда Чугуниха вместо машины надумала лучше акции АО «МММ» купить. В общем, как у людей — опять не вышло.

Вскоре за этим событием последовал развод, и мечтать стало некогда. Зато после развода к чугунихинским источникам дохода добавились ещё и алименты, так что на этот раз дело пошло быстрее. К этому времени она стала собирать на домик на берегу моря. Ну или хотя бы на квартирку в Туапсе где-нибудь. Когда на Черноморское побережье пришло страшное наводнение, Чугуниха подумала только, хорошо, что ещё не купила.

И тут углядела она по телевизору сюжет о доме престарелых в Подмосковье. Бабушки-куколки, сияя идеально уложенными серебряными кудряшками, кушали пирожное «безе» и запивали его чаем из фарфоровых чашечек с блюдецками. Потом ещё директорша интервью давала, хорошо и складно говорила про ответственность, благодарность и уважение к старшему поколению. Чугуниха, глядя на них, расплакалась, да так горько и безутешно, как только дети малые умеют. О своей случайно и бестолково пробежавшей жизни, о том, что могло бы произойти, да так и не случилось. И так ей вдруг захотелось, чтобы и ей подливали бы чаю, уважали и считались с нею, называли бы по имени-отчеству, чтобы и её — просто так — кто-нибудь когда-нибудь пожалел. С этого дня она твёрдо и окончательно решила уйти в стардом: «Чтобы хоть напоследок как человек-то пожить». И только малость самую не успела.



Сергей ПОПОВ

/ Воронеж /

МОРЯ И БЕРЕГА

* * *

Знамо дело, пагуба-куга.
Где они, иные берега?
Канны, Океания, Китай.
Губы спозаранку раскатай.

Знамо дело, можно — да нельзя.
Кровная бескрайняя стезя.
Радио орёт «ку-ка-ре-ку» —
в изморось рыси по утраку.

На рясах по жизни волокно.
Ныло запотелое стекло,
пело, до сопрано доходя
на краю рассветного дождя.

Голос — волос. Лопнул — и волна
ни единой суше не равна.
Берега гремячих облаков,
обложных — и был жилец таков.

Небо, небо — тёмная вода.
Штормовое наше никогда.
Смутен запад. Пасмурен восток.
Чёрной крови полон водосток.

* * *

Небо упало на город — и вот
в детскую комнату новый привод.

Лужи втянули в себя облака.
Дата и подпись, что в курсе УК.

Где воробьиная куча мала,
белыми нитками шиты дела.

И дыроколом пробита до дна,
синяя высь под ногами видна.
Это апрель. Это старый район.
Серая наледь советских времён.

Белое облако. Детская спесь.
Бланк протокола закончился весь.

Дата и подпись. Теперь навсегда —
синяя, полная небом вода.

Зябкий околыш в проточной воде.
Это потом — никогда и нигде.

Но участковый окрестных небес
шествует времени наперерез.

И предъявляет во сне протокол:
время — ничто, если дело — глагол.

* * *

Черные, бордовые разводы.
У моста речные теплоходы.
Августа последние часы.
Новостроек выморок фонарный
на крови языческой, янтарной
водоёма средней полосы.

В западне прибрежного заката
отражений злая стекловата
от финифти нефти на плаву
иглами расходится по небу,
укоряя душу и утробу
тем, что умираю и живу.

Корабельный крик похож на птичий —
или это равенство обличий
на предельном выделе тепла.

Длинноклювых кранов развороты.
Встречных чаек гибельные ноты.
Осени небесная зола.

Резво разоряется из рубки
про ветра побед и еврокубки
радио в казённом кураже.
И сигналит фара носовая,
что темна волна голосовая —
заповедны высверки уже.

Что словам не писаны значенья,
что сердцам опасны попеченья —
все в крови над крапчатой волной.
Все острей и ярче сигарета,
все трудней видны от парапета
масло света, деготь водяной.

* * *

Пустяки, что сбудется зима —
снежная, надёжная, большая —
и взамен скупого урожая
холодом наполнит закрома.

Все хлеба уже испечены,
и вино уже перебродило.
И смурной куражится водила
на развилках сумрачной страны.

Мимо элеваторов, токов,
окоёмов озими и пашен —
проливным дождём полузакрашен,
путь лежит непрям и бестолков.

Это стрелка истово спешит,
это воздух, волглый и прогорклый,
размывает кручи и пригорки,
дождевыми стрелами прошит.

То зернохранилища спина,
то крыльцо разрушенной пекарни,
то винцом загруженные парни —
вот и вся вечерняя страна.

Но пока окрест черным-черно,
мчит УАЗ, грядёт похолоданье.
У водилы важное задание.
И ему отсрочки не дано.

* * *

по-над потерями значений
и неигранием ролей
перегорают свет вечерний
и ночь проводит параллель

с успенской тьмой убытком зренья
утратой тела и ума
значений сохлые коренья
скрывает сохнущая тьма

и веток перистая стая
полна игрою ролевой
из ниоткуда вырастая
над беспросветной головой

мой милый мрак незрячий посох
перемещение в никуда
в очах невидящих раскосых
слепая теплится звезда

и нет как нет того что было
в небесный впериваясь ил
не различаешь в недрах ила
места подсветок и светил

и есть как есть в сухом остатке
коренья ил незримый бог
смешны значенья взятки гладки
известны роли назубок

* * *

Небо, разлинованное криво
южным электричеством с утра
на рябом изгибе Brisbane-river
рейсовые режут катера.

Одиночки с лицами из воска
в узком ресторане-поплавке.
Побережья сизая развёрстка,
нефтяные пятна по реке.

Алкоголем выкормленной грусти
хватит до обеда за глаза,
где в лиловых высях захолустья
хриплая заходится гроза.

Там нальют по полной без обмана,
не добавив, спросят, лишку льда —
лишь десяток миль до океана —
сущая, поверьте, ерунда.

Там Большой Барьерный прямо рядом,
острова безумья и цветов —
ничего не стоит беглым взглядом
дать понять, что ты на всё готов,

ибисам с куриными мозгами,
женщинам с глазами голубиц,
что всегда глядели — не моргали
сквозь огни и воды заграниц.

Это будет весело и просто —
перед устьем спрыгнуть с катерка
и в колючей одуре норд-оста
всё про всё понять наверняка.

* * *

Где сумерки загустевали,
листвы туманилась кайма,
мы всё сидели-гостевали,
почти что выжив из ума.

Забыв о выморочном счастье,
стареть с листвою заодно,
не допивали в одночасье
своё последнее вино.

Оно стояло — душу грело,
покуда зрели холода
и в небе лиственном горела
позднеосенняя звезда.

Она пощадой не мешала
впотьмах ни сердцу, ни уму.
И мы оглядывались шало
на окружающую тьму.

Мерцало присное веселье,
метался холод по спине.
Не убывало наше зелье,
и звёзды множились на дне.

* * *

Когда уходишь в небо по кривой
весенним днём над жухлою травой,
сочится вдаль безлюдная река,
где брезжат грозовые облака.

А ты и сам, нечуток и летуч,
уже вот-вот щекой коснёшься туч —
и заискрит небритая скула,
и кожа жизни выгорит дотла.

Над Пратером расправится огонь
и чёртово застрянет колесо...
Ребро кабинки судорожно тронь
и глянь непоправимому в лицо.

Не будет ничего и никогда —
суха непроворотная вода,
черны береговые небеса...
И всё, что можно смочь — глаза в глаза.

* * *

Теперь довыдумать сумей-ка
позавчерашнее житьё.
И если жизнь, она, копейка,
усмешка, дальняя скамейка,
над голым парком воронё —

нет утешенья и пощады
юнцу с бескостным языком.
О, эти гибельные взгляды!
О, эти приступы бравады!
Я с этим парнем незнаком.

Глубокой осени свеченьем
прошиты холод обложной,
ложбинный пах, портвейн с печеньем,
земля с небесным ополченьем,
прозрачный купол неземной.

Портвейн массандровский — не местный.
День завершается воскресный.
В озёрной ряби дерева.
И речь смеркается над бездной.
И смута в омуте жива.

Чернильных вод лещи и щуки
сполна обучены науке
затеплить звёздное зерно.
Но над лещинами разлуки
всё солнце блазнится одно.

* * *

облаков кособокое войско
заржавелого неба за край
отошло как вчерашнее свойство
жить как жил а теперь помирай

небосвода дурная причуда
верхогляда чудная беда
это воинство родом отсюда
но едва ли вернётся сюда

на боках бронзовеющих криво
отпечатался ток временной
иноходца игривая грива
на спине командир за спиной

поле небыли небо печали
по краям заржавелая кровь
перемирия не обещали
потому заваруху готовь

с пустотой наползающей сверху
воевать до поживы её
дабы правым прибыть на поверку
самодельное стиснув цевьё

Люся ЦВЕТКОВА

/ Москва /



КАК ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ ВО ФРАНЦИЮ АЛЛА ЩЕТИННИКОВА (Рассказ закадычной подруги)

Алла Щетинникова не была красива, и все-таки ее полюбил француз. Не то чтобы миллионер или коммерсант, но все-таки...

А было все проще простого: Алла Щетинникова переживала критический период своей молодой судьбы. Она собиралась замуж за одного летчика, который на Алле Щетинниковой вдруг жениться не захотел. А вот поскольку у них были, сами понимаете, отношения, при которых уже не думаешь, где достать флёрдоранж себе на фату, да и фата уже не нужна, то жизнь здорово стукнула Щетинникову по мозгам. Но не такая она была девушка, чтобы будоражить своим дурным настроением родителей! Алла Щетинникова плакала себе втихомолку по закоулкам, и о беде ее никто, кроме меня, не знал...

Я даже ездила к этому самому Пете, я его уговаривала, но он заладил себе одно — я ее не люблю! Словом, он был подонок, а может быть, правда он не любил ее?..

В том, что Аллочке потом так повезло в жизни, есть и моя заслуга. Я вообще предприимчивая, это раз; и знакомств у меня по Москве множество, самых разнообразных. Порой мне эти знакомые так надоедают, что ухожу в «подполье»: на даче себе скрываюсь или в библиотеке сижу — читаю стихи, журналы. Но стоит мне только вечер один побыть дома, как тут же опять звонки — Танечка, то, Танечка, это!..

Вот отчего такая нужда во мне? Трудно даже сказать... Я тоже наружности самой обыкновенной, но я заводная, я справедливая, вот все ко мне и тянутся.

Ну и на этот раз сидим мы с Щетинниковой на кухне — я имею в виду у меня на кухне, — сидим и что ж мы такое делаем?.. Даже я и не вспомню — наверное, просто чай пьем.

Щетинникова моя бледная, кожа тебе да кости, смотреть, честно сказать, не на что, да и я не лучше... Я всю неделю в лаборатории вкалывала за троих; у нас ведь какая в НИИ система: если ты молодая, если у тебя детей нет, то и дуди за всех!.. Я и дудела, устала за рабочий день страшно, сидим мы с Щетинниковой и жалуемся друг другу на нашу жизнь...

Жизнь у нас вообще разная, потому что Алла Щетинникова работает по вызовам — я же с девяти до шести, как миленькая... У Щетинниковой вообще работа редкая: она со своей сестрой работает в учреждении, которое ведаёт мором разных вредителей — то они на клопах сидят, то на мышах, то на тараканах... Едут себе на специальной машине и, согласно полученным от жителей зараженных квартир заявкам, производят мор. Ну это, в общем-то, и несложно, химиком здесь быть необязательно — бери распылитель да обрабатывай пол там, стены, ванную или туалет...

В общем, если верить Щетинниковой, то клопов, тараканов и крыс всяких у нас еще, к сожалению, весьма много — и как ни стараются специальные службы, вроде той, в которой и Алла служит (вернее, теперь можно уже сказать — служила), ну не переводятся все равно, гады!

Вот мы, значит, сидим и калякаем о том о сем. Я, между прочим, уже с Андрюшей своим начала встречаться. Щетинникова мне закидывает, что он, дескать, такой же, наверное, как и Петр.

А я и сама не знаю: парень он вроде скромный, до главного мы в то время еще не допрыгались. Словом, Щетинникова его ругает, поскольку он Петькин товарищ и тоже летчик, а я помалкиваю и лижу из банки югославский джем.

И вдруг звонит телефон, и моя школьная не подруга даже, а так, пятая вода на киселе, мне щебечет: «Танечка, выручай, я переводчица у французов, которые по обмену с Зайцевым от Кардена; они вот ко мне пристали: хотим себе поглядеть на фий русс, то есть русских девушек, а у меня в институте такие на курсе кикиморы... Хочешь со мной пойти? Это недалеко от тебя, в кафе «Ландыш», напротив метро «Кировской».

Ну я поломалась себе для виду, а про себя думаю: ну отчего вот Бог так несправедливо распределяет? Валерия эта, которая мне звонит, ума палата, золотая медаль, а вот женственности Бог не дал! Я ведь ее поняла сразу — она почему звонит — знает, что я-то не подкачаю, а сама боится этих самых французику до смерти!

А чего, спрашивается, их бояться? Такие же, как мы, люди!.. Потоньше себе слегка, ну языковой барьер, ну галантное обхождение с женщиной... Господи, да чтобы все это знать, и инязов кончать не надо, и с преподавателем частным родительских денег гробить нечего... Сиди себе напротив французца, кофе пей, вот и все!..

Посмотрела я на себя в зеркало, посмотрела я на свою Щетинникову и вижу, что с такими физиономиями не то что французцу — отцу родному лучше уж не показываться. Обе мы такие зеленые, такие за рабочую неделю измученные — и все-таки, конечно же, соглашаюсь!

Я лично так считаю: женщина, если она, конечно, женщина, а не какой-то там чулок синий, должна свои силы пробовать ежесекундно. И тут не важно, кто перед тобой: француз, дядя Ваня, что живет этажом ниже и до работы меня подвозит исключительно из-за уважения к родителям, или Андрюша, в которого я влюблена.

— Ну что, — говорю, — Щетинникова, пойдём, поглядим на французов?

Щетинникова молчит.

Молчание — знак согласия. Иду к себе в комнату, беру у матери духи, правда, не французские, а арабские; навожу с Щетинниковой макияж: ей — румяна, себе — румяна... Вот только надеть нам с Щетинниковой нечего. Потому что родители у нас весьма строгие: я до сих пор платья старшей сестры донашиваю, а она уже три года замужем — так что можете себе представить, что это за платица! А у Щетинниковой еще хуже — юбка у нее мини, как была в школе, так и сейчас мини, кофта же — ширпотреб полный!..

— Да, — говорю, — Щетинникова, удивим французов! Валерия небось вся в загранке, а мы с тобой действительно а-ля русс!..

— Хоть отвлекусь, — говорит Щетинникова, — а то знаешь, Таньк, мне вот каждый день кажется, что сегодня я отравлюсь. Я даже и димедрола накупила двенадцать пачек; все-таки подлец Петр!..

— Да, не француз! — говорю. — Ну не дрейфь, Щетинникова! — Вытираю у нее на глазах слезы, берем — была не была — такси и ровно в восемь ноль-ноль ждем Валерию с французами у входа в это довольно-таки паршивое, надо сказать, кафе.

— Да, не Монмартр!.. — говорю Щетинниковой, а она, бедная, даже и улыбаться уже от своих жизненных невзгод разучилась.

— Как ты, — говорит, — думаешь, аборт лучше частным образом или в государственном?..

— Какой, — говорю, — Щетинникова, аборт?! Глупости! Как пить дать все будет у тебя в аккуратности; подожди ты несчастные два с половиной дня, и не трави ты себе душу!..

— Нет! — говорит Щетинникова. — Если окажется, что беременна, лучше уж димедролом! Жалко мне моего ребеночка до ужаса!..

— Ну Щетинникова, ну псих! Какой такой ребеночек, когда все еще будет наверняка в ажуре! Ну не беременна ты, Щетинникова, поверь ты своей закадычнойшей подружке!..

— Откуда ты, — говорит, — знаешь?.. В нашем роду все беременеют от ветра!..

— Дура ты, Щетинникова! Отойди от двери, а то сквозняк, еще и вправду забеременеешь!

Надо сказать, что Валерия и французы еще целых полчаса нас заставили ждать у двери, и наконец приходят! Валерия как была пигалица, так и есть. Шуба на ней ондатра, шапка — ондатра, но на лице никакого секса, одна ученость!..

Ах ты, господи мой, думаю, бедная ты, Валерия!..

Французы же один другого страшнее: длинненькие, тощие и совсем юнцы, лет девятнадцати на вид, а то и меньше... Всего их с Валерией человек пять. Потом, правда, оказалось, что два русских — которые посолдней: а французов — три. И один из них Патрик, будущий супруг Щетинниковой.

Конечно, в эту минуту мы ничего такого не подозреваем. Бон суар, Валерия, бон суар; и все друг другу жмут руки...

С этого самого кафе все у них и пошло; Патрик уселся рядом с моей Щетинниковой и что-то там ей, вижу весь вечер на столе чертит... Может быть, фасон платья?.. Хотя потом выяснилось, что Патрик не модельер, а учится на портного.

За мной, надо сказать честно, советский ухлестнул, Витя. Быть может, он и хороший парень, там, бригадир, активист, то да се, но я вообще однолюбка. Сажу с этим Витей в интимном полумраке кафе и думаю об Андрее.

Но Патрик, Патрик каков! Уже через два часа с Щетинниковой от нас смылся!.. Валерия покраснелась вся: как быть, что я буду говорить в Комитете СССР — Франция? Да что за девушка эта твоя подруга?!. Девушка, говорю, как девушка, не обидит она твоего Патрика!..

Ну досидели мы без них; танцы, мороженое, то да се... На следующий день голова болит, хотя, кроме сока, и ничего не пили.

Звоню Андрюшеньке, честно ему отчитываюсь: так, мол, и так; была в компании, где французы. А он мне:

— Ну и как?..

— Что — как?! Влюбилась по уши!

— Да? В кого?..

— В тебя! Молчит, а потом:

— Все иронизируешь?

— И ничего подобного, — говорю. — Сидела без тебя весь вечер и поняла, как ты мне, Андрюша, дорог!

Молчит, и потом:

— А я одно решение сейчас принял!

— Какое такое ты принял, Андрей, решение?..

— А так, переезжай ты, Таня, в нашу семью; мама у нас хорошая, я ей уже сказал, что, наверно, мы женимся...

Ну, в общем, идет у нас с ним объяснение на полный тебе ход; в душе у меня цветут всякие там ромашки; договариваемся вечером, если он прилетит, встретиться, как всегда, у станции метро «Щелковская»...

Только вешаю трубку — опять звонок! Ну, думаю, Андрей что-то недосказал!..

А в трубке Щетинникова.

— Слушай, — говорит, — же ву зем — это ведь я люблю, так?..

— Так-то, — говорю, — так, но только это, Аллочка, такое «же ву зем», как у Петечки! Не верь ты ему, прохвосту!

Щетинникова молчит, а потом:

— Тань, ты бы заскочила ко мне сегодня... Очень важное у меня дело!..

— Никак не могу! Сегодня у меня Андрюша...

Вздыхает моя Щетинникова:

— Хоть завтра тогда зайди...

Звоню Валерии:

— Что ж это, — говорю, — делается? Патрик твой, разнесчастный молокосос, распустил нюни и крутит моей Щетинниковой голову! Она, между прочим, девушка, обиженная судьбой, так что хотела бы я выяснить моральный облик и сощлицо этого самого Патрика!

Валерия в трубку чуть не рыдает:

— Тань, а она-то сама что за девушка? Я ведь за Патрика отвечаю! Если она, сама понимаешь какая, меня в комитете комсомола за такие дела... Ну ты понимаешь!..

— Она человек прекрасный, судьбой обиженный, и очень тебя прошу, объясни Патрику: здесь не Франция, наши девушки если уж влюбляются, то любят! Если у него намерения подлые, пускай не портит Щетинниковой биографию!

— Слушай, — говорит Валерия. — Ну кто тебя просил эту мини-хвостку с собой брать?!

— Она никакая тебе не хвостка! — я отвечаю. — Не у всех родители дочерям покупают в Нью-Йорке замшу — Щетинникова девушка небогатая, вот и вся тебе мини. Донашивает юбку, которую ей в школе мать сшила...

— Да... — говорит Валерия язвительно, — а во Франции, между прочим, мини, как у нее, сейчас носят только женщины определенного, сама понимаешь, сорта!..

— Сволочь ты, Валерия! — и брякаю трубку. Что она злится так? Прямо оса... Жалит тебе и жалит!.. Сама, что ли, виды имела на этого недоноска Патрика?..

Нет, думаю, жалко Алку! Пропадет ни за что. Андрюша мой никуда не денется. Пойду вразумлю Щетинникову! Подруга я или нет!

И вот, чуть было не разрушив свое счастье — Андрей очень на меня разозлился, что я наше свидание отменила, — иду к Щетинниковой...

И что же, вы думаете, я там вижу?

Сидит под торшером дядя Коля, Алкин папа, известный во всем квартале алкаш и мастер-слесарь каких мало, и разговаривает — с кем бы вы думали? — с Патриком, который, как ни в чем ни бывало, развалился перед ним в кресле напротив.

Беседы же дядя Коля ведет следующие:

— Ну и балбес ты, Патрик, ну и балбес!

Патрик же заливается смехом:

— Ты балбес!

— Нет, ты балбес, Патрик! А Патрик опять:

— Нет, ты балбес, Никола!..

Алка же и ее мама у стола с недоеденной курицей сидят; и мама с лицом, как аршин проглотила! Алка же хохочет вовсю, куда только ее трагическое мироощущение делось!

— Ой, — говорит, — ты бы, Тань, видела, что здесь было! Они сейчас пили на брудершафт, и две бутылки «Столичной», которые мама к Новому году припрятала, вдвоем вылакали! А после этого уже полчаса вот так сидят. Уморили они меня до смерти, ох уморили до смерти!

Так, думаю, привет от Валерии, прекрасный пример подается в семье Щетинниковой иностранным подданным!

— Патрик, — говорю, — силь ву пле, оревуар! А он:

— Но-но, же вз дормир иси! Я люблю, Алла!

«Же вз дормир иси! Же вз дормир!» Что такое это — «же вз дормир»? Господи, хорошо, что это Валерия мне только на свадьбе Алкиной перевела, а то бы я ему такое залепила «же вз дормир иси»¹.

Но, как говорится, то хорошо, что хорошо кончается! Уже через неделю пошли голубки в загс и подали заявление.

И самое что ведь странное: не знаю, как они там во Франции разговаривают — Алка вот приглашение пришлет — поеду и погляжу, — но ведь в Москве за два месяца, ну ей-богу, и не сказали-то друг другу ничего путного!

Потому что Щетинникова, естественно, во франсе ни бельмеса, а Патрик по-русски, естественно, ни бум-бум!

¹ «Же вз дормир» — я хочу спать здесь (искажен, франц.)

Смотреть на них все эти месяцы была умора. Он ей — же ву зем! Она ему — чмок в щеку! Потом он ей что-то рисует, она ему что-то руками показывает, вот и все!..

Какая такая любовь, если двух слов друг другу и не сказали?! Но во всяком случае, была свадьба, на которую я пришла с Андрюшей. И знаете, что он сказал?!

— Твоя, — говорит, — Щетинникова красивая... Ну и дурак Петька, проворонил такую девушку...

Выходит, Патрик что-то такое вот в ней нашел, что и без слов понятно?..

Свадьба была хорошая, только вот дядя Коля выпил, конечно, лишнего, и Валерия мне потом все шипела, что несчастный Патрик женится на дочери алкоголика.

Дура она, Валерия... Он ведь прекраснейший человек, дядя Коля! Честный, надо сказать, добрый... И знаете, что он Патрику говорил?

— Ты балбес, Патрик, ибо Алка у нас себя не соблюла еще до того, как ты ее, несчастный мой, дорогой, увидел! Хоть она и дочь мне, но драть ее надо, как Сидорову козу, потому что еще до тебя она уже, дорогой, «дормир»¹!

Откуда он только слово-то это выведал, дядя Коля: дормир! Ну что с него взять, пьяный, а то бы, конечно, не стал на родную дочь! А Патрик только все улыбается и кричит:

— Дормир — это бьен! Дормир — это бьен! Я есть счастлив! Я есть счастлив!

И Аллочка Щетинникова улыбается! И всех ее печальных размышлений о жизни — как не бывало!..

А я была просто очень за нее счастлива, просто очень! И хотя мне и не хватает теперь моей лучшей подруги, но все-таки я надеюсь, что во Франции ей неплохо. Им уже дом родители подарили и две машины, а дяде Коле Алка прислала кожаную куртку. Только мама Алкина, тетя Фрося, хочет ее продать за четыреста в комиссионке, а то ведь отец все равно, она говорит, пропьет. Конечно, пускай продаст!..

А все-таки странно, за что же он ее полюбил, когда ни она по-французски ни бельмеса, ни он по-русски ни бум-бум?.. Вот этого я, честно говоря, понять не могу!..

С другой стороны, мне что?! Главное, что Щетинникова моя счастлива!.. Работать ей только, наверное, будет негде. Во-первых, там сейчас свирепствует безработица, а Щетинникова ничего ведь, кроме как морить тараканов, и не умеет!.. Хотя, может, и во Франции такая, как у нас, служба по тараканам есть?.. Надо в письме Щетинникову спросить. Пока-то она дома сидит, осваивает французскую национальную кухню. Недавно вот написала, что испекла пирог с сыром на день рождения своей свекрови...

А я за Андрюшу вышла, обзаводимся мы хозяйством... Родители его нас на машину поставили в очередь; словом, живем как надо...

Валерия же все учится. В аспирантуру теперь надумала... Ну что же: се ля ви, как говорят французы. А русские говорят еще лучше — каждому свое!..

¹ «Дормир» — спать (искажен, франц.)

В гостях у «Крещатика» лауреаты поэтического конкурса «10 стихотворений месяца» газеты «Истоки»

Уфимская еженедельная газета «Истоки» (istoki-rb.ru), посвященная вопросам культуры, литературы и искусства, с 2012 года проводит поэтический конкурс «10 стихотворений месяца». Он быстро стал всероссийским, завоевал определенную популярность, которая объясняется, думаю, прежде всего, открытостью и внимательным отношением к поэтике представляемых стихов. Не секрет, что публика, да и сами поэты, очень часто признают только одну поэтику. Поэтический конкурс «10 стихотворений месяца», публикуя итоговую таблицу с оценками текстов каждого участника, позволяет увидеть объективную картину качества и степени приятия того или иного стихотворения. Постоянное участие в конкурсе способствует как росту мастерства его участников, это уже можно сказать определенно, так и знакомству с поэтикой авторов, работающих здесь и сейчас во многих регионах России. Мы представляем здесь тексты победителей в конкурсе с января по март текущего года. Ознакомиться с текстами участников конкурса можно на сайте газеты, а также в жж-сообществе «Клуб друзей газеты "Истоки"» <http://istoki-rb.livejournal.com/>

*Айдар Хусаинов
Январь, 2014*

Сергей ИВКИН

* * *

Юношей жаждал Милен Фармер.
Взрослым запал на Бьерк.
Становление, смена приоритета.
Но в детстве была у меня фрекен Снорк,
с растрепавшейся челкою фрекен Снорк,
непохожая на иллюстрации
из «Муми-тролль и комета».
Фрекен Снорк танцевала в венке из роз,
в ослепительный мусор одета.
Это именно ей я
браслет из фольги преподнес,
плел прекрасную чушь, околесицу верную вез,
и на фрекен смотрел через стекла
известного цвета.
У Туве Янсон, конечно же, все не так:
описано чье-то чужое
неправдоподобное лето,
в книге я не таскаюсь за фрекен,
как будто я — кончик хвоста.
А я хвастался тем,
что для фрекен я — кончик хвоста,
и был этому рад,
больше, чем леденцам и конфетам.
И я помню ее накладные ресницы,
дешевый парик,
в лакированных дверцах серванта
мелькавшие пируэты.
И так чисто не пел
ни один ее звездный двойник
здесь, на фоне поленицы и политических книг,
все ведущие партии
Флорий, Брунгильд, Эвридик,
все низы и верха
дополняемых с ходу
либретто.
Я не знаю, что с нею? Наверное, пара детей.
Да она и не вспомнит
влюбленного горе-поэта.
Нам не нужно встречаться
в тоске социальных сетей,
потому что со временем прошлое
станет светлей,
только если исчезнут приметы
источника света.

ПЕПЕЛЬНИЦА ИЗ КИСЛОВОДСКА

Хранитель тлеющих угольков
Салман Рушди «Дети полуночи»
Детище Империи, Рейха, Рима,
оберег от сглаза, хулы и порчи —
пепельница в памяти сохранила
всю семью от прадеда. Вензель сточен.
В силуэт орла с азиатским клювом,
вглубь, на дно гнезда из чугуновых граней,
как в застывшем кадре, летел окурок.
За внимание к вещи ребенка драли.
Где им, взрослым, понять, что такое
символ,
что мне делать, если орел клекочет...
Я стянул окурок, орлу «Спасибо»
прошептал, удрав из постели ночью.
Фильтр смял, жевал осторожно пепел —
колдовской порошок, что дает
возможность
улететь отсюда туда, где детям
разрешают больше, чем мир киношный.
Голоса пришли. Не совсем стихами.
Но такую речь не проходят в школе.
Я ревел навзрыд, как пророк незванный,
осознав, что я реально болен.
Я закрыл уста, испугавшись кары.
И с тех пор, как слышу табачный запах,
часто в сочетании с перегаром,
открываю окно и смотрю на Запад.

Мариян ШЕЙХОВА

ВОСХОЖДЕНИЕ

Вереница белых звуков
в рог охотничий трубит,
Тур в горах, лисица в поле, а в ладонях птица
спит.
Восхождение дымится, рог ветвится до небес,
Между пнями бродит пьяно
голубой, как утро, лес.
Дом без кровли, конь без сбруи,
Пой, Нико, и пей до дна,

Утро льет в ладони струи
Пенной прыти молока.
Ветерком трава играет,
перекатываясь всласть,
Две косули в поле тают,
воды сбрасывает снасть,
Бьет серебряная рыба
воздух росписью хвоста,
По воде рыбак шагает, улыбаясь неспроста.
Ночь без дня, а день без ночи,
Пой, Нико, и пей до дна.
Краски с неба льются звонче
Алой повести вина.
Непричесанное солнце
львенком нежится во сне,
Ломтик дыни прячет нежность
у оленя на спине,
Сбросят краски покрывала,
схвачен заяц синевою,
По отрогам Авлабара бродит мальчик
сам не свой
Дом без кровли, ночь без дома,
Пой, Нико, и пей до дна.
Жизнь — предсмертная истома,
Смерть — рождение и судьба.

Андрей ТОРОПОВ

* * *

Скажи слово «Моцарт», и Вольфганг
в тебе заиграет,
Скажи слово «Врубель», и демон
в тебе оживет,
И тот, кто беспечно
такие слова называет,
В ночи на балконе свою сигарету жует.
Он курит слова
на усыпанном снегом балконе,
Он смотрит бесстрашно
в бесстыжие окна домов,
Непризнанный гений
в невидимой миру короне,
Простой повелитель
страны ослепительных слов.
Когда он сойдет, то слова его
съедут с катушки,
В изгнание сошлют,

улюлюкая словом «дурдом»,
Когда он умрет, то слова его —
нищие души,
Поплачут немножко,
помолятся Богу о нем.
Ну а пока он стоит на балконе
и курит,
Смотрит сквозь мир
на свой собственный внутренний мир,
Если захочет, слова свои
грозно нахмурит,
И сотворит себе горькое слово «кумир».

Анастасия ЛИЕНЕ

ПРИЕДНИЕЦЕ

мария регина открывает глаза
закрывает глаза
открывает глаза
вспоминает: белое с черным — дюны
серое с розовым — небеса
мария регина отрывает голову от
(вспоминает)
проросшего в волосы льда
говорит: м-да
говорит: а это по ходу совсем не смерть
и молчит
и опять говорит: обалдеть
мария регина садится
потом встает
говорит: а это у нас стало быть восход
многолетний иней на высохших тростниках
лед, впадающий в лед
и — в линеечку — дымные облака
мария регина оглядывает себя
ощупывает себя
осознает части тела черты лица
платье белого шелка в сухих репьях
тут ей само по себе берется и думается
чувствуется и плачется:
«кажется, люди живут иначе»
мария регина взбирается в гору
(...сосны скамейки в снегу
деревянный настил)
смотрит и видит город
думает: кажется кто-то сюда меня

уже не пустил
и не с этого ли я падала высока?
мария регина спускается
и скользит
выпрямляется
молча выходит на площадь
ветер ало-бело-алые флаги полощет
там стоят мужчины и женщины
смотрят с такой тревогой
будто все что могут —
умолять: пощади не трогай!
но одна говорит: ты такая красивая
так похудела
но другой говорит: а давай мы снова
откроем дело
третья шубу снимает сует суетится —
возьми возьми
а четвертый мурлычет: я с ней разведусь
без шума и пыли
мария регина взмахивает руками —
теплый ветер небывшего марта встает
над людьми —
и они замолкают
а она говорит:
— я пришла любить этот город больше
чем вы его не любили.

февраль 2014

Виталий ТАРАКАНОВ

* * *

Деревья в февральское небо
Ветвей своих жиденький невод
Закинули как рыбаки,
И ловят березы и сосны
Печальную рыбину солнце
В холодных разливах зари.
Я им бы помог, да сугробы
Легли на знакомые тропы,
Теперь уже в лес не попасть —
Далекий и тихий, как космос,
В котором березы и сосны
Клянут невезучую снасть.

Александр ПЕТРУШКИН

СЕРГЕЮ ИВКИНУ

На высоте, в единственном числе,
как выход в тесноту своих вагонов,
стоящий проводник, что помнит тень
пасущихся навстречу перегонов,
торчащих, как коровы в черепах
камней голодных — с холода и мраза,
мерцает словно ужас, а не страх,
посередине космоса и глаза.

На вылете из зрения — на миг
он ощутил, что катится лавиной
в него исправной жизни механизм,
которая то кажется невинной,
то длинной, как финальный ангел, то
замедленной, как хромосомы в кадры
сложившись, переходят не на вой,
на умолчанье голоса. Покаты
бока дыханья темного его —
он, показавшись зрению, вернется
в свое — что несущественно — житье
среди руин письма на дне колодца,
на высоту, которая внизу
не чует дна, проваливаясь выше,
пока летит не контур в пустоту,
а теплое ведро —
безвидно хныча.

Он взял с собой назойливых синиц,
которые с бумагой подгорают,
пока что их двухкамерные рты —
в рой медных пчел воткнувшись —
в стыд истают,
пока здесь существует лишь пока,
смахнувши слепоту
в хрустящий хворост —
гремит, несясь внутри себя — река,
горизонтальная, как изморозь,
теперь уже не бойся
осы, летящей из проводника,
сужающего саранчу до ямы,
которая привыкла дурковать
на языке неведомом базляя,
когда ее промоченный язык
ты выучишь — теперь, а не однажды —
на высоте своей застыв в кирдык —

как проводник
от той и к этой жажде.
На высоте — единственным числом —
теперь без имени —
прозрачным горлом — снова
задвигаешь — змеиным языком
порезавшись о спрятанное слово.

* * *

Ну вот и в бочке весна,
как водомерка, круг
чертит, как будто сна
носит под шеей ключ,
и сокращает тьмы
тающие шаги,
и понимает плющ,
что ангелы нележки.
Ангел стоит с другой
не-стороны воды,
зная наперечет,
что имена темны.
И темнота молчит,
как водомерка — в круг
вмерзнув — и видит дна
теплый, как почка, ключ.

Светлана ЧЕРНЫШОВА

КИТАЙСКИЙ БОГ

1

Пекин не то чтобы мал, но мил
С шестнадцатого этажа.
Он — вечный, неутомимый мул.
Пыхтя, испуская жар,
На муле катит китайский бог —
Светлейший из всех светлейш.
Начищен его самоварный бок,
Над смогом сверкает плешь.
Рукой потянешься, не дыша,
(ну, где еще, как не здесь?)
Коснуться с шестнадцатого этажа
Святейших его телес.

2

... но так захотелось черешни —
Хоть ягодной плачь слезой
И знала ведь — для черешни
Совсем еще не сезон.
Катились под стол черешни,
Хмельной издавая звон...
Спросила я у консержки
— Черешня?!
— О'кей, конечно!
Файв минитс, мол, принесем!
Но, боже мой, из чего же...
Черешены сотворят?
Из шелка, бумаги, кожи,
Из местного февраля?
Из жемчуга, аметистов?
Стекла? Чешуи? Сукна?
— Мадам!
— Что... уже? Так быстро?
И... вот она, вот она:
Из крови своей и плоти,
Надавишь чуть — брызжет сок.
Смеется в окне напротив
Китайский слепящий бог.

3

Когда уходит китайский бог,
Оставив престол жене,
Смотрю, как черный дракон Ван Бо
Кривляется на стене,
Спит мул-трудяга. Облезлый бок
Дымится под светом фар.
А неугомонный китайский бог,
Переступая другой порог,
Пыхтя, испуская жар,
На муле, что нового дня светлей,
Взбирается на этажи.
Царей, императоров, королей.



Николай БОКОВ

/ Париж /

МОЙ ПОСЛЕДНИЙ МАРБУРГ

...хотя художник, конечно, смертен, как все, счастье существования, которое он испытал, бессмертно и в некотором приближении к личной и кровной форме его первоначальных ощущений может быть испытано другими спустя века после него по его произведениям.

*Б. Пастернак,
Люди и положения. Девятисотые годы*

1

Чувствуется, что «Охранная грамота» сложена из двух кусков механически, ради темы и хронологии. Настроение автора поразительно разное. В первой части — Марбург, студенчество, молодость, свобода. Подрастком «он видел Рильке». Вторая часть занята Маяковским и его смертью. Советская власть вошла в силу, и лишай эзопова языка уже наползает. Глупость и жестокость нового государства не были очевидны Пастернаку, он, вероятно, надеялся, что это «болезнь роста». Духота его повествования усиливается. Поклонники большевицкого захвата власти еще зовут его *революцией*, и Пастернак 30-х годов — в их числе.

Впервые я прочел «Охранную грамоту» в самиздате: машинописный текст на папиросной бумаге (или, может быть, на замечательной тонкой белой твердой бумаге для самописцев, которую выносил — спасал! — десятками рулонов — Петя Старчик из Института психологии...). Марбург пленил: отныне он жил в воображении уютным старинным городом. Недостижимым, конечно. На философском факультете тогда же (конец 60-х) читался спецкурс по неокантианству, то есть, о Марбургской школе. На него записались девять пятикурсников. Увы, я забыл имя скромного преподавателя-эрудита, немного высокомерного.

Как известно, мечта есть молитва. Начали происходить события в нужном направлении. Сначала — эмиграция и свобода передвижения. Приятельница Кирстен, поступившая в университет в Дюссельдорфе. Почему-то ей удобно было перевестись в Марбург, оплот искусствоведения.

В ноябре 80-го я поехал туда на перекладных, — сначала с диссидентом Колей к поэту Игорю Бурихину под Франкфурт-на-Майне, а потом на поезде дальше. Поезд был местный, он останавливался на всех полустанках. Я ехал навстречу счастью: в Париже снег — роскошь, а тут он лежал до горизонта. Деревья стояли в шубах из инея. Ностальгия по временам года — самая сильная, пожалуй, единственная, достойная имени болезни.

И вот сказочный город: замок на холме, церковь святой Елизаветы, дома вдоль улицы средневековой, идущей вверх. Громкий смех студентов, «буршей», конечно (невольно искал на лицах шрам от шпаги, знакомьясь).

(Не обойтись без снимка у дома по Гиссенской дороге, где Пастернак жил студентом в 1912 году. Весь мой фотоархив остался у Кирстен в 82-м и, вероятно, пропал, а этот — посланный матери в Москву — сохранился. И вернулся ко мне после ее смерти.)

Марбург. Окрестности: сельце Госсфельден, роковой и благословенный Штерц(*шерц*)хаузен, — знающие немецкий заметят тут шутку. В 60-х университет спустился с холма в новые здания из бетона и стекла. Ближе к вокзалу. Красные осенние клёны, жёлтое пламя берез из окон библиотеки. В Германии, ощущая её новой страной эмиграции, я заскучал по Франци, затосковал. И зачитался... Аполлинером, толстотомным; Андре Жидом, поражаясь прозрачности стиля последнего, восхищаясь, и вдруг отворачиваясь от неожиданной вони последних страниц «Фальшивомонетчиков».

Снова я — погруженный в студенчество, хотя не студент, — благодаря Кирстен, конечно, и немецкому языку (в третий раз я брался за него — основательно, и полюбил! и опять не доучил...). Окружили приятели: юноши, интересующиеся Кирстен, и девушки, внимательные ко мне. Пока нашей спайке ничто не грозило. Сильвия, подруга сумрачного — имя обязывает — Манфреда, расцветала улыбкой навстречу моей, но, не поймав моего взгляда и недоумевая, поворачивалась осторожно — и видела лицо Кирстен, мне сияющее любовью. Сильвия обиженно отворачивалась. Врывался Гидо — студент-медик, весёлое молодое животное, ему бы прыгать и бросаться снежками — в Кирстен, конечно. Он требовал от меня партию в шахматы, словно на дуэль вызывал. И проигрывал, к удовольствию моей подруги. Мы торопились в дом Дюрера, каким, кажется, он когда-то и был. Там жил студент, сдававший нам за три марки фотоувеличитель и закуток, где мы печатали снимки Кирстен к её семинару — Бог весть по какому предмету, но с левым профессором. По фамилии средневековой, Гмелин.

Снимать поручено мне: половину лица её, отраженную в зеркале, но так, чтобы на снимке лицо получалось целым. Зачем — я не вспомню ныне. Вечером же — конечно, сидим в кафе *Барфюс*, его содержала из поколения в поколение студенческая ассоциация. Там вели политические и просто разговоры, играли в шахматы, напивались пивом. И как же там славно зимой, когда на улице холод собачий, а тут гул, гам, дым сигарет, играет музыкальный автомат, и криками одобрения встречают новые песни, посвященные смелой борьбе с жестокой полицией:

— Sie rauchen milden Sorten, / Denn ihr Leben ist hart genug!

«Они курят легкие сигареты, потому что их жизнь и так тяжела!»

Это время «красных бригад», «банды Баадера», розыскных листов с портретами террористов, расклеенных на вокзале, на почте, в банках... Время танковых манёвров: мы стояли с краю дороги, задрав головы, а танкисты в шлемах горделиво поднимали руки, сложив пальцы буквой V. Потом обнаружился ярко-оранжевый автомобиль, сброшенный грязно-зеленым чудовищем с узкой дороги в ослепительно-белый снег. Или водитель съехал сам, испугавшись.

— Сволочи! — сверкала изумрудными глазами Кирстен.

— Гады! — вторила ей Андреа, подружка, радикально настроенная, меня возмущенно обрывавшая, когда я слишком уносился в антисоветизм. Она терпела меня ради подруги и всё надеялась, что какой-нибудь лишний поклонник Кирстен упадет в подставленную вовремя постель. Покуривали. Забавлялись словесными играми:

Gib dem Opi Opium.
Opium dreht Opi um.

«Дай дедусе опиума...» — нет, мне не справиться, тут нужен талант переводчика Витковского.

Лекции по философии были серьёзные, основательные, с обширными цитатами по-французски (я попал на изложение Сартра), по истории искусств, обильно сопровождаемые показом диапозитивов. Множество девушек сидели с корзинками, в которых они с лекции на лекцию носили вязанье. Юноши любили крепкие выражения, а в обстановке непринуждённо-товарищеской испускали подчас и газы в качестве шутки. Мне это было удивительно. Университет представлял все слои и привычки германского общества.

Мы поехали в гости в Гёттинген к знакомым Андреа, с заездом к ее матери, где попали на заседание чайного клуба: пять или шесть дам пили чай, разговаривали и не обратили на нас особенного внимания. Мы ехали дальше вдоль колючей проволоки на границе с Восточной Германией: нигде ни души, только вышки. И обрубленные границей дороги. Как повеяло оттуда убийством и рабством! На меня, разумеется, но и юные немки сделались молчаливы. В Гёттингене холод, студенты, шарообразные из-за трех-четырёх свитеров. Отделённая — ради тепла — брезентовым занавесом часть зала. И спектакль — «Елизавета Бам». Актер сидел на верху огромной стремянки и, приставив ладонь козырьком, оглядывал зал, призывая:

— Елизавета Бам!

Молчание. Снова зовёт. Вот и Хармс эмигрировал и расползался по Европе своего рода виноградной лозой.

Ночлег был романтическим — в коммуне, в спальнях мешках, на невысоком деревянном помосте, чтоб избежать тонкой струйки сквозняка по полу. Утром помост подняли и прислонили к стене.

Марбургский факультет устроил «римские ночи», собственно, вечер-маскарад. Каждый изобретал себе роль и костюм. Кирстен захотела быть нимфой Эхо. Естественно, мне подходил бы Нарцисс. В качестве атрибу-

та — овальное блюдо с зеркалом, изображавшим источник. Я отказался, и Кирстен надулась. Я придумал себе «единственного спасшегося из Помпеи». Тогу из простыни горячий пепел прожѐг местами, края дыр еще как бы тлели красным и чёрным, серые пятна пепла лежали на плечах... я репетировал жесты бегущего...

Прекрасная нимфа заставляла с ней разговаривать:

— Sag mir guten Abend!

— Guten Abend!

— ...abent... bent...

— Wer bist du, das Mädchen?

— ...ädchen... ädchen...

Костюм состоял из венка и водорослей, нарезанных из остатков тёмной и зелёной ткани. На спину мне прикрепили, во избежание недоразумений, открытку с изверженьем Везувия.

И каким жалким я почувствовал себя, когда мы оказались в холле и увидели Эдгара. Собственно, не его самого, а реакцию Кирстен: она, позабыв обо всем и тем более о приличиях, раскрыв рот, на него смотрела. И не только она, к счастью. Эдгар вообще был факультетским красавцем номер один, а тут он ещё и нарядился Паном. Из его курчавых волос высывались золочёные рожки. Под мышкой он держал свирель. Он появился в рубашке, распахнутой на волосатой груди, в раскрашенных шортах, открывавших волосатые икры и бедра. На ногах у него красовались изящные сабо, которыми он ловко постукивал, словно копытами, перемещаясь и делая вид, что не замечает всеобщего восхищенного внимания, преимущественно женского. Однако ноздри его раздувались.

— Абенд, либе матрона! — сказал он, и моя бедная подруга проговорила «абенд», и только потом вспомнила, что она Эхо: «бент... рона... рона...» — Эффект неожиданности был испорчен, увы, она покраснела и засмушалась. Я немедленно встрял в разговор длинной латинской фразой, выученной к этому случаю, которую Эдгар снисходительно выслушал и заключил по-профессорски: «На гут! Зер, зер гут», — словно он ставил мне оценку на экзамене!

И он отправился дальше победителем, цезарем, кумиром. К счастью, появился Гидо, одетый солдатом, Андреа, изобразившая одну из Муз (истории, как оказалось...), и мы опомнились от горького чувства посрамления, зависти и обожания.

2

В 86-м Марбург я обошел стороною нарочно, опасаясь нашествия ностальгии: судьба Кирстен мне была неизвестна, и сестра её признаков жизни не подавала. Я шел в Иерусалим, весьма отклоняясь от маршрута здравого смысла: сначала на север, по местам средневекового христианства, черпая энтузиазм и имена из толстого «Века соборов

и крестовых походов» Даниэля-Ропса, писателя ныне почти забытого (он, кстати, написал предисловие к русской Библии, подготовленной о. Менем, изданной в Брюсселе).

Марбург мне был эмоционально не по силам, хотя тематически, разумеется, его нельзя обойти. Утирая слезы, я уклонился к востоку и двинулся к городу Фульда, центру бенедиктинского монашества, крепости католицизма. Описанное во всех книгах аббатство было, однако, необитаемо и закрыто. Стоял желтолистый октябрь, чёрные стволы лип казались обугленными, а я еще плакал о Марбурге, о великой любви, не выдержавшей испытаний, утрата которой успокаивала совесть. Фульда 1986-го оказалась населенной... геями. На улице приставали: и раз, и два, и окошко средневекового домика над моей головой распахнулось:

— Поднимайся к нам ночевать!

Молодой мужчина взял меня под руку:

— Пойдем ко мне в гости.

В то время мной быстро овладевал миссионерский пыл. Ну, что ж, вот Содом и Гоморра, вперед:

— Нет, сначала мы пойдем вон в тут церковь!

— Warum?

— Wir werden zusammen beten (Помолимся вместе).

— Ich habe schon gebetet!

— Он «уже помолился!» — сказал он с едва слышимой насмешкой. Однако увязался за мною, сидел и ждал, пока не вышла монахиня-визитандинка. Я объяснял ей, в чём дело, но она, к моему удивлению, вовсе не занялась его просвещением, а поступила иначе: юноше выговорила сердито и прогнала, а когда он ушел, заявила мне категорически:

— Вам нельзя ночевать в этом городе. Вам нужно немедленно уйти.

Есть просторечное: *разинуть рот*. Это и случилось со мной, удивлённым до крайности: как это, что это, до чего ж дошло дело? Но выяснить не удалось: сестра исчезла за дверь. Смеркалось. Синие сумерки заполнили улицы, оживали витрины кафе и мест, очевидно, злчных. Я прошел городок насквозь. Еще километр или два я шел по дороге, стиснутой с обеих сторон вспаханнами полями. И затем в полной темноте сошёл в сторону, на пашню, и шел, пока огоньки и силуэты домов не уменьшились заметно. И тишина наступила. Я расстелил мою пленку (3x4 метра), на одной половине лежишь, а второй закрываешься от дождя и ветра), залез в спальный мешок и по-царски заснул. Невидимый никому, находимый, свободный.

Спустя два дня за труды пришла мне награда. Утром я проснулся на склоне, покрытом травой и листьями, над долиной города Бамберг. Наполненной молоком густого тумана. Он начал рассеиваться, редеть, и вдруг выступили из него шпиль и остроконечные крыши, они поднялись иглами, башенками, и тогда — зазвонили колокола к утренней мессе. Я сидел зачарованный. Свет делался ярче за моей спиной, желтизна и багрянец листвы рощи казались рамой чудесной картины. Вот Европа моя, живая, уцелевший от бомб уголок. Марбург — город на холме, место мысли и любви, и тоски о печальной человеческой жизни, а Бам-

берг — спрятался в котловину, город жизни и крепкого сна — истории, разумеется. Боже мой, ах, какой тут собор! (Не зря же он побратим французского Шартра — они достойны друг друга...) Вероятно, вид был у меня счастливый: после мессы пожилая чета обогнала меня на улице, а затем вернулась:

— Господин путешествует? Он где-нибудь остановился? Есть ли у господина время зайти в булочную, где устроены столики и где они сами любят завтракать? Они рады были бы пригласить господина...

Эти камни... влажные камни мостовой. Никак не расстаться: я кружил по городу, и всё было мало, всё беспокоило, что увидел так мало. Захотелось написать несколько писем: послать близким привет из счастливого места. Уже день начинал угасать, а я медлил: не наступит ли великое *вдруг*... и что тогда будет? Раскроется небо, откроется грудь, разорвется, наконец, сердце, — и бедную душу возьмут туда... туда, где Любовь.

Оттуда я написал отцу. Спустя тридцать пять лет после его единственной встречи со мной семилетним.

3

«Охранная грамота» дала этот разгон, который люблю, — как и само это произведение. Вдохновила первая половина, написанная на свободе, свободным художником, о свободе любви, — это настоящая дверь, она открывается, туда можно войти и остаться. И даже пристроить свою комнатку воспоминаний, личную, так сказать, — не с сестрами В., а с сестрами Б.

В 91-м их, впрочем, в Марбурге уже не было. На этот раз я чувствовал себя сильным, приготовленным к посещению прошлого. Благополучно, почти без потерь, прошел я Франкфурт-на-Майне, заночевав у своей крестной в Кенигштайне. Там, впрочем, произошло событие, и такое, что весь день у меня тряслись руки. Началось с пустяка: я решил помыть мой ярко-красный рюкзак, уже запачкавшийся до неприличия. Оставил его в ванной: пусть, мол, вода стечет... Вернулась дочь крестной и в ванную зашла. Увидела красный рюкзак. И закричала так, что я побежал спасать от убийцы, да и крестная вылетела из своего кабинета. Девушка держала мой рюкзак на вытянутой руке. Нас всех трясло. «Что это?! Кто это?! Откуда?! Зачем?!» — кричала она что-то похожее на эти слова. Она бросила вещь на пол и выбежала вон.

Дорога до Бад Хомбурга меня успокоила, теснились воспоминания о значении красного цвета... Марбург становился все ближе. И я не буду тут повторять подробно описанное в «Зоне ответа», в книге, напечатанной в Нижнем Новгороде трудами издательства «Дятловые горы», благополучно с тех пор — с 2007-го — разорившегося не без помощи властей.

Снова принимал меня этот город, странный, небольшой, но великий, и сейчас, спустя пятнадцать лет, опять другой. Ноябрь стоял на дворе конца второго тысячелетия. Марбургом моё путешествие завершилось: я как бы надеялся, что на этот раз все объяснится — и возвра-

щаться — нет, не придется. Пришел — и всё. Сыпал, однако, снег, я чувствовал, как сжимается тело, и к вечеру я уставал от этой постоянной работы сопротивления холоду.

В тот год открылись границы советской лагерной зоны, и я вообразил, что начинается моё паломничество на северо-восток: сначала в Ченстохов, потом в Киев — мать городов русских — ну, а потом и в столицу зверя... Его половины, по крайней мере (числовые значения славянских букв, входящих в слово «Москва», дают 333... есть ещё в Москве и места, называемые *Москва*: гостиница, бассейн, река... умножьте-ка на два...)

Ноябрьским утром дело подвинулось рывком: грузовик шёл в Берлин, и круглолицый шофер рад был попутчику. Я водрузился в кабину, и мы полетели в мягко сыпавшем снеге. Так, до Берлина, а там... я уже разворачивал карту. Вдруг шофер заругался жестоко. Что такое? Да вот, проехали уже 150 километров, и он вспомнил, что забыл в Марбурге... прицеп своего грузовика! Разворот. Через два часа я снова увидел святую Елизавету, обдуваемую метелью. Замок — исчез в снежной пелене. Стало тревожно: Провидение явно хотело дать мне понять, что планы мои ошибочны. Что же делать? Пока я пошёл в ночлежку... и читавшие мое «Обращение», может быть, вспомнят, что она находилась как раз на Гиссенской дороге, нужно только ещё немного пройти и миновать дом, где когда-то Борис Леонидович об эту пору пил, возможно, чай... (впрочем, в ноябре его уже не было в Марбурге). Турчанка, заведовавшая ночлежкой, мне объяснила, что две ночи из трех я уже истратил, и сегодня — моя последняя. «Идите в другой город, — советовала она. — Так все делают. Кочуют всю зиму».

Наутро я поднялся в замок и попросился в музей, там устроенный. Меня пустили, и до сумерек я ходил по залам замка, натопленным, чистым, заставленным аккуратными витринами. Там много о «марбургском диспуте» (протестанты пытались выработать общую платформу... куда там!) Вид из окон соперничал с экспозицией: нижний город, островки рощ, сёла были видны, запорошенные белым, и солнце висело матовым шаром. Как уютен мир сей. Как ласков.

Закрыв глаза, я могу опять насладиться, — словно те дни записаны навсегда, — предположим, что так, и что тогда это значит? Эта неуничтожимость события, неповторимость его, вечное цветение в памяти? И странная власть в нем оставаться — в замке св. Елизаветы, глядя на белую долину с чёрной лентой незамерзающей реки Ланы. Стоят столбы дыма печей и котельных. Наутро меня ждал путь из Марбурга удививший. Но не сегодня, нет. Не сейчас.

* * *

Прицепиться к чужому тексту. Как при резком толчке — но не вагона, а судьбы — ухватиться за чьи-то строки, и на ногах удержаться. Из этой останки, как из почки, начинают расти свои собственные. И вот уже можно вздохнуть и жить дальше. О, великое лекарство книги! О, дверь, открываемая из моей тесноты.

Сергей СЛЕПУХИН

/ Екатеринбург /



* * *

Покупал резину зимнюю,
чтобы гнать по верх голов,
жать на красную, интимную
кнопку ON — не кнопку OFF.

Чтобы хлюпал под колесами
белый, словно простыня,
свет, монгольскими, раскосыми,
жадно выбравший меня.

Лето в шубе лисьей краденой,
облака — на лобовом,
все бесплатно было дадено,
все — смахнуло рукавом.

И пустым-пуста коробушка,
чердачок и бардачок,
есть лишь крошки для воробушка,
для пескарика крючок.

Сигареты дым кудрявится
по опавшему плечу.
Тянет губы жизнь-красавица.
Отвяжись, я не хочу!

* * *

Я себя объявляю индиго,
я отныне молчун-нелюдим,
любопытным припрятана фига,
на лице бронетанковый грим.

Мой поступок запишут в анналы —
не детсадовская игра!
Педагоги-профессионалы
будут биться всем скопом с утра.

Нежеланье другим подчиняться,
замыкание где-то внутрих.
Есть, чего — не напрасно! — бояться,
социальный испытывать страх.

Травянистое, вроде, растение,
но не парен мой перистый лист!
Я «феномен» по праву рожденья,
лишь по воле чужой — пох*ист.

* * *

Схожа с кожей рептилии
жизнь, что, увы, прошла,
с цепочкой ошеломленных
прилагательных на ветру.
Кто же пропел тебе тенью
голоса «бла-бла-бла»,
то, что ты, дурень, понял
как «никогда не умру»?

Входишь в черное зеркало,
а за спиною — вжик!
Куклы с пустыми глазницами
хором кричат «Банзай!»
Пусть же игра начнется,
жми на «Enter», мужик,
вставь новую видеокарту,
но только не зависай!

Будет тебе декомпрессия,
дайвинг, кессон в крови,
секс с отсрочкой оргазма
и поцелуй затяжной,
мрачная капитуляция
перед лицом селяви,
скорая тачка смерти,
твой батискаф, Ной.

Вытесненный падением
тела обрёл плоть
воздух, который вышел,
но не зашел неспроста.

Зияющие во мраке разрывы,
должно быть, и есть Господь.
Собака кружит, пытаясь
ухватить обрубок хвоста...

* * *

И что же нам в строчке итога
достанется кроме седин?
«В раю отдыхают от Бога», —
заметил философ один.

Такая вот, братцы, накладка,
на хитрые задницы болт,
анархия — мать их порядка,
паршивых значений default.

Где фраер — помятые джинсы
и пицца в усталой руке,
контактные потные линзы
в заоблачном том далеке?

Пылятся его циркуляры
в конторских небесных шкафах,
и ангелы курят сигары,
кольцо на пустых головах.

Короткий стручок фюзеляжа,
и киль приторочен к крылам.
Хоть раз бы слетела пропажа
по нашим житейским делам!

Ну что ты! Клиент недоступен!
На базу уехал с утра.
А в нашей коллекторной люмпен
подох — уж такая игра!

Скупой ритуал перехода —
крещение, венчанье, уход,
метафоры злые — Природа
и этот патлатый урод.

А козыри пахли иначе,
как зеленью пахнут башли.
Увы, но божу при раздаче
лишь двойки и тройки пришли...



Владимир ЗАГРЕБА

/ Париж /

ДАМА В ГОЛУБОМ

Уважаемый читатель, если ты однажды зашелестишь этими страницами и не обнаружишь финала, не удивляйся — это лишь одна глава из романа некоего писателя-ленинградца, который, живя давно в Париже, окунулся, как мог бы окунуться в Сену, — в Питер, в год пятьдесят седьмой и те, что по календарю от него недалеко. Окунулся с головой. А вынырнув, описал увиденное как «Морг имени П. Великого».

Но в этой главе автор предлагает только залезть на «ленинградский чердак», то есть посетить Эрмитаж, где золото и позолота, где экс (и не только) экскурсанты шаркают войлочными подошвами по неотразимым зеркальным полям-паркетам, где посетители даже удивление своё выражают, затаив дыхание и шёпотом.

* * *

На улице стоял поздний сентябрь, то ли в кирзовых сапогах, то ли в блестящих галошах — лило, как из ведра. Из невымытых окон седьмого «Б» было видно, как потоки, струи, капли бежали, спасались от кого-то, ручьями, струями скатывались по чёрным веткам голых деревьев. Вниз, в никуда. Грачи отлетели. Шёл какой-то урок. Алгебры, очевидно, ибо мелькали «А» и «Б», прямые, «иксы» и «игреки» — благородное сочетание (в отличие — от улиц и лестниц) стен класса, какие-то квадраты, от которых голова шла кругом... да и вообще, зачем она нужна, алгебра эта?

Вовка поднял голову, задачка упиралась и не доходила до сознания. Оглядел класс. Все горбились над тетрадами и с переменным успехом решали всё это, и только пара спино-шей уж очень вертелась, ждала перемены/ы/? Чёрная доска, белые (мелом) на ней нелепые буквы, арабские числа, белая тряпка. Слева портрет лысого. Вождь сидел в белом кресле, то есть на белом — чехол натянули, что-то тоже черкал на бумаге, и какой-то бородатый мужик из бедняков, допущенный, мял шапку... о чём-то докладывал. Просил? Доносил? Корму просил? Кормушек? Это — слева. А справа — тоже картинка... репродукция... совпродукция с картины Ярошенко Коляна Александровича... Опять же — «Всюду жизнь»...

Вовка смотрел на «столыпинский» вагон серо-зеленого цвета у перрона, на окно «венецианского» размера сто двадцать на восемьдесят... — об этом он где-то читал. Сейчас вместе с удивлением от собственного прозрения чувствовал, как с холста, то есть с репродукции этой, вылезала какая-то большая неправда. Она была в пяти неестественно тоненьких прутьях решётки, в лицах тех, кто был за ней... Ах, Николай Ляксеич, куда вас воображением занесло: прямо-таки мадонна с тюремным младенцем, бородатый волхв волк-уголовник, морячок-среднячок, и солдат-убийца — свой — наёмный?.. И этот перрон... Нет, не перрон, а площадь Святого Марка, где ходят, порхают, дерутся из-за крошек голуби (много лет позднее, увидев и настоящую Сан-Марко, и голубей на них, вспомнит он эту ярошенковскую картину и подумает о наивности её, и наивности этих грязных птиц, одну из которых Пикассо решил превратить в символ. Мира?).

Мысли Вовки были далеко за стеной, на которой висела репродукция, и непонятно откуда послышалось:

Встань, страна! Явление —
Третье отделение!
Полюбуйся, Всевышний...
Каждый третий — лишний.

Особенно поражал Вовика взгляд молодки (мадонны?) в чёрном платке... с упитанным младенцем. «Всюду — жизнь». Всюду? Про что это? Про где? Про Расею? Про заключённых за «венецианским» окном «столыпина», зарешечённых тонкими железными прутьями, которое этот «розовый» с радостью мизинцем прошибет?

Вовик повертел головой... мысли, несвязанно толпившиеся на перроне воображения, ни в какой степени не были связаны с этим унылым уроком алгебраического мышления и логики и — по шпалам, по шпалам, как Толстой, уходили от всего к чёртовой матери, куда-то далеко-далеко. Ну а как же эта, «без вины виноватая» бабёнка с толстопопым... и три с половиной уголовника (хотя дед с бородой — вполне ещё может на три четверти потянуть), как могли они оказаться в общем коридоре у «венецианского»? А как же «влечение полов»? Да ещё в «столыпине»! «ЖД»? А где ж «охрана стеночкой»? Или уголовники уже баб не любят? Лесоповал — не тот повал, всё — наповал? Может, в восемьдесят восьмом — того... и была эта жизнь повсюду, сейчас — в этом... седьмом «Б», в пятьдесят седьмом — редко кто не знал, что если жизнь повсюду, то не библейская, не венецианская, а — иная... Впрочем, Вовочка не мог сказать, что знают-не знают его одноклассники, однако был уверен, что каждый из них, как и он, был точно раздавлен этим серым небом и этим мерзким «блином Ньютона».

Училка по алгебре и воспитательница седьмого «Б» класса, Вздох Галина Ивановна, положила указку:

— Всё, ребята! Начинаем поднимать... культурный. В эту субботу — Эрмитаж.

Все зашевелились. Витька Стоеросов, рыхлый и смешливый приятель Вовочки, толкнул его ногой:

— Опять по два «рз» с носа.

Вовочка ответил вполголоса:

— При Александре Втором — бесплатно было.

Витька тоже задумался:

— Зачем же было тогда Зимний брать и бомбой его... если бесплатно?..

— А я предпочитаю Летний. Тоже «Аврора», но красота и без пороха... И «потроха» гипсовые.

Дылда Куляко, метр сто шестьдесят три, который собирался после школы и в высшее, и в морское, и в офицерское нырнуть подводником, вынырнул рядом, влез сзади репликой:

— Настоящий мужик должен любить порох и впадать в экстаз от падающей на его пятки медной гильзы — «семидесятипятки».

— Ну и впадай, — заметил Вергюлий, вспомнив, что он уже что-то тоже черкнул по поводу Летнего в похожих, зимних обстоятельствах:

Хорошо стоять Венерой
В Летнем — сухо под фанерой,
Ну, а лучше — Аполлоном
За «Тройным» одеколоном.

Всё вокруг двигалось... стучали крышки парт... звонок вот-вот, а у чёрной доски Вздох «напирала» на совсем ещё юные сантиметры-сантименты:

— Ребята, а что вы про Эрмитаж знаете?

Со всех сторон неслоь:

— Ну, «чердак»...

— Котов много и кошек страшных...

— «Вторая»... много денег было....

— А я думал, Ленин, он же у нас...

— Бабы — грудью...

— Не грудью, а задницей...

— И тем, и другим.

— Ну, и думай... Он же был нищим...

— Ты ж понимаешь... Грабанули бы банк... и Леонардо — наш...

— Только тебя и ждали... Грабанули... и не один!..

— И всё равно... — «их».

— Всему своё (время).

Вздох вздохнула:

— Эй, философы! Нужно говорить: не «грабанули», а «экспроприировали»...

— Пять тысяч залов и комнат... И столько же старух-смотрительниц... Двенадцать стульев — пять тысяч задниц.

— В арестантских ходят, шаркают... Мягкий «шаркер», чтобы без сучка и задоринки...

— Да, с «сучками» — туго, а уж с «задоринками»... Женский батальон, «Дикая дивизия», армия!..

Вздох радовалась, седьмой «Б» втягивался в культурное, по рельсам катил «ЖД». Она подбросила:

— Ну, с котами это Елизавета, по указу триста семьдесят пять штук.

— Культурная «групповуха», — заметил Санька Чучкин.
 — Чучкин, выбирайте выражения... Не групповуха, а посещение музея — группами.

«Хомяк» — Витька, толстощёкий, у которого была дача в Териоках (вернее, у родителей) и которому Вовка «чирикнул», обмяк, как после рюмки «рябиновой» в день рождения:

Я всегда с тобой, Хомяк,
 Надуваю щёки,
 Так уж вышло... твой «обмяк»...
 С водкой «Териоки», —

вдруг философски заметил:

— Когда ты — Романов, а не Толстиков, то можно и напрокат... Сервиз плюс Катька... Одна цена за всё.

Вовочка внимательно посмотрел на Вздох. Галина Ивановна носила длинную зелёную юбку ниже колен, серую блузку — выше, и такие же бежевые туфли — совсем ниже. Лицо выражало бесконечную усталость и полное отсутствие женственности, зато вовсю присутствовала мужская мужиковатость и решимость нести свой крест — выкрест. «Интересно», — подумал он, — «неужели с ней что-то можно делать после полуночи?..»

Кто-то произнёс:

— У нас музей — ого-го!..

Вздох выдохнула:

— Не «ого-го!..», а — мировой.

— Там ещё галерея участников Великой и Отечественной. Где Матросов и Космодемьянская повешены...

— Не повешены, а развешены...

— Ну, что ты, это же — Вторая... Гитлер. А в первой — Наполеон.

Стасик Шиворот-«умник», «шиворот-навыворот», заметил:

— А там, на третьем, — «Любительница сивухи»... Отец всегда мать толкает, когда та к рюмке... Смотри, такой будешь... Какой? Опывшей, поплывшей...

— А что такое «абсент»?

— По-моему, пошло...

— Там ещё, тоже на третьем, какие-то раки зимуют, красные... хоровод водят...

— Матисс, — поддакнул Стасик.

И тут спасительный звонок по ушам резанул — на перемену.

Этот, с камнем в глотке — (Цицерон), всегда говорил: «Если ничего не происходит, пиши, чтобы рассказать об этом». В эту мокрую субботу «поведать чего» тоже не было, потому что... происходило. В девять тридцать утра весь седьмой «Б» пошёл «брат» Зимний. Галина Ивановна Вздох сменила серую кофту на синюю, но не юбку (другой, вероятно, не было), так и шпарила по граниту Дворцовой набережной.

Да, кстати, перед погрузкой в трамвай номер четыре этот «вздох» вдруг выдохнул: «Во дворце вести себя по-дворцовому...». Странно,

а как это? Было понятно, что не как на улице и в школе... но как? При-
слали бы «дворецкого», чтобы разъяснил... От «Суворова» (который
в бронзе сейчас, а тогда — живьём и на заднице) до входа в «сокровищ-
ницу» всех времён и народов было пёхом минут двадцать. Ах, как не хо-
телось Вовочке тратить эту свободную субботу на какой-то обязательный
шаркающий поход-экскурсию, но что делать! Судьба седьмого «Б» была
решена не на светлых небесах, где, как все знают, заключаются браки,
а в полутёмной учительской. Легкое раздражение уже посетило его
в семь утра, но внезапно выплеснулось только в девять, после особо лёг-
кого завтрака и поверхностных шейно-мойных процедур, когда он выска-
чил на Прощальную... к месту сбора любителей прекрасного. В его ко-
телке завертелись, засуетились строки:

Трубка, трубкой, портмоне...
На стене висит Монэ...
Не картина — копия...
Ж*пией — утопия.

Раздражение вылилось в слове «ж*пией» — неприлично, не по-
«эрмитажному» как-то.., но из копии жизни копию-утопию не выкинешь,
разве жизнь только... и по его уже состоявшемуся, устоявшемуся мне-
нию, выражено было точно.

Второе — похоже, как-то удачно избегало «слезливого» развития,
непреклонно приближающейся чужой «сексуальной» старости. Может,
потому, что чужой?

Богатый Рембрандт...
Грудь у крошки...
Всё заплетается в окрошке...
И только старые колени...
Напоминают возраст лени...

Всё. Вергюлий был готов к этому сегодняшнему «взятию» Бастилии.
А как удачно выразилось это: «эрмитажно-многоэтажное»!

В десять тридцать оказалось, что вестибюль этого «ого-го» уже был
взят «народом», другими «любителями прекрасного»: солдатами, матро-
сами, учениками, домохозяйками, хозяйками просто и пенсионерами, ко-
торые уже ломались в ещё почему-то закрытые двери, тянулись в кассу
за билетами, искали или ждали «своих» экскурсоводов. Сердца и ко-
шельки были открыты настежь ещё и потому, что цена ему (этому самому
прекрасному) была не копейка, а полновесный «совейский рупь». Какой-
то сержант с тремя планками и квадратными значками на такой же груди
прошипел своим, в «кирзовых»:

- По одному, рассчитайсь!
- Генка Наложило предположил:
- За билеты?

И тут к группе «Вздох» подошла сухощавая, тоненькая гражданка
(Выдох?) с седыми зачёсанными гладко волосами и тоже в синей кофточке,

на которой с одной стороны, правая грудь — сияла белая овальная костяная брошка с греческим профилем молодой дамы в ней (класс!), а слева — с другой (и тоже грудь), табличка: «Дрохла Светлана Евгеньевна»:

— Я ваш «чичерон», — сказала Дрохла.

— Опять Цицерон-офицерон... сколько же их на нашу голову, — подумал Вовочка, а Витька-«эрос» зашептал прямо в ухо, подтвердил догадку:

— Слава Богу, не Чичерин, а просто — дохла...

И тут через единственные, полноценным рублём раскрытые настежь двери дворца (как и через остальные полторы тысячи — позднее только долларом), повеяло надеждой, потянуло весной, соловьями... которые так и «не разбудили солдат», вошёл, втиснулся, ввалился «женский батальон» — и тоже двадцать шесть головок-голов, перешептываясь, хихикая и толкаясь... Будущие балерины?

Дохла с геммой улыбнулась радостно:

— А вот и «наши»...

— Наши?

— Их экскурсовод... увы, завалилась... Грипп... Я обе группы поведу.

Так «дохлое» воинство составило с полсотни, нет, даже больше голов-головок, включая и трёх «командиров»: Дрохлю и училку с балеринками, прямую и сухую, похожую на «указку», которая всё время, в самом деле, указывала, что делать. Она, кстати, бросила странную реплику: «Вамп, Мохнаткина — не отставайте, подтянитесь!» Ну и фамилии!.. А мальчигово-девичья армия-лента уже поднималась по «расстрелянной» барочно-мраморной парадной лестнице — той самой, по которой много лет спустя в кинокадрах у Сокурова наоборот — спускаются чванные аристократы и исчезают в никуда...

Сейчас же, всё-таки соблюдая границы групп, все вместе поднимались по белому мрамору. «Сто-Эрос» толкнул плечом Вовку и подмигнул:

— Попробуем Вамп?

— Попозже... Может, что и выгорит?.. — он уже заметил симпатичную «кошечку», в белом переднике с голубым бантом...

Дохлая «гемма» уже добралась тем временем до горизонтальной площадки:

— Подтягивайтесь, подтягивайтесь! А кто из вас знает, почему Зимний Эрмитажем называется?

Вздых, обернувшись нам, «своим», улыбнулась:

— Мы уже это...

Голоса перемешались:

— Антресоли...

— Чердак...

— Пещера...

— Правильно... Эрмит — это который в пещере... а «л'аж» — это — возраст...

— Ну, как Распутин Гришка...

— Или Гришенька...

— «Ураган»...

— Кто сказал «Ураган»?

— Екатерина Вторая...

Все посмотрели на Вергюлия, а он на эту «двойню» Вамп — Мохнаткину... Какая же из них?

— Правильно, — одобрила с зачёсом, — но об этом позже. А сейчас несколько слов... Лучшая царица всех наших времён и народов, которую мы имели...

Стас Шиворот опередил её вполголоса:

— Которая нас... поимела...

«Гемма» захлёбывалась:

— Екатерина, которая на Петровом распорядилась выбить «Первому — Вторая», была наша высокообразованная и, заметьте, единственная не кровавая царица. Любила живопись и даже немного музыку... Это ей принадлежит изречение: «Говорят, что я коллекционирую картины из-за любви к роскоши, и что меня совсем не трогает живопись, как и музыка. Я докажу этой говорильне... обратное». Заметьте, «говорильне», как точно, как по-русски! А ведь по рождению — Цербская. А как изъясняется немка?! Какое врождённое чувство русского языка!..

— А сейчас, — продолжала Дохля, — мы пройдем в галерею героев Отечественной и я расскажу вам, как сражалась русская армия против Наполеона и какие исторические следы она оставила в стенах нашей национальной сокровищницы...

Как дворцовая свита, тянулись за ней юные питерцы — сотня с лишним серых тапок, которые то и дело спали с подошв, заворачивались, мешали двигаться и смотреть по сторонам. А смотреть было что: в свите произошло некоторое смещение и смещение «полов» и акцентов, взгляды подростков становились более смелыми и, если ещё не дерзкими, то уже более открытыми... Может и правда, прав был Ярошенко — жизнь всюду?

Генка Наложило двинулся вспять.

Две девицы, которые были за Вамп-Мохнаткиной, как-то сместились, подтянулись к мужской половине процессии, и Вовочка пролепетал не очень громко, но так, что его услышали:

В моей жизни «дама пик»
Вызывает нервный тик.
Перешёл на «даму буби»
У которой толстый губи...

При слове «губи» две «Мохнаткины» переглянулись, а «молодое животное» (в смысле — Вергюлий) поняло: стих произвел впечатление, а Наложило промолвил: — Во даёт!..

«Малышка с греческой» — Светлана Ев... — вперёдведущая, вперёдзвущая, вперёдсмотрящая неслась, как угорелая, как Денис Давыдов — в свою галерею... как Наташа Ростова — к первому любовнику, как Женечка Онегин — в «Метрополитен опера», в Нью-Йорк, на жуткое представление своей одноимённой оперы. Где Георгиев, зубочисткой, кажется... Ты ж понимаешь... Она — эта: «я две поведу...», вдруг остановилась, как вкопанная, около удивительно голой рембрандтовской «Данаи», кото-

рая мылась чёрт знает в чём... Ах, эта «Даная»! Ох, уж это полотно!.. Ещё — не Курбе... Ещё не ракурс... Ещё не «Происхождение мира», но — о, Боже!.. о, тоже... «Бойтесь даров данайцев!»... Это же его-её полотно — шедевр «банный», пятнадцатого июня тысяча девятьсот восемьдесят пятого... в день рождения — годовщины захвата Литвы доблестными воинами, неизвестный патриот-литовец, имя и фамилию Вовочка того... не вспомнил... (прости, герой, забыл!) плеснул в моющуюся любительницу чистоты целый литр кислоты серной в безумно масляную беззащитную рембрандтовскую девку...

Говорят, что кто-то из знаменитостей двенадцать лет реставрировал облитую кислотой красотку, а сколько лет получил гордый литовец за свой подвиг — некрасивую выходку? А академик Пиотровский всё удивлялся:

— У нас же не «Русский»!.. Если уж так хотелось обидеть, облить гордость нации, пошёл бы в тот музей!..

А Дрохля подождет, пока подтянулись шаркающие колонны, с энтузиазмом продолжала:

— У нас много прекрасного и в залах, и запасниках: двадцать четыре Рембрандта, тридцать восемь Рубенсов, восемь Монэ, пятнадцать Гогенов, сорок Матиссов, двадцать семь Пикассо. Сверх этого... положите — Ван Дейка, Фра Анжелико, Джорджио, Тициана, Леонардо да Винчи, Пуссена, Веласкеса, Эль Греко, Мурильо, Буше, Курбэ, Шардена, Ватто, Манэ, Ренуара, Дега, Дюфи, Кандинского и даже Малевича...

А Дрохля вела в «глубины»... Золото, позолота, мрамор, малахит наливались на молодое воображение, заставляли притихнуть внутренне тех, кто жил в коммуналках, в убогих комнатухах, в домах, где запахи щей смешивались с запахами табачного дыма, сыростью, нередко полунищетою... И нарядные дамы, генералы или праздничные крестьяне, глядевшие на них из тяжёлых рам, были так непохожи на знакомых им соседей по жилью, по двору...

— А что помогает понять на портрете внутренний мир, душу героя? — продолжала Дрохля. И слова эти как бы зависали в пространстве между узорами на паркете и высокими потолками, касаясь молодых душ, но, не проникая в них, а лишь царапая, раздражая.

— Знаете ли вы, что в день объявления войны, двадцать первого июня тысяча восемьсот двенадцатого, Эрмитаж купил серию картин у наполеоновской жены Жозефины из её коллекции? И в этот день картины тащились на возках в Санкт-Петербург, из Мальмезона... Представляете? Сам Давид Тернер — молодой... и к нам. Никто, увы, не представлял этого.

— Тоже мне! Двадцать первого июня тысяча девятьсот сорок первого эшелоны с пшеницей нашей тоже на Берлин шли... — влез Вовка. Все повернули головы... а Дрохля отреагировала тут же:

— У нас — картины, искусство, а у вас, молодой человек, по моему... — политическая провокация.

Вздыхнула нижнюю губу, а «Указка» поспешила сменить тему:

— А где тут у вас Ангельт-Цербская? Это же с неё всё...

Мальчики и девочки тащились за «Геммой», которая всё время словно ускоряла шаги, и пытались не потерять войлочные тапки. Вздых, приблизившись к Вовочке, зашипела:

— Тебе что, больше всех надо, неприятностей захотелось?
 — Так это ж — правда...
 — В жизни есть тысяча правд, важно выбрать ту, которую момент требует...

Теперь, когда дань героям «Великой Двенадцатого» была отдана, все, как бы расслабившись, зашаркали по паркетам в своё удовольствие.

Как бы в подтверждение этому вдруг раздался вопль: «Вот она... Матушка!». Вовка подумал, что кому-то плохо стало... Может, это вон той старой тётке, которая там в углу торчит? Он повернул голову... Дрохля, улыбаясь, стояла перед огромным портретом... дамы в «надутом» серебряном платье с красными щёчками и в огромной накидке из сорока трёх горностаев. На могучей груди, осыпанной бриллиантами, толпились, топтались караты, караты, картели карат... Золотой «Георгий» на оранжево-чёрной ленте, ниже левой груди. На дрохлин восторженный вопль спешили все — и мальчики, и девочки, но они уже были «разбавлены» какими-то случайно оказавшимися рядом любопытными солдатами и пенсионерами.

— Ангельт-Цербская!.. Вот она — радость наша. Энциклопедистка! (В смысле Дидро и Вольтера, в смысле Риги и Фёдорова-первопечатника.) Она всегда была первая, даже в неудавшихся семейных обстоятельствах... Он — Пётр Третий, она — Екатерина — Вторая... Эта женщина почти отменила пытки в России. Во всяком случае... попыталась.

— То есть, как это — «почти»? — раздался голоса.

— А вот так... Она задумала отменить пытки в России. Нехорошо это, мол... А сенаторы дружно заявили... что отменив её (пытку), в этом царстве-государстве никто, ложась спать вечером, не будет уверен, что утром живым встанет.

— А каких «подельников» Екатерины вы знаете? — поддала, поддела Евгеньевна и со всех сторон полетело:

— Завадский.

— Платон Зубов.

— Зорич.

— Ланской.

— Римский-Корсаков (не композитор — композит).

— Ермолов.

— Мамонов. (И не Мамонов, а Бабанов. Он часто изменял ей с другими бабами. Она в письмах Гришеньке на фронт жаловалась. На что Потёмкин в ответных советовал: «Да пошли ты его, матушка, на...»)

— Гришенька Тавро... Одноглазо-Таврический... Потёмкин (через «ё»).

— Орлов.

— Васильчиков.

Поток восклицаний иссяк, но не любовников. Вовочка задумался. А чего тут плохого: любовь управляет телом, а тело — государством! Это уже позже он кое-что полистал. Все выкрикнутые «подельники» — все как один — были любовниками Екатерины. Самый умный и тонкий — Ланской Саша... Самый «бугай» — Платон Зубов. Не случайно стал быстро адъютантом Её величества, генералом и — без проволочек — министром. На празд-

нике у Гришеньки Дорического, посвящённом окончанию Первой русско-турецкой войны, «Матушка» пришла к нему с новым своим двадцатидвухлетним Платоно-«эталоном». Гриша и так, и сяк пытался «снизить тон», мол, красавчик, но идиот — кобель... «Зубной» — не тот дантист, кого ей, «Матушке», надо — зуботычина, но тут же за речи подобные сам получил по зубам... В два часа ночи он, Таврический, встал на колени патетически, платонически... заплакал... но Катрин знала, что делала — телу не прикажешь... ему, «зубатому» — двадцать два, ей — за шестьдесят с «гаком»... Утром Гриша получил весточку-приказ: «Спасибо за ширинку-вечеринку. Тигр — немой, ты теперь не мой. Давай в Жази, к туркам, войну на мир переписывать»... Ну, и пошёл, ну, и переписал, ну, и подписался... а в октябре... в Молдавии, под Кишинёвом — откинул копыта...

Получив «весточку» с юга, фрау Ангелът упала в обморок. С трудом встала, вымыла шею и лоб холодной, села к столику передохнуть, успокоиться, а перед глазами словно стояла первая встреча с «Ураганом» — Тавридой... он ей тогда мундир свой гусарский одолжил, и она на «орловском» гнедом в Петергофф зацокала, чтобы успеть перехватить кортеж своего мужа — глупого, некрасивого, никчёмного идиота, эпилептика и гомосексуалиста. Впрочем, на двенадцатом году жизни с Екатериной «эпилептик» всё-таки улучшился — основал Академию художеств, хотя и по желанию его приёмной матери Елизаветы Петровны. Как же с таким на трон? Заговор!.. В ту пору у Екатерины в любовниках ещё один «рысак» на рысях ходил — Орлов. Ах, сколько ж всего там было!..

Вдруг Вовочка голубой бант Вампа вблизи увидел. В этот момент она уже не строила глазки, а прямо к нему протиснулась.

— Давай знакомиться, — просто и доверчиво.

Как хорошо было почувствовать себя «имперским» мужчиной, человеком, пусть даже маленьким, даже совсем, даже без шинели, даже в облезлой и в обломках империи, но... (Это ощущение выплывало у него много лет спустя не раз, преломляясь в странных формах, особенно, когда весь мир шумел об империи, нефтяной трубой угрожающей!)

— Света, — прошелестела она губками.

Господи! В голове неожиданно завертелось маховиком, кто-то там дал маху... нажал на какие-то «педали», про судьбу завертелось и про зельн:

Чирикает судьба —
Опять сижу на ветке...
Мне с веткой повезло,
Не повезло со Светкой!

Но внутренний голос вдруг заглушил голос внешний, Дрохли:

— В шестьдесят втором умница-царица неожиданно решила забыть «чердак» произведениями и сказала послу — Долгорукому: «Если ты — многорукий — докажи это... Не занимайся разведкой в Берлине, а закупи-ка мне картины у немцев. Вон — коллекция Готоцкого! Да и шедевров побольше». Долгорукий выложился и выложил. Первый «конвой» — двести двадцать пять картин... И не каких-нибудь: «Малые Голландцы», «Большие Фламандцы»... В шестьдесят девятом — второй, ещё шесть

«соток» подвалило, а в семьдесят втором — третий, целая коллекция Крозата... В семьдесят восьмом весь «чердак» был забит, завален до отказа, а уж о запасниках и говорить не приходится: забили под завязку.

Всё это было теперь неважно... в дыму... в исторической раме — дымке... разве, что любовники императрицы... были «исторической необходимостью»... и такой же реальностью. Всё-таки генетическая эстафета, историческая и сексуальная связь времён...

Володьку потянуло уединиться. Вамп за ним зашаркала ножками, они заскользили в другую залу, оставив заливаться соловьём Екатерину Евгеньевну. Витька-«сто», видя их, подмигнул, улыбаясь на все «сто»... И Мохнаткина (теперь уже точно — она), скривилась тоже.

Похоже, они понимали друг друга.

В ярко освещённом зале, в котором они оказались, висели три картины. На той, что слева, был изображён толстопузый ангелочек, упирившийся во что-то своими толстозадными ногами. Рядом пышнотелая красавица. Левая грудь, сосок розовый, прямо на Вовку с Вампом устался.

Они стояли и молча смотрели на холст, словно не зная, о чём говорить или о чём молчать, потому что здесь словно была какая-то тайна, какой-то порог, переступить который они ещё не были готовы, даже если и держались свободно и не скользили, хотя пол был не просто скользким, но опасно-скользким, подло-скользким.

Они перешли к картине рядом. Из тяжелой голубой рамы смотрела «Дама в голубом». Здесь она называлась: «Портрет герцогини Гейнсборо». Утонченное лицо просто было отворено в мир, распахнуто... — в том числе, в мир Вовочки... Лицо звало куда-то... Чёрная ленточка на шее... Ах, овальчик, овальчик, овальчик — завальчик!

— А давай каждое воскресенье здесь встречаться... В одиннадцать... — предложила вдруг «бант голубой».

Вовочка опешил. Где деньги на билет взять? И потом... почему здесь, а не где-нибудь в парке? На улице? Почему у этой голубой герцогини? Странно! А может, и правда, начало романа с прекрасным?

— Давай каждое... — промолвил он неурверенно.

* * *

Два последующих воскресенья он, как сторожевая собака, дежурил у голубой «рамы». Влез в долг — четыре «рэ»... плюс трамвай... туда и обратно. Но та, которая предложила встречи, так и не пришла. Тогда трясло от печали, но позднее всё как-то улеглось, успокоилось, утонуло и, улыбаясь, он как-то сложил:

Давайте выпьем за друзей,
Которых отвезли в музей,
А также выпьем за подруг,
Что отбиваются от рук...

А у «Стоероса» что-то было с Мохнаткиной. Получилось. Где-то аборт сделали. Выгорело.

Александр РАДАШКЕВИЧ

/ Париж /



СИБИРСКИЕ ВЕРЛИБРЫ

1. Когда Байкал

Андрей, Андрей, Лариса, Анатолий,
Владимир, Лидия, Равиль,
срывая робко семь сиятельных покровов,
по гулким залам пускают в лёт и вскачь, пускают
в пляс нагую душу, чтоб плакала, пленяла и
пеняла, ловила лобызанья, как плевки, чтоб
непостижное вложила в стёртое, в зажмуренное
ухо: вы жили, жили вы и ты вчера ещё, всегда,

однажды. Сливёт Иркутск, Ангарск не чаёт,
поёт Зима, Саянск раскатисто молчит и ведаёт
себе лишь верный Братск. Прости же, вешняя
и вещая Сибирь, прощай-прости, Байкал
собезначальный, согретый в убывающих
перстах, как млечно зеленеющий нефрит и как
гагат, чернеющий небытиём кромешным, —
себе и вам, тебе и мне мы нежно снились здесь

однажды. Под шорох солнечный ангарских
льдов, ложась ресницами в гряды тугую елей,
в остатний раз выгуливаю праздничную тень
свою, которой присно сопричастны среди
нечаянных сестёр и неперменных братьев, когда
апрель, снега в огне, когда всегда, когда Байкал,
Андрей, Андрей, Лариса, Анатолий,
Владимир, Лидия, Равиль.

II. Буколика — Равилю Бухараеву

Ещё с утра кренилась твердь и колыхался
 ряской взгляд в дождях лощёных, и вот, и вот,
 на голом солнце жмурясь и виясь,
 читаю созерцательно Тюркая, в астральных
 вертоградах оробело срывая Радости-Страданья
 кристальный виноград.

Час и тебе, потерянный
 и постаревший, неживший, неуместный и эдако-такой,
 оставить пальцев этих на камнях струистые следы,
 сгореть в реторте прелых рассуждений, себе вослед
 перелистать вотще слепые дневники существований.

Всё так. Или иначе. Он прав, твой лондонский Осман:
 мы умерли напрасно и давно.

В курчавой поросли чего-то лежит птенец,
 воздевши к небу спичечные лапки, и, выгнув
 малахитовую спинку, глазеет ящерица
 обомлело на разомлевшего меня...
 Ба-бах! — и разлетелись роем сирые галактики,
 шипя и дуясь вечно друг на друга.

Белеет дом.

Синеет сад. К груди приникло раненое солнце
 и шепчет повечерние псалмы. И, уходя-не уходя, я
 губы бренно приложу к разомкнутым панбархатным
 устам забывшейся на тёмном свете розы.

III. Ирландская песня — Лидии Григорьевой

*'Tis the last rose of summer
 Left blooming alone...*

И, обжигаясь мраком-мразом вселенских
 чёрных сквозняков, сорвавших с петель разом нашу
 закрытую на все щеколды и засовы непроницаемую дверь,
 мы вдруг хватаемся за розы, чтоб этим пламенем
 пунцово-ало-бело-хладным, чтоб этим
 пламенем сгореть.

*Я бы тоже нё жил
 долго одиноким, без друзей. Вслед за теми,
 кто мне дорог, я б хотел уйти скорей.*

О, роза-страсть и роза-смерть, забрызганная даром
 шипучей кровью всех Кармен и предрассветной —
 всех Ромео, о, роза-младость, роза-рок, лазурная —

о, всех ветров, и ты, мечты, и ты, разлук неприкасаемая
роза, но прозяла, Боже, среди них и роза-пропасть
забранного сына.

*Соберу лепестки я эти
у последней из летних роз, на осенний брошу
ветер, чтобы вдаль он их унёс.*

Опадает, отплывает тонкий топкий остров-сад.
Роза мира в рани хладной покачнулась перепончатой звездой.
Срезав не без сущих вздохов в самом ангельском из снов
непослушными руками преобладаю розу-жизнь,
*этот мир, мне ставший чуждым,
я покинуть был бы рад.*

IV. Энная эпистола — Ларисе Щиголь

Я не могу весёлых песен петь.
Рахманинов — Ратгауз

С лицом всех реквиемов сразу
и антиголосом меж *Stabat Mater*,
Марлен и самым фадистым из
фадо, подпененным дунайской вальс-
волной, ты спросишь о стихах
весёлых — мол, где и почему? Ну да,
он весь — дитя добра и света, от коих
так готически желтел, сходил
с ума так аккуратно. О да, конечно,
смех богов кристальный, но как-то
зябко утром от него. Возьмём стихи
поэта Щиголь, и в них — привет
стремительный и нежный всем,
кто повесится сегодня, а завтра
чеховскою чайкой слетит с геранью
из окна.

Легка душа и произвольна
визави ристалищ рериховских
горних с баварской лоджи, где рьяно
потребляет самокрутки на завтрак,
полдник и на ужин, их орошая
ленинским *Weissbier*¹, Крещатиком
взлелеянный щегол, дымящий, как
над Лютецией беспечной копчёные
химеры Нотр-Дам. А там и смуглая
Сафо в который раз, в закатный час

¹ Белое пиво (нем.). Любимый сорт В. Ленина.

срывается со скал из-за безусого
 Фаона. О, плакальщица всех ветров,
 сестра надгорного Ли Бо и неутешного
 Алкея, я веселее не умею, когда
 пишу или немею, а так, поверишь-
 не поверишь, всё даже слишком ничего.

V. Портрет в ландшафте — Владимиру Берязеву

Чем ближе от тебя, тем дальше, зимний брат, к тебе
 тропа змеится над обрывом, тем шире видится
 позёмкой пепельно взметающая гладь и тем,
 и тем вернее клинопись звериных юрких лазов
 дерзнувшего заводит вспять, к безвылазной засеке.
 У Навны-узницы храним клубок оледенелый сей.

Мерцают под нелёгким веком предвечных рек-озёр
 младенческие души, но ближе чем, тем ледовитей,
 тем таёжней то лихо белое, лихое то сиротство,
 тем ярче теплится, дрожит колючею звездой
 на гулком дне, на лунном тле твой трепетный
 костёр, тоскою волчьей проколовший бельма ночи.

В резной незримый реликварий легла апрельская
 Сибирь. В сновиденных моих чертогах за дышащей
 завесой ты в чёрном зеркале забытой анфилады
 стоишь бессленно с пернатою надломленной стрелой
 в роландовой груди, и кровь ветвится из ушей: ты
 так трубил в ущелии своим — над тьмою сарацинов.

VI. Июльский блюз — Андрею Грицману

А ты, кто в новом златотучном Вавилоне всё режет честно
 по внимающей душе, как по кости слоновой, надвинув
 плотно чернышевские очковые очки, живи-живи и через
 двери звёздные того мотеля, где всё проглянет позапоза-
 прошлым, а проще — просто никаким, как в рваную нирвану,
 не впадай в огни нью-йоркского Арбата.

О, уважаемый
 и фешенебельный, хороший и большой (портрет одобрен
 в сибирском поэтическом пикапе), с глазами оглашенного
 молчанья над миражами встреч посясторонних (что всё же
 тоже на мокром месте — в Зиме весной, как в утренней тайге
 саянской, как над трёхзвёздочным свердловским глоточком
 коньяка), внемли реалиям вослед:

родина — это где холодно,

пьяно и грязно. Пусть от сирен дуреем в одиссеях, она и днесь качается в груди, как поплавки байкальских вешних кладбищ — в приливной окаянной синеве. И ты, и ты, номад печальныйный, своей безлюдною душой, уложенной в покатую улыбку разлучений, как в вечную котомочку худую, пустыннику поверь:

мы рождены, чтоб сказку сделать пылью, чтобы слепить из пыли Никогда. Но нам, своим, врачующий Орфей, назначь, что панацеистей, дороже, что скорее: пилюли Медичи с бальзамом из рогов последнего единорога, кровопусканье, курс летейских вод и, может даже, что-то внутривенно, *чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь.*

VII. Дорожное — Анатолию Кобенкову

Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли...

Есенин

После Байкала воздух стал иным, другое небо в небе растворилось, и по нему, как по шелкам, пошли клубиться письма сквозной надмирной вязью.

И в зазеркальном низком гроте осенней индевеющей души отверзлась каменная дверца, и розовые крылья распорили седую твердь за ней. После Байкала ветер стал другим, друзья иные вздохи населили, как атлантиды в пенном дрейфе, подошвой тронув илистое дно в тени миров, до dna неочевидных.

Ах, Толя, Толя, с тем ли, то ли в снегах нашаривал, зане не угль горящий в грудь водвинул, но хладно-васильковый лазурит. После Байкала воздух стал, как скань, безгласно озеро из озера воздвиглось, как непостижный Китеж-град, и дышится в необозримых снах багульником у кромочки таёжной.

Радений вешних млечные пути развешаны напрасно и недвижно по чужедальним нашим алтарям. После Байкала вечер стал иным, как после распрощального бокала, и что-то, знаешь, с нами стало, и, статья может, очень навсегда. Они пришли, худые времена: глухая чернь уж правит балом. Отстреливать

охотников и рыбарей ловить сетями придёт, придёт черёд *гораздо* после нас. Эх, Толя, Толя, в том ли? То ли? Но всем за всё поклон из золотого, из злого, как разлука, далека.

ПАРИЖСКОЕ ОКНО

PASSAGE DU DESIR¹

Ты ушло из моих молитв,
откружившее вьюжное имя,
ты порвало прозрачную нить,
ту, что денно миры сопрягала,
ты задуло ветвистые свечи
по уютным зеркальным
скитам над рекою, которая
мимо океана, который не внял.

Ты ушло по кремнистому краю
в край никем недосмотренных
снов, и слетело с тебя покрывало
из шуршавших порошей шелков.

Поднимается ветер видений
над долиной возвратных ключей,
ты ушло переулком Желаний
под аркадами срезанных роз.

Знаю, солнца мои не затмились
над опалом духмяных лугов,
ветер туг, и терновник вцепился
за обрыв у руинных твердынь,
где летит по утрам альборада
из груди неземных пастухов.
Ты ушло, отлучённое имя,
из моих откруживших молитв.

ПАМЯТИ ЮРЫ НИКОЛАЕВА

Серый плащ эмигрантских дождей
и подпухшие веки над цинковой
стойкой, в толстых очках книгочая.
Он любил поглаживать себе
мелкий бобрик и залысины над
висками: молодец, хороший мальчик.
Не пускал ни в свой заклятый рай,
ни в чистилище проклятых утр.
Сын врачей, его бедная печень

¹ Переулок Желанья в Париже.

весила три диссертации. «Бог есть. Однажды я тонул, и уже пошло обратное кино... Так что не надо бояться». Серый плащ эмигрантских ветров, наши стёртые, прошлые будни, жизни Северный грязный вокзал и вчера опустевшая стойка где-то на Невском, где-то над Сеной, где-то у Леты, на самом краю. Опадает пивная пена. Ничего, Юр, что здесь мы были, ничего, что нас больше нет.

ПРАЗДНИК

К.Д. Померанцеву

Зимний день. Без неба. Наберу старую статью о вашей смерти. Разве вы до сей поры мертвы? Разве мы об эту пору живы? Что-то мне и вправду не того... Помните, как с вас сорвали шапку русскую в парижском переходе гулкого посмертного метро?.. К пеплу вашему намедни заходил — в нише, что за стенкою от Каллас, и попал на праздник Всех святых. Сколько же их там по всем углам стояло! Да и вам не спалось в белый полдень во слепых угожьях Пер-Лашез. Да и вам чего-то не хватало в праздничной и траурной толпе, в раскурчавых жёлтых хризантемах, в мраморном лесу крестов и стел, обелисков, ангелов на склепах, конных статуй, лопнувших могил — в тех пустых и пыльных иммортелях, что, засохнув, вроде бы не вянута никогда, как в раю, в Артеке всех святых, собранный старательно гербарий. Зимний день, без неба и без дна. Зимних душ святое поминанье.

СПАСИБО, ПАРИЖ

Спасибо, Париж, за масонские
игры, за орды туристов, зевающих
хором на раннем Монмартре,
в сиреневом солнце, за пальцы
карманников в ласке проворной,
за волны любви, убывающей
в млечность под грешным мостом
Мирабо, спасибо за кладбищ
чугунные склоны в завешенных
окнах шик-блеск ресторанов,
за блики ликов помидорных
у старых пьяниц на скамье,
за слёзы Пиаф и ухмылку
Джоконды, пустыни храмов,
торжищ толчею, за тени друзей
в непогашенных окнах и поезда
в почивший Ленинград, за
взгляды любимых в отчалившем
взгляде и ласточек над
поднебесной мансардой, за узкую
тропу взаимных одиночеств и
музыку разыгранных разлук,
за вздохи двойника, стареющего
кротко, бредущего мимо
меня, в улыбке видений, во снах
недожитых, где больно от
вольностей кафешантанных и
сладко от шквалов бульварной
тоски, где кажется то, что не нам
отказалось в глядящих в себя
зеркала, спасибо, судьба,
за судьбину, за сказку
спасибо, Париж.

МОРОЖЕНОЕ НА МОНМАРТРЕ

Они жили долго и умерли в один день.

Грин

С мороженым, с фисташковым,
они по миру шли, цвела весна
январская, как капелька зелёная
на драповом пальто, и ангелы-

хранители поддакивали всласть.
Война давно отквакала, Беко
гремел в «Олимпии», а Каллас
славословила луну в Гранд-опера,
де Голль бурчал и старился,
а Фернандель всё скалился,
и мило косолапил
в ночном кино
Бурвиль.

С мороженым, с малиновым,
они над миром шли, обнявшись,
словно ангелы на фресках, стёртых
в прах, в глазах ромашки плакали
от бережной любви. Анник и
Пьер, улыбочиво они сошли,
истаяли, ковры асфальта скатаны,
и смыты земляничные, беспечные
следы, и этот мрамор серенький
на кладбище Монмартра и фото
чёрно-белое, с мороженым,
с нетающим, конечно,
не про них.

ЧАЙ В ЧЕТВЕРГ

Соне Ардашниковой

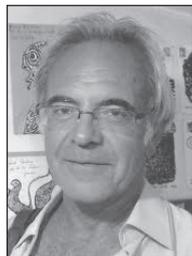
Под доцветающими кронами
мы пьем с тобой зелёный чай.
Париж куда-то там спешит, давно
в себя не веря, в беседе больше
знойных зим, чем допустимо по
прогнозу. Уносят всё. Над гладью
тротуара дрейфует наш последний
стол, и странники времён к нему
улыбочиво подсели. Пора прощаться,
милый друг, и торопиться недвижимо.
У нас ещё столько доделанных дел
в стране, которой нет, и столько
бабочек вспорхнёт на золотой
игле, и праведный ветер над краем
обнимет: у нас ещё всё позади.

ПАРИЖСКОЕ ОКНО

Жил старик напротив, высоко,
под крышами Парижа, курил
в окно, облокотясь на поржавелую
решётку, спал допоздна и до утра
писал, сутулясь. Седая щетина и
бобрик да «голуаз» в клешне.
Однажды пьяный негр разорался
внизу, на тротуаре, орошая
обшарпанный угол. «Заткнись», —
послышалось с соседской высоты.
«Грязный француз, ды я тя щас...
да ты...» «А ты иди сюда», — сказал
старик, и негр испугался. Но в один
из далёких приездов мелькала лишь
старуха, в сизом халате на белой
рубаше, нахохленная, тихая,
иная. Весь день окно задёрнуто
гардиной цвета ряски версальского
пруда. В ночь, до утра горит
её лампа и стародавний телевизор,
дрожащая ниточка с явью. Она
кивает из окна напротив, и я
киваю: «бонжур, мадам», — меж
коченеющим от счастья Парижем
и подошвой облачных миров;
она задёргивает шторы, и я понимаю:
горевать можно лишь по живым,
ну а мёртвым, им надо завидовать.
Жили-были в означенной были,
жили-были, и я там был.

Марк ПЕТИ

/ Париж /



ТРЕТИЙ ФАУСТ¹ (Фрагмент²)

...Каждый знает сам, что знает,
Но это — большой секрет.
Годы странствий Вильгельма Мейстера, II, 9³.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Французский роман, тот, что сформировался, а затем утвердился в девятнадцатом столетии, начиная с Бальзака и Флобера и кончая Золя, породил две основные тенденции в литературе: исследование характеров и исследование нравов.

Эта ориентация преобладает и в наши дни, но мне не свойственна. Как писатель, автор новелл, эссе и романов, я вписываюсь (если только мне следует куда-то вписаться, ибо каждый творец видит себя единственным в своем роде, вне каких-либо категорий) в ветвь, стоящую отдельно от реализма, а именно в ветвь еретиков, чудаков и сатириков, идущую (допустим) от Рабле к романтикам и сюрреалистам. К этой же ветви, относятся и такие мастера, как писатели эпохи Просвещения: Вольтер, Дидро, Лоренс Стерн и так далее до Жерара де Нерваля, чьи книги очень долго были моими настольными. Француз по языку и житейским привычкам, я далек от всего французского во всем, что касается вдохновения. Своими первыми литературными восторгами я обязан немецкому романтизму. Позднее к нему присоединились Франц Кафка и Карен Бликсен⁴. Из-за любви к бесконечным комментариям, доставшейся мне, наверное, от моих предков по ма-

¹ История написана на основе неопубликованных записок Лучана Блэквелла и дополнена примечаниями и послесловием профессора Йенского университета Фридриха Готтлоба Шнепфендрекса.

² Полностью — издательство «Алетейя», 2015 г.

³ Перевод С. Ошерова.

⁴ *Бликсен Карен* (1885–1962) — датская писательница, автор романтико-фантастических новелл и романов. Дважды выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе.

теринской линии — выходцев из Идишлэнда¹, я занимаю в пространстве французской литературы пусть весьма скромное, но особое место. Генрих Гейне называл себя «романтиком-расстригой». Почти то же можно сказать и обо мне. Да, я чуть не забыл о Гёте. Мы оба всегда были и будем на стороне Мефистофеля, на стороне непочтительности и иронии, которая служит противником существующим мифам, ибо юмор и поэзия подрывают устоявшиеся и облюбанные литературой идеи.

Одна из таких идей — идея современности. Развивавшаяся в течение всего девятнадцатого века, в период становления индустриального общества, эта идея последние пятьдесят лет теряет свою содержательную силу по мере того, как информация, взятая в реальное время, изгоняла Историю, а изображение, звук и спецэффекты оставляли далеко позади фантазию. Сиюминутное с его взглядом Медузы Горгоны несет литературе смерть. Зафиксированная информация убивает живую память. Алгоритмы запирают воображение в клетку. Линейность повествования требует внимания, которое уже не в ходу в эпоху всеобщей привычки к переключению каналов и бегства от рекламы. Желание вновь вернуть власть литературе и, в частности, вымыслу как инструменту познания действительности есть результат не ностальгии, а критического осознания новых воздействий на человеческую личность.

«Наша задача, — писал Стивенсон, — состоит не столько в правдивости, сколько в типичности, не столько в описании характерных черт каждого факта, сколько в их сборе и организации последовательного движения от начала и до конца. <...> Жизнь чудовищна, бесконечна, нелогична, полна резких поворотов и бед; произведение искусства по сравнению с ней является ясным, ограниченным, автономным, разумным и плавным. <...> Роман существует не благодаря своему сходству с жизнью <...>, а благодаря своей крайней непохожести на нее».

Поиск смысла или его изобретение — вымысел — в моем представлении не открывает никакой высокой истины. Он движется вперед, сжигая корабли, и никогда не достигает желаемого конца, и более того, он в действительности не имеет и начала, ибо является наследником бесконечной цепи историй. «Из двусмысленности, сквозь слова, до нас доходят остатки света» (Кафка). *Сквозь слова...* Вполне возможно, что фантазия и поэзия гораздо ближе друг другу, чем кажется. Ни та, ни другая не отрицают реальность. Они лишь отрицают то, что реальность можно выразить словами. Ту реальность, которая молчит, делая вид, будто ждет, что мы спасем ее скудным своим языком. Но слова не могут найти решение, они лишь усложняют проблему. И по пути при вспышке молний нас подстерегают видения. Может быть, музыка. И тогда неважно, закончено произведение или нет. Конец — это обман. В который раз Мефистофель прав, и жизнь продолжается.

¹ Идишлэнд — этой страны нет и не было ни на одной карте, но это родина многих миллионов евреев, живших на территории от «Страсбурга до Владивостока». Чаще всего под Идишлэндом подразумеваются территории Польши, Чехословакии, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины и России. Считается, что уничтожении Идишлэнда началось во время Первой мировой войны и закончилось во время Второй.

Избавив себя от необходимости сделать вывод (что для предисловия — задача самая трудная), я могу теперь представиться российскому читателю, о чем меня любезно попросил издатель.

Меня зовут Марк Пети. Я родился в Париже 28 июля 1947 года и сейчас снова живу в этом городе. Получив классическое гуманитарное образование (лицей имени Людовика Великого и Высшая педагогическая школа), я увлекся германистикой, что объясняет ненормально большое количество ссылок на немецкоязычных писателей в моих произведениях... Более тридцати лет я преподавал германскую литературу в университете Тура.

В юности я писал в основном стихи, пока не преодолел отвращение к роману (в особенности, к роману французскому) и не начал сочинять прозу.

Мой первый рассказ «Великая кабала евреев из Плоцка», задуманный, как молитва в память об отце моей матери, был своего рода неистовым комментарием к Талмуду и кружащей вокруг своей оси новеллой в духе Витольда Гомбровича¹ об одном странном эпизоде первой русской революции и польско-русской войны².

«Моренада». Действие этой книги разворачивается в Ла-Пасе, столице Боливии, и через события, связанные с поисками нацистских преступников, повествует, по сути, об установлении личности рассказчика, лишнего наследства.

«Последний конкистадор» — история любви честолюбивого мужчины и юной девушки-индианки. Действие происходит в наши дни в Гватемале. Я написал эту лав-стори, дабы доказать клеветникам, что у меня тоже есть сердце.

Моя главная книга «Уроборос» — огромная фреска времен Тридцатилетней войны — вовлекает в придуманную мной интригу некоторых великих поэтов Германии эпохи барокко.

«Архитектор льдов» — автобиография вымышленного архитектора Якова Левинского, автора недолговечных сооружений, жившего в Европе двадцатого века при тоталитаризме (на сегодня эта книга является бестселлером, что объясняется, полагаю, не столько ее литературными достоинствами, сколько тем, что она, к счастью для вечно спешащих читателей, короче других моих сочинений).

«Гигантский карлик» — книга, переведенная на несколько языков. Признаться, я получил удовольствие от работы над полным тайн романом-фельетоном в духе девятнадцатого века.

Следующая книга — «Индийская кампания» — моя любимая. Я погрузился в век Просвещения, где-то между Стерном и Яном Потоцким³: это сказка Шахерезады под сенью гильотины.

¹ Гомбрович Витольд (1904–1969) — классик польского авангарда, оказавший большое влияние на польскую и европейскую литературу и драматургию.

² Имеется в виду революционные выступления поляков в 1905–1907 гг., подавленные Российской империей.

³ Потоцкий Ян (1761–1815) — польский историк, путешественник и писатель, автор романа «Рукопись, найденная в Сарагосе» (1804).

«Утопия доктора Какерлака» — парадоксальная история, которая происходит в одной из постсоветских республик то ли Кавказа, то ли Средней Азии и вращается вокруг тем аутизма, манипуляции сознанием и сопротивления, которое оказывает язык в ответ на насилие и притеснения.

«Уравнение Колмогорова» — моя последняя книга. Это не роман, а биографическое исследование судьбы двух исключительных личностей: писателя Альфреда Дёблина и его сына Вольфганга¹ — гениального математика, трагически погибшего в 1940 году.

Помимо романов и повестей я увлекался также сочинением рассказов. Я люблю этот жанр за его нервный аллюр, за то, что в рассказе отдается предпочтение событиям, а не психологии. Два сборника: «Истории без конца» и «Тени за окном» (фантазии в китайском стиле) объединяют большую часть моих новелл. Я предпочитаю называть их «историями», потому что это не рассказы и не сказки, а рассказы со сказочным горизонтом. Некоторые из них были недавно переизданы в Бордо, и получилось два сборника: «Первая скрипка Гварнери» и что-то вроде «флорентийского» цикла под названием «Ночь колдуна».

Помимо рассказов я опубликовал также несколько эссе:

«Мании и Германии», где, как видно из названия, речь идет о немецкой и австрийской литературе и философии. (Да, я еще переводил на французский сочинения Георга Тракля², Райнера Марии Рильке и поэтов эпохи барокко).

Эссе «Похвальное слово вымыслу» принесло мне в 2000 году Гран-при литературной критики, и в качестве довеска я нажил целую армию врагов из стана поклонников трэш-культуры³.

Есть еще другая (хотя и не слишком далекая) область моего творчества: я познакомил публику с примитивным искусством Гималаев, (книга «Без маски» — описание моей личной коллекции непальских масок, часть которой передана в дар музею на набережной Бранли).

Любовь к коллекционированию (и к маскам тоже) позволяет вернуться к Гёте. Оправдывая беспорядок, царивший в доме поэта в Веймаре, при том, что сам дом был постоянным объектом его внимания и забот, он говорил: «Я ограничиваю себя всем».

Я рад тому, что «Третий Фауст» переведен на русский язык, тем более что именно русский писатель Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» создал одновременно с Томасом Манном («Доктор Фаустус») самого замечательного «нового Фауста» современной литературы. Мой «Фауст», собственно говоря, не роман и не биография, это вымысел в форме фарса (точ-

¹ Дёблин Альфред (1878–1957) — классик немецкой литературы, чьи романы представляют собой сплав реальности и вымысла. Дёблин Вольфганг (1915–1940) — математик, принявший в 1936 г. фр. гражданство. Покончил с собой, когда его подразделение было захвачено в плен немцами.

² Тракль Георг (1887–1914) — австрийский поэт, классик экспрессионизма, оказавший большое влияние на мировую поэзию XX в.

³ Трэш-культура (от *англ.* trash — мусор) — направление в современной массовой культуре, характеризующееся декларативной бездуховностью, вторичностью и вульгарностью, использованием штампов, затасканных идей и сюжетных линий. Трэш — ответ на стремление обывателей уйти от проблем современности.

нее, соти¹) и в духе комедии дель арте. Вы увидите, как Мефистофель-Арлекин, переодетый в американского журналиста, проникнет в дом Гёте-олимпийца в Веймаре и поочередно сыграет роль каждого из собеседников великого человека. Я получил заказ от одного издательства — написать очень подробный рассказ об одном дне из жизни Гёте, о 1 октября 1831 года. Видеозаписи тогда не велись, и чтобы сделать достойный репортаж, пришлось прибегнуть к уловке. Разумеется, вмешательство дьявола придало всей истории неожиданный оборот. Вымысел едва не разрушил научный проект. Перебравшись через стену, рассказчик атакует маску Гёте с согласия автора «Фауста», довольного тем, что ему довелось в один миг сбросить с себя несколько десятков лет.

Этот день — 1 октября 1831 года — день, когда Клара Вик, будущая возлюбленная Роберта Шумана, еще девочка, демонстрирует Гёте свой талант пианистки в зале Юноны². Ангел возрождения или ангел-истребитель? И где спрятана запечатанная рукопись второй части «Фауста»? Главная книга жизни действительно закончена? Можно ли быть в этом уверенным? Зачем жить, когда все уже сказано? Гёте хитер, по меньшей мере, так же, как автор, и так же, как автор, склонен к романтизму. И потому я настоятельно рекомендую читать эту книгу, поставив в качестве музыкального сопровождения «Бабочек», опус 2, Шумана и наслаждаясь золотистым «Вюрцбургер штайном»³ предпочтительно года одна тысяча восемьсот одиннадцатого — лучшего в том столетии.

*Марк Пети
Париж, 17 декабря 2007 г.*

ДЕЙСТВИЕ I

— Ну и наглец! — воскликнул склонившийся над ведром здоровяк, чей низкий голос звучал еще грубее из-за явного тюрингского акцента.

В два прыжка мальчишка с обезьяньей прыткостью запрыгнул на край уличного колодца, прошел по нему, как канатоходец, несколько шагов и, поставив под желобок ладонь, направил струю себе в рот.

— Вот негодник! Попадешься ты мне! — взревела матрона в бумажном чепце, когда малец соскочил на землю. Всплеснув толстыми красными руками, она задела кувшин, который ее соседка поставила на бортик. Горшок разбился, раздался смех, затем крики, а за криками брань. Чтобы восстановить порядок, пришлось обратиться к властям, но пока, рассекая толпу хозфор и водопосов, с соседней Рыночной площади явился полицейский, мальчишка уже давно мчался во весь дух далеко-далеко от мира, в котором люди несчастнее коров, ибо, чтобы утолить жажду, им приходится становиться в очередь к водопою.

¹ Соти — сатирические пьесы острой политической направленности, пользовавшиеся популярностью во Франции XV–XVI вв. Были окончательно запрещены цензурой в конце XVI в.

² Зал Юноны — одна из гостиных в доме Гёте в Веймаре (см. приложение I).

³ «Вюрцбургер штайн» — марка изысканного баварского вина, производимого в окрестностях Вюрцбурга и носящего название холма, на котором произрастают виноградники.

Поглядывая на небо, я уходил от шумного скопления народа. Уже почти рассвело, и свежий ветерок разгонял розовые облака, неловкой рукой нарисованные над крышами.

Пора, сказал я сам себе, заметив повозку молочника, подпрыгивавшую на мостовой площади Фрауэнплан, на углу улицы Савон, прямо перед постоялым двором «Белый лебедь».

Напротив меня, с южной стороны площади, подобно члену магистрата выставил вперед свое пузо суровый и зажиточный дом Его Превосходительства Партикулярного Советника, Статского министра, сиречь «Волшебника Мерлина», сиречь «Веймарского Ламы».

Это было безликое, но довольно приятного вида желтое строение, не уступившее стилю рококо дурного толка ни одной черточкой саксонской архитектуры, и потому несуразное и солдафонское. Издали его можно было принять за гимназию, семинарию, музыкальную школу или гостиницу; его фасад навел мысли об итальянском ресторане за границей, где шеф-поваром служит швейцарец родом из Цюриха.

Я пересчитал окна. Их было ровно тридцать шесть плюс две половинки. Строго симметричный фасад, три больших двери, пристройки, похожие на грани призмы, — дом Гёте напоминал бастион. И как взять эту крепость? Как проникнуть в нее? Переодеться молочником и воспользоваться проездом повозки? Слишком поздно: центральная дверь распахнулась, и в ее дорическом проеме из розового камня под строгим фронтоном с бесконечной латинской надписью, по бокам от которой вьется гирлянда из цветов хмеля и листьев аканта, появилась девушка.

Нет, нет, думал я, сожалея, что не могу поближе рассмотреть хорошенькую служанку, слишком рискованно, и кто знает, не следит ли за мной этот чертов городской? Кроме того, если я войду через парадную дверь, то, чтобы добраться до хозяйских покоев, мне придется подняться по лестнице и пересечь несколько комнат. Нет, без рекомендаций нельзя. Если же я, согласно обыкновению, обращусь к дворецкому, то буду обречен на томительное ожидание до десяти часов, а то и больше, и меня, как всех визитеров, примут в полдень, в час банальной, краткой и жесткой дипломатической беседы, забавной, как предьявление векселей; но главное, я не узнаю, как автор «Фауста» проводит утро — тайна, в которую не был посвящен даже верный Эккерман. Впрочем, точного содержания программы дня, за исключением сцен, к участию в которых они приглашаются, не знают ни камердинер великого человека, ни его слепополуденные близкие. Аромат тайны витает над домом на Фрауэнплане и особенно над его главным обитателем. Уже давно Гёте лично не руководит домашними делами. Подобно китайскому императору он живет отшельником в самой дальней комнате дворца, молча передвигая пешки на шахматной доске, и умело запрещает доступ и в свое время, и в свое пространство. Можно сказать, что он без ума от протокола, до абстрактного, нереального педантизма, который стал не просто его тенью, а его личным символом. Молодым людям, демагогам и тиранам в этом *нет равных*. Невзирая на отсутствие, он тихо царствовал, как невидимое божество.

Я вспомнил о мальчишке у колодца. Действовать внезапно, вот единственный способ окунуться в гущу событий. Не имея возможности

атаковать противника в лоб, оставалось обойти его группировку и напасть с тыла. Эта тактика, тактика Ганнибала в битве при Каннах, была небезопасной: с южной стороны, где находились спальня и кабинет Гёте с окнами в сад, высилась стена высотой около восьми футов. Там, разумеется, есть дверь, но она заперта изнутри на ключ. Мне придется перелезть через эту стену, рискуя попортить редингот и панталоны. Разве я осмелюсь явиться господину Партикулярному Советнику в ключках или даже в помете и с пауками в волосах? Ведь речь идет о моей чести и к тому же о моей представительности. Но, выбора нет, остается только изобразить из себя макаку, рискуя попасть в лапы Цербера, обязанного защищать подступы к храму. Так что я отбросил сомнения и быстрехонько направил свои стопы к Новой улице Ворот Богоматери. По левой стороне ее начиналась, к счастью, безлюдная тропинка, которая бежала вдоль той самой стены.

Я узнал высокую крышу сеновала Коппенфельса; птицы, слетавшиеся на нее, чтобы поклевать овес, единственные во всем Веймаре, имели возможность заглянуть в святилище сверху. Стена была гладкой, что ж, я привык проникать повсюду, и потому без труда подтянулся и осмотрелся.

С внутренней стороны стену подбивала колючая изгородь из кизила. К счастью, в том месте, где я уселся, среди веток обнаружилось отверстие в форме арки, и таким образом, я мог спокойно обозреть линии неприятеля.

Я не верил своим глазам. Неужели это дом Гёте? Тот же самый дом, или, лучше сказать, его изнанка, его второе, скрытое, лицо? Какая связь между этим деревенским домиком, окруженным садом приходского священника, и горделивой, суровой и торжественной резиденцией на Фрауэнплан? Я припомнил рассказы очевидцев — моего друга Теккерей, Беттины фон Арним и графа Строганова — о том, что автор «Фауста» действительно живет в этой хижине, но никак не мог прийти в себя: подобное превращение, казалось, объясняется только колдовством, а не особенностью местной топографии или законами оптики.

Здесь, я считаю необходимым прервать мой рассказ, чтобы уточнить некоторые детали для читателя, любящего хорошо представлять себе место действия¹. В действительности у Гёте не *один дом*, а *два*. Тот, на площади, с тридцатью с лишним окнами и двухэтажный не многим выше своего одноэтажного сельского соседа². Эта странность возникла из-за более чем двухметровой разницы³ между уровнем площади и уровнем сада. Оба дома связаны между собой по бокам и по центру — здесь переходом служит комната-мост, а свободное пространство между зданиями превратили в двор. Ни одна из комнат городского дома не находится на одном уровне

¹ См. план в Приложении I. — Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания профессора Шнепфендрекса.

² На верхнем (то есть третьем) этаже дома на Фрауэнплан находятся мансарды с четырнадцатью односкатными слуховыми окнами. В сельском доме также есть второй этаж, перестроенный из бывшего чердака в помещения для прислуги.

³ 2,2 метра.

с помещениями, находящимися напротив, в сельской части. Коридоры, маленькие лестницы, галереи, проходы превращают дом в запутанный лабиринт. Правда, никто, даже посторонний, ни разу в нем не потерялся, ибо ключи хранятся у самого Гёте.

Я уже сказал, что сидел верхом на стене и рассматривал спрятанное от всех лицо этого странного — полуулыбчивого, полусурового — Януса, в котором обитает самая таинственная из наших знаменитостей, как вдруг в четвертом окне слева от центрального навеса, показалась рука и быстро, но осторожно, откинула темно-зеленый ставень на бледно-желтую стену длинного дома.

Разумеется, это Гёте, подумал я, а не его слуга; ибо зная, с каким почтением сочинитель «Дивана» относился к свету и с какой ненавистью — к мраку, как в прямом, так и в переносном смысле, я не сомневался, что он никогда не отказывал себе в простом удовольствии — своими собственными руками осуществить акт элементарного *Aufklärung*¹.

Я пришел к выводу, что четвертое окно — это окно спальни поэта, а два следующих, еще закрытых в этот час, относятся к более просторному помещению, очевидно, его рабочему кабинету. Дальше идет библиотека; что касается трех крайних справа окон без ставней, то они, должно быть, принадлежат помещениям менее важным и не содержат в себе ничего ценного. Окно, смежное с крыльцом, находится почти вплитык к двери, выходящей в сад. Очевидно, оно освещает лестницу, которая ведет в какую-нибудь переднюю. Я подумал, что где-то там наверняка находится комната секретаря, ведь он, разумеется, не должен проходить через спальню хозяина всякий раз, когда является к нему по делу. Следовательно, левая дверь ведет в отдельный коридорчик, позволяющий секретарю свободно перемещаться из отведенной ему комнаты на улицу и обратно. И значит, мне необходимо занять позицию в каком-нибудь укромном уголке, чтобы перехватить его прежде, чем он постучит в дверь кабинета. Но сначала надо придумать, как проникнуть в дом. Пока обе двери — та, что ведет в дом, и та, что ведет на служебную лестницу — были закрыты. Но в любом случае не могу же я вечно сидеть верхом на стене, рискуя быть замеченным прохожими. Поэтому я решил, что хватит наблюдать, и в том же состоянии духа, что Юлий Цезарь перед переправой через Рубикон, одной рукой придерживая шляпу, а другой — сжимая трость, сделал глубокий вдох и прыгнул в пустоту.

Я приземлился самым изящным манером, а затем крадучись пошел вдоль изгороди, которая с западной стороны отделяет сад от соседнего владения.

Так я подобрался к Святой Святых и встал у стены библиотеки. Чтобы пройти под окнами кабинета, а затем — спальни, я пригнулся как можно ниже. К счастью, листва каких-то фруктовых деревьев, укрепленных на шпалере под окнами, служила мне хорошим прикрытием. Впрочем, я не замечал никакого подозрительного передвижения противника, ни в саду,

¹ Просвещения (нем.) — Прим. пер.

ни за его стенами. Наконец, я нашел надежное местечко: темное пространство под ступенями лестницы, которая позволит мне попасть из сада в комнаты сельского дома, а затем и в благородную часть здания.

Едва я занял позицию в засаде, как над моей головой раздался сильный шум. Кто-то распахнул дверь. Шаги удалились; я выждал еще несколько мгновений, прежде чем покинуть мое убежище, а затем, затаив дыхание и прижимаясь к стене, поднялся на несколько ступенек крыльца.

Странная эпистодома — эта маленькая коричневая клетушка, косая, безликая, и в то же время, такая *gemütlich*!¹ Кажется, что находишься у входа на баварскую ферму, между собачьей конурой и поленницей, там, где обычно устраивается дедушка, чтобы выкурить трубку, глядя на горные вершины или на тучные пастбища, уставленные коровами.

Я увидел единственную дверь, ведущую на север. Толкнув ее, я обнаружил проход в покои Гёте. Увы! Помещение, в которое я проник, с крашеными голубыми стенами и сводчатым потолком, покрытым листовым орнаментом, почти повторяло предыдущее с той лишь разницей, что в нем было два окна, смотрящие на левый внутренний дворик, и множество древнеримских гипсовых статуэток, довольно безвкусных, чтобы надолго задержать мое внимание.

По моим расчетам, я забрался в центр паутины, хотя паук по-прежнему ничем не выдавал своего присутствия. Может, он выслеживал меня и так же, как я, сгорал от нетерпения вступить в схватку, но насколько же он осторожен! Я боялся продолжить мои изыскания, опасаясь, что мажордом, чья комната находилась внизу, услышит, как скрипит пол под моими ногами. Лучше вернуться, снова спрятаться в моем убежище и подождать, пока не откроется та дверь, что ведет на служебную лестницу. Маловероятно, что кто-нибудь войдет к Олимпийцу через окно, если только этот кто-нибудь не принадлежит к той же секте, что и я, не перелезет через стену и не пройдет вдоль кизиловой изгороди.

Я не успел воспользоваться своим тайником. Только я развернулся, как увидел через окно, расположенное рядом с крыльцом, длинную белую фигуру, которая медленно, как призрак, удалялась по аллее в глубину сада.

«Вот человек!» — по памяти процитировал я Наполеона². В своем просторном белоснежном халате — рассказывают, будто Гёте приказал сшить его из своего маскарадного костюма тамплиера, — поэт выглядел как настоящий бедуин. Он шагал с важной миной, сложив руки за спиной и слегка склонив голову вперед, как на рисунке моего дорогого Билли³. Когда он вдруг обернулся и показал мне свое лицо в три четверти, я убедился, насколько точен этот набросок — та же обиженная гримаса, та же усмешка того, над кем никто не смеет насмехаться, — в общем, немного напоминает портрет Декарта кисти Франца Хальса. Зеленый козырек, ко-

¹ Немецкое слово «*gemütlich*» переводится, в том числе, как «уютный», хотя по сути своей оно непереводаемо, ибо происходит от слова *gemüt*, которым обозначается орган, расположенный между душой и сердцем и схожий по своей консистенции с телячьей зубной железой.

² Имеется в виду встреча Гёте с императором 2 октября 1808 г.

³ Речь идет об Уильяме Теккерее и его гравюре, приведенной в приложении II.

торый он носит на лбу, как корону, похож на балаганный нимб и окончательно придает нашему Императору Литературы тот *странный* вид, который в глазах людей со вкусом всегда отличает великого человека от просто важной особы.

Думаю, читатель не рассердится, если я снова прерву мой рассказ ради одной ремарки. Находясь в тени, я справедливо мог полагать, что невидим для того, кто гуляет по саду и не ведает о моем вторжении. Если же этот человек услышал шум и заподозрил, что в доме находится посторонний, то ему не составит никакого труда различить мой силуэт в оконном проеме — тоже призрак, только темный. Так увидел меня Белый тамплиер, когда обернулся, или нет? Я не мог ответить на этот вопрос, ибо не успел разглядеть его глаза под зеленой тенью козырька. И вообще, какого черта он таскает козырек в семь утра, первого октября? Может, старый лис нарочно спрятался под маской, чтобы следить за мной?

По правде говоря, в тот момент эта мысль у меня не возникла, я был слишком уверен, что владею инициативой. Прежде чем покинуть мой шалаш, я подождал, пока бедуин не вернулся в свой караван-сарай, затем толкнул оставшуюся приоткрытой дверцу, которая вела на служебную лестницу, и шагая через несколько ступенек вышел на дозорный путь, устроенный между сельскими комнатами и внутренним двориком.

Внезапно сердце мое сильно забилося. Я оцепенел, не понимая, чем вызвано мое волнение. Какой сладкий, до боли знакомый запах ласкает мои ноздри? Кажется, он исходит из самой отдаленной комнаты, той, куда поэт уже давно перенес свои зимние квартиры, прежде чем окончательно расположился там вместе со всем своим хозяйством. Возможно ли — сколько воспоминаний таит в себе этот аромат, сколько былых упований! — возможно ли, думал я, чтобы из этой комнаты исходил самый неожиданный из дымков, самый необычный для уютного и защищенного мирка мастерской писателя душок: едкое, с привкусом горячей бумаги, древнее и почтенное *благоухание святости* аутодафе! Я почувствовал, что помолодел на несколько веков, и в возбуждении, похожем на опьянение, даже не заметил, что на меня смотрит человек с папкой в руках.

Я повернулся к нему, только тогда он кашлянул, желая привлечь мое внимание. Это был брюнет лет тридцати пяти в темно-коричневом редингите с черным воротничком.

— Кто... вы такой? Что вы здесь делаете? — спросил он неуверенно.

— Именно эти вопросы я хотел задать вам, — сказал я вместо ответа.

— К вашим услугам, Фридрих Йон, секретарь Его Превосходительства, и я намеревался, как обычно, получить его указания.

— Джон, дорогой Джон, — я специально произнес его имя на английский манер, — как я рад, что встретил вас! Представьте себе, что я давно вас знаю... Нет, нет! Я не шучу... Вообразите, что я не кто иной, как вы сами! Двойник? Нет, скорее, дублер... Вы любите фарсы? Говорят, Его Превосходительство, при всей его серьезности, к ним не равнодушен. Предлагаю сделку: с этого мгновения я вас замещаю. Играю вашу роль. Вы вне-

запно заболели, успокойтесь, ничего страшного, всего лишь катар, а я ваш кузен из Ольденбурга... как его имя, не подскажете? Ганс Вурст? Касперле? Согласен, подлог грубоват, он может навредить вам, вам — пунктуальному, образцовому, лучшему из лучших! Так вот, чтобы помочь вам проглотить эту пилюлю (катар обязывает!), даю немного золота: несколько звонких и полновесных флоринов высшей пробы. И попробуйте теперь сказать, что я насмехаюсь над вами! Живо, в постель! С толстой грелкой и настойкой исландского моха все как рукой снимет... Уже завтра вы будете на ногах и в полной боевой готовности, а я в тысячах лье от Веймара и планеты Земля буду с бесконечной нежностью вспоминать и вас, старина Джон, и ваш бурый редингот, и ваш профиль византийского писца... Тсс! Вашу папку!

Славный малый, ошеломленно пятясь, покинул поле боя. Я воспользовался минуткой, чтобы прийти в себя, хотя комната, забитая витринами и шкафами с коллекцией медалей, была далека от того, что обычно называют передней: там не на что было даже присесть. Я положил папку на столик, в который причудливым образом были вставлены огромные часы, занявшие весь простенок между двумя окнами, и при этом задел полдюжины анатомических препаратов, в основном, птичьих скелетов, громоздившихся на стопках застекленных коробок с пыльными кристаллами и жалкими окаменелостями; затем, желая погрузиться в тему, я сделал вид, что интересуюсь содержимым папки, отнятой у безупречного кузена Джона.

Думаю, читателю глубоко безразлично, что же было в этой самой папке. И по правде говоря, я его за это не упрекаю. Но я полез на стену, рискуя не только своей репутацией, но и своим лучшим костюмом, затем, чтобы вставить в свой репортаж именно такого рода детали, хотя мог бы выдумать их, и никто ничего не заметил бы. Таким образом, даже худший из мошенников (извольте называть меня так, если хотите) не всегда лишен совести и профессиональной чести. Все это я говорю к тому, что вам придется-таки узнать, что содержалось в портфеле переписчика Йона 1 октября 1831 года, даже если вам до этого нет никакого дела.

В этом самом портфеле (чувствуете, как вам повезло, что я не описываю его подробно?) лежали следующие бумаги:

1. набросок письма, адресованного господину Первому пастору и Консistorскому советнику Антону Киршнеру, во Франкфурт, письмо, в котором Его Превосходительство благодарил за то, что двадцать восьмого августа сего года господин Киршнер вместе с семнадцатью старыми друзьями из города на Майне прислал ему сорок восемь бутылок отменного рейнского вина, сопроводив его двумя четверостишиями, посвященными восьмидесятидвухлетию уважаемого маэстро;

2. Записку к дочери онго, мадемуазель Киршнер, которая должна быть приложена к посылаемой ей медали и полная, в ограниченных пределах одной восьмой листа, целомудренных (хотя и галантных) отеческих банальностей;

3. Разные бумаги относительно покупки великим герцогством Саксен-Веймарским нумизматической коллекции и библиотеки покойного Статского Министра фон Фойгта на общую сумму в 3000 талеров, выплачиваемых

ежегодно в размере 500 талеров, без процентов, а также о назначении по предложению Генеральной инспекции науки и искусства господина секретаря герцогской библиотеки Крётера хранителем вышеупомянутого собрания медалей фон Фойгта с жалованием в 100 талеров.

Тут раздается шум в комнате сбоку; скрипит пол, слышатся шаги, приближающиеся к двери, и я моментально соображаю, что будет, если хозяин выйдет и примет меня за обыкновенного воришку. Я спешно захопываю папку славного кузена Джона и, возбужденный сладким ароматом горелой бумаги, шекочущим мои ноздри, без дальнейших колебаний трижды стучу в дверь.

Занавес!

— Мое почтение, Ваше Превосходительство. Простите мне мои кавалеристские замашки; но дело в том, что вас не успели предупредить. Дело в том...

— Кто вы?

— ... *Мелочный вопрос*

В устах того, кто безразличен к слову,

Но к делу лишь относится всерьез

И смотрит в корень, в суть вещей, в основу¹.

— Хм, хм, — хмыкнул Гёте. — Так... еще один из тех, кто путает курицу с яйцом! Неужели вы не понимаете, что я не Фауст, а автор «Фауста»? Вольно этому старому безумцу выказывать презрение к словам словами — что до глубины, то вы когда-нибудь видели что-нибудь без поверхности? Впрочем, да, вы правы, мне все равно, кто вы есть. Скажите только, за кого вы себя принимаете, этого будет довольно!

Я вижу, что вопреки всем правилам забыл поведать о впечатлении, которое произвела на меня встреча с Гёте лицом к лицу и на этот раз без козырька. До меня уже многие описывали благородное лицо с правильными чертами, венец белых волос над огромным лбом, загорелую кожу, орлиный нос и тонкие губы красивого старика, чей портрет так удачно написал Йозеф Штилер. Один заметил странную морщину в виде трезубца, выгравированную между его бровями и похожую на знак Шивы индусских аскетов; другой — необычное строение его радужных оболочек: вокруг темно-карей серединки с недавнего времени появился голубоватый ореол, похожий на кольца Сатурна; третий — думаю, речь идет о моем уже упомянутом друге Теккерее, — беспокойное выражение глаз. Этот взгляд на безмятежном в целом лице напомнил ему Мельмота Скитальца: «eyes of an individual who had made a bargain with a Certain Person»². Описан также его чарующий голос — голос великого актера — грохочущий и вкрадчивый, страшный и трогательный: то похожий на гром, сотрясающий горы, то на хрустальное пиццикато дожда по оконному стеклу, дрожащий звук арфы и шелест трав. Образ, запечатлевшийся в моей памяти, более прозаичен,

¹ Фауст. Часть I, Рабочая комната Фауста. — Пер. Б. Пастернака. В оригинале все стихотворные цитаты даны в переводе на французский Марка Пети.

² Глаза человека, заключившего договор с известной персоной (англ.). — Прим. пер.

но не менее живописен. Исключительно подвижные глаза, неуловимые, способные разгадать все хитрости противника и всегда готовые к нападению; насмешливая улыбка, невыразимо мягкая и горькая, придающая старческому лицу выражение дерзкого мальчишки, столь же мимолетное, как его улыбка; но главное, выражение нерастраченной энергии, громадный запас дикости, скованный узостью пространства и эпохи, дикости, которая порой оборачивается своего рода странной неловкостью, почти хрупкостью, какую я видел только у крупных хищников в клетке, орлов в неволе или же, к примеру, у какого-нибудь вождя индейского племени чероки или крики, захваченного в плен Джексоном.

— Предположим, что я ваш секретарь, — сказал я, немного помолчав. — Йон заболел и попросил заменить его сегодня, я его кузен. Заметьте, что я мог бы с тем же успехом быть Эккерманом, хотя и одного Эккермана достаточно...

— Забудем о нем: разве вы не знаете, что он *никогда* не приходит по субботам?

— Знаю. Поэтому довольствуюсь ролью переписчика, — униженным тоном ответил я. — С чего Ваше Превосходительство прикажет начать? С письма пастору Киршнеру, с нежного послания мадемуазель или с записи собеседования с господином Крётером, будущим хранителем нумизматического кабинета?

— Хм, хм, спокойно, молодой человек! — скользкой походкой, грациозный, словно дервиш, Гёте обогнул стол, заложив руки за спину. — А кто сказал, что вы не шпион? Или иезуит в мирском наряде, или, может, конкурент Карла Занда?¹ Переодетый последователь Ньютона? Темный приверженец Вулкана и противник нептунизма? Или же какой-нибудь ученик Кювье, сторонник обособления головоногих?

— Черт возьми, Ваше Превосходительство оказывает мне великую честь. Я всего лишь бедный бродячий студиязус, который не нашел ничего лучшего этой уловки, чтобы побеседовать с автором «Фауста» и заодно подзаработать. Обязуюсь как можно меньше беспокоить вас; я буду тенью, да, я пройду сквозь вашу жизнь именно так: привидевшейся вам тенью. Кроме того, я знаю все ваши привычки и буду их чтить. Я не ношу ни очков, ни усов, ни ярких одежд, не курю ни сигар, ни трубки, не сочиняю стихов, я не собака и не имею таковой, так что ничей лай не сможет испортить вам настроения подобно самым пылким проявлениям христианской веры. Точно так же, я обязуюсь в течение дня ни разу не произнести слова *смерть*, которое, как мне известно, вызывает у Вашего Превосходительства всякого рода респираторные и пищеварительные расстройства.

Еще я полагаю, что смогу по вашему примеру обойтись без ужина, — смело заключил я. — Я ем очень мало, предпочитая запах блюд вкусу мяса. И будьте уверены, Ваше Превосходительство: как только мои услуги станут не нужны, я тут же испарюсь!

¹ Карл Занд — студент-революционер, в 1819 г. заколовший кинжалом писателя и драматурга Августа Коцебу, автора огромного количества пьес, написанных во вкусе нем. мещанства.

Прежде чем узнать ответ Гёте, эрудированный читатель, несомненно, с удовольствием познакомится с комнатой, в которой бессмертные шедевры — от «Годов учений Вильгельма Мейстера» до «Избирательного сродства» и от «Западно-Восточного дивана» до «Поэзии и правды» — были задуманы, написаны, затем отполированы и вылизаны в одиночестве и тишине. Мало кто имел доступ в эту келью: кроме членов семьи туда входили только очень близкие друзья, числом не более десятка, а также великий герцог Карл-Август, ну и, с другой лестницы — секретари и слуги. Конечно, через столетие, толпы школьников и туристов будут бродить по большому дому на Фрауэнплан; но я сильно сомневаюсь, что им покажут лабораторию в свойственном ей беспорядке, лабораторию, в стенах которой великий аптекарь в течение столетий каждый день смешивал яды, чтобы получить из них свои снадобья.

Представьте себе довольно просторную комнату¹ с высоким потолком, освещенную двумя выходящими в сад окнами, между которыми висит прямоугольное зеркало. Шероховатый пол из широких досок, которые никогда не натираются воском. Никаких ковров. Утром комнату заливают солнечный свет, в правом ставне, который иногда оставляется закрытым, проделано отверстие, и таким образом при случае рабочий кабинет в целях эксперимента превращается в камеру-обскура. В центре комнаты висится квадратный стол с закругленными углами. Его окружают четыре новых стула, рядом с ними стоит затейливая плетеная корзина почти такой же высоты. Именно за этот стол на место Фридриха Йона через мгновение сядет ваш покорный слуга, уложит локти на длинную и очень удобную подушечку и увидит перед собой жалкий письменный прибор, состоящий из картонной коробки с песочницей и деревянной чернильницы с потрепанным пером.

Многие фаты-аристократы и почтенные мелкие буржуа описали покои Гёте, или, скорее, то, что они видели. Одни нашли всю обстановку, от мебели до картин, совершенно невзрачной, и посмеялись над ней, другие преисполнились искреннего восторга, свойственного невежеству. О чем думали славные люди, всегда готовые на хулу и похвалу, разглядывая этот удивительно банальный интерьер? Я вижу у левой стены конторку с ящиками и пюпитром наверху; рядом высокий столик с наклонной столешницей, а между окнами — широкую консоль по соседству с низким столиком. У правой стены — большой секретер, окруженный стеллажами. За ним — застекленный шкафчик в стиле трубадур, вторую конторку и слева от меня, около камина, из которого исходит дорогой моему сердцу сладковатый запах горелой бумаги, большой комод. Право, святилище не стоит и выеденного яйца, а ведь я еще не видел крохотную спальню хозяина с его детской кроватью, монашескую келью, уютскую каморку, которой побрезговал бы даже нищий студент. Надо быть, по меньшей мере, японцем или корейцем, чтобы ощутить хоть какой-то интерес к подобным вещам, если, конечно, правда, что в этих странах почитают чашки, не имеющие

¹ Согласно профессору Эриху Трунцу, который посвятил измерениям не одну неделю, размеры комнаты Гёте таковы: от двери в переднюю до окон — 5, 93 м, от спальни до библиотеки — 4, 47 м. Высота потолков — 2,72 м. Стены окрашены в серо-зеленый цвет, а мать художника Филиппа Цаппеля звали Адель.

никаких других достоинств, кроме одного — в совершенстве, то есть самым банальным на свете образом, служить иллюстрацией идеи чаши. Нет, это уж слишком надуманно, слишком претенциозно. Ясно, что живущий здесь человек не придает никакого значения ни роскоши, ни даже удобству. Что до красоты, которой по разным поводам посвящаются многие комнаты бюргерской части дома Гёте, то она поистине не имеет права на жительство в его сельской части, если только не является объектом изучения. «Утилитарная» — так ангlosаксы называют мебель, не имеющую никаких достоинств, кроме практической пользы. Кабинет Гёте — рабочее место и только. Работа — это его жизнь. Вот почему некоторые труженики, из тех, что писюкают под каждым деревом¹, считали его лентяем: он работал без надрыва, как дышал. И отсюда неизбежный беспорядок в его мастерской. Порядок есть смерть. Если бы Гёте принадлежал к бюрократам и маньякам уборки, то ему пришлось бы всю жизнь упорно бороться против неотвратимого вторжения в его жизненное пространство вещей: книг, рукописей, рисунков, камней, растений и окаменелостей, творений трех царств и четырех стихий — весь мир был для него объектом исследования, и каждую ночь хаос упорядочивался в его голове. И плюс ко всему пыль времени и забвения, с которой почти ничего не могут поделаться даже пухлые служанки Тюрингии, если не считать, конечно, того, что своими венниками и метелками они могут нарушить правильный ход оптических и катоптрических экспериментов. И посреди всего этого бардака — детские игрушки, тетради Вольфхена, ноты Вальтера, вышивки маленькой Альмы... Пусть только эти господа заикнутся теперь об Олимпийце, о *Юпитере-громовержце*. Сразу видно, что ноги их не было ни на его кухне, ни даже около нее.

— Мне бы хотелось, чтобы вы пообедали со мной, дорогой Йон, — Его Превосходительство поправил бюст Наполеона из опалового стекла, венчавший чернильницу. — Но, как вам известно, к несчастью, это невозможно. Я никогда не сажусь за стол с моим переписчиком, и особенно по субботам — этот день предназначен для славного доктора Фогеля. Что до беседы со мной после двенадцати, то не ждите ее: *Кунст-Мейер*, мой старый добрый Мейер-Четыре-Искусства придет ко мне, чтобы обсудить покупку некоторых офортов. Это и его день тоже. Вы скажете, что хороший переписчик терпелив и что я мог бы поговорить с вами о литературе вечером. Жаль, но придется вас разочаровать! Вечером седой барсук прчнется в свою нору. Я ненавижу темноту, лучшее занятие в час совы — сон. Ах, да, чуть не забыл! Еще этот преподаватель музыки, некий Вик... Фридрих только что передал мне его визитную карточку: гостиница «Элефант», номер 9... Кажется, он хочет показать нам свою дочь Клару, настоящее маленькое чудо... Что ж, увидим! Вот славный денек, люблю такие: всего понемногу: музыка, наука, искусство... Письма? Посмотрим одним глазком: Густав Фицер... опять стихи? Пфф... немного отдает

¹ Выражение принадлежит самому Гёте. Так он назвал ученых, испещряющих свои тексты примечаниями. (См. *Gespräche, II, Gedenkausgabe*, vol. 23, Zurich und Stuttgart [Artemis Verlag], 2 ed., 1966, P. 820).

Швабией... но хорошо усыпляет: на ночной столик! Это моя бедная мать приучила меня беречь время: одно жидетса на другом, и как только погружаешься во что-то со страстью, да что я говорю, с обыкновенной немецкой *серьезностью*, которая испортила столько хороших умов, теряешь темп, и тогда... Особенно теперь, когда азиатская гиена рыщет у наших дверей! Холера в Берлине! Какое счастье, что добрый профессор Гегель стоит на страже — на коне, разумеется — у Бранденбургских ворот, а мой друг Цельтер, как достойный ученик крысолова из Гамельна, делает все, чтобы усмирить этих диких тварей музыкой Берлиоза!

Огромный верзила вторгся в комнату. Это был парикмахер, и с ним его приятель цирюльник, приходивший по нечетным числам.

— Оставайтесь! — воскликнул Его Превосходительство уже наполовину раздетый.

С открытой грудью и откинутой назад головой, выглядывавшей из-под простыни, которой фигаро, казалось, вот-вот его удушит, он походил на Святой образ с плащаницы Вероники.

— Пишите: «Господину придворному советнику фон Фогту, Йена. Проект водоустройства, предназначенный для орошения верхних частей ботанического сада. — На основании беседы с господином архитектором Кудрээм, генеральным директором строительства...» Нет, оставьте, это может подождать два—три дня, мы еще вернемся к этой теме... Перечитайте мне письмо пастору Киршнеру!.. Хм, хм, отлично, знаете, вы очень хороший актер, мой маленький Йон! Не теряйте времени, устраивайтесь в комнате писаря и перепишите все набело! Ах, да, еще поэма восемнадцати друзьям из Франкфурта... Все, что в стихах, свято! Это я никогда не доверю переписывать чужой рукой — вы найдете черновик на конторке... нет, не на этой, на другой! И помните: меньше песка! Не потому, что он дорог, а потому что от него кругом пыль: а у нас ее и так в избытке! Вполне хватит и огня, только держите листок подальше от пламени. Что до печатки, то возьмите ту, что мне подарили мои друзья-англичане, там, на комод... Чертов Карлейль! Подарить печать старику! Какой тонкий вкус! Именно в тот день, когда я поставил точку в моем произведении, я хочу сказать, в моем главном произведении, в безызвестном «Фаусте», который я начал писать шестьдесят лет назад и о котором так много говорят, хотя все читали только половину — шесть тысяч стихов из двенадцати! Наверное, это и есть тот самый *английский юмор*... И не забудьте, ни капли воска не должно попасть на письмо! Всегда подкладывайте кусочек бумаги, прежде чем запечатать сложенный лист! А теперь, мой юный друг, поскучаем, я в этом кресле, а вы на люстриновой подушке и в другой комнате!

Я вышел из кабинета Гёте через дверь, выходящую в переднюю, и оттуда по коридору добрался до комнаты секретаря. Я был доволен приемом, оказанным мне мэтром: похоже, он был в прекрасном настроении и хорошо отнесся ко мне. Я тихонько опустился на место Йона, открыл папку, достал документы, затем с важным видом положил перед собой стопку бумаги верже и прочие необходимые для письма принадлежности.

На столе лежал черновик поэмы, посвященный франкфуртским любителям вина. Я начал переписывать запись беседы с Крётером и так заскучал за работой, что уже через несколько минут отложил перо и со смешанным чувством любопытства и тревоги сунул нос в цепочку четверостиший.

**В благодарность восемнадцати друзьям из Франкфурта,
в день моего рождения
28 августа 1831 года**

Светел, шумен виноградник;
Толпы пестрые, возы
Громко возвещают праздник
Благодетельной лозы.
Волны мутные точило
Обращает в светлый сок,
Чтобы радостно нам было
То питье в годичный срок.
Но в подвале — вновь сомнение:
Тихо пенится сосуд,
И во мраке испаренья
Удушающе ползут.
Благородная хранится
Сила крепче и старей,
Чтобы, вызревши, годиться
Укреплять пиры друзей.
Тот, кто честно стал стараться,
Может крепнуть в беге лет.
Годы úдут, годы мчатся,
Бодро выйдет он на свет.
Так искусство и науки
В тишине должно питать.
Мастерски окрепнут звуки,
Чтоб вселенной прозвучать¹.



Я торопливо сделал себе копию и, как вор, спрятал ее в карман жилета. Не могу сказать, что эти стихи — вершина творчества Гёте, но мне понравилась смесь непринужденности и глубины, наивности и лукавства, очаровательная кислинка, подобная вкусу молодого вина. Меня восхищало, что старый человек, не довольствуясь своей умудренностью, сумел исподволь показать себя легкомысленным; мне подумалось, что Моцарт, если бы он не умер волей судьбы таким молодым, в старости стал бы похож на Гёте. Но что же я, мне еще переписывать пять или шесть листов! И призвав Евтерпу, Полигимнию и Терпсихору, я отдался в руки Скрибулоса, брата Морфея и внучатого племянника Продавца песка, который по ночам часто навещает бумагомарателей со своей сахарницей в руках.

¹ Пер. М. Кузмина.

— Эй! Вы закончили? — Гёте явился в секретарскую через дверь своей спальни.

— Взгляните, на этих трех листах не хватает только вашей подписи.

— Ха, — проворчал Гёте и погладил свой подбородок. — Пишете вы, как курица лапой!..

— Мне еще надо запечатать письма, — продолжил я, не обращая внимания на критику. — Но я забыл печать в вашем кабинете.

— Хорошо! *En attendant le seau, prenons un verre*¹, — вскричал поэт на жаргоне парижских мальчишек со страсбургским акцентом. — Уже почти десять часов, пора немного подкрепиться... Фридрих! Пить!..

— Я и не знал, что мне придется служить виночерпием, — удивился я. — Правда, это тоже честь, после Ганимеда...

— Краузе! Я зову Фридриха Краузе, а не Фридриха Йона, — Гёте яростно зазвонил в колокольчик. — Вы путаете имена, как первый попавшийся историк! Знайте же, что есть два Фридриха так же, как и два Мейера, а теперь еще и два Йона...

— И только один «Фауст», — осмелился я.

— Да, только один. Две части образуют целое.

— Поэты всегда так говорят о своих произведениях.

За разговором мы прошли в кабинет, куда пресловутый Фридрих, не я, а другой, не замедлил принести поднос с двумя серебряными кубками и одну из тех пузатых бутылок вина из Франконии, что так образно прозвали «козлиными яйцами».

— Да, — продолжил я, — чтобы придать себе уверенности, каждый думает о своем произведении, как о Вселенной — сфере, кристалле, крепости, о чем-то таком, что переживет века, о предвечном Коране, например, но я спрашиваю вас, вас, величайшего из ныне живущих франкфуртских поэтов, что остается от всех этих попыток, от этой мечты Икара, от Вавилонской башни, устремленной в Небо? Считайте сами: сорок томов, семьдесят сантиметров притворства и мудрости, слитых воедино, восемь кило историй, в которых суетятся несколько сотен марионеток, Вертер и Лотта, Герман и Доротея, Эгмонт и Клархен — разнузданные страсти, радости и печали, пожелтевшие среди листов гербария, раздавленные, как колонны муравьев, двумя книгодержателями! Скажите, разве это творение? Скорее, город в руинах. Где единство в этой как будто бы гениальной кладовке, в этом *zuppa inglese*², в этом неудавшемся «наполеоне», который держится только благодаря заморозке — снимите переплет, и прекрасное издание господина Котта рассыплется в прах, это всего лишь наспех сшитые части и куски — грубая работа!

— Ваше здоровье, — Гёте сделал глоток из серебряного кубка.

— Вюрцбургер Штайн?

— Приют Святого Духа, год тысяча восемьсот одиннадцатый.

¹ В ожидании ведра, возьмем стакан (фр.). По-французски это звучит так же, как «в ожидании печати, возьмем стих (или червя)». И все потому, что ведро (seau) и печать (sceau) по-французски звучат одинаково. Омфонами являются также слова стан (verge), стих (vers) и червяк (ver). — Прим. пер.

² Бисквитный торт со взбитыми сливками, пропитанный вином (итал.). — Прим. пер.

— Вино одиннадцатого года превосходно, — заметил я. — Особенно белое.

— И прекрасно сохранилось, — добавил Гёте.

— Исключительно.

Старик медленно опустошил свой кубок, поставил его на поднос, затем спокойно подошел к освещенному солнцем окну с двумя цветочными горшками на подоконнике.

— Знайте, что я не так наивен, как вам кажется, — воскликнул он, резко обернувшись. — Зато вы очень простодушны. И не думайте, что я не слышал, как вы бродили по коридору! Подслушиваем за дверью, подглядываем в замочную скважину... Что вы хотите узнать? Сжег ли я в камине стихи или прозу? Любовные записки или неизданное продолжение «Вертера»: «Пятьдесят лет спустя»? Держу пари, не угадаете: я бросил в огонь письма моего друга Генриха Мерка, которые он написал, когда нам было по двадцать лет — фейерверк, фестиваль свифтовских вспышек, брызги черной желчи! Впрочем, сейчас, когда вы заставили меня вспомнить о нем, мне кажется, что вы чем-то на него похожи... он был такой же худой, с длинным носом и слишком хорошо подвешенным языком... Бедный мальчик! Он кончил тем, что застрелился после того, как испортил себе жизнь. Он ничего не любил, злился на весь белый свет, называл его гнусным сборищем пройдох, сумасшедшим домом. И заметьте, он был не совсем неправ, но какой толк в том, чтобы вот так ополчиться на весь белый свет? Ипохондрия погасила гений Бетховена. Гамлет трогает наши души, но никто не вынес бы его целую жизнь, хватает и двух часов. Умный человек интересен, но если он рисуется — это надоедает. Никто не может быть прав беспрестанно, это неестественно, и резонеры со временем угнетают сильнее, чем сумасшедшие. Впрочем, ипохондрикам свойственна определенная трезвость взглядов, но это взгляд на жизнь глазами смерти. К черту мудрость, если она не учит нас ничему полезному! Уж лучше безумие. И разве не безумие заводить детей, писать стихи? И не безумие ли превращать виноград в это?

Вино одиннадцатого года окрылило нас. У меня крылья были черными, а у Гёте — такими же белоснежными, как его халат. Чувал я, что за этой белизной кроется большая доза притворства или, по меньшей мере, игры. Игры человека, привыкшего покорять, как большая кокетка, не давая никаких обещаний. И я сказал:

— Пожалуй...

Бедуин насмешливо глянул на меня.

— Пожалуй, вы могли бы показать мне рукопись «Фауста», — осмелился я. — Я только составлю себе представление о нем. Если вы согласитесь, это будет самый счастливый миг моей жизни. Не каждый день бедному бродячему студенту выпадает шанс встретиться с Шекспиром... Кто знает, а вдруг, через три столетия, столкнувшись с вашим гением, люди начнут ставить под сомнение вашу личность? Если же я засвидетельствую, что видел, как вы достали рукопись из шкафа, развязали ее, открыли передо мной, то сомнениям места не будет: да, скажут потомки, тот самый человек, что утром первого октября одна тысяча восемьсот тридцать первого года занимался покупкой нумизматического кабинета фон Фогта за три ты-

сочи талеров, выплачиваемых ежегодно по пятьсот, и обдумывал устройство оросительной системы ботанического сада Йенского университета, так вот, как я говорил, этот же человек...

— А вот и печать! — прервал меня Гёте. — И осторожнее с воском! Чтоб ни одна капля не попала на лист! Чего вы ждете? Ставьте! Где, черт возьми, вы учились? У цыган или в канцелярии Мономотапы?

И снова я промолчал, зная, что нельзя оставлять за противником выбор оружия.

«Не торопясь, но без передышки», — прочел я на обратной стороне печатки, довольно безвкусной вещицы, несомненно, дорогой, но не имеющей никакой художественной ценности. Ради нее, наверное, разорились пятнадцать английских друзей, радуясь, что поделят ответственность, больше, чем тому, что поделят расходы.

Моя рука остановилась. То не был герб Гёте — простая шестиконечная звезда между печатью Соломона и розой ветров. Я увидел змея, пожирающего свой хвост! Где, в какой прошлой или же будущей жизни, на первой странице какой объемистой колдовской книги я уже встречал эту странную эмблему: Уроборос алхимиков, символ единства Природы, вечно-го возвращения или, может статься, ничтожества всего и вся — вечного нуля? Вдруг, мне вспомнились стихи из «Дивана»:

Не знаешь ты конца — и тем велик.
Как вечность, без начала ты возник.
Твой стих, как небо, в круговом движенье.
Конец его — начала отраженье.
И что в начале и в конце дано,
То в середине вновь заключено.¹

— Странно, правда? — казалось, поэт читает мои мысли. — Моя жизнь подходит к концу и как будто бы находится в начале. Петля замкнулась. Мне остается только закончить четвертую книгу моих мемуаров — это двадцать шесть лет и все мое будущее. В дорогу, на Веймар! Хорошую свинью я подложил этим педантам: ни одного слова о Шиллере и госпоже фон Штайн! Только детство имеет значение. *Дэмон* — вот кто делает нас, нет, не такими, какие мы есть, ибо случай и наша воля тоже играют свою роль, но, вопреки тому, что думают сиамские жрецы и прочие фантазеры, он делает так, что мы никогда не будем иными, чем мы есть — по крайней мере, *в зародыше*. Вы знаете, что древние представляли себе Гения в форме змеи? Природа знает только две формы — круг и спираль. Хвала Господу, человеческий разум начинает это постигать. Мартиус, ботаник²...

— Покажите мне, «Фауста», — повторил я с почтительной наглостью, не боясь прервать Гёте, ибо он был не из тех, кто обижается на такое.

Старый лис, сделав вид, что не слышит меня, рассеянно взглянул на стены своей норы, не обращая ни малейшего внимания на отдаленный го-

¹ Из стихотворения Гёте «Безграничный». — Пер. В. Левика.

² Карл Фридрих Филипп фон Мартиус (1794–1868) — нем. натуралист и путешественник, высказавший идею о двух тенденциях в развитии растений — вертикальной и спиральной.

родской шум. Внезапно, он показался мне очень утомленным, почти дряхлым. Поэт погрузился в свои мысли; его тонкие губы стали почти невидимы, а ироничная улыбка окрасилась горечью.

— Возьмите лучше другую печать, — произнес он. — С моим гербом...

И вдруг к нему вернулась вся его живость, глаза заблестели:

— Я не понимаю, о чем вы, мой дорогой Йон. Рукопись «Фауста»? Разве не вы собственной рукой переписали ее под мою диктовку несколько недель назад? Разве двадцать второго июля не мы с вами сшили все ее страницы, прежде чем спрятать в известном вам надежном месте?...

В комнату вбежал мальчик, бросился Гёте на шею, покружил вокруг стола, затем почему-то успокоился и сел у окна на скамеечку, стоявшую рядом с самым маленьким секретером, в правом углу комнаты.

— Вольфхен, мой внук... В это час мы обсуждаем то, что он читает, — пояснил старик. — И тут начинается сцена из личной жизни, которая вас не касается. Впрочем, мне нечего больше диктовать, да и дать вам переписывать тоже. Прощайте, мой дорогой! Вот... вам будет приятно... возьмите на память это перо!

Перевод с франц. Евгении Трынкиной

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 134. ...*рассекая толпу хоэфор* — Хоэфоры — греч. глакальщицы. Так называли женщин, несущих во время похорон кувшины с водой для погребальных возлияний.

С. 135. ...*верный Эккерман* — Эккерман Иоганн Петер (1792–1854) — немецкий литератор, друг и секретарь И.В. Гёте, известен, прежде всего, трехтомным трудом «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни, 1829–1832» (1836–1848).

С. 136. ...*тактика Ганнибала в битве при Каннах*... — Ганнибал (247 г. до н.э. — 182 г. до н.э.) — один из величайших полководцев древности, государственный деятель Карфагена. В сражении с римлянами при Каннах, имея меньшее число войск, победил противника тактикой двустороннего охвата.

...*моего друга Теккеря, Беттины фон Арним и графа Строганова* — *Теккерей Уильям Мейкпис (1811–1864)* — английский писатель, автор знаменитого романа «Ярмарка тщеславия», увлекался живописью и был неплохим рисовальщиком. В 1828 г., поступив в университет, он быстро разочаровался в учебе, уехал в Германию, где и познакомился с Гёте. *Арним Беттина фон (1785–1859)* — немецкая писательница-романтик, поклонница Гёте. В 1807 г., переодевшись в мужское платье, пробралась в его дом в Веймаре, чтобы познакомиться с обожаемым писателем. Выпустила книгу «Переписка Гёте с ребенком». *Строганов А.Г. (1795–1891)* — русский минералог-коллекционер, знакомый Гёте. Пожертвовал часть своей коллекции минералов Йенскому университету.

С. 138. *Эпистодома* — архитектурная деталь, запасная часть храма.

...*портрет Декарта кисти Франца Хальса* — Франц Хальс (1580–1666) — выдающийся голландский портретист XVII столетия. Декарт Рене (1596–1650) — французский философ-рационалист, математик, естествоиспытатель

С. 140. *Ганс Вурст (Ганс Колбаса)* — популярный герой немецкого кукольного театра, простак-простолоудин, аналог русского Петрушки. *Касперле* — «потомок» Ганса Вурста, также популярный кукольный персонаж, глуповатый, хитрый обжора.

С. 141. *Штилер Йозеф Карл (1781–1858)* — немецкий художник портретист, создал портрет Гёте в 1828 г.

...Напомнил ему Мельмота Скитальца — Мельмот Скиталец — герой одноименного готического романа английского писателя Чарльза Роберта Метьюрина (1820).

С. 142. ...захваченного в плен Джексонном. — Джексон Эндрю (1767–1845) — седьмой президент США (1829–1837). В 1812 г., будучи генерал-майором, был направлен властями штата Теннесси с войском против индейцев и разгромил их, оттеснив во Флориду.

...последователь Ньютона...ученик Кювье... — Ньютон Исаак (1642–1727) — великий английский физик, математик и астроном. Автор теории цветности. Гётевское учение о цвете создано в полемике с ньютоновской точкой зрения на природу цвета. Кювье Жорж (1769–1832) — французский зоолог, один из создателей палеонтологии и сравнительной анатомии. Гёте был противником естественнонаучных представлений Кювье.

Темный приверженец Вулкана и противник непутизма? — Во второй половине XVIII — начале XIX в. в геологической науке противоборствовали два направления — вулканизм (плутонизм) и непутизм. Непутисты утверждали, что все горные породы произошли путем осадчения из воды и отрицали ведущее значение внутренних сил планеты в ее геологической истории. Гёте склонялся к непутизму. Открытия начала XIX в. способствовали крушению непутизма.

...Кювье, сторонник обособления головоногих... — В 1830 г. во Французской академии прошла знаменитая публичная дискуссия между фр. зоологами Жоржем Кювье (1769–1832) и Этьеном Жоффруа Сент-Илером (1772–1844). Сент-Илер подверг резкой критике теорию Кювье о четырех изолированных типах строения животных, лишенных общности в организации и переходных форм, выдвинув прогрессивную идею о единстве всего живого, которая легла в основу дарвиновского учения об эволюции в природе. Что касается головоногих моллюсков (каракатицы, осьминоги и еще около 600 видов), то Сент-Илер пытался доказать общность их строения с позвоночными (объясняя, что членистоногие поселились «внутри» своего позвоночника, а позвоночные — «снаружи», что хитиновый покров членистоногих есть не что иное как позвоночный столб). Кювье поспеял над подобными умозаключениями, и формально он одержал победу в диспуте. Гёте поддерживал натурфилософию Сент-Илера, а спустя несколько десятилетий весь мир поддержал эволюционную теорию Дарвина.

С. 143. ...великий герцог Карл-Август — Веймарский герцог Карл Август, скончавшийся в 1828 г., был близким другом Гёте.

С. 144. ...тетради Вольфхена, ноты Вальтера, вышивки маленькой Альмы... — Вольфганг (Вольфхен), Вальтер и Альма — внуки Гёте, дети его сына Августа. Наиболее известен Вальтер фон Гёте — музыкант, автором трех опер и нескольких романсов.

Кунст-Мейер — Мейер Иоганн Генрих (1759–1832) — немецкий живописец и писатель, друг Гёте. Носил прозвища «Кунст Мейер», или «Гётевский Мейер».

...преподаватель музыки, некий Вик — Вик Фридрих Иоганн Готлоб (1785 — 1873) — известный немецкий фортепьянный педагог. Его дочь, Клара Жозефина Вик Шуман (1819–1896) — знаменитая пианистка, композитор и музыкальный педагог, была женой известного композитора Роберта Шумана.

Пфицер Густав (1807–1890) — немецкий лирический поэт и критик, принадлежал к «швабской школе». Первый сборник стихотворений выпустил в 1831 г.

С. 145. ...мой друг Цельтер... — Цельтер Карл Фридрих (1758–1832) — немецкий композитор, профессор музыки. Был большим другом Гёте и вел с ним оживленную переписку.

...с господином архитектором Кудрэм... — Кудрэй — придворный архитектор герцога Карла Августа Веймарского.

Чертов Карлейль! — Карлейль Томас (1795–1888) — английский писатель, историк и философ. В 1824 г. перевел на английский язык роман Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера».

С. 146. И призвав Евтерпу, Полигимнию и Терпсихору, я отдался в руки брата Морфея и внучатого племянника Продавца песка — Скрибуллоса, который по ночам часто навещает бумагописак со своей песочницей в руках. — Евтерпа (греч. миф.) —

одна из девяти муз, покровительница музыки и лирической поэзии. Полигимния — муза торжественных гимнов. Терпсихора — муза танца. Морфей — крылатое божество, бог сна и сновидений. Песочный человек — персонаж герм. фольклора Зандманн — человек, который сыпет песок детям в глаза и которым пугали малышей, когда они не засыпали. Братья Морфея — Фобетор и Фантаз. Скрибулос — вымышленный автором божок (от лат. *Scribere* — писать, чертить) — Писака.

С. 147. *Вюрцбургер Штайн* — самая изысканная марка баварского вина.

С. 148. *...письма моего друга Генриха Мерка — Мерк Карл Генрих (1761–1799)* — немецкий врач-натуралист, с 1786 г. работал в России.

С. 149. *...в канцелярии Мономотапы — Мономотапа* — государство доколониального периода на территории Южной Африки, расцвет которого приходился на XIII–XV века.

...ни одного слова о... госпоже фон Штайн — Штайн Шарлотта фон (1742–1827) — платоническая возлюбленная Гёте, дочь гофмаршала фон Шардта, в 1764 г. — жена шталмейстера Фридриха фон Штайна. Познакомилась с Гёте в 1775 г. В 1788 г. возникла размолвка между влюбленными. Однако позднее они помирились и поддерживали дружеские отношения до самой смерти Шарлотты.



Владимир АЛЕЙНИКОВ

/ Москва — Коктебель /

Из цикла «Над киевскими снегами»

*

Над киевскими снегами
Неслышнейшими шагами,
Неслыханнейшим упрёком
Появишься ненароком.

Без окон и свеч едина —
Ужели придёт година,
Где замыслам изначальным
В гнезде обитать печальном?

Ты ласково даришь руки,
Но это залог разлуки —
И там, где непрошен взгляд,
Совсем позаброшен сад.

*

Бег Лошади над спящею рекой —
Ужели заслужу благословенье? —
И так ли сознаёшь прикосновенье
Бестрепетной и чуткою рукой?

Да птица ль ты? Их столько развелось,
Поющих и летающих во мраке,
Что я свои угадываю знаки,
А лишних находить не привелось.

Предчувствую и чествую уже
Тебя, музыка снежного покоя,
Размеренностью флейты и гобоя
Звучащая и в жизни, и в душе.

Тебе ль не покровительствует ночь,
Потворствуют слепые расстоянья,
Чтоб милые собрать воспоминанья
И, может, появиться и помочь?

Как волос белый, пение смычка
Напомнит нам о возрасте и часе,
Где столькое останется в запасе,
Что сам не разглядишь издалека.

И наигрыш томительный высот
Разлука упованью посвятила,
И странствиям предпосланы светила —
Страданий очевидцы и красот.

*

Попробуй огорчиться и взгляни —
Так ласковы безрадостные дни
У ёлки новогодней на виду,
Подобны пребыванию в саду,
Где листья бесконечно шелестят,
Грустны и озадачены безмерно, —

Отчаянье! Да будь благословенно —
Я времени приветствую обряд,
Где твой укор, улыбчивый и нежный,
Предрасположен к жалобе небрежной —
И, выйдя за невнятицу имён,
Беспамятство оправдывает он.

*

Птица-зеркало! Зеркало-птица!
Отчего же тебе не летится?
Здесь снега залежались, наверно,
А наивное счастье мгновенно —
Лишь крылом понаслышке взмахнёт,
А тебя не вернёт, не вернёт.

*

И страх ночной, и свет дневной,
И голос неба надо мной,
Над гнёздами средьзимья,
И племя киевских щедрот,
И те, кто спят, и та, что ждёт,
Затронута, как имя,
Забыта где-то в чудесах,
Крича кукушкой на часах,

Помянута невольню, —
И грозен памяти удел,
Где глаз ещё не проглядел, —
Но, кажется, довольно.

*

Опавших ветвей хризолит
И свет над кладбищем —
И здесь, где душа заболит,
Ушедшее ищем.

Взгрустнулось ли вам наверху
При ангельском чине?
Свиданье, как ношу, влеку
При новой кручине.

Взгрустнулось ли вам на краю
Познания мира?
В земном и небесном раю
Лишь эхо эфира.

И хвойный безумный настой
Из лет безымянных
В надежде воспрянул простой
И сумерках странных.

Храните же веру свою
В живущего сына —
Я муки его сознаю —
И век не покину

Звездою, что, кротко смирясь,
Устала и знает,
Зачем воскрешённая связь
Снежинкою тает.

*

Танцует искоса, как бабочка над садом,
Сильфида малая, — ей, право, невдомёк,
Зачем ты теплишься, неясный уголёк,
Звезда ли ты, проснувшаяся рядом,
Иль пламень над замёрзшею рекой,
Светляк, изверившийся в дальности полёта,
Где иглы, осыпаясь от чего-то
Невинно-горького, как детские заботы,
Окажутся случайно под рукой
И, уколов сквозь ёлочное действие,
Дерев разбуженных напомнят мне семейство

На холмах киевских, в объятиях Днепра, —
Танцует искоса — воздушная сестра —
Надежда кроткая, от радости хмелея,
И смотрит — не Сильфида, а Психея.

*

Огни во мраке зажжены,
Гора с горой сойдутся где-то,
На самой грани тишины,
Дневной и давешней приметы.

Окно, горящее впотьмах,
Звезды полуночное диво
И деревья на деревьях —
Каштаны, тополь, явор, ива.

И чудеса сквозь талый снег,
Почти стекающий к Подолу, —
И нами избранный ночлег
Не уподоблен произволу
Безумных стен, что из морщин
Овражных вышли зачерствело, —

И столько здесь первопричин,
Чтоб день вставал и сердце пело!

*

И радуюсь, глядя на вас,
И грустно, что часто не с вами
Встречаю и звёздное пламя,
И дружбы торжественный час.

По-птичьи скитаясь порой,
Уроки высот постигаю, —
И жизнь неизбежна другая,
А в этой — особенный строй.

Особенны окна в ночи,
Где снова друзья соберутся —
И новые песни спойтся —
Ведь очи души горячи.

Особенна редкой красой
Гурьба ваша вместе с сердцами,
Как будто, идя под венцами,
Простор обретаете свой.

А смыслом свободы жива
Туманная будущность слова,
Где всё к восприятью готово,
Чтоб только являлись слова.



ЛЕСЯ ТЫШКОВСКАЯ

/ Париж /

ПРОГУЛКИ СО СЛОВАРЁМ

Интерлюдия

Когда бредешь вдоль набережной, по одну сторону от которой — Подол, а по другую — Латинский квартал, когда ты одновременно в родном Киеве — городе, где самый неприметный домик кажется воплощением архитектурного совершенства, и в Париже — городе, указавшем на тайные смыслы немого языка ушедших эпох... Когда Днепр сливается с Сеной, и ты плывёшь вдоль мутных потоков времени, но все ещё не решаешься войти *в одну и ту же реку дважды*, потому, что не дано тебе сегодня, в этот момент, загромождённый картинками разрекламированной современности, сквозь обилие туристических маршрутов, разглядеть начало чистого источника, в который — не страшно, в который можно ступить и остаться, как в центре другого, любви, начале всего сущего... Когда ты понимаешь, что это — всего лишь чей-то сон — все твои маршруты с их маленькими камешками и встречными течениями по дороге, вся твоя тоска о большем, которое просачивается сквозь дрему золотым плодом, несорванным, ласкающим лишь зрение, неприкосновенным... Что тебе остается, заточенной в клетку единственной жизни, которую нужно прожить сейчас же, немедленно, не уповая на жизни будущие, которые, возможно, исправят то, что недоделано здесь... А возможно — и усугубят...

Признание

Полюбить. Не сразу, не с первого взгляда. В третий раз приезжая в страну. Исходив нетуристические узкие улочки, с одной стороны которых — серия маленьких галерей, где художники, иногда, они же — владельцы, благодарно кивают твоему вниманию, а с другой — продовольственные лавочки, наполненные немислимыми соблазнами. Испачкав руки жареными каштанами и сжевав несколько бесплатных сухариков в булочной. Выйдя из Лувра и забыв посмотреть на знаменитую Джоконду и Венеру Милосскую, стрелки к которым опоясывают все этажи, но по-

святив целый день египетским черепкам и саркофагам. Найдя маленький сквер Шевченко, где, якобы, любил отдыхать поэт — гордость украинцев. Найдя в Музее восточных искусств всё, что можно найти в Индии, на Тибете, Китае... Выстояв на январской улице перед Гранд Пале трехчасовую очередь (вот уж никак не ожидала от избалованных искусством французов) на выставку Климта и удостоившись кофе для согрева, бескорыстно доставленного тебе стоящим в очереди французом, жалостливым к твоему красному носу. Бродя по замку Наполеона в Фонтенбло и поражаясь скромности запросов сего государственного мужа, у которого перед кроватью стоял всегда готовый к работе письменный стол. За стриженными газонами и фонтанами Версаля прочитывая историю мадемуазель де Лавальер и Людовика, так романтично преподнесенную Дюма в «Трех мускетерах», заполнивших твоё детство выдуманными писательской фантазией кодексами чести. Слушая Мирей Матьё и вспоминая свою неизменную детскую стрижку, которую мама называла *под Мирей Матьё*. Слушая Шарля Азнавура, покоровившего Париж своими пронзительными признаниями в любви, и Сержа Гинзбурга, так поразившего тебя своими ранними песнями и ставшего к концу жизни не более, чем культовым персонажем. Думая о том, что нашего Ярослава не зря назвали Мудрым, поскольку он выдал свою дочь Анну за Генриха I-го, тем самым навсегда подмешав славянскую кровь в дикий — в те далекие времена — дух Франции, а, следовательно — сделав возможным пребывание в этой стране той, которая думает и пишет всё это.

Маме

Тебе, с детства приучившей меня к этой стране.

К шести годам я хвасталась стрижкой а-ля Мирей и пластинками Шарля Азнавура, в десять — десятком французских слов, с которыми так и вышла из школы, пополнив свой словарный запас ещё несколькими бонжурами. В мои семнадцать мы вместе приехали в Санкт-Петербург и побывали на выставке французских импрессионистов в Эрмитаже. В восемнадцать в киевском университете я выбрала факультативный французский и была уверена, что немного знаю его... Моё неведение продолжалось до тех пор, пока я не попала во Францию и не почувствовала себя глухой посреди уличного диалога. Задолго до этого началась пора французской литературы и музыки: Мопассана, Бальзака, Стендаля, Дебюсси, Равеля, которых мне открыла ты, университетских Камю, Сартра, Саган, и моих собственных Бодлера, Верлена, Рембо, Сен-Жон Перса, Сати, Месиана...

Париж приближался — но ты таяла на глазах, мама. И теперь сны о тебе иногда похожи на исправленный временем хэппи-энд, где ты жива и здорова, но чаще — на кошмар, как месть за то, что я плохо справляюсь с домашним заданием. Прости меня, мама, я очень стараюсь соответствовать твоим желаниям. Запрограммированная твоими мечтами и вкусами с детства, я продолжаю старательно выполнять твою программу: это

твоя мечта — путешествовать, твоя мечта — выучить французский и твоя мечта жить в семье как за каменной стеной, даже если эта стена — в другой стране...

Но разве это я — старательная домохозяйка, сдувающая пыль со старой мебели и планирующая для семьи недельный рацион, продукты для которого нужно покупать всегда в одном и том же супермаркете? И разве это я, бредущая дождливым Парижем на ощупь, готовая забыть себя и потеряться среди других таких же потерянных, всматривающихся в лица красивых манекенов и терпеливо ожидающих зимних скидок, чтобы купить себе дешёвые сапоги? И разве это я, ради познания нескольких новых слов включающая ненавистный телевизор, всегда готовый заполнить пустое пространство внутри? И как я могу, не понимая половины, отделять зёрна от плевел — болтовню, которую ни мой разум, ни моё сердце не способно понять, от того немногого ценного, что доносится с экрана?

Нет. Это не я. Все это — не я, а ты! Я ещё не воплотилась. Здесь.

Филологическая справка 1

Végéter — плохо расти, чахнуть — прямой смысл, прозябать — переносный.

Последний я успешно осуществляю.

Я, комнатное растение, смотрю из окна своего вазона на людей, проходящих мимо, поражаюсь, как некоторые сорта особенно успешно приспосабливаются к окружающим условиям:

- дождю,
- брошенным на ветер деньгам,
- себе подобным.

Некоторые даже покрываются защитной пленкой, с годами затвердевающей в коросту карьеры. К концу жизни они, как правило, похожи на свой панцирь, защищающий от любых непогод и эмоций. Классики наделают их именами:

- Человек в футляре,
- Человек-макинтош,
- Человек-амфибия...

Воодушевленная их двойной способностью становится литературными прототипами и мимикрировать, в попытке стать частью литературы или мира, я покидаю свою квартиру. Но не свой вазон.

— Всё своё ношу с собой! — оправдываюсь древним изречением, но никак не тяну на философа.

Филологическая справка 2

«Лимита» по-нашему — люди, которые приезжают в большие города в поисках работы и соглашаются на самые низкие заработки. Лимит-

чики. Здесь неожиданно ты открываешь для себя другой смысл глагола *limiter* — буквальный: *ограничить*. Ограничить себя: в спектаклях, выставках и концертах своих плодовых друзей, в ежедневных телефонных разговорах, собаке, зализывающей твоё одиночество тёплым маленьким языком, отце — единственном, оставшемся в живых близком по крови, доме, напоминающем материнскую утробу, откуда тебе так не хочется выходить на холодный рассеянный свет, смотрящий на твою чуждость в этом мире. В мире, где тебе слишком многим хотелось быть, где ты не могла ограничиться ни в выражении своих фантазий, для которых были предоставлены многочисленные пространства, ни в мужчине, который всегда менял свои лица, ни в городе, где каждый десятый на Андреяевском спуске, напоминающем одну из улочек на Монмартре, раскрывал тебе свои объятия... Отказаться от последней привязанности в этом мире — от родного города, с которым тебя связывало не одно поколение, в который ты запустила корни настолько глубоко, что достигла его нижней точки — ада уз, которые, разорвавшись, превращаются в ад одиночества, во внутреннее изгнание.

Изгнание. Ещё там. Ещё до того, как ты пересекла границу. Изначальное, прирожденное, посланное для того, чтобы ты не слишком сокрушалась о потерянной родине... Да и что означает — потерять? Поменять дом? Гражданство? Язык? С последним тяжелее всего. Ты погружаешься в словари — и твой язык отходит в сторону. Ты пропитана французской речью — и следы русского постепенно высыхают под солнцем новых звуков. Ты старательно изучаешь фонетику и грамматику, ходишь на курсы, говоришь на суржике, понятном только тебе и профессору, ставшему для тебя связующим звеном между книжным миром, оставленным в родной стране и миром незнакомых слов, в который тыходишь с любопытством ребенка, захлебываясь в грамматических конструкциях чужой стихии. Ребенка, который еще не знает, что такое прошлое, так искусно описанное взрослыми, и ими же забытое за ненужностью.

Ты замечаешь, что с трудом подбираешь слова, чтобы перевести своему соотечественнику французские слова. Иногда ты впадаешь в кознязычие. Иногда вообще не понимаешь, на каком языке говоришь, особенно, когда по левую руку — русский, а по правую — француз. К последнему ты обращаешься на русском, и только когда видишь искрящиеся смехом глаза и *да, да, да, да* — единственные слова, которые он произносит без ошибок, — понимаешь, что перепутала адресата. А так ли важен он, твой адресат — и не всё ли равно, кем быть непонятой? Через некоторое время очертания твоего города окончательно размоются осенними дождями — как-никак это твоя вторая осень на чужой земле, которую ты начинаешь чувствовать как свою — и воспоминания о первой половине жизни перейдут в разряд сюжетов.

— Неужели ты уже успела понять, что такое ностальгия? — в голосе моей подруги слышится насмешка.

— Нет. И, надеюсь, никогда не пойму. Я собираюсь часто приезжать на родину...

— Что-то слишком часто ты стала произносить это слово. Что оно для тебя значит?

— Ничего из того, что можно обрисовать чёткими линиями. Слабые импрессионистические мазки, в дымке которых, как в лондонской картине Клода Моне, проступают знакомые очертания — серые улицы до боли родного города, который претендует на европейскую столицу и украшает себя, как елочка, бутиками и ресторанами. Твои любимые близкие, которые его населяют, но по большому счёту не принадлежат этому городу, а живут своими маленькими государствами. Твой отец, так рано состарившийся, что каждый день ты боишься лишиться его, маленький пёсик, который учил тебя любить на протяжении пяти одиноких лет. Вот, что такое родина. И ещё язык, на котором ты говоришь с детства, льющийся потоком, просторный, как дикое поле, и весомый, как бумеранг, возвращения которого ждешь.

Филофилиппики

Можно ли изменить родному языку, и отомстит ли он за это? Вопрос тяжёлый и прежде, чем отвечать на него, стоит выяснить, что в данном случае означает — изменить? Например, начать говорить и писать на чужом, а на своём перестать думать, молиться и даже видеть сны — измена ли это? Или другая манера звукоизвлечения? Как будто вы поменяли инструмент, но продолжаете играть старую мелодию. И те, кто слушал вас у рояля, говорят, что на скрипке вы играете намного интереснее и даже экзотичнее. А другие, напротив, утверждают, что вы ничем не отличаетесь от тысяч остальных, таких же любителей, и что вряд ли у вас получится собрать большой зал с вашей дилетантской игрой.

Может, это и есть месть языка — превратить профессионала в дилетанта? Жонглера фраз и акробата выражений в уличного паяца, развлекающего толпу за гроши?

И как родной язык отомстит? Лишит вдохновения, сделает косноязычной... или просто отвернется и махнет на тебя рукой?

Слова

В последнее время у меня появилось подозрительное пристрастие к незнакомым словам. Можно сказать, я влюбляюсь в каждое новое слово, которое встречаю на странице. Такая возмутительная ветреность приводит к тому, что многие из них не выдерживают и покидают мою память. Причем, при самых неблагоприятных обстоятельствах: когда я особенно нуждаюсь в том, чтобы выразить какую-нибудь важную мысль.

Я, конечно, делаю всё возможное, чтобы их остановить: выискиваю в словарях и тетрадках, записываю в блокноты — всё напрасно. Как только я остаюсь наедине с ними, они фыркают, поворачиваются ко мне своими сгорбленными смыслами и растворяются на глазах, оставляя вместо себя невнятную абракадабру.

— Что? Что? И это, по-твоему, французский? — смеётся собеседник, пока я мучительно пытаюсь задержать на кончике языка самые вкусные и лёгкие из них — односложные, а длинные ухватить за полы ускользающего шлейфа.

— Ох, уж эта айседорыдунканья мода! — восклицаю в отчаянии, — вечное за ней тянется самоубийственный финал! Нет, чтобы пользоваться общественным транспортом и красоваться в коротких одеждах, состоящих из одного — двух слогов, так нет же: понапяливают на себя шарфики, сумочки, бижутерию и какой-нибудь умопомрачительный запах, так что уже издалека видать: голым языком это слово не взять. Тут нужен правильный грамматический подход: настойчивые ухаживания с повторением бесконечных комплиментов. И не дай Бог, поменять их местами. Этого они не выносят: сразу меняют смысл всей фразы. Вот они — причины эмансипации. Тут поневоле станешь мужчиной, блуждая дождливым Парижем.

Лингвистическая психология

Познай себя, узнав свой словарный запас. Чужой язык облегчит исследование. Главное — запомни слова, которые ты произносишь чаще всего и за которыми не обращаешься к словарю. Тут же отбрось бытовую лексику. С ней ты не поймёшь ничего — максимум убедишься в своих вкусовых предпочтениях: например, если ты запомнила, с каким артиклем употребляется *чай*, а в слове *кофе* делаешь неизменную ошибку, значит, ты явно предпочитаешь чаепитие. И пора бы купить в этот дом хоть один чайник... Так, не отвлекаясь. Сосредоточь внимание на абстрактной лексике, на понятиях непредметных, а также на междометиях, вводных словах, и особенно на глаголах, которые ты по-ученически выписываешь в столбик каждый день, чтобы с замирающим сердцем подсчитать новинки в своем словарном запасе. *Мне кажется, что...* — говоришь ты, когда хочешь передать ощущения сегодняшнего дня. *Это похоже на...* — сравниваешь те или иные чувства. *Быть может,* — отвечаешь на конкретный вопрос. *Не уверена,* — сопротивляешься чужой настойчивости. *Мне бы хотелось,* — произносишь почти шепотом. *Я думаю,* — иногда делишься спонтанными мыслями. *Случайно,* — повторяешь всё чаще. Да, не позавидуешь тому, кто решился на такого неоднозначного собеседника, балансирующего между «да» и «нет», как между двумя опорами, но предпочитающего жить в состоянии занесённой для шага интонации. Тем более, если этот собеседник без словаря не понимает и половины из того, о чём с ним говорят.

Вот когда убеждаешься в правоте мужского *молчащая женщина лучше, чем говорящая*. Вот когда начинаешь понимать домашних животных, преданно, но тупо смотрящих тебе в рот, пока ты произносишь слишком длинную фразу, и тут же благодарно спешащих исполнить твои желания, когда ты произносишь однозначности из серии *кушать, спать, гулять, молокоц...* Им-то потом не придёт в голову упрекать тебя в невежливости, как это делаешь ты по отношению к своему собеседнику, потерявшему терпение и говорящему тебе: *иди сюда, подай книгу, да нет же, не словарь!!!*

Речь в защиту неведения

О, это счастье неведения. Когда ты не понимаешь чужой язык и поэтому упускаешь несущественное. Оно пронесится мимо, как песок, поднятый ветром, или осенние листья, подхваченные зимним порывом —

ты улыбаешься банальным сравнениям, пока чужие слова шелестят на ветру, не задевая, не касаясь главного, понятого без слов в тот момент, когда двое идут навстречу друг другу в потёмках молчанья, пытаешься нащупать своё бессловесное *мы*.

Если бы все влюбленные разучились разговаривать, не теряя при этом дара любви, на земле не осталось бы ссор, сора, песка, попадающего в глаза, режущего их мелкими упреками непониманий. Первое, что запоминаешь во Франции, что попадает на слух чаще всего — *c'est pas grave*. Ты слышишь эти слова везде — в телефонной трубке, в доме, в метро и на улицах, в магазинах и музеях. Отовсюду ты выходишь с ощущением, что *это не важно*. И это повторяется так часто, что неважным кажется всё. И после первого знакомства ты покидаешь эту страну с таким чувством, что для француза не осталось вообще ничего, что было бы важным.

Не учите иностранные языки! Вы всё равно не овладеете всем богатством и нюансами, которыми они обладают, настолько, чтобы создавать новые и блистать в обществе артистов и литераторов, а говорить с первым встречным на улице — навлекать на свою голову новые приключения, от которых вы сбежали из своей родной страны.

Забывайте постепенно свой родной язык! Сначала забудьте, как вы называли самых любимых людей, без которых вы не мыслили своей жизни и которых собирались хранить в своем сердце до старости. Постарайтесь забыть также их паспортные имена — ваше сердце не безразмерное, и если уж вы согласились с новой реальностью, постарайтесь заполнить сердце ею. Но если при всех ваших стараниях вам не удаётся забыть их, постарайтесь обойтись без слов.

Научитесь вспоминать без слов, слышать без слов, понимать без слов.

Научитесь касаться друг друга мыслями и мечтами. Научитесь посвящать другим самые сокровенные тайны вашего сердца, не открывая рта. Научитесь писать им письма — и не отправлять их. Но получать ответы, которые прочитываются мгновенно.

Научитесь касаться друг друга дыханием. *Быть может, прежде губ уже родился шёпот...* — писал Мандельштам. А прежде шёпота... Вы только подумали о слове, а оно уже донеслось, произнесённое, до другого. А если вам не удаётся мысль, научитесь говорить жестами. Пройдите путь от первобытности, лишённой самого необходимого, через цивилизацию, обремененную излишком всего, к состоянию собственника, владеющего и тем и другим, но отказавшегося от желания владеть. Забудьте про ваши университеты — они все равно не понадобятся, если вы решили посвятить свою жизнь воспитанию ребенка, мужа или сочинительству, обязывающему вас найти свой собственный стиль и забыть все писанные и неписанные правила.

Пётр ЧЕЙГИН

/ Санкт-Петербург /



* * *

И море не моё, и камень сух,
как песня черепахи на задворках
тугой горы, где голос в голос глух.

Здесь не аукнет мгла в скороговорках,
и горло колет первобытный пух,
закладками лежащий на пригорках.

Мнит каракурт, пленитель этих мест,
что мир в укусе праведном воскрес.

21 августа 13 г.

* * *

Спицы мёда и гомона вяжут лицо.
Там прикован ночник огорчительным взглядом.
Безыменьё моё тащит грелку с резцом,
исключившим «моё» из грудины, а рядом

с муравьями тиран разобрал сеновал,
безопасным вином подсыхая на рёбрах.
Позови голубей, коим клювы ковал,
на порог оглавленья, где спешился образ.

Где, втирая плечо в гриву Мойки, сквозит
обедневшим трудом басурман усечённый.
И отроги его осуждённых ланит
что-то нам говорят о семье кипячёной.

16 декабря 13 года

* * *

Беглое Солнце из просек турецких спешит,
 Ласточки смылись вчера и ласкался самшит.
 Это ли звонница первых частей сентября
 Ребусом хлещет, припадочной буквой горя?
 Это ли тело моё понесёт объяснительный Бог,
 Чтобы на яшму выbleвать косточки мог?
 Вытру рубцы, когда перевесит каприз,
 Вас посмотрю из оконного кладбища вниз.
 С чёрной пружинной бессмертья в ладах
 С левой ладони уронишь слепительный страх.

15 августа 13 г.

* * *

Обеденный ветер толкает и падает в рощу.
 Ветер ливрейный тарелку швыряет и ропщет.

Вырыто тело годами, фундамент зачтётся.
 Тело опомнится, сложится, ночью сомнётся.

Слева направо гуляет тропой малозначной.
 Не часовым окоёмом, но калькою брачной.

Дымной колодой, морщинистым утром задето.
 Загромождаю тебя, объяснимое гулкое тело.

13.12.13

* * *

Копоти разбойный коробок
 щурится во имя славословья.
 Медное ведро из предисловья
 развернулось на грядущий бок.

Всем — хвала и хваткая халва
 не заплещет азиатской стужей.
 До тебя домесится молва
 барабаном чёрной выпьей кожи,

на котором меткий домострой
 разглядит верха сна о набегах...
 Лёгким платьем, свадебным костром
 пеший август на коленях пегих

развернётся на моих листах,
лазуристом выложив основу,
горше неба в грозových кистях,
обрусевшим под еловым кровом.

03.08.13

* * *

Я проведу тебя миром по нитке,
как совершал...

Впроголодь тьмы нам по метке
крайних лекал.

Прошлою верой кормящего утра
я оживал.

Копишь и прячешь, грозишь перламутром
пеших зеркал

вровень касаюсь ёлочной пылью.
Кровельный вальс

не образумит крошево крыльев.
Здесь и сейчас.

17.12.13

* * *

Страх молодится,
в литейную клумбу вращая.
Швами реки
пеленая указку небес.
Солью подручной
пристойную шуку пластая.
Глаз её русский
укроет плотвицу, небось.

С тленом, небось,
неопрятная реет заря.
Скачет и гнёт,
петушиную власть надзирая.
Красок побоище
сверит рукой кустаря
и наследит на балкон,
непристойно сырая.

Ты бы затих,
если пенится лета кадык.
Тронь, тавро-скиф,
границы распри покатою кровью.
В этих шипах,
где стонет несметный родник,
песня стыда
умножит твои изголовья.

22.03.14

* * *

Талантлива не Осень, а Амур,
её кусающий за мёрзлые колени...
Распоротой подушкой гадких кур
прилёт октябрь клеткой переменки

на мельницу четвёртого числа,
в затылок вымытых, построчно оперённых,
нестроевых, и ветер Ремесла
мусолит их вихры на метриках сведённых.

Пойду и я в затылок братским снам,
тех горделивых юношей ответа,
что крону лет считав, затеплят в поле храм,
и будет верен он Судьбе и Свету.

8–10 октября 2013 года

* * *

Мне дыхания хватит зажечь полонез,
шьётся очередь тактов черствей и скупее,
и распахнуто тело напором словес.

Распуская узлы и разборчиво тлея,
вновь стыкуются платья, и верный ловец
прикоснётся опасно, насмерть жалея...

Как себя не учи, как себе не потворствуй
пролетит голубок между веерных скал,
а за ними на слух расплескалось сиротство
пасек звончатых пчёл, что Орфей заковал.

31.01 – 01.02.2014

* * *

Помнишь веер голубиный
у Казанского собора?
Где земля гремела глиной
от ремонта и убора

радуг вёсел исцеленья.
В хрупкой тяжести недужной
мы увидели терпенье
и веление быть нужным.

15.01.14

* * *

Почерк отбился от рук, водит, как хочет,
куда и не правит ладонь.
Не заступи, рифмой не тронь.
Там, среди стёкол, весёлый воздвигся паук...
как тяжело повторять, что Отечество — сук
спелой осины, где ровно наутро висеть,
в цифру дудеть, голоштаннных матросов вертеть.

16 августа 2013 г.

* * *

«Кликуши, сплошь кликуши
и клоуны войны...»

ПЧ

Лютует памятник весне,
Заборами идут засады.
И воробьиной канонады
Осколки катятся ясней.

Европа каркает бодрей,
Её цыганами кормили.
А на таможене в чёрном мыле
Ряды литовских упырей.

7 часов утра 8 мая 14 года



Марк КАЗАРНОВСКИЙ

/ Антони /

ШЕСТЬ СОТОК ИВАНА

Рассказ

Шесть соток садового участка близ станции Театральная, что по Белорусской железной дороге — это хорошо. И вообще, предел мечтаний для горожанина эпохи развитого социализма.

А для гражданина, у которого никакой иной недвижимости нет и уж точно не предвидится, шесть соток — это не только хорошо. Это предел счастья.

Иван Львович Кабанов этим предельным, даже запредельным счастьем обладал в полной мере. Так как жить ему было негде совершенно, то хибарка размером почти с сортир на участке садового товарищества была верхом мечты Ивана.

Сотки он получил неожиданно легко. Ведь существует «по жизни» и «у судьбы» правило: ежели не хочешь, не мечтаешь и не бьешься за что либо — так оно само и свалится. А ежели мечтаешь и борешься — это ещё неизвестно...

Иван работал последние предпенсионные годы в столовом граде. Но прописку имел аж в Хотьково, у бабки за 10 рублей в месяц, которые и платил ей исправно. Бабка была довольна. И Иван — тоже. Ивана долгие годы наши славные органы, нет, не преследовали. Но и жить не давали.

Поэтому-то обитал он, не имеющий жилья никогда никакого, в котельной на Верхней Красносельской. Ему никто не мешал, и в свои «сутки через двое» он аккуратно выполнял необходимые действия в котельной, уже давно перешедшей на газ. В закутке и спал. Конечно, не раздеваясь. Уже привык за кочевую свою жизнь раздеваться на ночь считанные разы в месяц.

Вот ему неожиданно и предложил начальник ЖЭКа, к которой котельная была приписана, участок. Мол, ты, Иван, без жилья. Вот тебе шанс. Бери участок, строй виллу (так и сказал — «виллу») и обитай на пенсии. И меня вспоминай.

Иван, в самом деле, вспоминал. Ибо обладал свойством, у племени homo sapiens редким — благодарностью. К тому же, сам участок стоил сущие копейки — раз, да начальству — три бутылки белого — два. Вот

и всё. Стал обладателем. За такое добро другие бедолаги-горожане годами бились. В очереди стояли. Боролись в парткомах, профкомах и ещё не поймёшь как, чем и каким способом — лишь бы получить эти жалкие сотки.

Иван после получения довольно быстро ушел на пенсию. И начал на своей земле жить. И удивляться. Было чему.

Ему в жизни не то, чтобы не везло. Просто всегда появлялась какая-то преграда, мешавшая двигаться вперед. Получать то, что получали другие.

Теперь он бродил по своим шести соткам. Годы уже подошли такие, что тянуло на воспоминания. Хотя их, этих воспоминаний, было не густо. Да и что было-то?

Детский дом в Пензе. Вначале его мальчишки побили. Он испугался. Долго плакал. Хотя били много, но не особенно больно. Каждому-то было по шесть, семь... девять лет. На следующий день его опять побили. Леонько. Он снова испугался. А ночью неожиданно для себя решил: чтоб не били, нужно, во-первых, не бояться. Пусть бьют — не бояться и всё. Во-вторых, надо стать сильным. Поэтому ещё через несколько дней, когда мальчишки снова на прогулке к нему подступились, он достал из кармана камень и стал на врагов своих смотреть. Просто смотреть.

Вот, оказывается, как просто. Больше к нему не приставали. А потом, когда стали взрослее, появились иные заботы.

Одна из них доставала Ивана, как и других, денно и нощно.

Голодно было. Есть хотелось. Составлялись ударные группы — воровать на рынке. Или у теток сушки рвать. Или у столовок крутиться. Обычно сердобольная уборщица нет-нет, а кости с мясом передаст. Кости эти тут же летели в детдомовскую столовку, и для многих этот отвар мясной был сущим спасением. Ещё бы, шёл голодный 1946 год. И другие за ним, не менее голодные.

Воспоминания мелькали. Да не особенно тревожили душу и сердце Ивана.

Работа всегда была тяжёлая. Или трелевать. Или земляные работы. Или лес валить.

После детдома пошел Иван, вернее, послали, в профтехучилище. Окончил и стал мастером по наладке станков. Его хвалили, и Иван радовался. Впереди, как мечта, высвечивался большой завод с ребятами и девочками, теплый цех, неплохая зарплата и премиальные. А там и комнату могут дать. Дальше мечты не шли. И правильно. Потому как вызвали его неожиданно в дирекцию, куда работяг вообще не вызывали. И какой-то дядька, в глаза не глядя, сообщил, что мест для наладчиков нет нигде. Поэтому, вот — распределение на земляные работы по укреплению железнодорожной насыпи.

Иван было хотел возмутиться, но такой уж он был и тихий, но тут на него гаркнули несколько здоровых до крайности мужиков. Он и промолчал.

Кормил несколько лет комаров на земляных. Руки от лопаты и тачки совсем такие сделались, что однажды даже заплакал. Потому что уж теперь наладчиком станков никак не сможет работать.

Но пришло время службы в армии. Иван туда — с радостью. Школа жизни у него уже была хорошая, медкомиссии в военкомате он понравился. Сухой, здоровый. Зубов только двух не хватает, да и то из-за драки ещё в детдоме.

Завёл с ним разговор веселый майор. Мол, на флот тебе надо, по всем статьям подходишь. Иван соглашается. В пыльной комнате запахло морем.

Но тут неожиданно к майору подошел лейтенант, что ли. И папочку ему тоненькую, серого цвета передает.

Майор прочитал и аж крикнул. Ивану приказал ждать в коридоре. А потом и объявили, мол, как окончившему ПТУ и имеющему опыт строительных работ, ему — в стройбат.

Иван не знал ещё, что в армии хуже стройбата — только дисбат.

По окончании службы — свободен, а ехать куда? Не в детский же дом. И — по контракту на Дальний Восток. Где и работал и на лесе, и на золоте, и на рыбе, и на нефти. Где и кем только не работал!.. Но однажды плюнул на всё и рванул в Пензу, в детдом. Единственное родное место.

Встретили его и впрямь, как родного. Кто-то из преподавателей помнил. Кто-то просто знал, что ежели пришел бывший воспитанник, то значит, ничего у него в жизни уже нет. Поэтому и старались Ивана все обиходить.

Сразу же дали, вернее, попросили Ивана поработать. Истопником. Уж очень пил дядя Саша, который ещё при Иване с углем возился. Иван согласился, но просил дядю Сашу не трогать и даже готов был на полставки. Но работать, как целый день.

Там же, в котельной, и закуток себе оборудовал. И стало здорово. До того, что и какие-то женщины стали в дежурство Ивана заглядывать. Просили, чтоб зашел в барак, посмотрел, отчего, скажем, батареи не теплые...

Иван заходил. Да. Разное бывало, но Ивану упреков никто не устраивал, скандалов не чинил. Иван просто просил прощения и уходил. И женщина понимала — нет, не удержать его.

В душе у Ивана была пустота. Горечь и тоска. Которую он не показывал. Не показывал, да женщины все чувствуют. На то они и женщины.

А через год окончилась лафа Ивана. Вызвала его директриса. Новая. Но, видно, неплохая баба, как Иван про себя отметил.

Неплохая, потому что была зарёванная вся. Тушь плыла по щекам.

Сказала: держать его на работе не может. И позвала пройтись по садику, что Иван и разбивал, живя здесь мальчуганом.

«Иван, милый, мне горько и больно, но есть такие суки на свете, что не дают жить вам, таким молодым да светлым мальчишкам», — и она снова заплакала. Вернее, заревела. А между всхлипываниями и затыжкой «Примой» сказала: «Поезжай в Калязин, к Полине Ивановне Кабановой. Она уж старая, все пишет нам, чтобы мы тебя разыскали. Да нам эти твари письма не отдавали. Случайно одно из твоего «Дела» я увидела, вот и адрес запомнила. Прости нас, Иван, какие все вокруг сволочи». И снова принялась плакать.

Но Иван уже не слушал ничего. Вернее — не слышал. Он мысленно уже мчался в Калязин.

А пока добирался поездами, да автобусами, воспоминания его душили.

Его душил один день из детства. Этот день он всю жизнь загонял, выгонял, выжигал из памяти. Ему удалось. Он не помнил ничего из детства до детдома. Но оказалось, всё помнил. И теперь в автобусах да на грязных вокзалах, в плацкартных вагонах с запахами пота, ног, водки и кюрева — теперь плотина рухнула...

Воспоминания. Только один день детства навсегда отпечатался в сознании. Будто других и не было.

«Бог мой, гусь не дожарился. А ведь сейчас гости придут. Ой, что делать, Полина», — это голос мамы. «Поля, — плачущий голос мамы, — чернослив хоть положила? А яблоки?» — «Да, не волнуйтесь, всё положила». Это Поля, домработница и самая любимая после мамы и папы.

Но происходило на даче волнение необыкновенное. Гости собрались, но вели себя сдержанно. Мальчик видел, чувствовал — по всей даче разлился какой-то страх. А ему и интересно — ведь придёт в гости друг отца, главный нарком по шпионам, как говорил папа, товарищ его старинный, Ежов Николай Иванович.

Мама бегала, плачущим голосом упрасивала Полину поторопить гуся. Гости были тихи, непривычно молчаливы...

Отец смотрел из окна на ворота дачи и был весь напряжен. Мальчик прижался к папиной ноге, но неожиданно получил команду: иди, дорогой, к Поле на кухню.

Уже уходя, услышал, как мама говорила отцу громким шепотом: «Но ты ведь звонил Сталину. Он ведь тебя успокоил».

«Да врет он всё», — как-то досадливо сказал отец. И поразил мальчика в самое сердце. Как! Сталин — и говорит неправду.

А ещё через несколько минут на кухню вошел папа и быстро сказал: «Полина, бросайте все. Берите ребёнка и прямо сейчас к себе домой. Там вас искать не станут. Вот, возьмите деньги, какие есть, да от хозяйки — кольца. И немедленно».

Так мальчик с няней Полиной оказался на платформе электрички, а ещё через сутки — в деревне близ Калязина. И началась совершенно иная жизнь.

Мальчик через несколько месяцев стал называть Полину мамой Полей и лихо управляться с дворовым хозяйством. В его ведении оказались куры и очень красивый петух, который мальчика к курам не подпускал.

Да, вспомнилось: нужно было наливать каждое утро болтушку в корыто к хряку Борьке. Борька съедал все, не знал своей будущей судьбы.

Но хорошее житье кончилось неожиданно через год. Приблизительно в 1939 году, а может, в 1940-м, у ворот дома появились две женщины и милиционер. Они говорили с мамой Полей. После с ней произошло неладное — она так плакала, так кричала, так убивалась, что сбежалась вся улица. Но тут одна тетка что-то сказала всем, показала какую-то книжечку, и все тихо разошлись.

Оказалось, что мальчик едет в Пензу, в детский дом.

«Хоть отчество-то оставьте ему, изверги», — вопила мама Поля, когда мальчика тетки уводили.

Вот и записали его по фамилии Полины — Кабанов. И стал он Кабанов Иван Львович. Стало быть, сжалились тетки, отчество мальчику оставили.

* * *

В деревне Иван маму Полю не застал. Она уже несколько лет, как ушла в иной мир. Но её племянница передала Ивану несколько листов. Они были записаны фельдшерницей. Их продиктовала умирающая Полина.

Так Иван узнал, что звали его в детстве вовсе не Иваном. И отец его был главным человеком в Госбанке. И что не помогли папе ни его друг Ежов, ни обещания Сталина.

* * *

А возвращаться Ивану было некуда, и поехал он в Москву. Так и оказался в котельной на Верхней Красносельской, а затем — в домике на шести сотках станции Театральная, что по Белорусской железной дороге.

* * *

Он не узнал, что в серенькой папочке, которая следовала за ним всю его простую трудовую жизнь, была запись:

«Ребенка председателя Госбанка по достижении совершеннолетия по службе не продвигать.

Поскребышев, по указанию т. Сталина».

Так, вероятно, отомстил Сталин председателю Госбанка за то, что тот учился в Швейцарии. Правда, до революции.

Не узнал Иван, что сделалось с гостями после того злополучного вечера с жареным гусем.

С каждым годом воспоминания об том дне становились все ярче и насыщеннее. Он уже вспомнил запах духов мамы и цвет галстука отца.

А гости все — погибли. Был расстрелян и покоится в общей могиле на Донском кладбище в Москве веселый друг отца — Семен Урицкий. В этой же могиле оказался прах писателя Бабея, а также многих других.

* * *

Ивана уговаривали соседи, что в летний период на свои сотки выезжали, ходатайствовать об отце по закону «О реабилитации жертв политических репрессий». Но Иван ничего делать не стал. Да и не написать было ему эту сложную, по его разумению, бумагу.

Ничего не поменял. Живет в домике зиму и лето. И лохматая собака Боб, что щенком прибилась к нему, живёт с ним.

А дамский пол соседней деревни пристроить и оприходовать бобыля Ивана давно надежду бросил. «Нам ево не понять», — говорили одинокие тетки и вздыхали.

Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ

/ Ришон ле-Цион /



ТРИУМФ ФЛОРЫ

У кого под ногами нарциссы и орхидеи,
у кого — полынь, и ковыль колышет кругами.
Предположим, что ты сторонник странной идеи,
что трава и цветы — вот избранное богами,

ну а наши тела, дела, постройки и песни
для того и присутствуют на солнечном свете,
чтобы было кому сказать хлорофилловой пене:
как прекрасны замыслы эти, творения эти.

Мимолётных соцветий трепет, листья молчанье —
будет счастье — укроют, опутают каждый город,
алым вспыхнет гранат, агавы взмахнут мечами
и сосна, вздохнув, пойдёт на выправку гордо.

V, 2013

GENESIS

Ухожен каждый ящер был и сыт,
И вел себя в любви довольно живо,
Но тут, увы, упал метеорит
В районе Мексиканского залива.

Как следствие — цепочка катастроф,
Кто из хвостатых выжил — стал пернатым,
Малютки-грызуны набрались слов,
Остепенились, приручили атом.

Так из трагедий строится добро,
Нет правды — поищите правду выше...
И он макнул в чернильницу перо,
И написал: «В начале были мыши».

II, 2013

ВЕРЕТЕНО

А где-то она, одна,
лелеет свою тюрьму —
хозяйка веретена,
наматывающего тьму.
Не ту, что была всегда,
а ту, что ещё грядёт,
тяжёлая, как звезда
с изнанки наоборот.
Пряди, хозяйка, пряди,
наматывай тьму, тьму.
Тьма у меня впереди,
тьма у тебя в дому.

XI, 2013

УРОКИ КОМПОЗИЦИИ

Дело в финале, дело в конце, в финале.
Как же мы раньше этого не понимали?
Как же мы раньше этого не разумели —
Так вот хмелели, так вот смеялись и пели?
Вроде бы сочно, вроде бы сильно и точно,
Судишь построчно — и получаешь построчно,
Но там, в финале, где плакали и обнимали,
Где желтизну листали по набережным на развале,
Там-то и главное, там-то тебя и помянут,
Там-то полкуют. Может быть — не обманут.

I, 2013

Татьяна МАСС

/ Париж /



ФРАНСУА СОВСЕМ НЕ ПОХОЖ НА ИАКОВА

Положи меня, как печать, на сердце твое,
как перстень, на руку твою:
ибо крепка, как смерть, любовь;

«Песнь Песней Соломона»

Иаков вошел в библейскую историю как человек, чья хитрость со временем переплавилась в мудрость. Крепкая, как вино Святой Земли, жизненная сила и врожденное лукавство не помогли ему воспарить, вырваться за пределы человеческих возможностей. Стать частью Вечности... Его удел был потери и скорбь. Скорбь и утраты. Терял же он, как известно, самое дорогое, воплощаясь, против воли своей, в Иова многострадального.

Франсуа, напротив, прожил половину жизни без особого лукавства. Нет, лукавил, конечно. Иногда. В основном — на работе, улыбаясь своему шефу даже тогда, когда больше всего на свете хотелось послать месье директора в задницу. Или на корпоративных собраниях, шуточками, как дрожжами, поднимая опару энтузиазма в общении с коллегами.

Если же убрать эти мелочи, то Франсуа вполне можно назвать простоестом. Даже человеком честным. Так за что же судьба поставила его в один ряд с великим хитрецом Иаковым? Этот вопрос Франсуа себе не задавал — сам *казус вивенди* высветил сходство, отмеченное усмешкой судьбы.

«Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое приятно».

Ольга совсем не похожа на Рахиль. Она блондинка, высокая. С Рахилью ее связывает принадлежность к слабому полу и скромность. Скажете, Рахиль была нескромная? То-то... Общее, конечно, есть даже для постороннего взгляда: спокойная библейская чистота. Наивная и великая. Как в Первый день Творения из ребра праотца Адама...

Может быть, поэтому для Франсуа встреча с Ольгой — как для Иакова с Рахилью — удар молнии, вспышка, передел мироздания. Что происходит с мужчиной, когда он впервые видит перед собой свою невесту, суженную, нареченную? Сдается мне, что это прежде всего экзистенциальный страх. Встретить свою Судьбу — страшно. Забытый библейский масштаб. Как вопрошать Бога или бороться с ангелом...

Рассказы из серии «замуж за иностранца по интернету» — это для женщин, измученных пьянством мужей, или неопытных страшеньких девочек. Надо вот так — стать подбитым влёт, как Иаков или Франсуа, к примеру. Оба шли по своим насквозь прозаичным делам, уже строя планы на ближайшие дни и даже месяцы. И вдруг из неведения, из зыбкой неопределенности, как на антикварной фотографии, проявляется все это — глаза, волосы, улыбка... Опытный мужской взгляд точно считывает, где несовершенство — у нее и волосы не так густы, и нос великоват, и один зуб вырос как-то вкривь... А вот душа отмахивается, смотрит — не посмотрится, ахая и уже соглашаясь падать в пустоту, в неведомое, зависеть от этих глаз, от этой улыбки. Навсегда.

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!»

Да, так влюбился Франсуа — тридцатисемилетний француз. Все, кто его знал — родственники и коллеги — изумлялись такой отчаянной, совсем не европейской страстности и тоске, невесть откуда взявшейся у этого разумного, насквозь европейского человека.

Шеф заметил метаморфозы первым — проект, который Франсуа (рисовал на конкурс, стал менять цвет и форму. Нужен был торговый центр для Бахрейна, Франсуа же придумал лунный замок — таинственный и сладкий, как сказки Шахерезады.

— Нет, это совсем не то! — отрезал шеф, глядя на третий по счёту эскиз Франсуа — между прочим, ведущего архитектора в агентстве.

— Нам нужен восточный кич, тяжелая роскошь в материалах подешвле, а ты делаешь Диснейленд! Банально и не технологично.

Франсуа с мечтательной улыбкой пошел рисовать четвертый замок.

Потом всё это, теряясь в недоумении, заметили коллеги. А первой все поняла она сама. Ольга, студентка-практикантка.

Что чувствует женщина, когда встречает взгляд своего суженного? Свою силу, проснувшуюся власть над другой душой? Усталость, быть может? Увидеть вдруг, в перспективе, всю предстоящую кропотливую работу, на долгие годы вперед — это не для слабонервных.

Радости при первой встрече у обоих, такой, как описывают её в романах для чтения в метро, точно не было. Грозовые раскаты и удар молнии, поразившей сердце Франсуа — были. В этом романы не врут.

Тягучий жаркий месяц май — коллеги щебетали про отпуска. Франсуа, чувствуя себя идиотом, написал СМС-ку: «Побеждаем сегодня вместе?»

Она ответила: «Сегодня не могу».

Он понял, что она всего лишь пытается оттянуть неизбежное — то, что стоит за этим приглашением — их прогулки, признания, свадьбу, рождение детей, внуков, старость, смерть, одиночество...

Впервые попав к ней в дом и познакомившись с ее родителями, Франсуа вдруг, совершенно даром, нарисовал красивый проект и предложил переделать их типовое жилье в лофт с дорогой экологически безупречной отделкой.

Иakov поработал за Рахиль семь лет. Франсуа поработал за Ольгу всего-то семь недель. Но как же он правильно почувствовал, что Ольга отдаст ему свое сердце за то, что он служит её родителям, которых она просто любит. В исконном смысле этого слова. Так, как любят только русские.

Когда он, настелив пол в гостиной ее отчего дома, свалился, сраженный радикулитом — она пожалела его, а значит — почти полюбила...

И самое странное совпадение — после свадьбы, которая была по всем старым строгим правилам — в церкви и мэрии, Франсуа сделал открытие — точно такое же, что сразило Иакова, заглянувшего в лицо своей новобрачной наутро... После свадьбы они оба поняли, что женились на д р у г и х женщинах. На длинноносых Лиях. Рахиль, за которую они проливали мужской пот, из-за которой теряли силы, так и осталась мечтой...

Иakov узнал, что получил другую, как только увидел лицо новобрачной. Франсуа разглядел это не сразу. Его молодая жена была вроде та же... но не стало прежней улыбки, ушла беззаботность и легкость.

Иakovу пришлось работать за Рахиль еще семь лет... Он работал, как уставший раб, но знал, что в конце концов получит желанную... А Франсуа не знал, что делать, и увидит ли вновь то, любимое лицо... Его открытие чуть не подкосило его и погрузило в непередаваемую тоску, ибо понял он простую вещь — быть рядом с любимой женщиной — это не значит быть близким с ней. Она присутствует, улыбается, заботится, но ее рядом нет. И нужно работать еще до семижды семи лет, чтобы сказать себе и другим: «Се Рахиль, возлюбленная жена моя».



Светлана КОЧЕРГИНА

/ Париж /

ТИШИНА

слушай, сын, тишину —
эту мёртвую зыбь тишины,
где идут отголоски ко дну.
тишину,
где немеют сердца,
где не смеют
поднять лица.

Ф.Г. Лорка

я учусь отступать в тень, разжимая неспешно пальцы.
подталкивая тебя к новому горизонту.
потому что любовь — это вальс. потому что здесь Франция,
потому что всю жизнь я борюсь за личностную свободу.

я становлюсь плохой. кому теперь можно верить?
мы — целое поколение, преданное отцом,
рыдающее на пепелище, — надежду разносит ветер.
как я боюсь повернуться и посмотреть прямо тебе в лицо.

зачем мы сюда приходим, зачем мы такие дети?
зачем эти прозрачные доверчивые глаза? —
нас порешают тихо, за городом, на рассвете,
когда к оврагу подтянется солнечная полоса.

СТЕПНОЕ

наездник умчался своей дорогой
в безмолвный, распахнутый настесь край.
прости мои слёзы и, ради Бога,
играй мне надрывно, скрипач. играй!

скорби над забытыми в рамки быта,
забытыми небом, ушедшими на покой.
смотри, земля кругом выжжена и разбита, —
верни её к жизни лихой игрой!

смычок всё беззвучен, — рассвета тише.
кончай это! смилуйся. отступи. —
ведь я ничего-ничего не слышу
за громом копыт по моей степи.

КОРАБЛИ

когда вечер становится людным, глухим, безличным,
сигарета докурена, коньяка — на один глоток,
мы сидим в ресторане и думаем, что же ищем,
перебираясь с востока на запад, с запада на восток.

глядим на людей, дивимся их хмурым взглядам,
блуждаем в песках, теряемся в дюнах душ,
берём осторожно за руку тех, кто рядом,
шатаясь, как юный матрос, ступивший едва на сушу.

бессмертно смеёмся у гаснущей кромки моря,
целуем ладони пригрезившегося Грея,
сметаем с ресниц крупичицы остывшей соли
и отпускаем свои корабли на север.

ЛИСЫ

лисы бродят по Лондону, как во ржи.
жадны умы их до всякой изящной лжи.
вены раздуты. веки напряжены. —
рыжие шельмы. баловни тишины.

ворон, услышав басню, разинет рот.
ель тонким шепотом взмолится в небосвод,
тот ей пошлет смс: «извини. чем мог»,
в нервах бросая окурок под Please don't smoke.

бережный ливень чеканит обвалы крыш.
твой силуэт беспросветен, нахален, рыж.
я приближаюсь, — ты, словно лист, дрожишь, —
теперь заставь меня верить, что мы чужие.

ВОКЗАЛ

Всевидающий, он знает
Чью ладонь, и в чью, кого и с кем

Марина Цветаева

П.Г.

сядь напротив меня. здесь —
на вокзале, спиной к Петру.
будь со мной в этот час — весь,
растворившись, как сон, к утру.

мы заглянем с тобой в суть
наших вер, разногласий, глаз,
опустив на ладонь путь,
что связал навсегда нас.

горький с сахаром пьем чай,
сумасшедше смеясь вслух.
знаешь, этот вокзал — рай
неприкаянных душ двух.

ТАНЕЦ

П.Г.

внутри словно затвор перещёлкивается — справа-налево — кляц!
подуй — всё к чертовой матери разнесёт.
меня приглашали семь тысяч раз, но это наш с тобой танец —
справа-налево, слева-направо, назад-вперед.

не задавая вопросов — кто мы и что друг другу,
где мы находимся и в честь чего сей бал,
нам остается — вальсируя, плыть по кругу
под барабанные дробы, и флейты, и беримбау.

как пробуждённого, в задержавшей свой вдох вселенной,
короткая вспышка света, хлестнувшая по лицу,
делает безучастным, бессмысленным и бессмертным —
нас — этот танец. танцуем. танцуем. танцуем.

Борис ХАЗАНОВ

/ Мюнхен /



ТРОИЦА, ИЛИ ВРЕМЯ

Сюита

Интродукция

Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей.
Смотрю в штукатурное небо
На солнце в шестнадцать свечей...

...Вот и я тоже. Сижу, твержу про себя дивную эту балладу и дерзостно представляю себя на месте другого изгнанника — Владислава Фелициановича Ходасевича. Комната моя, микрокосмос, замкнутый в себе, — правда, не круглая, а прямоугольная, для единственного жильца довольно вместительная. Брезжит день, скучное утро сочится в окно. Голос радиодиктора вещает на местном наречии. Последние известия, всегда одни и те же. Прогноз погоды... Ну и что?.. Я жду своего часа. В десять — утренний концерт, Шуберт, Большая фортепьянная соната, опус 916. Musik ist Zuflucht! Музыка — это убежище, от слова *убежать*. Zuflucht — от *zufliehen*, *прибежать*. Бежать из России, прибежать в другую страну. Предательская этимология, как всегда. Зато музыка воплощает (и возвращает) утраченный смысл жизни.

И дикая мечта вторгается в помрачённый ум. Не странно ли, что вспоминается то, о чём ты помнить не можешь, хоть и уверяешь себя, что так оно и было, не могло не быть: молодая женщина, родившая меня, играла эту вещь. Она умерла от эндокардита тридцати трёх лет. От неё остались альбомы нот в твёрдых дореволюционных переплётках, исцёрканные каракулями, осталось пианино, его давно нет. Пианино моего детства, с двумя медными подсвечниками по обе стороны от пюпитра, тот самый инструмент старинной германской фирмы Sturzwage, по которому и сейчас бегут её пальцы, а я сижу на полу и смотрю, как нога в туфле с застёгнутой перемычкой нажимает на педаль. Теперь она играет мне из Детского альбома Чайковского. Мой Лизочек так уж мал, так уж мал, что из крыльев комаришки сделал две себе манишки... И-и на бал!

Могла ли моя мама представить себе, что когда-нибудь я стану коротать поздний вечер своей жизни в другом столетии, на другой земле? Узнаёт ли она меня, новоприбывшего, там, в садах за огненной рекой, о которых вспоминает автор «Европейской ночи»?.. С чем, с каким багажом явлюсь я туда? Притащу ли с собой увесистый груз памяти, этот горб, мешавший мне распрямиться? Рабской принудительной памяти, с которой приходилось доживать свои дни, которую следует противопоставить уютной непроизвольной памяти Пруста и девятнадцатого века.

Умолк Шуберт, умерший в таком же возрасте, как моя мама. Она закрывает крышку инструмента. Я всё ещё здесь, со своим скарбом, в нынешней мюнхенской квартире, над моей головой — парижский испанец Хуан Гри, издавна любимый мною натюрморт с шахматной доской — репродукция, само собой, но однажды в Чикаго я наткнулся на подлинник в Art Institute. Поодаль, на противоположной стене карта Российского государства: было когда-то такое. Отпечатана во времена императрицы Анны Иоанновны, подарок Гарри Просса, покойного друга, журналиста и политического историка послевоенной Германии. Бок о бок с антикварной картой ещё кое-что.

Летом 1015 года, по наущению старшего княжича, окаянного Святополка, были злодейски умерщвлены дети Владимира Киевского Борис Ростовский и Глеб Муромский, первые русские святые, и вот они здесь: в княжеских шапках и плащах, верхом на танцующих конях, на лунно-серебристом, ночном фоне взамен золотой византийской вечности. Икона московского письма XV века. А рядом с братьями — таинственные пришельцы в гостях у пожилых супругов Авраама и Сарры, еврейские юноши, ветхозаветные ангелы, вечно-женственные, задумчивые, склоняют друг к другу пышные причёски. Живоначальная Троица Андрея Рублёва.

Бывшее будущее

Знакомцы давние, плоды мечты моей.

Пушкин

Длится, всё ещё длится угрюмое утро, самое тягостное время дня; в который раз я озираюсь в ожидании иных, законнейших насельников моего жилья. Но вот они пробуждаются от электронного сна с голосами птиц, с первыми кликами компьютера.

Борхес (в одной из бесед) цитирует Оскара Уайльда: «Каждое мгновение соединяет в себе то, чем мы были, и то, чем станем; мы — это наше прошлое и будущее одновременно».

Близкая мне мысль. У меня в мозг, в левое полушарие, вмонтирована уэллсовская машина времени. Это она даёт мне возможность жить в разных временах, перемещаться из настоящего в прошлое и возвращаться в призрачную область надежд и ожиданий — будущее. Я ничего не жду, кроме финала. Машина эта есть не что иное, как безостановочно и своеобразно работающая память, и её назначение перенимает литература.

Задаёшь себе вопрос: не такова ли участь персонажей романиста, обречённых, как все мы, жить и умереть, заброшенных в пучину воспоминаний и обманутых мороком несбывшегося грядущего. Пытаюсь под-

вести итог долгой жизни — обзревая собственное так называемое наследие и в свою очередь погружаясь в прошлое, — я как будто разгуливаю по кладбищу моей прозы между надгробьями действующих лиц.

Но если мы — это наше прошлое, если память изжитого и пережитого постоянно вмешивается в нашу внутреннюю жизнь, так что любая мысль и всякое чувство тянут за собой волочащийся хвост воспоминаний, — если это так, писателю придётся сопровождать своих героев сквозь все метаморфозы пространства и времени, вместе с ними ковылять из одного времени в другое. Чем я и занимался в некоторых из своих сочинений. Нужны ли примеры?

Прошлое стоит за спиной и похлопывает тебя по плечу, чтобы напомнить о своём присутствии. История одной единственной жизни неисчерпаема; у каждого из нас есть своя античность, своё Средневековье, своё Новое время. Само собой, и своя мифология.

...И вот я отправляюсь в очередное путешествие, пусть это будет возвращением — из веков отрочества в некрополь детства. Вижу себя, словно в волшебном зеркале, таким, каким был когда-то, избегаю по лестнице чёрного хода и стою у окна верхнего этажа с зеркальцем в руке и целью порхающим лучом там внизу в девочку, героиню моего романа о старом доме с двором в центре Москвы, у Красных ворот.

Таков был наш дом — Нагльфар исландской Младшей Эдды, корабль, построенный из ногтей мертвецов. Однажды он сорвётся с якоря, и наступит конец света — Рагнарёк.

Я застаю время остановившимся не только в мифической памяти, но и в реальной действительности. Близится финал истории, девочка, внучка деда-каббалиста и дочь бесследно исчезнувшего отца, дух революции, окончательно исчерпавшей себя, предвестница большой войны, приносит гибель моему герою, в которого она влюблена, красавцу-пустоцвету Толе Бахтыреву. Дом — подобие трехъярусной средневековой модели мира. Высоко под небом, на чердаке, прячется 13-летняя дочь убитого в тридцать седьмом и, следственно, никогда не существовавшего отца. В подвале, как в преисподней, обитает её еврейский дедушка, между верхом и низом, раем и адом — чистилище этажей, где ютится в затхлых полутёмных квартирах, карабкается по грязным лестницам человечество жильцов.

Детство Тридцатых

Подросток по фамилии Казаков, по прозвищу Казак, незабываемая личность (я бы назвал его: малолетний Ставрогин), излучал демоническое очарование, покорял самоуверенностью, таинственностью, инстинктом власти. Одним своим появлением он вселял в душу суеверный страх и ожидание опасности. Кто он был такой? Казак проживал в нашем переулке, но где, в каком доме, никто не знал, он заходил к нам во двор неизвестно зачем, но мы-то знали — чтобы вкусить сладость победного превосходства, покуражиться, поиздеваться над нами. Как и нам, ему было 10–11 лет, что-то было в его лице, в хищном взгляде — он искал жертву; пожалуй, он был красив, но какой-то отталкивающей красотой; не столько силен физически, сколько ловок и отважен; демонстрировал презрение к опасности, ко всем нам и на-

шей трусости, по-обезьяньи взбирался вверх по пожарной лестнице, — в этом ещё не было ничего особенного, мы все это умели; но, перехватив цепкими худыми руками железную перекладину, соединявшую лестницу со стеной дома на уровне высокого второго этажа, он передвигался по ней, перебирая ладонями, не ведая страха, легко подтягивался, как на турнике, извивался и болтал ногами в пустоте, возвращался к лестнице ко всеобщему облегчению, спускался вниз и спрыгивал с победным видом. Благодаря таким упражнениям авторитет Казака возрастал неимоверно. Но этого было мало. Он мог, изловчившись, схватить свою жертву за нос и потащить за собой, уверенный, что не встретит сопротивления, неожиданно мог сбить с ног, подставив ножку, в суверенном сознании своего превосходства, наградить тебя постыдным прозвищем. После чего вдруг исчезал.

Мир отрочества, словно кривое зеркало в Аллее смеха в Парке культуры и отдыха имени Горького, отражал мир взрослых. Догадывались ли мы, что наше едва проклюнувшееся будущее должно было совпасть с эпохой, чьим лозунгом было насилие, опознавательным знаком — садизм? Сопляки, мы знать не знали о том, что уже стало известно взрослым, о заговоре молчания, о тайне, глухой и зловещей, о том, что судьбу всех и каждого в нашей самой счастливой стране решал восславляемый всем народом карлик, решало глубоко засекреченное, разветвлённое ведомство, пополнявшее свои ряды садистами и палачами. Чего доброго, и наш друг, герой и злой гений Юрка Казак, доживи мы все до взрослых лет, стал бы «сотрудником» — оборотнем с неподвижным хрустальным взглядом в долгополой шинели, в фуражке с голубым околышем, со звёздочками на нововведённых погонах. Он был буквально создан для этого будущего. Я говорю: друг, и в самом деле, Казак питал к нам особую привязанность, нуждался в нас, как проголодавшийся хищник нуждается в добыче.

Будущее откармливало для себя кровавую пищу. Оно готовилось к тому, что произойдёт, и уже намечало себе задачу и высшую цель. Поколение мальчиков, следующее после нас, подрастало для того, чтобы погибнуть на войне. Ожидание большой войны насытило воздух эпохи. Какофония века уже звучала, неслышная для нас. Уже были написаны варварски-радостные, дышащие фашистским оптимизмом *Carmina burana* Карла Орфа, уже громыхали, отбивая шаг коваными солдатскими башмаками-калигами по Аппиевой дороге под зовы римских военных букцин, победоносные легионы Цезаря в заключительных тактах симфонической поэмы «Пинии Рима» Отторино Респиги, написана Первая, посвящённая Октябрю симфония юного Дмитрия Шостаковича.

Радио пело, гремело, хрипело в картонном рупоре на шкафу, и я слышу его сейчас, сгорбленный под тяжестью омерзительного прошлого, — и маршировало, размахивая руками: если завтра война... малой кровью, могучим ударом.

Мы не чуяли трупного запаха. Не догадывались, что растём на необозримых кладбищах Гражданской войны и гигантской истребительной кампании — коллективизации сельского хозяйства. Насилие и садизм стали исторической эмблемой эпохи, подобно тому, как они правили бал в переулках нашего детства. Ходить одному здесь было опасно. Здесь бушевала фашистская революция подростков: весь район кишел мало-

летними палачами-истязателями, вечно чего-то ищущими, похожими на грызунов, озабоченно сопящими от непросыхающего насморка, харкающими вокруг себя комками зеленоватой слизи.

Школа 30-х годов была кошмаром. В каждом классе сидели на задних партах, свистели и визжали, изрыгали грязную брань, целились из рогаток и отплёвывались дети-бандиты, вечные второгодники, которых сплавляли, спасаясь от них, из школы в другую школу, а оттуда ещё куда-нибудь по соседству. Грозой терроризированных педагогов был дракон по имени Семёнов, омерзительная личность, отпрыск криминальных родителей, с жёлтыми глазами, как у дикой кошки, с хлюпающим носом и мокрыми губами; но и он был не один, у него была своя клиентела — раздражатели и подчинённые; вся эта нечисть сбивалась в стаи, кто-то однажды вышиб из рук портфель, когда я поднимался по лестнице, — был такой случай, — я наклонился поднять и получил удар носком ботинка в лицо, кости носа были сломаны, и кровь ручьём лила на ступеньки, меня отвёли домой, на другой день я предстал перед врачом, который вправил мне, надавив большим пальцем, скошенную набок переносицу, но недостаточно, и мучительная процедура повторилась. Это была жизнь, была школа Куйбышевского района столицы, там при входе, на постаменте из выкрашенной под мрамор фанеры алебастровый вождь отечески обнимал сидящую у него на коленях девочку-узбечку Мамлакат, которая собрала неимоверное количество хлопка. Там учительница, которой не давали войти в класс, сидела за исчёрканным мелом столиком перед классом с партами улюлюкающих выродков, прикрывая глаза ладонью, чтобы не выдели, как она глечет. Такова была наша школа, где на перемене в коридоре тебя могли, подкравшись сзади, схватить и повалить на пол, окружить и делать с тобой все, что взбредёт в голову. Это были наследники — внуки и правнуки эпохи великих достижений, грандиозной, растянувшейся на полвека общенациональной катастрофы, превратившей общество в фарш. Я увидел будущее этого человеческого месива, когда очутился на уголовных лагпунктах Унжлага, Унженского исправительно-трудового лагеря, на комендантском и «Белый Лух», в костромской, вятской, остяцкой тайге, в краю раскольников и каторжан. У меня есть в повести «Запах звёзд» персонаж по кличке Корзубый, вечный подросток, лагерный возчик, осенним вечером он тонет вместе с вагоном, грузом и лошадьёу, и захлёбывается в трясине.

De te fabula narratur

(О тебе сказка сказывается)

Так — по крайней мере, с тех пор, как родина стала чужбиной, а чужбина не сделалась родиной, — возникла потребность как бы с высоты птичьего полёта обозреть российское прошлое, взглянуть недоверчивым оком на свою возвращённую этим прошлым литературу. Её, быть может, фундаментальный порок бросается в глаза: это слишком литературная литература, преувеличенное значение, придаваемое стилю, наконец, типичная эмигрантская заносчивость перед лицом оставшейся «там» словесности с её вульгарностью, дурновкусием, инфекцией уличного жаргона... да мало ли чем можно её попрекнуть.

Et resurrexit*(И воскрес...)*

Прав ли я, однако? Скажут: старческий брюзжащий пуризм, потеря связи с реальной жизнью современного общества и самим обществом. Тщетно утешаешь себя тем, что кое-что сделано, кое-что, быть может, заслуживает сочувственного внимания: внимание к человеку не как к представителю некоторой социальной или национальной общности, интерес к его подлинной, прикровенной внутренней жизни, уважение к детству, величие отрочества, бремя юности, гипноз женской телесности. Не стоит стараться! Тщетно ждешь сострадания — к кому же? К тебе, одинокий художник под штукатурным небом и солнцем в шестнадцать свечей, старая калоша, тот, который давно уже свыкся со своей участью, приучился отождествлять себя с тем, кто восстал из структуралистской смерти Автора и сейчас говорит о себе: «я», и перечитывает написанное.

De libris*(О книгах)*

1

Pro captu lectoris habent sua fata libelli.

Terentianus Maurus¹

Память, чудный вожатый, вновь приводит тебя в Москву, в майские дни незабываемого тысяча девятьсот сорок пятого, только что кончилась война. Я сижу за столиком, который ещё в детстве моём служил подставкой для швейной машины, и вперяюсь в магию фрактуры, кудрявого готического шрифта. «О ничтожестве и страдании жизни», «Von der Nichtigkeit und dem Leiden des Lebens», параграф 46 второго тома трактата Шопенгауэра.

Поистине книги имеют свою судьбу — и верны своим читателям, и разделяют участь читателей. Два изящных тома в синих переплётках с золотым тиснёным факсимиле философа, автограф владельца книг с датой 1931. Текст пестрит подчёркиваниями — там и сям читатель останавливался и задумывался. Кем он был, этот неизвестный владелец? Не так давно он был жив. Но едва ли уцелел. Где-нибудь в Восточной Пруссии, в Мекленбурге, Померании или Северном Бранденбурге находился его дом. Кто-то спас от бомб и огня его домашнюю библиотеку. Книги, оба тома, были реквизированы и свезены в числе других военных трофеев, чтобы найти приют в столице победителя на полках букинистического магазина, и куплены, и подарены семнадцатилетнему юнцу ко дню рождения. Прошло сорок лет. Мне стукнуло пятьдесят. Я должен был оставить недоброе своё отечество, накануне отъезда случайно познакомился с двумя туристами, совсем ещё юными студентами из Филадельфии. Просил их сберечь, взять с собою за океан несколько моих немецких книг, Шопенгауэра, Новалиса. Книги отправились в изгнание — вторично, —

¹ По разумению читателя своя судьба есть у книжек (лат.) Теренциан Мавр, II век н.э.

а несколько времени спустя, в Мюнхене, я получил из местной еврейской общины извещение о том, что на моё имя прибыла из Израиля посылка... Книги вернулись на свою родину. Думал ли я в тот голубой и солнечный майский день Сорок пятого, гадал ли, оправдает или опровергнет мрачные рацеи знаменитого пессимиста моя будущая жизнь?

2

Дом на Метростроевской, которую мой отец всё ещё называл Остоженкой, находился по соседству с палатами (как считалось) Малюты Скуратова, неподалёку от соборного храма Христа Спасителя, взорванного зимой 1931 года, и будущего исполинского Дворца Советов с фигурой вождя, которую должны были задевать облака. В детстве я сочинил стишок:

Стоит Дворец Советов.
На нём творец советов.

После войны, когда уже уложенный громадный фундамент разобрала будто бы из предосторожности, дабы он не служил ориентиром для вражеских самолётов, огромная яма была прикрыта фанерной кулисой с осиянным прожекторами изображением архитектурного монстра. Почти анекдотический образ несостоявшегося будущего. А на его месте, как все помнят, появился плавательный бассейн.

В этом доме на Остоженке, в нескольких шагах от Пречистенского, позднее Гоголевского, бульвара и станции метро «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинской»), жила Ревекка Израилевна Новикова, тётя Рива, врач-стоматолог с собственным зубохирургическим кабинетом, двоюродная тётка моего отца, мать Геры Новикова, тогда ещё школьница. Тётя Рива была упрямой и своевольной. Дочь раввина, она уехала против воли отца из родного местечка учиться в Варшаву, окончила там медицинский факультет. Она была женой таинственного и никогда не упоминаемого дяди Наума, журналиста газеты «Правда», которого в 1938 году люди НКВД разбудили однажды ночью и увели из дома, как оказалось — навсегда. Тётя Рива ждала его упорно долгие годы, в ответ на многочисленные запросы, прошения, добиваясь аудиенции у высоких чинов, узнавала от них, что её муж жив, где-то далеко работает и даже обзавёлся новой семьёй. Она скончалась после войны и уже после того, как я освободился из лагеря, но, умирая, всё ещё верила, что дядя Наум вернётся. В первые годы перестройки, в те короткие времена, когда кровавая гадина, как будто присмирив, разрешала родственникам ознакомиться с «делом», выяснилось, что отец Геры был расстрелян сразу же после ареста.

3

Мне было 14 лет, я жил в Татарской республике в эвакуации и вёл увлекательную литературную переписку с Герой. Он был патриот Франции и поклонник французской литературы, которую считал самой богатой в мире, любил Илью Эренбурга, знал язык, от Геры я услышал имена, дотоле мне неизвестные: Барбе д'Орвильи, Леконт де Лиль, Вилье де Лиль Адан, Эрнест Ренан, однажды получил от него большое письмо о Верхарне и его сборниках «Фламандки», «Вечера», «Разгромы», «Чёрные Факелы», с переводами Брюсова и самого Геры, помню их наизусть до сих пор.

Это была трогательная, верная и неизменная любовь к французским поэтам и художникам, к Парижу, где он никогда не был, который так и не повидал, как крестносец, который «упал, не увидев Иерусалима», в одном стихотворении Георгия Иванова.

От отца у Геры сохранилась, как ни удивительно, богатая домашняя библиотека. Когда я поступил в университет, он давал мне читать совершенно недоступные тогда первые издания «настоящего» Эренбурга, «Визу времени», «Белый уголь, или слёзы Вертера», даже «Хулио Хуренито». Было там и «Путешествие на край ночи» Луи-Фердинанда Селина с предисловием Бухарина и в переводе *триолешки*, как называла Ахматова сомнительную даму Эльзу Триоле. Были в прекрасных сафьяновых переплётках изданные А.Ф. Марксом тома запретного Леонида Андреева, чьи повести и особенно пьесы произвели на меня сильнейшее впечатление.

4

Абсурд имеет свойство повторяться. Вспоминается мне — раз уж зашла речь о книгах и судьбе книг — изъятый у меня году примерно в 80-м роман, который сперва назывался «Страна любви». Вломились в квартиру на рассвете восемь мужиков, в том числе «понятые», актёры без речей. Отряд возглавлял следователь с университетским ромбом на лацкане пиджака, что имело большое значение. Во-первых, слуга закона — выпускник юридического факультета, поистине комического учреждения. Тайная полиция располагала собственной юриспруденцией, вроде того как океанский лайнер оснащён своей электростанцией, и сама для себя сочиняла законы — то, что в советском понимании представляло собой инструкции, как надлежит творить беззаконие. Это первое. Во-вторых, университетский значок давал понять, что и мы не лаптем щи хлебаем.

Руководил операцией заочно по телефону некий Смирнов, начальник следственного отдела московской прокуратуры — филиала КГБ. Велось дело о подпольном машинописном журнале «Евреи в СССР», в котором я состоял одним из авторов и литературным консультантом. Искали журнал, плёнки с материалами для переправки за границу, была развинчена стиральная машина, вскрыт письменный стол, пол усеян книгами, выкинутыми из шкафов. Но в целом улов был невелик: пишущая машинка, именуемая множительным аппаратом, та самая, воспетая Галичем гэдэровская Эрика, её опустили в большой мешок, якобы антисоветская, хоть и написанная до революции, книга С.Ю. Франка «С нами Бог», листовка на плохой бумаге «Ко всем заключённым нашего лагеря», о введении зачётов, а также самодельная, из обёрточной бумаги, тетрадка с моими лагерными литературными опытами. И то, и другое пролежало в шкафу 25 лет. И, наконец, — тут следователь облизнулся, почувствовав, что ударяет по больному месту, — рукописи недописанного романа. Я был весьма удручён этой потерей, написал даже небольшой текст «Памяти одной книги», по предложению друзей надиктовал на магнитофон — лента тоже пропала — проект-содержание погибшего произведения, несколько месяцев вёл канцелярскую войну. Писал протесты, заявления и т.п., мне даже — небывалый случай — вернули машинку. Всё это продолжалось до тех пор, пока не пришла официальная бумага о том, что рукопись передана для экспертизы в Главлит, роман признан антисоветским и *арестован* — как некогда его автор.

Мой роман под новым названием «Антивремя» был написан заново и опубликован по-немецки в Мюнхене, по-французски в Париже, по-русски в Нью-Йорке, Москве и Санкт-Петербурге.

Кода: отец

Величие отца невозможно было выразить словами, но оно проявлялось во всем: во взгляде из-под широкой кепки, важно надвинутой на глаза, в привычке давать длинные медленные звонки. С какой радостью, о, с каким прыгающим сердцем мальчик мчался по коридору, когда раздавались эти три звонка — как голос с неба, как рог герольда у ворот, и он знал, что отец ждет его там, высокий, верный, могучий, и нарочно гремел ботинками на бегу. Отец входил, сгибаясь под тяжестью рук, уцепившихся за его шею, ноги мальчика в чулках с выглядывающими из-под штанишек резинками болтались в воздухе, потом он бежал приплясывающим африканским шагом возле ног своего бога...

Это начало другого, старинного моего романа с евангельским заголовком «Я Воскресение и Жизнь», начатого в Москве и оконченого в Мюнхене. Это жизнь и литература; разъединить их невозможно.

Мой отец проложил тропу, по которой бредёт моя жизнь: он остался один у меня, когда в 1934 году умерла моя мать, как я остался с моим сыном после смерти Лоры в 2007 году.

Мой отец родился одновременно с веком, в январе 1900 г. в городке Новозыбков Брянской губернии, возникшем на исходе XVII столетия из слободы бежавших от преследований старообрядцев. Впоследствии, после второго раздела Польши, по указу императрицы Екатерины (спровоцированному, как считают, письмом некоего витебского купца по имени Цалка Файбушович) о введении «черты постоянной оседлости евреев», Новозыбков со всей губернией, как и находящийся в двухстах верстах от него белорусский Гомель, родина моей мамы, оказался внутри этой черты.

Папа был младшим сыном еврейского ремесленника Грейнема Файбусовича, о котором мне известно, что он был книжник, знаток Закона и умер в 17-м или 18-м году, сорока лет с небольшим, оставив без средств жену с двумя дочерьми и двумя сыновьями.

В телефонной книге «Весь Ленинград» за 1926 год я нашёл двух Файбусовичей под одним абонентским номером: это были мой отец Моисей Григорьевич и его старший брат Исаак Григорьевич, дядя Исаак, ненадолго переживший моего отца.

Вероятно, в начале 20-х оба оставили родные места и поселились в Петрограде, вскоре переименованном в Ленинград; отец, окончивший новозыбковское коммерческое училище, намеревался продолжить образование во второй столице, поступил в Технологический институт, но был вынужден оставить его из-за недостатка средств. Он стал служащим в каком-то из государственных учреждений, к этому времени уже был женат, в 1928 году появился на свет я.

О моей матери Розалии Павловне (Пинхусовне), урождённой Рубинштейн, я уже упоминал. Она была выпускницей Петроградской консерватории по классу фортепиано и умерла в апреле 1934 г. от ревмокардита и декомпенсированного митрального порока сердца в московской Басманной больнице, в возрасте 33-х лет.

Детство от шести до двенадцати лет (когда отец женился на Фаине Моисеевне Новиковой, дальней родственнице, в юности знавшей мою мать и влюблённой в моего отца, вдове расстрелянного в годы ежовщины отца моего сводного брата Анатолия, которого мой отец усыновил после женитьбы) насыщено памятью об отце до созвучия с иудейским архетипом всемогущего Отца в такой степени, что я помню, вижу воочию по сей день мельчайшие подробности моей жизни, которую он осенил. Я не раз возвращался к моему детству в своих сочинениях.

Папа был красивым мужчиной, брюнетом с серо-зелеными глазами. В детстве он казался мне высоким, но на самом деле был среднего роста. У меня сохранилась фотография: я на руках у отца, мне, по-видимому, один год, у папы на пальце обручальное кольцо.

В первых числах июля рокового 1941 года он записался в народное ополчение. Трагическая судьба этого войска, почти полностью погибшего во вражеском окружении в заснеженных лесах между Вязьмой и Смоленском, — одно из бесчисленных преступлений советского режима и его вождя-каннибала.

Отец выжил, сумел выбраться и вернуться в Москву. Как все бывшие фронтовики, он не любил говорить о войне, но однажды рассказывал, как он, блуждая в неизвестности, заночевал в избе, в какой-то деревне. В дом вошел немецкий патруль: молоденький офицер и два солдата. Офицер спросил: это кто? Partisan, Jude? Мой отец, которому был 41 год, был оборван, оброс седой бородой и выглядел крестьянином много старше своих лет. Хозяйка ответила: он из нашей деревни. Патруль ушёл.

Офицер прибыл в Россию из страны, где я живу. Может быть, его фотография в траурной рамке стоит до сего времени в углу на столике в каком-нибудь немецком доме, недалеко отсюда.

Отец умер в ноябре 1971 г. от злокачественного заболевания крови — эритремии, в возрасте семидесяти одного года. Теперь я намного старше его.

Сопоставление дат напоминает игру в кости, и оно же делает жизнь похожей на путаный, не в меру затянутый и кишачий неувязками роман — творение бездарного беллетриста.

...Отец умел молчать и пользовался молчанием как страшным оружием. Ничто не могло быть тягостней этого молчания, как будто из комнаты выкачали воздух, все звуки становились беззвучными, вернее, оглушали; уж лучше бы его оскорбили ремнем. Но ремень не употреблялся, это была легенда, услышанная от каких-то других народов; зато молчание! Не было кары страшней, когда оказывалось, что не выполнен долг, не отбыта некая повинность, смысл которой — будем откровенны — заключался отнюдь не в ней самой. Потому что на скрипке играли только ради отца. Ради того, чтобы все было хорошо. Чтобы отец, спокойный и могучий, шагал по коридору, сидел за столом и взглядывал зелеными искрами глаз, не томимый никаким предчувствием. Сама игра не имела значения.

...Полосатый свет люстры струился на его лоб и скатерть. И так он и сидит до сих пор в дальней вечности воспоминаний, охваченный невыразимым чувством счастья, любви и покоя, со скомканной газетой на коленях, сидит и смотрит на затылок мальчика, на его руку, которая водит смычком.

«Люксембургский сад»

Французская поэзия

в переводах

Веры Орловской

ПЫШНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКОГО САДА ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Французская поэзия, несмотря на все еще бытующее мнение о непоэтичности и сухом рационализме французского языка, издавна привлекала внимание русских переводчиков и давала порой великолепные образцы переводов. Современный читатель имеет возможность познакомиться и с различными переводческими версиями стихотворений разных поэтов (например, в антологиях «Французские стихи в переводах русских поэтов XIX–XX вв.», 1969 и «Французская поэзия в переводах русских поэтов 10 – 70-х годов XX века», 2005), и с антологиями нескольких веков французской поэзии, составленных одним переводчиком («Рог. Из французской лирики» Ю. Корнеева, 1989; «Семь веков французской поэзии» Е. Витковского, 1999; «Фавн перед зеркалом» Р. Дубровкина, 2008), не говоря уже об изданиях переводов отдельных французских поэтов. В то же время потребность в появлении новых поэтических интерпретаций, как и расширение спектра имен и произведений, входящих в читательских обиход, сохраняется по сей день. И появление сборника «Люксембургский сад» можно только приветствовать. Вера Орловская достаточно давно известна любителям поэзии как автор, имеющий свою собственную лирическую интонацию и стиль. Как можно заметить, обладание ярко выраженной поэтической индивидуальностью не всегда помогает поэту-переводчику, ведь перед ним стоит задача не столько проявить собственную индивидуальность, сколько открыть чужую, почувствовать и передать ее средствами другого языка. Можно ожидать, поэтому, что для перевода такой поэт, дабы не заслонить собой переводимого автора, отбирает лишь стихи, эмоционально и стилистически близкие его типу дарования. Так, сборник «Французская поэзия в переводах Натальи Стрижевской» (2008) выявляет очевидное тяготение автора сборника к философской лирике разных веков. Однако замысел обширной антологии, включающей переводы разных жанров различных по типу творчества — романтиков, символистов, сюрреалистов... — двадцати четырех французских поэтов от начала XIX в. до совре-

менности, от Марселины Деборд-Вальмор до Ива Бонфуа, требовал широкого диапазона поэтического созвучия, способности вчувствования, вживания в разные ритмы, образы, стили. В Орловской это вполне удалось. В антологии мы встречаем произведения, еще не известные русским любителям поэзии, что само по себе ценно, расширяет наше знакомство с поэтической Францией. Но переводчица отважно берется и за собственную поэтическую интерпретацию уже переведенных, даже хрестоматийно известных стихотворений, много раз представленные читателям большими поэтами, классиками поэтического перевода — достаточно вспомнить верленовское «Il pleure dans mon coeur...». Надо сказать, что в этом стремлении «перетворить пройденное» в поэтическом переводе нет ничего удивительного. Иногда, и, пожалуй, не без основания, кажется, что заново сделанные переводы иностранной прозы не нужны, во всяком случае, они скорее портят впечатление от знакомых читателю произведений, оказываются ничуть не адекватнее в художественном смысле, если даже они и буквальнее в смысле языковом. Так, появившийся гораздо более буквально точный перевод романа Д. Элинджера «Ловец во ржи» М. Немцова отнюдь не превзошел переводческого шедевра Р. Райт-Ковалевой «Над пропастью во ржи», сколь бы много доводов ни приводили в его пользу. Иначе, думается, обстоят дела с переводами поэзии: ведь при отсутствии возможности найти прямые и однозначные соответствия ритмике и образности стиха, поэтический перевод заведомо более свободен в способах интерпретации, в каждом новом переводе нам открываются новые, порой неожиданные стороны подлинника. Не стану говорить, что представленные В. Орловской переводческие интерпретации лучше известных — это не только было бы неправдой (хотя бы потому, что многие из уже известных переводов ближе мне, да, видимо, и другим читателям, своей привычностью, врожденностью в русскую поэтическую традицию; к тому же переводчице часто приходится соперничать с весьма большими поэтическими величинами), но они всегда интересны, поскольку обладают качеством свежести и — порой удивительной — гибкости автора, умеющей передать и остроумно-комическую интонацию, и драматическое напряжение, и глубокую рефлексию, и изысканную метафорику различных текстов. Сохраняя собственное поэтическое лицо, Вера Орловская умеет одновременно быть разной — и это придает ее антологии необходимое своеобразие, позволяет надеяться на заинтересованный читательский прием «поэтической растительности» «Люксембургского сада».

*Наталья Пахсарьян, профессор Кафедры
Истории зарубежной литературы московского
Государственного Университета им. Ломоносова*

Жерар де НЕРВАЛЬ

/ 1808–1855 /

*Перевод с французского
Веры Орловской*



ПРОБУЖДЕНИЕ В КАРЕТЕ

Деревья на пути мелькали, словно тени,
Как отступающая армия в смятенье.
Земля из-под копыт катилась все быстрее
Волнами черных глыб и мостовых камней.

Звон колокольный плыл среди полей зеленых,
Над черепицей крыш и стен домов беленых,
Бегущих, как стада баранов, вдоль равнин, —
Краснели тут и там отметины их спин.

И каждая гора, как во хмелю качалась,
Река змеей боа вокруг них обвивалась.
Почтовая карета пряталась в холмах...
— Я пробуждался, я блуждал в мечтах!

ФАНТАЗИЯ

Есть музыка, — рыдания в ней слышны.
Что мне Россини, Моцарт или Вебер?..
Я б отдал все, когда б коснулся ветер
Моей души звучаньем старины!

Лишь в тайне нахожу очарованье, —
Две сотни лет взлетают налегке:
Луи Тринадцатый... веков преданье,
Как холм зеленый, жухнет вдалеке.

Я вижу замок: переходы, арки,
Витражных окон ярко-красный цвет;
И вдоль реки таинственные парки
С деревьями, которым сотни лет.

Я вижу даму в том окне высоком, —
Она стоит в старинном одеянье
В судьбе моей и в сердце одиноком;
Я знал ее в ином существованье!

ЧЕРНАЯ ТОЧКА

Тот, кто хоть раз на Солнце пристально смотрел —
Шар ослепительный в его глазах горел,
Вокруг которого пятно, как тень, лежало.

Когда был юн и смел, я к Солнцу рвался сам:
Не отводил свой взгляд, что свойственно орлам.
Но точка черная во мне с тех пор, как жало,

Как траурный мой знак присутствует во всем,
Куда б я ни взглянул в желании своем
Увидеть истину и мир в тот миг победный!

И что же вижу я? Несчастья пред собой!
О горе нам — орлам, возвышенным судьбой
К тому, чтоб Солнце созерцал наш разум бедный.

АПРЕЛЬ

Апрель... Уж пыльца облетает,
Лазурное небо блистает,
И тени на стенах длинны:
Их отсвет из чистого злата,
В пейзаже оттенки заката,
И ветви деревьев черны!

Не знаю тоскливее время,
Меня тяготит его время,
Лишь дождь во мне будит мечты.
Весна, заалев на мгновенье,
Как Нимфа, природы творенье,
С улыбкой встает из воды.

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

(1811–1872)

*Перевод с французского
Веры Орловской*



КАРМЕН

Кармен тонка — исчадьё ночи,
От черных кос уйти нет сил;
Зловещей страстью блещут очи,
А кожу дьявол ей дубил.

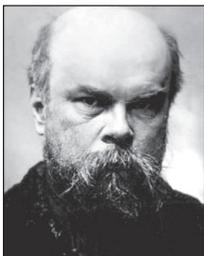
«Уродка», — слышно в женских сплетнях,
Но тем любовь мужчин сильней.
В Толедо, стоя на коленях,
Архиепископ служит ей.

Шиньон ее, как зверь в неволе,
Что скован цепью золотой, —
Но отпускается в алькове
По телу мантией-волной.

И среди бледности томящей
Цветет, пылает алый рот, —
В победоносном смехе мстящем
Свой пурпур из сердец берет.

Так создана самой природой
Бурлить, стремиться, обжигать;
И своей огненной свободой
Расслабленных подстергать.

Она невыносимо колка,
Горька, — крупица моря, стон.
Так Афродита волей рока
Явилась в мир из бездны волн.



ПОЛЬ ВЕРЛЕН

(1844–1896)

*Перевод с французского
Веры Орловской*

ПАРИЖСКИЙ ЭСКИЗ

Луна бросала цинка тонкий слой
Тупым углом,
И тень тонировал туман густой,
Черня остроконечных крыш излом.

И небеса дымились. Бриз рыдал,
Словно фагот.
И вдалеке я слышал, как страдал,
Мяукая истошно, жалкий кот.

О Фидии мечтал я, о Платоне —
Сыне богов.
О Саломине и о Марафоне,
Бредя под взглядом газовых рожков.

* * *

Над крышею покой небес
Лазури редкой,
И дерево с самих небес
Мне машет веткой.

И колокол возносит звон
К незримой дали,
И слышен в листьях птичий звон
Мольбы, печали.

О Боже Правый, эта жизнь —
Такая малость:
Шум городской доносит жизнь,
Что там осталась.

— О что с собою сделал ты —
От слез уставший,
Что с молодостью сделал ты
Своей пропавшей?

К ДОН КИХОТУ

Ты — старый Палладин, ты — вечная Богема,
О Дон Кихот, толпа смеется над тобой;
Хоть мукой смерть была, но жизнь твоя — поэма,
И мельниц ветряных еще не кончен бой!

Иди всегда вперед и будь всегда собой,
Верхом на скакуне — дорога не проблема,
Абсурдно бытие, но вложен меч судьбой:
Ты — сам себе закон фантазии, дилемма.

Идущих за тобой поэтов и не счесть —
Безумных и святых, в ком красота и честь
В нечесаных умах, с венками из вербены...

Веди на штурм своих заоблачных высот,
И флаг Поэзии взойдет, поправ измены,
Над черепом седым, где разум не живет.

СВЕТ ЛУНЫ¹

Ваша душа — изысканный пейзаж,
Где движутся танцующие маски,
Под звуки лютни, чей мудрён пассаж,
Но им не скрыть печаль под слоем краски.

Их пение, как сладостный минор
Любви победной с этим счастьем трудным,
Что все же есть; поет и плачет хор:
Смешалась эта песнь со светом лунным.

Который заставляет сонных птиц
В деревьях древних грезить неустанно,
Рыдать в экстазе струи — падать ниц
На мрамор, обрамляющий фонтаны.

¹ Полностью антология французской поэзии «Люксембургский сад» в переводах Веры Орловской выходит в издательстве «Алетейя» (СПб.) в 2015 г.



Ирина ОДОЕВЦЕВА

/ 1895–1990 /

НА БЕРЕГАХ ЛЕТЫ

Главы из ненаписанной книги

Предлагаемые главы были записаны мной со слов Ирины Владимировны Одоевцевой (1895–1990) у нее дома, в Париже, на улице Касабланка, в 1984–85 годах. В интервью, которое я взял у писательницы для «Русской мысли» (№ 3538) она, отвечая на первый вопрос, сказала:

«Да, я, наконец, решила написать третью книгу. Называться она будет «На берегах Леты», так как, сами понимаете, дальше этих берегов уже ничего не бывает. Эта книга будет преследовать несколько целей. Первая из них — быть как бы справочником, подспорьем в работе для новых поколений литературоведов: ведь на нашу эпоху, несомненно, будет обращено большое внимание в будущем. Я не клянусь, что в моих книгах все передано безошибочно; память, по верному определению Зинаиды Шаховской, не фотографический аппарат. Но порой я прихожу в ужас, читая чьи-нибудь воспоминания и убеждаясь, что память многих — умышленно или нет — парализована.

Я хочу теперь писать о пустяках, жизненных мелочах, — тех частицах, из которых складывается человеческая и творческая судьба; писать обо всем, что было и чего не было. Постараюсь рассеять многие мифы, сложившиеся вокруг известных имен.

Вторая цель — покататься на «машине времени», без цели и плана, вспоминая всех тех, кого знала в жизни — с самого детства. Об этом просят меня читатели и критики, которым я очень признательна за то, что они исполнили мою просьбу и действительно подарили временное бессмертие, полюбив тех, о ком я писала в предыдущих книгах. Расскажу о детстве, о своей семье (хотя я, должна признаться, не считаю детство самым прекрасным временем жизни), о первых творческих успехах и разочарованиях, о детстве Георгия Иванова, о его семье, о его взаимоотношениях с разными литераторами.

И, наконец, третья цель — отблагодарить моих читателей, кто так живо откликнулся на мои книги и кому дорого прошлое русской культуры».

Наши встречи происходили по четвергам. И.Одоевцева заранее обдумывала содержание следующей главы. Это продолжалось до самой ее болезни,

а затем — отъезда в Ленинград. Дома я редактировал текст, перепечатывал и приносил показать И.Одоевцевой. Она меняла одно-два слова. Работа шла легко и быстро. Свидетелем этих встреч иногда была ближайшая парижская подруга Ирины Владимировны, бескорыстно преданная ей Соня Ардашникова, вскоре ставшая и моим добрым другом.

Уже в Ленинграде И.Одоевцева говорила мне, что кто-то из ее тамошних «присяжных» секретарей пытался продолжить начатое. Однако из-за стилистической (а скорее всего мировоззренческой) несовместимости ничего из этого не вышло.

Таким образом, предлагаемые тексты — последнее из того, что было создано И.Одоевцевой за ее долгую, покрывшую собой целые эпохи, нарождение и гибель миров, только что оборвавшуюся жизнь.

Нумерация глав условна. Отдельный текст посвящен одному из крупнейших поэтов эмиграции Юрию Одарченко.

Александр Радашкевич

I

Мне шесть лет. Меня будят, надевают на меня белое плиссированное платье и тащат в столовую. У родителей сегодня гости, и меня, как это часто бывает, заставляют читать стихи. Моим родителям казалось, что гостей это очень развлекает, но я уже и тогда понимала, что им это скучно. Меня ставят на буфет, и я сейчас же начинаю читать весь свой репертуар: басня «Maitre Corbeau», «New Year's Bell», «Три пальмы» по-русски и по-немецки — целую «серьезную» балладу «Der Taucher» Шиллера. Я все еще безграмотна: не умею ни читать, ни писать. В России детей начинали учить грамоте не раньше семи лет. Но у меня была удивительная память: я выучивала наизусть вещи, которые мне часто читали вслух.

Прочитав весь свой репертуар и выслушав аплодисменты, я уже собралась слезать с буфета. Но тут одна из дам обратилась ко мне: «Деточка, а ты не знаешь ли что-нибудь по-русски — "Жил-был у бабушки серенький козлик" или что-нибудь такое?» Я выпрямилась и с гордостью ответила: «Знаю!» И сразу начала читать:

Хочу быть дерзкой, хочу быть смелой,
Хочу одежду с себя сорвать,
Хочу упиться душистым телом,
Хочу тобою обладать.

Слушатели в ужасе разинули рты: как? почему, кто тебя научил? Я показала головой: «Не могу сказать: я дала слово». Вдруг моя французенка крикнула на меня: «Скажите, сейчас же скажите, а то завтра будете стоять в углу, пока не скажете». Но я стояла на своем: «Не могу: дала слово». Тут мой отец возмущенно обратился к гувернантке: «Это называется воспитание? Вы что, хотите из нее предательницу сделать? Она права, что не говорит, раз дала слово».

Он снял меня с буфета и, посадив к себе на колени, стал угощать пирожными и спрашивать у меня, что бы я хотела получить завтра в подарок. «Собачку, маленькую пушистую собачку!» И он сказал: «Завтра же ты ее получишь».

И действительно, на следующий день отец принес мне маленькую золотистую болонку с удивительно большими, красивыми глазами. У нас в доме уже был большой сенбернар Джек. А собаки мне казались самыми важными существами в мире.

Поскольку мой Пушок явился как бы наградой за поэзию, меня с той поры еще больше к ней потянуло.

Мой отец мечтал, что я стану адвокатом. В России в то время еще женщин-адвокатов не было, но он все-таки хотел, чтобы я закончила юридический факультет, так как к тому времени, думал он, многое изменится. А подтолкнуло его на эту мысль следующее происшествие, которое он наблюдал из окна своей спальни.

Я со своим родным и двоюродным братьями, которые были старше меня на два и четыре года, играла в саду, на даче. Моему брату Пьеру привезли к тому времени из Парижа велосипед, которым он очень гордился. В сад вошел продавец ковров и, увидев велосипед, шутя заявил нам: «Хорошая игрушка! Возьму-ка для своего сынка». И он сделал вид, что забирает велосипед и укладывает в мешок с коврами. Пьер и Володя страшно растерялись. Пьер уже готов был заплакать. Тогда я подошла к торговцу, положила руку на руль и сказала:

— Не имеет права брать: чужое!

Мечта отца о моем адвокатстве так и не сбылась. Правда, окончив гимназию, я поступила на женские курсы юридического факультета, но дальше первого курса не пошла. Впрочем, к адвокатам я всегда относилась с глубоким уважением. А если бы я и стала адвокатом, то не гражданским, как отец, а непременно по уголовным делам.

Мой отец был присяжным поверенным в Риге, где и прошло мое детство, но, как ни странно, я была абсолютно безразлична к Риге. Так что пословица «Всякий кулик свое болото хвалит» — на мне не оправдалась. Я любила столицу — Петербург. И только там чувствовала себя по-настоящему дома. Мой отец часто ездил в Петербург выступать в Сенате и иногда брал меня с собой. И там прошли самые блаженные из моих детских дней.

Я жила у своей тетки Лизы, которая меня очень любила и страшно баловала. У меня были еще двоюродный брат Стива, правовед, и двоюродная сестра Ира. Они оба были старше меня и тоже очень меня баловали. Как я уже сказала, был у меня и родной брат, а сестер, к моему величайшему сожалению, не было. Но я воображала, что если бы была сестра, мы бы очень дружили. Подруг своих я не слишком любила и часто презирала за их пристрастие к куклам. Моя мама, боясь, что из меня получится не особенно хорошая хозяйка дома, дарила мне множество кукол, все надеясь, что я ими заинтересуюсь. Они заняли, вместе с кукольным домом и спальней, половину моей комнаты. У каждой из них был свой гардероб, их надо было одевать, причесывать, укладывать спать. Я же просто совала их в кровать, закрывала одеялом и объявляла: «Спят уже», — и больше заниматься ими не желала. Девочки, приходившие ко мне в гости, мне страшно завидовали из-за этой массы кукол и «со страстью» играли с ними часами. Я смотрела на них с презрением и в игре никогда не участвовала.

Я любила только собак и лошадей. Выходя гулять с гувернанткой, говорила про себя: «Один большой поклон всем собакам и всем лошадям этой улицы». Я чувствовала себя королевой собачьего царства, в котором не было ни одного человека, а все собаки говорят стихами. Я никому о своем царстве не говорила, но однажды все-таки проболталась своей английской гувернантке, которая мне пообещала, что той же ночью я поеду в это царство. Я прождала целый день. Вечером, укладывая меня в постель, она сказала: «Вот заснете и поедете». Я очень обиделась и с той поры еще меньше стала доверять взрослым, и никому уже не говорила о своем царстве, хотя и продолжала, нарядившись в мамино маскарадное черное платье со звездами-блестками, считать себя королевой.

II

Читатели часто просят меня рассказать и о семье Георгия Иванова, о его братьях и сестрах.

У Г.Иванова была одна сестра Наташа и два брата — Владимир и Николай, все гораздо старше его. Сестра его была вылитая Элиза Фурман, жена Рубенса. Но в детстве она не нравилась своей матери, и маленький Юрочка (так звали Г.Иванова в семье) по вечерам молился, чтобы она поскорее и поудачнее вышла замуж. По-видимому, Бог услышал его молитвы, так как она была замужем, и даже три раза. Правда, первый ее муж, поляк, умер странной смертью, а второй, Субботин, покончил с собой во время революции из «чувства самосохранения». Дело в том, что он боялся заболеть такой болезнью, от которой нет лекарств. Поэтому он накопал всевозможные медикаменты и в конце концов отравился однажды на улице, приняв яд.

Третий ее муж, Гаврилов, был начальником Монетного двора. Наташа работала в то время в столовой и поэтому могла подкармливать всю семью. Но столовая по какой-то причине закрылась, и, так как у нее было высшее образование, она решила устроиться в Монетный двор. Но там ее встретили весьма холодно:

— Не подходите. Нам не нужны разные в каракулевых шубках, и расфуфыренных не надо. Мы свою возьмем — пролетарку.

Наташа возмутилась:

— Безобразие, — начала она. — Я пришла, чтобы служить народу, а тут рассуждают про мое пальто! Проводите меня к вашему начальнику.

Начальник был очень вежлив и тоже возмутился тем, как ее приняли. А через месяц Наташа вышла за него замуж. Этот брак был очень счастливым, хотя была в нем и «теневая» сторона — полнота Наташи. А была она очень пышнотелой. Во время медового месяца в Петергофе она прибавила еще пятнадцать килограммов. Наташа мечтала навестить нас с Жоржем в Париже. Из этого ничего не вышло, а о дальнейшей ее судьбе я ничего не знаю.

Старший брат Г.Иванова, Николай, был по характеру очень жестоким. Будучи белым офицером, он однажды «увешал» всю аллею трупами красных.

А Владимир был инженером. Он закончил свое образование в Англии и был совершенно англазированным во всех отношениях. У него было маленькое именище, которое, еще до разорения, успел подарить ему отец. В этом именище он большую часть времени посвящал своему автомобилю: чинил его и усовершенствовал. При красных он прикидывался сыном крестьянина Иванова, эдаким русским самородком, и старательно избегал высоких должностей.

Вообще же семья Георгия Иванова была очень странной. Его тетка действительно была дочерью разбойника, выдававшего себя за князя. Об этом Г.Иванов писал в очерке «Из семейной хроники», опубликованном в «Возрождении».

*«Русская мысль» (Париж), № 3852, 1990 г.
©Александр Радашкевич*

III

Мне четырнадцать лет. У моего брата, который довольно плохо учился, был репетитор. С этим репетитором я почти не была знакома, но у одних знакомых на рождественской елке, во время детского праздника, мы с ним встретились. Все ужасно веселились, танцевали, играли во всевозможные игры, а когда надо было идти домой, то нашу прислугу, которую прислали за мной, отправили назад, а меня все гости пошли гурьбой провожать домой. Пошел и этот репетитор. По дороге тоже очень веселились, я даже прыгала полпути от удовольствия, не обращая внимания на репетитора, который все время вился около меня. Прощаясь же перед подъездом, он поцеловал мне руку, что меня слегка смутило.

В следующий раз, когда он пришел давать урок брату, я к нему не вышла, хотя он и просил брата позвать меня. Он совершенно меня не интересовал. Иногда, сталкиваясь с ним в прихожей, я, наскоро поздоровавшись, убегала в другую комнату.

Прошло некоторое время, и я вдруг получила от него письмо, содержащее длинное объяснение в любви. Это было мое первое любовное письмо, чрезвычайно поразившее и одновременно обрадовавшее меня. Как интересно: раз мне пишут такие письма, значит я уже взрослая. Отвечать ему я и не подумала и по-прежнему старалась его избегать. Но подобные письма стали приходиться почти ежедневно. В тайну своей любви он посвятил Пьера, который потом страшно хохотал и все рассказал моим двоюродным братьям, жившим у нас.

Как-то раз я опять столкнулась с репетитором в прихожей. На этот раз он встал на колени и начал объяснение в любви. Я попросту убежала. Тогда он написал моему отцу. Помню начало: «О маловерный, я буду холить дни вашей старости. Клянусь, что сделаю вашу дочь счастливой. Она станет родоначальницей славного рода Ц., матерью восьми детей: пяти мальчиков и трех девочек...»

Затем я заболела свинкой, лежала с распухшей шеей и чувствовала себя отвратительно. А к маме в это время пришла одна знакомая, предупредив по телефону, что ей необходимо видеть меня и маму по важному делу. Прямо с порога она объяснила маме, что пришла по просьбе Ц.:

— Почему вы так противитесь браку вашей дочери? Ведь речь идет о будущем, а пока он просит лишь согласия на брак. Он очень порядочный молодой человек и действительно страшно влюблен в вашу дочь.

Мама засмеялась:

— Мы вовсе не думали противиться, но моя дочь ни о каком замужестве не помышляет. И вся эта любовь просто выдумка.

— Но как же, — настаивала дама, — он сам мне говорил, что ваша дочь согласна, а вы не позволяете ей.

Мама удивилась:

— Какой вздор. Если хотите, она сама вам скажет о своих чувствах.

Дама обрадовалась:

— Пожалуйста, позовите ее. Я бы хотела сама с ней поговорить.

Предупредив, что я больна свинкой, мама послала за мной, и я, поднявшись с постели, вышла к ним в халате.

— Скажите, — обратилась ко мне дама, — любите ли вы Ц.?

И я выпалила хрипло:

— Терпеть не могу! Пусть не пристаёт ко мне больше.

Мама развела руками:

— Вот, слышали? Мы с мужем тут ни при чем.

— Что же он мне такое говорил? Он сейчас ведь ждет ответа у меня дома... Бедный! бедный!

Но этим дело не кончилось. Он по-прежнему стал поджидать меня по вечерам у дверей дома. Служанка, провожавшая меня, говорила маме:

— Этот, который любит барышню, может ведь ее украсть. Я боюсь. Хорошо, если бы ее встречал брат или еще кто-то.

Тут мы узнали от одного приятеля Ц., что у него дома, в углу, устроен род алтаря и на нем чучело в красном платье (а на мне в тот рождественский вечер было красное плиссированное платье) и что он утром и вечером поклоняется этому истукану. Отец тогда сказал, что неизвестно, сошел он с ума от любви или же влюбился, потому что был сумасшедшим.

Письма мне и моим родителям все продолжали приходить. Но, перестав давать уроки брату, он неожиданно уехал из Риги. Из его писем выяснилось, что он хотел изучать в Швейцарии иностранные языки, чтобы быть достойным меня во всех отношениях.

— Ну и слава Богу! — вздохнул отец.

На этом, кажется, все и кончилось. А вскоре началась война, мы переехали в Петербург, и больше я об этом Ц. никогда не слышала.

IV

Меня часто спрашивают, кто напечатал мои стихи впервые и кому я этим обязана: Гумилеву или Георгию Иванову. Но на самом деле ни тому, ни другому, а, как это ни странно, самой себе.

Мы уже жили в Петербурге. Была революция. Гуляя по городу с моим двоюродным братом Сергеем (который был тогда уже моим мужем, но об этом позднее), я увидела на углу Морской улицы барышню в котиковой шубке и замшевых сапожках, с большой кипой газет, которые и она продавала. Это так меня взволновало, что вернувшись домой, я сразу написала (а вообще я писала стихи с детства) стих, начинавшийся так:

Вы стоите в котиковой шубке,
В замшевых сапожках на углу Морской.
Кажется такой вы тоненькой и хрупкой,
Маленькая девочка с игрушечной душой.

Закончив стихотворение, я тут же решила послать его в тогдашнюю газету «Эхо». Володя смеялся:

— Так и напечатают: держи карман шире!

Но через три или четыре дня вдруг приносят мне газету с этим стихотворением, красовавшемся на видном месте. В тот же день я получила письмо из «Эха» с просьбой прислать новые стихи и приглашением прийти познакомиться.

Я просто обезумела от счастья. Первый раз я получила подтверждение того, что я настоящий поэт. Я прыгала с дивана на кресло, с кресла на стул и бесновалась, несмотря на крики мамы о том, что я сломаю себе спину. Мне хотелось от восторга выброситься из окна и рассыпаться искрами по тротуару. Такого восторга я больше никогда не переживала.

К тому времени, как я уже сказала, я была замужем. Вышла я замуж по желанию моего отца, боявшегося меня оставлять на «сведение волкам» (так он называл моих юных поклонников). Мы тогда уже жили на Бассейной, 60, и мой отец собирался уезжать в Ригу. Я училась в институте Живого Слова и уезжать ни за что не хотела. В женихи он мне выбрал моего двоюродного брата Сергея Попова, бывшего тогда уже богатым государственным нотариусом. А был это 1918 год.

Поповой я никак не соглашалась стать и сказала, что выйду замуж при условии, что у меня будет девичья фамилия моей матери Одоевцева. Сергей с восторгом на все согласился, так как с детства был ко мне неравнодушен. И мы действительно повенчались в церкви у Пяти углов. Брак этот был чисто фиктивный, и мне был обещан развод, когда мне заблагорассудится. Жилось мне очень хорошо. В то нелегкое время Сергей зарабатывал очень большие деньги и невероятно разбогател.

Об этом «браке» я бы никогда не упомянула, если бы Н.Берберова в своих воспоминаниях, в примечании, не написала, что я Одоевцева по фамилии моего первого мужа, присяжного поверенного Одоевцева, и тем самым не создала никогда не существовавшего на свете человека.

Георгий Иванов взял с меня слово никогда об этом «браке» не упоминать, желая всегда считаться моим первым мужем. Но янисколько не сержусь на Н.Берберову и даже благодарна ей за сотворение Сергея Александровича Одоевцева: ведь это обстоятельство все равно когда-то открылось бы и вышло, что я что-то скрываю.

V

Я от природы существо очень благодарное. Правда, добра в жизни меня было мало. Конечно, не считая добром то, что делают друг для друга влюбленные. Я прекрасно знаю, что сегодня они готовы разориться и даже пожертвовать своей жизнью, но, влюбившись в другую или другого, завтра могут выбросить вас в окно. Поэтому все, что делают влюбленные, не имеет никакого отношения к добру. Но вот случай, за который я за все эти годы так и не собралась поблагодарить.

Это было весной 21-го года. Я тороплюсь. Я кончаю свою поэму «Саламандра», которую должна читать сегодня вечером в Цехе. Не хватает еще последней строфы. Мне очень хочется есть. Конечно, я могу зайти в Дом литераторов на той же Бассейной и съесть там полагающуюся мне пшенинную кашу. Но я все откладываю: мне хочется закончить поэму. Время идет. А я все никак не могу справиться. Но вот я закончила наконец и одеваюсь, чтобы идти в Цех. По дороге туда я решила все-таки забежать в Дом литераторов и съесть полагающуюся мне кашу. Смотрю на часы. Уже без четверти восемь. И я, махнув мысленно рукой, отказываюсь от своей каши и бегу в Цех. Ничего, теперь ведь начался НЭП, и во время заседания Цеха нам дают стакан чая и большое пирожное эклер. Я его уже себе представляю, какое оно вкусное, и стараюсь не жалеть о несъеденной каше. В Цех я, как и думала, опаздываю. В прихожей снимаю шубку и сталкиваюсь с Малкиной, сестрой поэта Рождественского, молодой студенткой медицинского факультета. Я с ней слегка знакома, как и со всеми обитателями Дома Искусства, но не более того. Поэзией она не интересуется и на вечерах она не бывает, и я с ней ни разу не разговаривала. Она взглянула на меня и вскрикнула:

— Одоевцева, вы же голодны! Вы зверски голодны!

— Нет, я совсем не голодна и, перед тем как идти сюда, дома хорошенько закусила.

Признаться в том, что я голодна, мне кажется совершенно невозможно, оскорбительно.

— Врете, — сказала она, — так я вам и поверила. Вы зверски голодны, я по глазам вижу.

Я отвожу взгляд:

— Ничего подобного. Выдумаете тоже.

И бегу в Цех.

Заседание Цеха уже началось. Гумилев уже предлагает читать стихи, которые будут сейчас разбирать. Я усаживаюсь на свое место. Дверь вдруг отворяется.

— Одоевцева, на минуту.

Гумилев недовольно морщится. Он не любит, чтобы чем-нибудь нарушали заседание.

— Что ж, идите, — все же говорит он.

Я выхожу из Цеха в полном недоумении. Малкина крепко берет меня за руку и ведет.

— Куда? — спрашиваю я.

Но она, не отвечая, ведет меня на кухню. В кухне она закрывает дверь на ключ и кладет его в карман.

— Рыпайтесь, не рыпайтесь, не уйдете, пока не съедите этого.

Она поднимает крышку и вынимает из кастрюли большой кусок вареного мяса и, положив его на тарелку, режет пополам.

— Пока все не съедите, не уйдете.

Я растерянно моргаю.

Упоительный запах вареного мяса ударяет мне в нос, и я чувствую, что даже если дверь была бы не заперта, у меня бы не хватило сил откачаться. Я сажусь за стол и начинаю есть с наслаждением. Она с удовольствием смотрит на меня и улыбается, и тоже начинает есть.

— Ну вот, — говорит она, когда я съела все до последней крошки, — теперь можете идти.

— Спасибо. Я никогда этого не забуду, — растерянно говорю я.

Она отпирает дверь.

— Благодарностей не надо. Всего хорошего.

Я снова иду в Цех.

Мне кажется, что чувство сытости меняет все кругом, и походка у меня гораздо тверже. И я, подняв голову, гордо вхожу в Цех.

За это время уже разобрали несколько стихотворений. Но я не слишком опоздала. Сейчас должен читать Лозинский, а потом я, и в конце — Гумилев. Все остальные уже читали, и их уже разбирали. Лозинский читает стихи, которые мне страшно понравились, и я запомнила их на всю жизнь.

Последним читает Гумилев свою «Деву-Птицу», написанную по рифмовнику, чем он очень гордится.

Ну вот, стихи кончились, и сейчас дадут чай с эклерами. Неллихен сегодня отсутствует, и один эклер оказался лишним. Гумилев предлагает отдать его автору лучших стихов, прочитанных сегодня. Начинается голосование. Все голосуют за стихи Гумилева, исключая Лозинского, подавшего голос за мою «Саламандру», и меня, подавшую голос за стихи Лозинского. Гумилев недовольно морщится и, чувствуя свою правоту, берет эклер и кладет его себе на тарелку. И прекрасно. Я могла бы отдать ему и свой эклер. Я так сыта, что отношусь к этому почти безразлично.

Эта «Дева-Птица» мне и тогда уже казалась неуклюжей и никак не заслуживающей награды. Описание птицы и пастуха, который насилует эту Деву-Птицу, было мне неприятно:

Что делает, сам не знает.

Грубые его колени

Нежные перья ломают.

Я еще теперь удивляюсь этой муштровке. Все понимали, что «Дева-Птица» — это неудача, но сказать об этом Гумилеву никто не смел, потому что влияние его личности так всех давило, что никто и пикнуть не смел. И если бы Гумилев не умер так рано, то, возможно, поэзия пошла бы по другому руслу, ибо он уже сам отходил от акмеизма («Цыгане» и т.д.).

VI

Еще один миф, который я хочу развенчать, — о «бессмертной» влюбленности в меня Н.Гумилева.

Гумилев был, как всем известно, великим Дон-Жуаном. Он сам писал: «Когда я был влюблен, а я всегда влюблен...» Он также любил повторять строчки Кузмина: «И снова я влюблен — впервые, / Навеки снова я влюблен». На самом деле он очень увлекался мной, как и многими другими, но ни о какой долговечности этого чувства не было и речи. В любом случае он никогда бы не оставил меня, так как я была его громогласно объявленной гордостью, любимой ученицей. К.Чуковский говорил тогда:

— Николай Степанович, ну хватит, и зачем так утомляться? Вы просто повесьте ей на спину табличку «Ученица», и не надо будет больше повторяться.

Лекции и семинары Гумилев вел с большим трудом, почти всегда неудачно. Он был необычайно резок. Поэтому даже самые талантливые его ученики, как Н.Чуковский, Познер и Лунц, ушли от него, не пожелав обучаться схоластике. Трудно придумать более странные лекции, чем те, которые читал Гумилев. Так например, он однажды предложил своим слушателям определить, каким из драгоценных камней был каждый из известных русских поэтов, каким диким зверем или какой рыбой. По Гумилеву, Пушкин был, например, царем зверей — львом, Лермонтов — тигром и т.д.

Несмотря на все эти странности, мне так хотелось научиться писать хорошие стихи, что я была готова и не на такое. Вскоре он стал уделять занятиям со мной особое внимание, принялся упорно развивать мой литературный вкус. Он давал мне книги самых различных авторов, а потом просил рассказать их содержание и высказать мое «ученое» мнение о них. Современной французской поэзии я совсем тогда не знала, ничего не слышала ни о Валери, ни об Аполлинере. Из русских я восхищалась тогда Щепкиной-Куперник, а из французов — Малларме. Гумилев ругал меня за такой выбор и доказывал всячески его ошибочность. Он заставил меня перечитать их снова и, хотя внешне я с ним согласилась, но на самом деле осталась при своем мнении.

Со временем Гумилев начал менять как лектор свои привычки, стал добрее к своим ученикам, терпеливее, сбросил свое высокомерие. Он любил повторять, между прочим, что писать стихи — такая же наука, как математика. В него влюблялись многие из тех, кто приходил на лекции. Я помню, как младшая из сестер Наппельбаум читала:

Душа моя делится на три:
О тебе, обо мне и о театре.

Гумилев очень ценил ее стихи, как и стихи старшей сестры — Иды. Он был с ними в очень добрых, товарищеских отношениях. Сумел он завоевать симпатии даже красноармейцев. В знак своего расположения к поэту они перевезли его библиотеку из Царского Села в Петроград.

VII

Двадцать седьмой год. Андрей Белый в «Современных записках» напечатал совершенный панегирик Владиславу Ходасевичу, превознося его до небес. Георгий Иванов ответил статьей, в которой сказано, что Ходасевич — не большой, но очень чистый, прекрасный поэт, и что преувеличения подобного рода ему только во вред. Ходасевич страшно обиделся, и с тех пор началась их вражда с Георгием Ивановым.

А произошло это сразу после Нового года. На последовавшем балу Г.Иванову говорили:

— Что вы наделали? Он же вас съест теперь.

На что тот отвечал, пожимая плечами:

— Пусть попробует. Это не так-то просто.

Ходасевич начал распространять слухи о том, что большевики купили Г.Иванова и он пишет благодаря им. Но этого ему показалось мало, и он объявил Георгия Иванова... убийцей.

Действительно, на Почтамтской, где мы тогда жили у Адамовича в квартире, принадлежащей его тетке мадам Боле, — произошло настоящее убийство. Но произошло оно в декабре, а Г.Иванов, опередив меня на несколько месяцев, покинул Ленинград уже в конце июля или начале августа, чтобы встретиться со своей первой женой в Париже.

Вообще же это была темная история. В квартире Адамовича был убит какой-то родственник его приятеля, богатый поляк. Большевики сами замяли эту историю, и она так и осталась нераскрытой.

VIII

Меня часто спрашивают, была ли Анна Ахматова членом второго «Цеха поэтов». Нет, никогда не была. Из первого «Цеха» во втором, кроме синдика Гумилева, были только Лозинский и Г. Иванов.

Ахматовой под конец жизни, к сожалению, начала изменять память. Так, составляя список первого «Цеха», она внесла в него и Г.Адамовича, который, в действительности, состоял только во втором «Цехе». Правда, позднее Адамович, узнав об этой ошибке Ахматовой и понадеясь на мое молчание, стал причислять себя и к членам первого, более пышного «Цеха поэтов». При его жизни я молчала, а теперь решила сказать, как это было на самом деле.

Я знаю о первом, главном «Цехе поэтов» очень многое, и меня могут спрашивать о разных подробностях.

К Ахматовой я отношусь с глубоким уважением и очень люблю ее стихи. Но хочу отметить еще одно проявление ее забывчивости. В той длинной пародийной песне, в которой упоминается каждый член «Цеха», были, конечно, строки и о ней:

И взглядом грустным и томющим
Ахматова глядит на всех.
Был выхухолем настоящим
У ней на муфте драный мех.

Позднее Ахматова так изменила последние строки:

Был выхухолем настоящим
У ней благоуханный мех.

Я хочу также развеять миф о том, что между Ахматовой и Блоком был какой-то роман. Это неправда. Блок даже не очень любил ее стихи. «Анна Андреевна, — говорил он, — читает как будто для мужчины, в то время как читать надо для Бога». Миф этот возник из ахматовского стихотворения «Я пришла к поэту в гости...»

И еще я хочу немного поправить Н. Оцуа, который написал, что Гумилев поручил ему составить второй «Цех поэтов». Это было бы совершенно невероятно, потому что Гумилев страшно держался за власть и ничего не подпустил бы на пушечный выстрел к своим правам, как он их понимал. А в последние годы Оцуп даже не был больше другом Гумилева, потому что он способствовал однажды тому, что председателем Союза писателей выбрали Блока, а не Гумилева. Позднее Г.Иванов с помощью одного голоса (он просто подцепил кого-то на улице) восстановил председательство Гумилева.

«Русская мысль» (Париж), № 3854, 1990 г.
©Александр Радашкевич

ОБ ОДАРЧЕНКО

Только недавно я обнаружила на своей полке белую книгу, прекрасную изданную, неизвестно кем мне принесенную — Юрий Одарченко «Стихи и проза». Открыла ее и зачиталась. Стихи Одарченко я хорошо знаю, а вот прозы его никогда не читала и была сразу же ею очарована. Но все по порядку.

Книга начинается с очень умной, содержательной статьи К.Д. Померанцева, большого друга Одарченко. Был Одарченко и нашим с Георгием Ивановым другом. И я вдруг совершенно ясно увидела его перед своими глазами. Он был человеком во всех отношениях необычайным, совершенно особенным и во многом непонятым, как, впрочем, и его творчество.

Я познакомилась с ним у Владимира Смоленского. В тот же день встретил его впервые и Померанцев. Одарченко сейчас же пригласил нас участвовать в литературном альманахе «Орион» и принялся расхваливать мое стихотворение «Сияет дорога райская...», где есть строки:

Идет Иван Иванович
В люстриновом пиджаке,
С ним рядом Марья Филипповна
С французской книжкой в руке.

Они привели его в восторг. Через них, как он сам признался, у него появилась «Клавдия Петровна» в стихотворении с великолепным финалом:

Подошла к дверям. В дверях
 Обернулась. Смертный страх
 В помутневших зеркалах.
 На паркет упала... Ах!

Клавдия Петровна.

В тот вечер он читал «На волне гребешок — значит женщина утонула...», и мы все высоко оценили эти стихи. С этого памятного чтения и началась наша дружба. Закончив очередное стихотворение, Одарченко сейчас же звонил мне и долго, во всех деталях, не менее часа, разбирал его. Вообще писал он довольно легко, но порой заходил в тупик, не будучи в состоянии найти две-три строчки.

Помню, как он бился над своим прелестным «слоником» (стихотворение «Чистый сердцем»). Он никак не мог справиться со строфой, начинающейся: «Как такому тяжелому Бог / Позволяет ходить по канату?» Оказалось, что он промучился с этим целую неделю. Я предложила тогда вариант последней строчки, который он с радостью принял, и получила: «Тумбы три вместо маленьких ног, / А четвертая кажется пятой».

— Вот еще одно место, которое у меня никак не выходит: «Если так, то подрежем канат» и так далее. Ну как тут кончить?

Подумав, я посоветовала: «Ах, мой слоник!.. — туда и дорога». Опять он страшно обрадовался, и таким образом завершилась предпоследняя строфа. Одарченко был мне чрезвычайно благодарен за эту помощь и даже склонен был преувеличивать ее значение. А помогла я ему еще два или три раза по пустякам. Это были мелкие правки, и я давно забыла о них.

Тогда же он намеревался посвятить мне стихотворение «Лишь для вас мои чайные розы...», кончавшееся словами:

А глаза на прелестном лице —
 Две зеленые мухи цеце.

Это привело меня прямо в ужас. Мне стало как-то невероятно гадко от подобного уподобления, и я начала упрашивать Одарченко снять посвящение с этого, в целом хорошего, стихотворения. В конце концов он нехотя согласился, но понадобились долгие уговоры.

— А я нахожу, что мне удивительно удался ваш портрет, — настаивал Одарченко, — и ваш отказ от посвящения меня задевает за живое.

Был он необычайно щедрым человеком и в то же время легкомысленным. Двери его дома никогда не запирались. Каждый из знавших его, кому почему-либо были нужны деньги, направлялся хозяином в другую комнату, прямо к шкатулке, из которой предлагалось взять, сколько нужно. И никогда не просил он этих денег обратно. Если же возвращали, то Одарченко считал, что должнику это по карману.

По профессии он был инженером. Однажды я возвратила ему деньги, которые взяла в долг накануне. Это его чрезвычайно удивило, и, оп-

равившись от потрясения, он сказал мне, что эти деньги останутся у него для меня «на сохранении». Правда, больше разговора о них не было. Несмотря на всю отзывчивость и щедрость, у него была в характере странная черта: порой он казался совершенно холодным и черствым.

Однажды Георгий Иванов сильно простудился и попросил меня отправиться к Одарченко за деньгами, которые он был нам должен. Жили мы в ту пору очень бедно. Я заартачилась: нет, нет, избавь меня от этого «удовольствия». Но Жорж принялся меня уверять, что просить ничего не придется и что Одарченко сам сейчас же отдаст деньги, как только меня увидит. И вот скрепя сердце я отправилась. У меня были деньги только на один билет метро. Обрато я рассчитывала купить билет на деньги Одарченко или взять такси.

Он встретил меня сердечно, напоил чаем, принялся расспрашивать о новостях и был искренне огорчен болезнью Георгия Иванова. А я все ждала момента, когда он наконец заговорит о деньгах. Но он о них и не заикался, продолжая говорить о том о сем, и вздох восторгался своими стихами. Про Георгия Иванова он сказал, между прочим, что он не имеет права печатать стихотворение, которое заканчивалось строчками: «И Лермонтов один выходит на дорогу, / Серебряными шпорами звеня», — по той причине, что Одарченко якобы уже употребил этот образ в своем стихотворении «Я недоволен медведями»: / «Они не сеют и не жнут, / но мед и земляничку жрут...» и так далее.

Оно заканчивается так:

Медведь огромный вместо Бога
Над миром лапу протянул,
Он лермонтовским сном уснул,
Пока не прозвучит тревога,
Не призывай же имя Бога!

Я доказывала, что Георгий Иванов не имеет отношения к его жутковатым «медведям», но всю мою аргументацию он оставил без внимания. Время шло. Напившись вдоволь чаю и так-таки не дождавшись денег, я начала собираться домой. Одарченко долго прощался со мной, желал Жоржу скорейшего выздоровления. И вдруг он спросил: «А вы ничего не забыли?» Я ответила, что нет, что со мной, мол, ничего не было. Потом я поняла, что он намекал на деньги, но было уже поздно.

И вот, не имея обратного билета, я зашагала домой из очень отдаленного района и прошагала полтора часа... Домой я вернулась вконец разбитая и на расспрос Георгия Иванова с трудом выговорила, что ничего нет. В тот вечер мы так и легли голодными.

На другой день я шла к Смоленскому и неожиданно столкнулась с Одарченко, который с женой и сыном спешил в кинематограф. Увидев меня, он стремглав бросился через дорогу, чуть не угодив под машину, и, даже не здороваясь, выпалил:

— Ах, простите меня, пожалуйста, я ведь совсем забыл, что обещал вернуть деньги Георгию Иванову.

Поверить этому было, конечно, трудно. Да он и сам это понимал. Я сдержанно поблагодарила Одарченко и ушла, оставив его в растерянности. Это маленькое событие как-то по-новому осветило для меня его образ.

Был и еще один случай, тоже плохо вязавшийся с его обликом.

Дело происходило зимой. Мы, как я уже сказала, бедствовали. Я продала пять своих шуб, и мы успели их благополучно проесть. Осталась последняя шуба из каракульчи. Продать ее, к сожалению, было невозможно, так как это был очень нежный мех и от ежедневной носки он протерся в нескольких местах, особенно на груди. Но я сохранила еще большую черную муфту, которой и прикрывала главную погрешность моей шубы, стараясь с этими «остатками роскоши» как-то сохранять элегантный вид.

И вот однажды Жоржу срочно нужны были деньги, а у Одарченко как раз тоже гулял ветер в кармане. Одарченко предложил мне помочь продать если не «брайтшванцевую» шубу, то обязательно эту злополучную муфту... Но расстаться с единственным, что позволяло мне имитировать прежний вид, я никак не могла согласиться. На это Одарченко сказал:

— Значит, вам не так уж и плохо.

Приведу еще последний, совершенно невероятный пример его оригинальности.

Положение наше с Георгием Ивановым все ухудшалось. Порой мы были близки к отчаянию. Однажды я пришла к Одарченко, и он сказал, что написал обо мне стихи. Вспомнив его «зеленых мух цеце», я не слишком обрадовалась. Но тут меня ожидал сюрприз еще похлеще того. Выдержав многозначительную паузу, Одарченко начал читать с особенным трепетом в голосе: «Было счастье подвенечное, было платье бесконечное, шлейф, как Млечный Путь...» Я, конечно, узнала свои собственные строчки. А потом последовал «подарок» Одарченко:

Вот так-так, а теперь чердак.
Богу помолись и в петле удавись.

Я просто ахнула.

— Надеюсь, эти стихи принесут вам пользу, — сказал он.

Через некоторое время он все же рассказал, чем был вызван этот «полезный совет». Оказывается, он прочитал у Толстого, что человека, которому очень плохо, надо толкнуть, чтобы он упал. А когда он встанет, то начнет новую, совсем другую жизнь. А о том, что его рекомендации тогда нетрудно было последовать, Одарченко, очевидно, не подумал.

К этому эпизоду остается добавить, что в применении к себе Одарченко шел дальше одних пожеланий. Его нашли мертвым, с резиновой трубкой от газовой плиты во рту. Я жила тогда в Ганьи и слишком поздно об этом узнала.

Как я уже сказала, о прозе Одарченко я не имела никакого представления. Теперь она просто очаровала меня, несмотря на то, что темы некоторых его рассказов мне до крайности неприятны. Я с трудом пере-

ношу разглагольствования об упырях и вурдалаках, оживших мертвецах с отслаивающейся плотью, длиннозубых вампирах и о прочих «прелестях». Недавно, кстати, мне привелось прочитать талантливое произведение Ю.Мамлеева на подобную тему. После этого, правда, я едва не заворала, но через несколько дней мне все же удалось справиться со своей депрессией.

Что-то похожее я пережила после рассказов Одарченко «Рыжики», «Оборотень» и других. Но его «Папоротник» и особенно «Псел» поразили меня своим стилистическим совершенством. Его пейзажные вставки удивительно хороши, словесные изыски неожиданно уместны, ритм его фраз завораживает. Странно, что к его прозе всегда относились полупрезрительно, нехотя упоминали о каких-то отрывках. Даже Померанцев не удостаивает вниманием его рассказы, считая Одарченко, по-видимому, лишь поэтом и занимательным устным рассказчиком. Такого же мнения придерживался Ю.Терапиано и другие его критики. Один только В.Бетаки совершенно справедливо сравнивает прозу Одарченко с манерой самого Гоголя. Для меня теперь очевидно, что прозаические вещи Юрия Одарченко совершенно равноценны его стихам, а иногда и значительнее их, потому что как поэту ему удавались лишь «сумасшедшие» видения, отличающиеся умелым (и, надо сказать, естественным для него) нажимом на псевдореалии.

Мне грустно вспоминать, что под конец своей жизни Одарченко перестал писать. При встречах со мной он твердил одни и те же бессмысленные строчки: «Тридцать три баобаба и маленькая баба», — но двинуться дальше этой «бабы» он был уже не в состоянии. Между прочим, был он о себе, как о поэте, самого высокого мнения и вовсе этого не скрывал.

Одарченко был очень привязан к своему сыну Коленьке (в рассказе «Псел» мальчик выведен под своим именем), который отвечал ему тем же и на вопрос, любит ли он папу, отвечал, прижав к груди ладони: «Ах, как же можно его не любить?» В последние свои месяцы Одарченко был совершенно одинок. К тому же, как отметил уже К.Д. Померанцев, он был подвержен приступам скифской жажды. Вот этого своего последнего одиночества Юрий Одарченко пережить не смог.

«Русская мысль» (Париж), № 3855, 1990 г.

©Александр Радашкевич



Елена РУБИСОВА

/ 1897 – 1980 /

Писатель, искусствовед, поэтесса. До Второй мировой войны сотрудничала в парижской газете «Последние новости». После 1945 переселилась в США. Более 25 лет публиковала статьи в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк), в «Новом журнале» (Нью-Йорк) и в канадском «Современнике». Автор двух книг рассказов и двух монографий на английском языке о русской живописи и искусстве Востока. Стихотворения Рубисовой вошли в антологии «На Западе» и «Муза диаспоры»; опубликованы в сборниках «Содружество», «Ковчег», и «Эстафета».

ПРЕДИСЛОВИЕ¹

В лабиринте прибрежных пещер
На стенах подземных темниц
Вижу я хороводы химер,
Тени странных зверей и птиц,

В этом казенном цирке — актер
И единственный зритель — я.
Голос ветра — трагический хор,
Автор пьесы — судьба моя.

На тяжелых котурнах мечты
Я хожу, сама с собою споря.
Копья скал — подмостки Мои,
Бирюзовый занавес — Море.

¹ Из книги «Дуэль».

ВЕСЕННЕЕ

Радость жить, это значит — дышать
Полной грудью, как дышит Море,
Ничего не искать, только ждать
Встречной радости в каждом взоре.

Каждый лик чудесен и нов,
Как рукою сияло заботы.
В жилах новая яркая кровь,
В жилах — мед, а тело — как соты.

Под собою не чуешь ты ног,
Как на крыльях, несет тебя радость.
Много ль надо? Хлеба кусок,
И вода, и чудесная сладость, —

Сладость жить. Чудесного ждать
В каждом взоре и каждой песне.
Ничего не искать и не брать,
Только верить, что будет чудесней!

* * *

Ноль разверст за чертой единицы.
Бездна — предел Числа.
Верю больше полету птицы,
Мере ее крыла,

А стиху верю, — если, камнем
В воду брошенным, тронет дно,
Распахнет, касанием пламенным,
В беспредельность окно.

РУССКАЯ КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ¹

У входа в аббатство св. Винсента в городе Санлисе находится мраморная статуя, несколько больше человеческого роста, молодой женщины, облаченной в тяжелые одежды византийского покроя. Две длинных косы, выбиваясь из-под покрывала, придержанного на голове короной, обрамляют строгое спокойное лицо с правильными чертами. В руках она держит маленькую модель аббатства.

На пьедестале статуи — надпись: «Анна Киевская, королева Франции». Статуя изображает Анну Ярославну, дочь Ярослава Мудрого, жену Генриха Первого, короля Франции.

Похожа ли она, действительно, на ту молодую русскую княжну, прибывшую из далекой Киевской Земли во Францию в 1051-м году, чтобы соединить свою жизнь и судьбу с этой страной и ее королем?

В музее аббатства, в длинной темноватой зале первого этажа, есть фреска из собора св. Софии в Киеве, предполагаемый портрет Анны Ярославны: тонкое овальное лицо с очень большими глазами, маленький изящный рот. Голова и плечи закутаны в белое покрывало, по византийской моде. Она похожа на византийскую икону.

Если долго смотреть на это лицо, начинает казаться, что губы слегка улыбаются. Но фреска пострадала от времени, потемнела, и, быть может, эта улыбка на строгом лице иконы — игра воображения.

По свидетельству современников, Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого и его жены шведской принцессы Ингегерды, отличалась необыкновенной красотой. Родилась она в 1028 году, в Киеве.

Киев, «Мать городов русских», был тогда богатым и славным престольным городом Киевщины (Киевской Руси). Уже в X веке, вместе с христианской верой, проникла в Киевскую Русь византийская культура, и до середины XII века Киев оставался блестящим ее носителем, «Византией на Днепре». Знаменитый киевский собор св. Софии был построен Ярославом Мудрым по византийским образцам. Науки и искусства, а также торговля, процветали, и вся Европа считалась с киевскими князьями династии Рюриковичей.

Через брак киевские князья породнились со многими правителями Европы. И бабушка Анны Ярославны, Анна (быть может, в ее честь было дано это имя дочери Ярослава) была сестрой византийского императора, Василия II, сына Ромэна II, Македонской династии.

Анне Ярославне было 25 лет, когда она покинула родной город для новой родины, Франции. 14 мая 1051 года в Реймсе было торжественно отпраздновано ее бракосочетание с Генрихом Первым; Анна, княжна Киевская, стала королевой Франции и поселилась в замке французских королей в Санлисе.

Город Санлис, в 29 милях от Парижа, расположен среди обширных лесов, богатых дичью. Короли Франции любили охоту, и замок в Санлисе был их любимым местопребыванием.

¹ Из книги «Огни на дорогах». Полностью — издательство «Алетейя», 2015 г.

Легенда (или — исторический факт?), приводимая многими историками, утверждает, что через несколько месяцев после свадьбы Анна совершила путешествие в Иерусалим, чтобы молить о даровании ей сына, наследника престола; и что, вернувшись, дала обет построить в Санлисе храм, если молитвы ее будут услышаны.

Желание королевы исполнилось — у нее родился сын, будущий король Франции. Его назвали Филиппом. Имя это было новым для Франции. Можно предположить, что оно было дано в память Филиппа, отца Александра Македонского, род которого был в родстве с родом Анны по ее бабушке. Филипп — греческое имя, означающее «любящий лошадей».

Еще два сына родились у королевы — Робер (умерший в раннем возрасте) и Хьюг. Старшего сына, Филиппа, отец еще в детстве как бы возвел в королевское достоинство: «помазание на царство» было совершено во время торжественной церемонии в Реймсе, в 1059 году. Регентом был назначен граф Фландрский Бодуэн, дядя Филиппа. Быть может, король предчувствовал близкую кончину — через год после этого он умер. Филипп, которому в то время было около 7 лет, стал королем Франции.

По-видимому, к этому времени относится постройка, закончившаяся в 1065 году, церкви и аббатства св. Винсента. На постройку были употреблены личные средства королевы — как гласит хартия, подписанная ею (славянскими буквами) и находящаяся в музее аббатства, около фрески, изображающей Анну Ярославну:

«...Я даю мои личные средства, которые Генрих, мой супруг, дал мне свадебным подарком; с согласия короля, моего сына, а также грандов его королевства, я передаю их для постройки церкви и аббатства, чтобы служители Господа, устава св. Августина, могли там жить и день и ночь молиться...»

И вот в эту — как будто налаженную, как будто устойчивую — жизнь, неожиданно и странно, врывается бурный роман Анны с Раулем, графом де Крэпи. — Воспылав страстью к молодой и прекрасной вдове Генриха, Рауль «дает отпускную» своей жене, похищает королеву, увозит ее в свой родовой замок и венчается с нею. Свадьба была отпразднована в церкви со всей надлежащей торжественностью. Анна осталась жить в замке Рауля, но их совместная жизнь, вероятно, была сильно омрачена: Александр II, папа Римский, по жалобе «отпущенной» жены Рауля отлучил его от церкви за такой своевольный брак. Анна была глубоко религиозна. Но, по-видимому, она придавала мало значения формам обрядности — поскольку формы эти оставались обрядами христианской церкви.

Свадьба ее с королем Франции произошла еще до разделения церквей. Став королевой страны, признавшей Рим своим духовным руководителем, она спокойно приняла перемены в обрядах церковного устава. Сохранилось письмо к ней папы Николая II, из которого следует, что он считал королеву доброй дочерью церкви.

После смерти Рауля в 1074 году, Анна возвращается в Санлис. Ее подпись, как матери короля, еще раз появляется на документе 1075 года. Затем она как бы исчезает со сцены. Умерла она, по-видимому, в 1089 году — в этом году король Филипп принес дары церкви в Бовэ и просил молиться за упокой душ его отца и матери.

Но могила ее не была найдена и вероятно поэтому последние годы Анны Ярославны окружены легендой. Некоторые историки полагают, что, выполнив свои обязанности королевы Франции, завершив роль, данную ей судьбой, под конец жизни Анна захотела снова стать «Анной Киевской» и вернуться в родной город. Эта легенда не лишена некоторой доли вероятности, принимая во внимание независимый характер Анны Ярославны и свободу, которой пользовалась вдовствующая королева, мать короля Филиппа.

Но другие историки утверждают¹ — и это, кажется более вероятным, что она провела последние годы жизни в Санлисе или одном из окрестных монастырей за чтением духовных книг и в благочестивых беседах с монахами и наставниками, и что могила ее находится где-нибудь в окрестностях Санлиса.

Кроме того, в церкви аббатства в Вилье, в департаменте Сены и Уазы, были найдены обломки могильной плиты с изображением королевы и латинской надписью:

«NIC JACET DOMINA AGNES, UXOR QUONDAM HENRICI REGIS...
...CORUM PER MISERICORDIA DEI REQUIESCANT IN PACO»².

Но аббатство в Вилье было построено только в 1220 году — 21 год спустя после кончины Анны. И загадка остается загадкой. «...Загадка имени» принадлежащего Франции, начертанного славянскими буквами...».

* * *

Санлис — очаровательный старинный городок, в 29-ти милях от Парижа, на берегу тихой речки Ноннет, впадающей в Уазу. К границе города близко подступает густой зеленый лес, тянущийся на десятки миль. В нем преобладают дубы. Зеленая таинственная чаща дубового леса — стройные стволы и вырезные листья деревьев — походит на изысканный гобелен. Лес этот все еще великолепен, хотя сильно поредел и продолжает таять: по краям, то тут то там, а то и в самой чаще, появляются громадные лысины, и на месте срубленных деревьев вырастают дома, поселки, фабрики; общая судьба лесов, отступающих под натиском индустрии.

Когда-то на месте замка в Санлисе находилась галло-римская крепость; она была разрушена, и на фундаменте древних ее камней вырос замок. В свою очередь он подвергся разрушениям, но сохранилась та часть его, в которой находились королевские покои — спальня и рабочий кабинет Людовика Святого. Они реставрированы. В другом, также реставрированном здании, помещается охотничий музей — единственный в Европе. Невдалеке от замка находится величественный собор, второй половины XII века.

¹ «Anne de Kiev et Saint Vincent», par le Rev. P. Roger Hallu.

² «Здесь покоится госпожа Аньес, бывшая женою короля Генриха... милосердием Господа, да покоятся они с миром». — Имя «Анна» нередко переводили как «Аньес», «Агнесса».

Тихие живописные улочки Санлиса сохранили прелесть неторопливой, «крепко посаженной» жизни. За толстыми стенами оград среди садов скрыты старинные дома и дворцы, и кажется, что дышит и живет еще здесь уже отошедшая в далекое прошлое королевская Франция.

Аббатство св. Винсента находится на окраине города; от улицы его отделяет железная узорчатая ограда, за которой, в глубине большого двора, виднеется здание аббатства, осененное высокими, старыми деревьями сада. В аббатстве помещается знаменитый колледж св. Винсента. Из этого колледжа вышло немало людей, которыми гордится Франция, Назову лишь некоторых: Эредиа, знаменитый поэт; аббат Брэйль (археолог, исследователь и знаток истории); известный историк Франк Бретано, социолог Леон Гармель, адвокат Моро-Джаффери...

Первоначальное здание аббатства много раз отстраивалось и перестраивалось, но сохранилась неприкосновенной — реставрированной, но не измененной — старинная часовня, непосредственно прилегающая к церкви. Она построена иначе, чем все остальное, по византийской архитектурной схеме. Быть может, Анна Ярославна приходила сюда молиться. Лучи солнца, падавшие из окна, выходившего в сад, заливали потоками золотого и изумрудного света коленапреклоненную фигуру королевы, на груди которой сверкало серебряное распятие работы киевского мастера, вывезенное ею из родного города.

Монахи аббатства св. Винсента празднуют память Анны Киевской, королевы французской, 5 сентября. Поэты, историки и романисты любят посвящать ей свой труд и внимание.

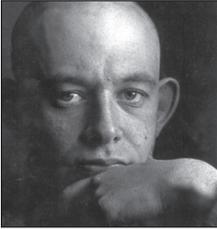
Вот строфы из прекрасной поэмы, сложенной бывшим учеником колледжа св. Винсента, о. Роже Галлю, посвященной Анне Ярославне:

.....
 В ней соединились Восток и Запад.
 Русская степь — с нашим лесом,
 Византийская культура — с римским наследством.

Загадка лица и загадка сердца,
 Которое сумело — вот уже девять столетий тому назад,
 Соединить две страны в одной любви...

Загадка колокольни, соединяющей купол и арку,
 И «вчера» и «завтра».
 Загадка имени, принадлежащего Франции,
 Начертанного славянскими буквами.
 Икона, или Джоконда:
 «Анна Киевская, королева Франции».

В церкви аббатства, в память строительны цм Анны, горит неугасимая лампада.



Борис ЛЕВИТ-БРОУН

/ Верона /

УБИЙСТВЕННЫЙ ГОРОД

(Журнальный вариант)

Сесть за стол и написать о Флоренции.

Вот просто так — сесть.

И написать.

Ну бред же...

Даже вступление такое — бред, сама идея!..

Написать о Флоренции — дело немыслимое, невозможное, обречённое дело.

Чем убивает этот город?

Всем.

В нём нет блаженства и радости... нет тонкой гармонии малолюдных итальянских городов, таких как Верона, Мантуя, Модена.

В нём всё вздымается ввысь, в яростный кипящий купол.

Моя гостиница называется «Вилла азалий» и действительно представляет собой старую виллу, когда-то стоявшую на окраине Флоренции, а ныне утонувшую в расплыве городских черт.

И деревья в её парке такие старые, что в них, и правда, могут петь соловьи.

И солнечный вечер обращает к тебе незлые лица собора и кампаниллы.

Их мраморы свежи, теплы...

При всей своей колоссальности ни собор, ни кампанилла не обрушатся на тебя, но лишь тепло касаются своей каменной грудью твоей груди.

Они счастливы, им нет надобности ни на кого обрушиваться.

Они ещё не поняли, что состарились.

Они не состарились.

Они по-прежнему стоят в брачном своём уборе.

Хотя жизнь прошла.

Наша жизнь прошла.

Это наша жизнь вечно проходит.

А они вечно живут, перенося из времён во времена свою восхитительную брачную юность.

Кто знает... кто помнит теперь, что лицо собора обдиралось, и что некто Эмилио де Фабрис восстанавливал в конце XIX века эти мраморные черты?!

Они стоят рядом — собор и невеста.

Какую невесту подарил этому колоссу Джотто ди Бондоне!

Никто не убирал столь прекрасно венчальный наряд.

А там уже и Лоджия деи Ланци видна, и... челлиниевского «Персея» почему-то забили досками. Но всё равно лоджия прекрасна, и старой музыки флорентийской синьории уже веет на тебя, и... вот он, непреклонный сеньор Тосканы — грациозный и страшный Палаццо Веккьо. Как приношения у ног его — мраморные гиганты, Давид. Он стоит, утопая в грязной пене современной торговой мелочи, где американский Кодак своей коммерческой желтизной выкрикивает громче, чем гербы флорентийских патрициев, вписанные в подкровельные ниши палаццо.

А вон там уже и Понте Веккьо. Вот ты и увидел Флоренцию.

Чтобы добраться до палаццо Питти, надо перейти на другую сторону Арно.

Этот палаццо — я с давних пор знаю его по книгам — единственный, быть может, итальянский палаццо, соизмеримый по масштабам с дворцами монархов барочной Европы.

Я должен был увидеть его, и я его увидел в неожиданно распахнувшейся перспективе монументального фасада. И прочитанное отступило перед каменным величием. Он принял руст по прямому наследству от Палаццо Веккьо, он признал герб сеньора и возвеличил в могучем фронтальном размахе славу и силу Флоренции великих герцогов. В этом теплом вечере нечего было добавить к прямому потрясению зданием... потрясению, которого я ждал, которое почти пережил у Ор Сан Микеле и у Палаццо Веккьо.

— А как же собор и кампанилла?

— Нет, там другое... то не здания! Те оба живые, не каменные!

А это именно здание. Страшное, мёртвое в своей каменности... потрясающее. Оно всё от земли, от человеческого титанизма, от грешной гордыни.

Тут нет ничего религиозного.

Тут дышит мехами механика власти...

Тут львиная лапа стоит, прорвав когтями борозды в граните.
 Тут аристократизм, рассчитанный безупречно, как самолюбивый,
 едва обозначенный поклон испанца, зашитого во всё чёрное.
 Ничто тут не смиренно и не согласно смириться.
 Тут вечная война человеческой воли и яростных жажд.

Заходящее солнце обожгло каменное лицо Питти, но оно не приня-
 ло никакого выражения, даже не сощурилось под жестоким лучом.
 Окна сверкнули, но не слезами, а зеркальной слепотой безучастия.

Я понял, что попал, наконец, во Флоренцию.
 Я попал в город трагедии.
 Флоренция — трагический город.
 Она живёт трагедией.
 Она живёт — и в этом её трагедия.

Чем убивает этот город?
 Да тем же, чем и сам убит.
 Своим величием.
 Прежде всего, убивает сознание — одно лишь сознание ценностей,
 накопленных... копившихся... созидавших и созданных в этом городе.
 Отсюда явлен был миру Данте, как поэт и философ.
 Здесь Брунеллески то ли завершал архитектуру средневековья,
 то ли создавал архитектуру Возрождения.
 Здесь Донателло подготовил великим своим творчеством мифиче-
 ские «ужасы» Микеланджело.
 Здесь Мазаччо и Мазолино начинали в капелле Бранкаччи не толь-
 ко итальянский живописный Ренессанс, но и вообще новый день евро-
 пейской живописи.
 Здесь творил непостижимый Боттичелли.
 Здесь начинался Леонардо, а там, где начинается Леонардо, уж
 там-то наверняка пуп земли.
 И Микеланджело ведь тоже начинался здесь, прежде чем отпра-
 виться созидать мировую славу Рима.
 Здесь на известных всему человечеству и всё равно неведомых до-
 рожках повсюду следы титанов, «священных чудищ» (I mostri sacri),
 как называют итальянцы самых великих.
 Они роились здесь... они рождались здесь, где герцоги не просто
 были склонны к размышлению, где они не просто задумывались, пре-
 вращаясь в философов, но задумывали и осуществляли замыслы фило-
 софских академий.
 Где Бенвенуто Челлини лил драгоценнейшее в мире золото.
 Где Пико делла Мирандола вещал о достоинстве человека, а Ма-
 киавелли — о нищете морали.

Этот город убивает одним сознанием...

... и фасадом палаццо Питти.

Здесь, на этих улицах, в пыли и грязи, дворцы живут потрёпанной, поруганной жизнью никому не нужных больших людей.

Они живут, стиснув покорёженные зубы, оглохшие, остервеневшие от нескончаемого позора мотоциклетных выхлопов.

Он живёт... этот город!

Он знает цену себе, хотя никто уже давно не платит ему его действительной цены.

Это трагедия человеческого достоинства, того самого достоинства, о котором так много толковал Джованни Пико делла Мирандола.

Чего стоит вся торговая и политическая возня венецианской истории, венецианского могущества в сравнении с духовным взлётом Флоренции?

Может, оттого так блаженна и легка бесконечная смерть Венеции?

Ведь там разлита смерть... смерть сладкая, как погребение в лепестках роз, смерть-праздник, отравляющая саму любовь к жизни. Венеция умирает, небрежно шурша простынями лагуны. Венеция вечно в тихой чуме. В чуме отчаяния — как состарившаяся женщина, отворившая себе вены и лёгшая в тёплую ванну, чтобы позабыть о старости. Густав Ашенбах невозможен во Флоренции, он возможен только в Венеции, ибо Венеция — город безумия, город дурманов и томительного желания растворить себя в тумане. Венеция роскошно умирает. Она согласилась быть хронической умирающей Средиземноморья, посещаемой миром на смертном одре своих нескончаемых щедрот.

В своей бессрочной агонии Венеция может дать чувство, что ты уже прожил жизнь, и что жил ты не зря, что то́, что было, было правильно и свершилось.

Флоренция — совсем иное.

Тут бьется ожесточённый пульс неисчерпанной жизни.

Тут саднит ощущение недовершенности, подозрение, что жил зря...

Тут дышит горечь недооценённости.

И какова же должна быть эта горечь, если все мировые поклоны и поклонения Флоренции не смогли утишить её!

Флоренция не хочет умирать, она живёт и кровоточит.

Она не холит, а оскорбляет свои святыни, свои великие достижения, развалив грязную живопись бездомных и пьяниц на папертях своих великих церквей.

Нельзя валяться на подиуме Санто Спирито!

Тут Брунеллески формулировал архитектурные концепции ренессансного зодчества... понимаете!?

Нет, они не понимают...

Грязна и замызгана ежеминутностью площадь Санто Спирито.

Какая-то повозка никак не разминётся с авто...

Какое-то бельё выброшено знамёнами на копоть облупленных стен.

Какие-то здания невозможной заброшенности и красоты окружают сжавшийся от ужаса комок церкви, вся вина (беда) которой лишь в том, что она слишком значительна, слишком непонятна в своей красоте и значительности.

А те валяются и спят, пьют и смеются, не желая встать смиренно у стен своей же собственной национальной гордости.

Кроваво-красные цветы — из ближнего окна.

В косом луче заката не вообразить ничего более прекрасного, чем эти цветы в чёрном проёме, вывешенном, как картина, на тёмно-оливковый от векового равнодушия фасад.

Небритый пьяница в голубом рваном свитере с пластиковой бутылкой в руке что-то орёт за моей спиной, но орёт не мне... он орёт никому... он ругает то ли проехавший «Ситроен», то ли весь мир, повернувшийся к нему задницей.

Я пробираюсь... я спасаюсь вдоль улицы, имя которой не стоит помнить, потому что имя всякой улицы тут — Флоренция.

Я вышел на Арно с другой стороны заката.

Я увидел Флоренцию с моста Санта Тринита, и всё было вновь передо мной, и Понте Веккьо, и набережная, напоминающая упорядоченностью второстепенных фасадов дворцовую набережную Петербурга, там, где она художественно мельчает за Эрмитажами в направлении ринальдиевского Мраморного дворца.

Эта Флоренция была залита медным светом.

Арно играл скупыми бликами прямо под Понте Веккьо, за ним клубились зелёные холмы, один из которых держит на себе волшебную Сан Миньато аль Монте.

Великолепны картуши моста Санта Тринита — их зернистый мрамор напоминает снег, который вот-вот начнёт таять и капать.

* * *

До Санта Кроче я дошёл пешком, довольно долго разыскивая в толчее солнечного дня это гигантское сооружение. Я посетил церковь и видел гробницы Микеланджело и Данте (прах которого покоится в Равенне), обошёл и осмотрел церковь, а потом зашел в кафе напротив.

Я ел панино, пил кофе, но... мысли мои были не здесь. Они остались в новой сакристии Сан Лоренцо, они запутались в мраморном дыме... в бликах света, лижущих полированные женские тела... в матовом попадании лучей на шершавой коже мужчин.

Да-да... капелла Медичи.

Можно подробно изложить своё впечатление об этом памятнике, можно рассказать отдельно о каждой из скульптур, можно распространиться о тонкостях архитектурного чутья Буонарроти, но если искать правды, тогда надо молчать.

Ни в одном из слов людских нет и не может быть той восхитительной, той убийственной неги, которая водила здесь рецзом.

Нет таких ног на свете, нет таких тел...

Это дым... это сказание о желанном, это преодоление невозможного, победа над самой невозможностью!

Да, так, пожалуй, можно точнее всего определить не сами создания... о нет! но событие, то есть то, что стряслось с человечеством в те дни, те часы... месяцы, когда несчастный урод... когда этот... ладно, назовём его просто — скульптор... когда он, сдувая с мрамора покровы извлекал немислимое...

Это была победа...

И тут никто не виноват!

Даже он!

Нет, никто не виноват в происшедшем.

И я не виноват, но... при одном воспоминании о мужской ноге «Дня» мне хочется расплакаться, как виновному в тяжком преступлении, который с облегчением признал, наконец, свою так долго отрицаемую вину.

Так чем же убивает этот город?

Тем ли, что трагическое помножено в нём на трагическое?

Трагизм мраморов Медичи, их природный трагизм... их каменность, их обречённость вечно жить, не ожив, вечно мучить глаза несбыточным, вечно дразнить надеждой на воплощение, на «когда-нибудь воплощение» совершенства...

...Их мучительная незабываемость помножена на дерзостный дух Флоренции, не желающей забывать своё, переставшее быть нужным, величие.

И торгует... злобно торгует площадь Сане Лоренцо, опоясав робкую капеллу Медичи рядами наглых киосков, всасывая в себя Микеланджело со всеми муками его побед... с его яростной жаждой высшей жизни, с его черепичным куполом и мраморным дымом внутри... с неправдоподобными ногами «Утра», до которых было бы страшно дотронуться, если б даже это разрешалось.

* * *

Один день может заключать в себе много дней.

Пережитое распухает внутри сферами самостоятельных миров, обволакивается защитной плёнкой неповторимости и часто с поразительным тактом отступает, давая простор иному, порой совсем несоразмерному переживанию.

Сидя на пьядца Санта Кроче, я припоминал, как, покинув капеллу Медичи, пройдя сквозь наглый строй базарной площади, вошёл в самую церковь Сан Лоренцо. Припомнились картины, которые я разглядывал, хотя вполне машинально... и старая сакристия, где я лишь с трудом сообразил, что это программный памятник ренессансных начал (опять-таки Брунеллески, опять-таки Донателло...)

— Ах, осторожно с зонтиком! Прошу вас... — воскликнула обеспокоенная смотрительница за сакристией.

— О, конечно, конечно!..

Я покидал церковь через левый боковой неф, откуда отворённая дверь вела в клуатр.

«Нет, не пойду в клуатр! — подумал я, автоматически читая небольшую вывеску: «Медицинская библиотека Сан Лоренцо, студентов-читателей убедительно просят...» и т.д. Ещё пятнадцать метров инерции понадобились мне, чтобы смутное ощущение какой-то связи между библиотекой и чем-то невероятным проступило очередным ступором.

«Ты совсем, что ли, обалдел?.. — это было даже не восклицание, а усталая констатация.

Я сообразил, что только что чуть было не прозевал «Лоренциану».

«Лоренциана» — так называли современники библиотеку Сан Лоренцо, к которой Микеланджело спроектировал небольшой вестибюль и этим сооружением не только открыл эпоху краткого маньеризма, но, по сути, предсказал весь архитектурный дух барокко.

Небольшой вестибюль.

Его кубическое пространство почти целиком заполнено непомерной лестницей, извергающейся из высоко расположенного входа с явным намерением затопить пространство густой лавой потемнелого мрамора.

Нет, описывать вестибюль «Лоренцианы» я не стану.

Что описывать, да и как описать «обыкновенное» архитектурное давление гения, всегда оставшегося внутренне скульптором. Всё как у всех... но иначе, всё непомерно выпукло, чувственно... дважды живо. Оно пульсирует, оно как бы больше себя, норовит выйти из берегов, лопнуть, взорваться.

И только после этого, уже окончательно выпотрошенный, я поплёлся искать Санта Кроче, хотя по пути мне ещё пришлось свернуть на площадь Сантиссима Аннунциата. Солнце не слишком жгло меня, так что добрёл я и до госпиталя невинных.

«Ospedale degli innocenti».

Архитектор Флиппо Брунеллески, возможно, и не обладал творческим гением, зато имел обыкновение закладывать основы.

Есть такие любители.

Что ни произведение, то и основы...

Здесь он воздвиг лоджию, но и она — эта ниточка циркульных арок на изящных стройных колоннах — оказалась основой.

Уж как хороша была!

Позднее Антонио Сангалло с противоположной стороны площади откликнулся тем же. А что ему ещё оставалось? Видимо, это была ситуация из тех, о которых говорят «лучше не придумаешь». Ну он и не придумал лучше, так что площадь образовала изумительный в грациозных подоби-ях ансамбль.

Есть в истории флорентийского величия ситуация, когда более поздний попал в западню к более раннему. Раздумывая над проектом главного мирового собора в Ватикане, Микеланджело воскликнул, обращаясь к куполу Санта Мария дель Фиоре уже покойного Брунеллески (опять Брунеллески!) — «Так как ты не могу, а хуже не хочу!»

Не хотел... не хотел, а купол св. Петра всё-таки воздвиг.

Нет, конечно же, Брунеллески был гений.

Если это и не вытекает непосредственно из величия старой сакри-
стии Сан Лоренцо или лоджии «Оспедале дельи инноченти», то об этом
громогласно заявляет великий флорентийский купол, величайший из го-
тических куполов в целом свете.

Он добродушно заглядывает и на площадь Сантиссима Аннунциата,
и на другие площади Флоренции... он навсегда стал куполом гордой Тос-
каны.

Он призывает всё.

Даже обсуждать нечего — только взглянуть...

Одно лишь дерзновение гения могло подвигнуть и воплотить этот
могучий замысел. Да и перед кем, если не перед гением, склонил бы
свою уродливую голову Буонарроти, который и горам-то не кланялся,
а только прищурившись решал, из которой скалы удобней высечь Ахилла.

* * *

Избирательность памяти подобна увеличительному стеклу.

Всё, что можно рассказать о галерее Уффици — всё это лишь потен-
ция памяти... интенция памяти.

Какой-то психопат год тому назад взорвал бомбу под окнами Уффици.

Так что Рафаэля и Тициана «закрыли на ремонт». Мафия урезала
мне диалог с основами европейской красоты. Но что-то всё же я помню.

Паоло Учелло очень коричневый. Он слишком опрятно изобразил
своё рыцарское побоище, и оно скучно.

Я не могу сердцем вспомнить трёх великих Мадонн — Дуччо, Чима-
буэ и Джотто. Это великие произведения — каждая в своём роде, но...
странно... величие не всегда покоряет.

А, может, это признак скрытых изъянов?

Может, совершенство так и проверяется — чувством, сердцем?..

Или есть что-то более существенное, более важное, чем совершен-
ство?

Может быть, существует какая-то высшая интимность, ещё более
важная для возникновения Любви — того единственного, чем мы вообще
способны узнавать... знать?

После первых залов, где царит наивное золото веры, где ещё неис-
кушенное зрение трепетно созидает драгоценность, иконность, как образ
какой-то реальности, которой оно уже почти коснулось, — после первых
залов всё дальнейшее кажется чуть ли не падением в грязь. Так, по
крайней мере, воспринимается после Симоне Мартини Антонио Полайоло
и ранний Боттичелли.

Первая сердечная память Уффици — тихий разговор с двумя ма-
ленькими портретами кисти Пьеро делла Франческа. Оба изображенные,
и Федерико да Монтефельтро и его нареченная Баттиста Сфорца, были
первостатейными уродами, а Федерико к тому же — калеккой. И Франче-
ска даже не позаботился это скрыть.

Но оказалось, и не нужно.

Всё равно и герцог, и его невеста возвышенны, всё равно им тихо сочувствует целый мир в тончайшем равнинном пейзаже...

Всё равно всё здесь свято и прекрасно, и кажется, тихий шелест беседующих душ отлетает от этих парных картинок, двойного окошка в вечность.

Что там — по другую сторону — вечность, Пьеро делла Франческа не дал никаких заверений, но и не оставил никаких сомнений.

Кто имеет в себе хоть минимальное переживание вечности, тот и не подумает усомниться. За отрешенными профилями царит бесспорность божественного присутствия и благословения.

Пьеро делла Франческа — уже не иконописец, но ещё где-то там, в неразомкнутости веры и доверия. Здесь нет кричащей надежды, потому что здесь ещё не заронилось сомнение. Легко выразить благословенность, когда сам благословен.

Знаменитая Мадонна Фра Филиппо Липпи, так любимая и так безудержно воспроизводимая в Италии от репродукций до ювелирных поделок, кажется тонкой плёнкой чувства, которую художник осторожно — не порвать бы — снял со своего сердца и наложил на холст. Мадонна прозрачна, и кожа её лба светится, как кожа новорождённого.

Двое малышей, которых Липпи посадил ей на руки — не более чем риторика.

Он не детей любил.

Он любил детство мира в чертах этой женщины.

Тёмен и благородно бордов ранний, неизвестный мне Боттичелли. Стыдливо жмётся Сандро в одном ряду с Полайоло, как бы скрываясь, за-слоняясь стеной... как будто оробев перед собственным надвигающимся блеском. Этот блеск давно уже надвигается на него... и на меня, давит сквозь стену и открытые двери... давит всей неимоверной эстетической тяжестью смежного зала, который, собственно, и есть великий зал Боттичелли.

Я всё увидел разом — и «Весну», и «Рождение Афродиты», и «Мадонну Магнификат», и «Мадонну с гранатом». Мне стало страшно. Это не было как в капелле Медичи... это не было проступание иного мира сквозь сероватый мраморный дым, нет... Это было такое чувство, как будто ты встал по команде судьи, и тебе произнесли приговор.

Было страшно.

«Магнификат» согрела меня ожидаемым совершенством, но уже издали я понял: «Мадонна с гранатом» ещё убийственной... быть может, убийственной всего.

Я должен был сначала увидеть живую «Магнификат» — в раме светлого золота, стилизованной под венок слегка привядших колосьев. Её красочность должна была быть найдена и воплощена, а уже потом специально приглашена с какой-то ужасающей чуткостью... с чувством меры и гармонии, поистине божественным. Но отдаваясь созерцанию этого давно

знакомого и любимого образа, я чувством знал, что «Мадонна с гранатом» меня победила. В какой-то момент не оставалось ничего, кроме как смиренно подойти к ней. Рядом с ней, наперёд предсказавшей и маньеризмы с их натужными поисками, и всю изысканность новых времён, и прерафаэлитов, (которые именно потому и прерафаэлиты, что стремились походить на дорафаэлеву Италию... стало быть, на Боттичелли...) и модерн, с его художественным томлением, с его расслабленностью и дурнотой в путанице зелёных кос...

Я стоял в одном шаге от Боттичеллиевой Афродиты.

Силуэт Афродиты — ещё один из достигнутых пределов эстетики, ещё одна формула совершенства.

Из левого покатога плеча Афродиты и её опущенной руки небрежно вытекает весь Энгр... а вслед за ним и вся мелочная образованность французского академизма. Энгр был единственным великим из мелких. Он один только и оказался способен сделать высокие эстетические выводы из этого покатога плеча и этой опущенной руки, то есть написать вариации на тему Боттичелли без трусливой оглядки на подиум, откуда диктует натура. Энгровские одалиски, купальщицы, его «Источник», и прочие его подтаявшие обнаженные — это признание правоты Боттичелли, который вот здесь, в этой своей Афродите, утверждает, что музыка линий истинней и обязательней, чем обязательная «правда природы».

Трудно долго выдерживать близость таких вещей, как «Рождение Афродиты».

Эта трудность толкнула меня в противоположный угол зала, где рядом висят раннее Сандрово «Благовещение» и какой-то (запоматовав название) Гирландайо.

Но что Гирландайо — это точно помню.

И подумалось мне — вот сюда бы сейчас всех поэтов профессионализма привести и рядом выставить для показательной очной ставки. Пусть полюбопытствуют, что *умел* «профи» и что *смел* гений. Гирландайо размерен и упорядочен... всё в его картине устойчиво... нигде не валится — композиция схвачена железными скобами традиции и личного мастерового опыта.

Но что случилось... что сломалось в «Благовещании» Боттичелли?

Что надо было нарушить в порядочности и равновесии Гирландайо, чтоб возникла эта нервная мелодия изогнутой в смятении Марии? Есть тонкая чувственность в движении рук ангела-благовестника, как бы толкающих воздух в направлении лона Марии, и та же тонкая чувственность в самой Марии, в том, как она изогнулась, уворачиваясь бёдрами... сопротивляясь Непорочному зачатию. На картине Боттичелли Пресвятая Дева то ли хочет избегнуть Воли Божией, то ли играет с Богом.

Гирландайо и Боттичелли, сопоставленные экспозиционным соседством, — это скука и восторг, профессионализм и гениальность, мастерство и артистизм...

У стены, противоположной «Рождению Афродиты», возвышался поставленный прямо на пол огромный складень-триптих Гуго ван дер Гусса «Поклонение младенцу Иисусу» — произведение необычайной мощи и внутренней тяжести, остуженное дыханием северного мира. Топорные лица, грубые руки, следы северного слаборождения у младенца и вес обильно наросшей плоти на взрослых. Здесь всё осмыслено бедой мирового проклятия, здесь очевидны последствия грехопадения, здесь искупление лежит на всём и на всех скорбной печатью. Тщедушное дитя-Иисус уже родилось, но жизнь совсем не ощутила это через коросту греха.

А там... на противоположной стене, тихо светит Боттичелли, и это, наконец, просто возмущает. Да нет же, не может быть... он лгал! Мир наш не похож на «Рождение Афродиты», мир похож вот на это заскорузлое, горестно-просветлённое поклонение хилуму младенцу. Гуго ван дер Гусс видел то, что есть, Боттичелли видел то, чего нет.

И даже, кажется, не может быть никогда!

* * *

Надо признать, что на террасе Уффици подают особенно пушистый капучино.

Никогда не следует манкировать радостями буфета в местах великой важности, ибо и буфет в таких местах может оказаться важен.

Вот допустим, написано — «Буфет» — и стрелочка в неопределённую узкую дверь.

А выйдешь сквозь эту дверь и окажешься не где-нибудь — я подчёркиваю, не где-нибудь — а на крыше Лоджии деи Ланци, потому что именно крыша Лоджии деи Ланци служит буфетной террасой в галерее Уффици.

Вот и не зашёл бы в буфет!

Если кто недопонял, напоминаю ещё раз — на крыше Лоджии деи Ланци!!!

А это значит — выпорхнуть, как голубь, в небо над флорентийской дела Синьория, это значит зависнуть над мраморными гигантами у ворот Палаццо Веккьо, это значит увидеть могучее рустованное архитектурное тело, да так близко, что видны гранитные складки, морщины и трещины его кожи, изношенной и всё-таки неподвластной времени... так близко, что всякий герб различим в деталях!

Веккьо дышит прямо рядом с тобой.

И тут же напротив... в захватывающей близости (что им два ничтожных квартала отстояния!) великий купол Флоренции и стройная его невеста-кампианлла. Её мраморная одежда проступает женственными подробностями. Злая башня Палаццо Веккьо всей своей агрессивностью кричит тебе в ухо, что рядом сеньор, но ты не можешь оторвать глаз от стройной женщины-кампианллы, возвышающейся над городскими крышами.

* * *

...Помнится, в одно из зарешеченных окон я увидел мутный Арно и Монте алле Крочи — кладбищенскую горку — держащую в зелёной ладони кипарисов волшебный ларчик Сан Миньато.

Среди живописных блаженств италийства мне запомнился суровый Лука Синьорелли.

Это сильный и жестокий художник.

Он умел даже в блаженной Италии видеть над собой белое безглазое небо и землю, усеянную черепами. Он видел отрезанные головы жизни под Крестом распятого Бога.

Его знобило холодом Апокалипсиса, который он же сам и сотворил на стенах собора Орвьето.

Был и юный Леонардо: его прелестный ангельчик на скучной и жесткой как покрывочная резина картине Верроккьо; его «Благовещение» с романтическим, даже мистическим пейзажем, в котором дышит влага чьих-то невысказанных тревог, где живут и дрожат какие-то предощущения... какой-то таинственный трепет того, что всегда маячит... но всегда вдали.

Были Джорджоне и Корреджо...

Маленький автопортрет Гольбейна...

Крохотные окошки портретов Мемлинга.

Они тяжелы, как базальт — эти портреты.

Они, как динамит, заряжены стиснутым темпераментом, мощным достоинством самообуздания, мужеством признаний и отречений, суровой аскезой.

В них нет и намёка на идеальность, в них всё — характерность и индивидуальность, некрасивость... всё в них — земля и страстное порывание, а иногда — тяжелый приговор, как, например, в гольбейновском портрете сэра Ричарда Саутуэлла.

Когда стоишь у тёмной «Мадонны долороза» Ван Клеве, понимаешь, что итальянцы совсем не знали глубины горя и не умели плакать, хотя нет более скорых на слезу людей, чем итальянцы. Но их слёзы — счастливая и чистая вода в сравнении со слезами северными, в которых действительно *dolore*, вот именно боль и горькая безнадежность. В отличие от итальянцев саксонские народы никогда не отворачивались от низкой жизни. Они слишком даже видели её... они чувствовали, что человек заслужил такую жизнь, что он отпал от Бога и карается за служение. Отношение же итальянцев к жизни часто очень легкомысленно и граничит с идиотизмом, но... именно им дано чаще других достигать совершенства почти божественного. Когда эту почти божественность встречаешь у германцев... всегда думаешь об Италии... об итальянской красоте, о... *bellezza latina*. А когда смотришь на парные портреты мужчины и женщины Ван Клеве, совсем не думаешь об итальянской красоте.

* * *

До Санта Мария дель Кармине я дошёл, но в капеллу Бранкаччи не попал. Она уже закрылась, а сама церковь, горевшая и перестроенная в поздние времена, мне была неинтересна.

Не попал я в капеллу Бранкаччи и на следующий день.

Ирина изъявила желание посетить сад палаццо Питти — знаменитый «Жардино ди Боболи» — и это было как всегда мудрое решение (мудрые решения как-то естественно и непринуждённо приходят ей на ум). Мы пришли в Питти и вошли... и я был ещё раз потрясён до самых глубин воображения этой благородной, хотя и неорганической мощью. Циклопические ворота и титанизм кубического двора — всё тут имело не только наружную, внутреннюю колоссальность. Все Версали на свете начинаются отсюда, только там уже есть неприятная распухлость, архитектурный жир. Здесь же — античный атлетизм, ничего лишнего. Это здание героической эпохи.

А «Жардино ди Боболи» мы не обошли (и слава Богу!)... только вошли в него, взобрались на ближайший пригорок и в изнеможении упали в бар, с площадки которого видна вся Флоренция — купол Брунеллески, могучие массивы Санта Кроче и Ор сан Микеле, Арно с мостами... зелёные горы, не столько окружающие, сколько сдавливающие город. Виден был оттуда и весь берег Питти с близким куполом и колокольней Санто Спирито, с дальней Санта Мария дель Кармине, с ущельями узких улочек, над которыми висит и от которых распространяется над всей Флоренцией смог тревоги и внутреннего напряжения.

Этот убийственный город — место скрещения стольких великих судеб — своеобразная высшая эстетическая школа христианского человечества, которую оно, увы, слишком дурно усвоило. Этот город несообразных человеческому масштабу достижений, этот город, полный трагической невозможности последствий и последователей, потому что не в человеческих силах повторить то, что содеяно здесь, — этот город явно раздражён самим собой.

Он презирает своё величие, плюёт в измельчавшую современность, требует от себя... от жизни... какой-то иной, более полной адекватности, которая либо должна ещё явиться, либо уже не явится никогда.

Евгений КЕРЖНЕР

/ Регенсбург /



ВНУТРЕННИЙ ПОЖАР

Сестре Марине

Город — подмостки, каждый в нём — актёр. Вон тот, скажем, изображает малахольного.

С бородой, в цилиндре, за спиной — узел, оттуда торчат деревянные флейты. В уютном местечке притормаживает, достаёт дудку и свистит...

Я сыграл в этом городе немало ролей. Может, примерить ещё одну: «не здесь, не сейчас?»

La Primavera¹

Ибо здесь ты сам — последнее, что хочется видеть.
(Иосиф Бродский. Fondamenta degli Incurabili)

Видение на волнах, вечный ласковый плеск. Вместо скрипучих фур, битюгов — змейки отливающих лаком гондол. Обретая очертания и плоть, проступает из забвения жемчужиной барочной Венеция XVIII столетия.

Постепенно освещались мягким светом фонарей улочки её и пяццы, на венецианском диалекте «кампи». Дюжины жандармов задействованы были в ночной страже, пеклись о покое горожан. Иноземцы тоже могли чувствовать себя в безопасности и весьма сие ценили. Поэтому наезжали сюда охотно — тысяч шестьдесят в год, число по тем временам астрономическое. Гондольеры и дамы лёгкого поведения без работы не оставались.

Турки в тюбанах с ятаганами, греческие попы в рясах, далматинцы и хорваты... Днём жара в сон клонила, а с вечерней прохладой всё снова наполнялось движением. Призывно отворялись двери trattorie и казино, гульба да игра азартная затягивались далеко за полночь.

Во дни празднеств выступала при стечении народа процессия: дож Светлейшей Республики в шитой золотом мантии, вослед ему — свита

¹ Весна (итал.)

в пурпурных одеяниях. В толпе сновали попрошайки, карманные воришки, «вакханки» заигрывали с прохожими, хотя вербовать клиентов прилюдно им строжайше воспрещалось.

Главным аттракционом служил, несомненно, карнавал. Спрятаться под маской, избавиться от сословных шор — вот была воронка, что засасывала алчущих запретного плода местных и приезжих из ближних и дальних углов Европы. Происхождением своим обязанный римским сатурналиям, карнавал длился в Светлейшей с октября до Рождества, после короткой передышки — от Богоявления до Страстной и опять — на Пасху. Охочие до удовольствий венецианцы возрождали его и летом, сменив вывеску, — теперь он назывался *Sensa*, ярмарка к Вознесению. Чуть не полгода жили в маске, и в церкви забывали снять — будто прилипала: где личина, где лицо?.. Богиня Диана с борзыми на поводу, Нептун с трезубцем, Арлекин и Коломбина, Бригелла, эскулап Дотторе и Панталоне в пунцовых своих чулках... Шёлк, парча, пёстрые лохмотья... Маги, гадалки, целители, зубодёры... Вырядившись мусульманами, срывались эквилибристы по канату с колокольни Сан-Марко на раскинутые внизу шатры, а матросы выстраивали геркулесовы пирамиды в восемь человеческих этажей, вознося на вершину чьё-то малое дитя. Трещали от посетителей кофейни, питейные заведения, и под занавес взрывался апофеозом пышный фейерверк.

Имелась, чего уж там, нищета (дома богоугодные силились одолеть её); хватало и смрада, и нечистот... Тем не менее, рядом, наперекор всему — буйное многоцветье Тициана, Тинторетто, Веронезе. Опустились сумерки, скрадывающая несообразная, и доносилось пение залиvistое со всех сторон. Книг же в городе каналов выходило как нигде в Средиземноморье, и не только латинским шрифтом, а и греческим, арабским, армянским и еврейским; издатель Оттавиано де Петруччи изобрёл и нотную печать.

Персонажи давнего действия всплывают из небытия... Приближается к нам некто прыгающей походкой, кашляя на ходу, — локоны огненные за версту видно. *Il prete rosso*, «рыжий падре» — так величают его в Венеции. С деревянным футляром под мышкой — через мост мимо новой тюрьмы — к угрюмому зданию, что у церкви Милосердия Христова. Тут ожидают урока Анна, Бьянка, Лоретта, Пруденца, четыре-пять новеньких. В углу пристроилась насупленная надзирательница с розгами, *maestra di batutta* («мастерица порки»). Наскоро осевши себя знамением, Вивальди оглашает: «Возьмём концертно ля маджоре!»

Но каюсь: забежал вперёд... Срок вроде бы лишь подходил, и затряслось вдруг под Венецией дно морское. С перепугу, наверное, разродилась Камилла раньше положенного. Глянув на младенца, повитуха заголосила: «Свят, свят! Окрестить немедля, покудова жив!» Взывал Джованни Баттиста: «Дева пресвятая, помилуй мя грешного! Спаси нам первенца — ничего тебе не пожалею!»

Музыкант выжил, и отец помнил свой обет. Сам он начинал цирюльником. Позже освоил другое ремесло. В пёстром перечне свободных профессий наряду с каменотёсами, печатниками, парикмахерами, художниками числился и сонадор — городской музыкус, в чью обязанность входило

ло играть на свадьбах и поминках, а также трубить по особым поводам с городской башни. Из многих «снарядов», которыми владел, Джованни Баттиста решил передать сыну скрипку. Дело пошло, ещё подростком Антонио зачислят в цех.

Отцу хотелось, безусловно, большего — сонадор стоял в социальной иерархии на низших ступенях. Антонио отдали в обучение к священнику, пусть даже грозила наука обойтись в мешок дукатов. В пятнадцать лет он принял первое причастие, а в двадцать пять был посвящён в сан и начал править мессу. Тогда же стал и учителем скрипичным — маэстро.

К церкви Милосердия примыкал основанный в XIV веке приют для сирот и найдёнышей, большей частью женского полу, — «оспедале». «Оных, кои отдают или велят отдать сюда сыновей своих и дочерей, ежели могут растить их сами и состояние к тому имеют, прокликает Бог и предаёт анафеме...» Каменная плита с высеченным на ней текстом папской буллы от 1548 года лежала прямо у входа, но всё равно подкидывали к церковной стене всяких — поди разбери... Девочек готовили в горничные, белошвейки, кухарки и кружевницы. Тех, кто выказывал одарённость, приобщали к пению, игре на инструментах.

Забыл представиться: профессор К. В первоначальном значении титула (к учителю обращались в Италии «Professore!»). И мне выпала честь обучать музыке — правда, в иных палестинах — и тоже преимущественно прекрасных дев. А город этот — постарше Венеции, на тысячелетия счёт. Сколько судеб человеческих впиталось в стены, в дерево потолочных балок вьелось, осело на булыжник или мрамор. Насыщен воздух миазмами прошлого — дыхание времён, призраки ушедших.

«Серафиною» зову скрипку мою возлюбленную — сработана мастером чудесным Санто Серафином. Я дотрагиваюсь до нея смычком, и подхватывают своды храма, умножают дрожь струны. Поистине создана та церква Милосердия звуки преобразать: взлетают оне ввысь и зависают каплями прозрачными на ветвях.

По средам у адвоката Агостино Марчелло — музыкальные вечера. Хозяин — знатного рода, с обширными земельными владениями в округе. Сегодня приглашены к нему в палаццо Джованни Баттиста с сыном. Их знают и за пределами лагуны: в путеводителях для чужестранцев оба фигурируют в числе виртуозов. Антонио представляет свой опус, недавно из-под печатного пресса.

— Чествую и поздравляю! — похлопывает автора по плечу валяжный адвокат. — Многую радость доставил нам милый дон Антонио, сочинения его весьма благозвучны! И похвально, что соблюдает канон уставленный, — так и подобает в лета младые!

— О, эччеленца слишком благосклонен к опытам моим, не более чем первым плодам неприметным! — скромничает Антонио. — И верно: взял образчиком сонаты Корелли прославленного.

— Арканджело Корелли — знамо, внимал ему, был зван по okazji сей в Риме во дворец кардинала! Впрочем, гости желанные, я назову имя Палестрины — вот доподлинно мастер мелодии меж собою сопрягать!

— Всенепременно,— отвечает автор,— предстоит постичь науку голосоведения многотрудную... И всё ж не сдаётся ль эччеленце — иной манер в пору нынешнюю надобен? Значится в Писании: «Зачем вливаете вино новое в старые мехи?»

— Ах, Мадонна, запамятовал — диспутирую с лицом духовным! Не прост он, Вивальди-меньшой!

Вступает в разговор супруга хозяина Лодовика, матрона с замысловатой причёской. Молва о неподражаемом золотистом ореоле венецианок распространялась за тридевять земель, а рецепт, как получить сияющий цвет волос, оберегали патрицианки пуще невинности своей, и куафёры им способствовали во всех отношениях.

— Пусть поведает дон Антонио про воспитанниц в оспедале Милосердия!

— Несмелы покуда начальные их шаги, давай им Бог долготерпения! Но есть меж них одна, зовётся Анной Марией — доведётся высокочтимой синьоре услышать об ней добро! А впридачу препоручено мне обучать их на виоле аглицкой...

— Занятно! — перебивает адвокат. — Синьорам ведома, всеконечно, и сродственная виола д'аморе, то бишь «любовная»! И обладает она тембром редкостным, чарующим... Ужő капеллану новопосвящённому! Он там, аки петух в курятнике, един средь юных дев — недолго впасть во искушение опасное, и сутана не оградит!

Джованни Баттиста уводит от скользкой темы:

— А сыновья дона Агостино — пытливо внимают оне беседе нашей — ведь тако же музицируют?

— Вестимо, в роду Марчелло установлен издревле обычай сей. Старшой, Алессандро, пробует и музыку, и поприще поэтическое — разбирается покамест, куда влечёт его. И Бенедетто не чужд прекрасных муз...

— Кабы персты свои на скрипке чаще упражнял! — вставляет Лодовика.

— Ныне посвящён Бенедетто более наукам,— берёт сына под защиту Агостино.— Приступил в университете падуанском к юриспруденции — по стопам отцовским...

Лакей в ливрее подаёт вина, шоколад и конфеты на фамильном серебре. В окна, выходящие на canale Grande — Большой канал, доносятся крики чаек.

— Известно ль дону Антонио, кто побывал тут на Крещение? — рад хозяин случаю похвастаться.— Визитёр из Аллеманьи пасмурной. Импортантная персона! Припожаловал, сообразно с уставом карнавальным, в маске. У меня играл того дня Доменико, достопочтенного Алессандро Скарлатти сынок,— мило играл. Потом присел в свой черёд тевтонец,

упитанный, аки боров,— при комплекции эдакой виделись клавикорды сущей малостью... Из ряда вон, каков фортель он вытворял! Огнь, вулкан, темперамент бешеный! Бедный Доменико крепился сколь мог и вскричал: «Нешто под личиною саксонец хвалёный? А коли нет — Вельзевул самолично!» И воистину то был Гендель, подданный курфюрста саксонского! На удивление синьорам имя таковое?

— Не приводилось доселе слышать...

— Загремит об нём слава повсюду!.. Что ж, друзья любезные, приятное препровождение с вами...

Вивальди-младший спешит исполнить долг вежливости:

— Позвольте поднести опус мой в знак почитания нелицемерного!

— Благодарю дона Антонио доброго, да исполнятся его чаяния!

Отлична виола д'аморе от прочих, на коих четыре жилы натянуты: вдобавок к основным укреплены в ней струнки, в резонанс колеблющиеся. Посему выходит тон хрустальный, серебристый. И в человеке — струны особые. У кого провисли бессильно иль порвались вовсе, чьи-то подстроены чисто, звонко. Услышит дитя зов из мира, ответит отголоском и воссоединится звуком с душою родственной. Сознаём бытие, поелику откликаются струны внутренне.

А там, в оспедале,— юницы милые, спору нет. Оглядываю их и вспоминаю притчу евангельскую: «Вышел сеятель сеять... иное семя упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то... а иное упало на добрую землю и дало плод, который взошёл и вырос, и принёс в тридцать, в шестьдесят и во сто крат...» Ежели постигаю я притчу слабым моим разумением: яко семени — почва, музыке — чувствование. Отпущено того им разною мерой: у Бьянки — пылает жарко, у Лоретты — едва теплится. И не едино в себе носить — что чуешь, преобразить надобно, чтоб заиграло кристаллом и лучи простёрлись ко внимающим... Усиливается учитель высекать искру, однако ж нечасто вспыхивает пламя.

Иначе с Анною: милостью Божьей одарена. Чего ей ни покажи — схватывает единым духом, словно некогда испытала сие, и плавно ведёт смычком, извлекая из скрипки голос,— касается живописец кистью холста, фигуры оживают... Велеречива Анна моя не больно! Скупится порою слово произнеть — лучше ей сыграть. Давеча сама начала по слуху фантазировать, и дивился: ярко получается — чай, сполохи из сфер нездешних? Стал заносить блёстки оныя на ноты, вплетать в концерты мои... Спустя срок показал ей готовые из печатни. Распознала прелюдии свои, осветилась улыбкою: «Ноты — пташки вольные, падре! Пускай летят и поют, где им мило!»

Одета она в робу, понеже в приюте положено, и спрятана вся под облачением. А руки одушевлённые да взор лучистый выдают сокрытый в ней огонь.

Капельмейстер Йохан Кванц:

Окончилось учение, и довелось мне увидеть те концерты.

Изрядно нового музыкального рода оказались оне, сделали

впечатление немалое. Я не преминул себе запас порядочный набрать. Почитай, на полмира разослал Вивальди зело живые, затеиные пиесы его, уж горазд на выдумку!

Действительно — разлетелись по свету: напечатаны были впервые в Амстердаме; докатилась волна с Адриатики и до Веймара, Дрездена, Лондона. Концерты становятся «бестселлерами», музицирующий любитель Уффенбах сейчас же сообщает во Франкфурт-на-Майне о «знаменитом» Вивальди. Их берут за основу для своих транскрипций Гендель и даже Бах, чей биограф напишет: тот учился на них музыкальному мышлению!

Литератор Йохан Маттезон:

Ибо сладострастие самочинно правит балом в оных концертах. Название их означает «ратоборствовать за первенство»; что сшибаются там в столкновении ревность и месть, зависть, ненависть и прочие страсти — всякий сможет расчесть без труда.

Вивальди изобрёл не сам жанр, а своеобразный музыкальный словарь, который не постеснялись перенять именитые коллеги.

Средневековые узаконило разделение: композитору присвоили ранг учёного-творца, исполнитель считался профаном, способным в лучшем случае воспроизвести написанное. Соперничая со скрипачами, а заодно и с виртуозами на других инструментах, Вивальди нашупал золотую жилу — состязание солиста с оркестром. Il prete rosso явился, с позволения сказать, «от сохи», от своего собственного инструмента, но посягнул на незыблемые границы. Да, был уже сотней лет раньше Клаудио Монтеверди. И всё же Вивальди сумел глубже разглядеть связь пиликающей на свадьбе скрыпочки с основами музыки, её корнями. Не из размеренных ли рассказываний произошла пляска? Не вылилось ли совместное бормотание позже в песню? Относительно же гармоний — исконно ничего эфемерного: так назывались в Древней Греции скобы, скреплявшие доски судна.

Добрый плотник сколачивает табуретку, должно ей стоять прочно, иметь дырку в сиденье, чтобы удобнее взяться. Украшать табуретку резьбой или инкрустацией ему без надобности. Вивальди обращается к первоначальным формам, простейшим элементам, высвобождая дремлющую в них энергию.

Итак, в первую очередь — чеканный ритм, напоминающий часто щёлканье кастаньет. Подчёркнутая единица измерения — удар, бит: чёткая, настойчиво повторяющаяся формула, ритмическая ячейка. Цепь таких ячеек, стремительное моторное движение, драйв — джазовые приёмы в начале XVIII века!

Мелодию Вивальди в медленных частях по традиции «поёт», в быстрых — нанизывает один за другим короткие отрезки. Обтачивает, подгоняет их наподобие кубиков, и возникает ажурная конструкция, элементы которой математически выверены. Растягивая или ужимая во времени, он умеет делать эту конструкцию зримой в пространстве слуха.

Если же сравнивать мелодию и ритм с чёрно-белым рисунком, тогда гармоническая палитра призвана расцветить рисунок. Краски наносит композитор на нотные линейки то гуще, то прозрачнее. Выстраивает ясную схему: тревога, напряжение нарастают и спадают, сменяясь расслаблением и удовольствием. Форма становится пластичной, доходчивой, в этом отношении новатор даёт фору многим современникам. Простота гармонической схемы — тоже предвосхищение джаза, и воздействует она безотказно.

Граф Пётр Толстой:

В Венеции есть монастыри девические, в коих девицы играют на органах и на разных инструментах и спевают на хорах таково изрядно, что на всём свете такового согласия нигде не обретается, и таково предивно, что всех слушающих повергают в изумление.

Двадцатипятилетним он очутился в окружении расцветающей юности. Приют — около восьмисот девочек и девушек. Тридцать-сорок участвовали в хоре и оркестре. Пожалуй, и одной-двух хватило бы, чтобы потеснить набожность в его башке — во славу греховности! Казалась молодость в монашеских покрывах особенно притягательной?

Как утолить иссушающую жажду, противостоять наваждению, требованиям тела? Аскеза? Каждому ли уготован этот путь? Живая кровь билась в нём (сегодня выразились бы: «витабельность») — вслушайтесь в музыку! Но к чему думы сии? Должны помочь подготовиться к семинару с моими студентками? Или — выявить пружины судьбы, сделать тайное явным?

Вивальди слагает с себя полномочия капеллана, прослужив мессы пару лет (сохраняя, согласно обычаю, право и впредь именоваться священником). Теряет солидное по тогдашним меркам жалованье — восемьдесят дукатов в год (1 дукат = 100 кг муки = 11 цыплят)...

Вероятно, болезнь? В одном из писем пожалуется: из-за приступов трижды уходил с амвона, не дослужив мессу. Упомянет о «*stretrezza di petto*» — «стеснении в груди». Конечно, когда писал, было ему под шестьдесят, и он действительно всё больше задыхался. Недоброжелатели язвили: прерывал, мол, литургию, чтобы занести в тетрадь интересную мелодию. Во всяком случае, в продолжение блестящих скрипичных импровизаций на публике вроде от кашля не страдал.

Иная причина? Заповедь целомудрия не препятствовала даже кардиналам римской курии открыто содержать куртизанок и заводить от них детей. Любовные интрижки церковников и в Венеции воспринимались спокойно. Девушки же... Француз Шарль де Бросс, посетив концерт, в восторге: «Нет ничего воспитательнее, чем симпатичная молодая монахиня в белоснежном одеянии, с букетиком цветов граната в волосах!..»

Монахинями-то они не были. Обета безбрачия, как правило, не давали и впоследствии часто выходили замуж. А надзирательница — неужто нельзя было обойти этого аргуса? Или никак старая затаила подозрение? Тому существует хотя и косвенное, зато весомое подтверждение.

Особая конгрегация из двенадцати именитых горожан ежегодно обсуждала, продлевать ли контракт служащим оспедале. Пять лет подряд голосование проходило с большим перевесом в пользу Вивальди, на шестой его неожиданно прокатили — попросту уволили. Компетентность музыкантская была, естественно, ни при чём.

Молился я Всевышнему: «Господи, укажи стезю мою!» И привиделось,— говорил ко мне ангел Божий: «Полюбил ты, Антонио, но там ли место, куда поставлен? Пусть пылкость отроковицы оной перельётся во звучания дивные! Не затем ли спасён был при рождении, когда пугались, не помер бы? Не с тем ли получил дар чудесный?» И убоялся гнева Господня, и, показалось, уразумел наставление: в отречении и в трудах суждено искать мне.

Вон сидит передо мной на лекции — что в ней так дурманит? Беспечность, обаяние, непринуждённость? Мечта пригубить от сладких утех? Банально, да и нереально... Некогда, ещё студентом, протрепался ночь в поезде с незнакомкой, пропустил свою станцию, сошли вместе, вёл её через поле в рассветном солнце... Очевидно, светлый лик напротив бередит память, навеваает иллюзии: снова оказаться на распутье и начать с чистого листа.

Ординариус Альберто Джентили:
Турин, ноябрь 1926 года

Дорогой друг!

В течение двадцати лет я ловил любой слух, проверял самый неприметный намёк — предполагал: сокровища ждут своего часа! Какие сокровища? Нет, не золото и бриллианты — мы с Вами почитаем другие ценности!

Вместо преамбулы — чуть-чуть истории. Витторио Амедео III правил королевством Сардинии и Пьемонта, включавшим в себя Ниццу и Савойю. Провозглашённая в результате революции 1789 года Республика предъявила на них свои претензии; Витторио Амедео, взявший сторону роялистов, объявил Франции войну. Наполеон Бонапарт, выиграв в 1796-м за четыре дня четыре сражения, вынудил короля заключить перемирие и выйти из антинаполеоновской коалиции; Ницца и Савойя отходили к Франции. Витторио Амедео скончался вскоре в Турине от апоплексического удара; немного спустя французы повторно осадили Пьемонт, и наследнику Карлу Эммануэлю IV пришлось бежать со своим двором из столицы королевства на Сардинию, в Кальяри.

Было известно: в изгнание отправилась с королём и придворная капелла, а перед тем, как оставить Турин, её богатый нотный архив спрятали. Увы, слишком надёжно! После падения

Наполеона очередной наследник престола получил те земли снова, только где находился тайник? Возможно, свидетели, владевшие секретом, не вернулись — несмотря на все усилия, поиски не приводили ни к чему.

И вдруг — письмо! Пишет монсеньор Федерико Эмануэль, ректор коллегии при монастыре Сан-Карло. Финансы монастырские настолько истощились, что братья решили распродать завещанный им в своё время рукописный фонд. Монсеньор просил дать заключение о его ценности.

Разумеется, я помчался в Монферрато, откуда пришёл запрос. Мне показали девяносто семь томов в старинных переплётках свиной кожи. Едва я раскрыл их, сердце моё оборвалось: бесспорно, то были неизвестные манускрипты XVIII века, собрание, скрытое от наполеоновских гренадёров!

Заинтригованы, мой друг? Теперь взываю к Вам: у библиотеки с громким названием «Национальная», уполномочившей меня, нет денег! Назначенная монахами цена вполне реалистична — ведь раритеты эти бесценны,— и всё-таки библиотеке сумма не по зубам! Необходимо разыскать меценатов, готовых приобрести фонд. С Вашими обширными контактами, в том числе в среде финансовых акул,— подскажите, к кому следовало бы обратиться?

Наверняка Вы уже разгневаны моей болтовнёй и требуете отчёта: что там, наконец, за добротными переплётками? В качестве автора многих партитур указан некто Вивальди. Пока нам это имя мало о чём говорит, но, если верить экспертам, находка обещает сенсацию.

С искренним уважением...

L'Estate¹

Где слышен струнный гул Вивальди...
(Иосиф Бродский. *Fondamenta degli Incurabili*)

Некий Сантурини, купив у семейств Марчелло и Капелло участок, выстроил в 1676 году театр Сант-Анджело. Он сам ворочал делами лет тридцать, а когда вошёл в преклонные годы — нанял антрепренёров. Одним из них оказался Джованни Орсато, прозванный «медведем» (по-итальянски медведь — «орсо»). Насчёт лёгкой руки не про него, видать, говорилось — пошли сплошь убытки. Последней каплей послужили оперы уроженца Саксонии Хейнихена, с треском провалившиеся, почему Орсато и пришлось срочно искать им замену. Оскорблённый шелкопёр затеял тяжбу, дело решилось в пользу саксонца, и незадачливый импресарио прогорел окончательно.

¹ Лето (итал.)

На освободившееся место Сантурини пригласил Джованни Баттисту Вивальди с сыном. Знаком был с ними давно — оба играли в оркестре Сант-Анджело, Антонио также выручал иногда по необходимости: расписать инструментовку или добавить вставной номер между актами.

С какой стати ринулись отец с сыном в водоворот театральных страстей? Отец, положим, в сём собаку съел: будучи членом цеховой корпорации, он основательно изучил и сценическую кухню, и закулисную. Антрепренёрство сулило барыши, простому оркестранту и не снившиеся.

Что же касается сына... Из оспедале уволили, мессы больше не служил. А к опере тяготел давно, особенно как побывал на генделевской «Агриппине»... Слышу — изливается родителю в сердцах:

— Воистину, отец, задело меня крепко за живое: Генделя после премьеры превознесли венецианцы до небес, «Агриппину» давали двадцать семь раз кряду! И подумал я: «Испил ли чужеземец корпулентный зелья волшебного? Посещал ли чертоги таинственные, куда заказан доступ люду мелкому? Нешто непосильно и нам музыки для действия сценического представлять?»

— Смекаешь, Антонио, в самую сущность метишь! Управился ж ты с целую, почитай, оперой заказной! Полани запомятовал?

— Теноришку сублильного, который жалобу в суд состряпал? Вроде не мною, а им та опера соделана? Пройдоха чистопробный... Сочинять, дорогой отец,— за милую душу! Однако ж у импресарио — заботы суетные: раздобыть скриттуру, то бишь драму подходящую, прошение цензору сварганить, свечей приобрести — словом, дребедень. Чёрта лысого сочинишь...

— Во грех впадаешь, Антонио, не приличествует сану твоему! Возьми ж в расчёт: мы вдвоём будем! Ведомо присловье: святой Рим не враз воздвигнулся? Я со всяким знаком-перезнаком, мне и хлопотать об той дребедени! Сынок мой тем часом пообвыкнется и сотворит тако же оперу! И поставит оную на театре своём! Чтоб певиц в узде держать, кои уж больно капризами трепыхают, и оркестром распоряжаться без церемоний: ты — импресарио, никто тебе не указ, баста!

Шут его знает, кто там кого уговаривал. Ангажемент у Сантурини выгорел, дебют антрепренёрский отца с сыном стал сногшибательным успехом: пятьдесят представлений в первом же сезоне! Правда, с произведениями приглашённых авторов. Антонио к следующему карнавалу сочинил на сюжет Торквато Тассо «Роланда неистового, притворяющегося безумцем» (и удостоился немедленно клички «Dirus» — Неистовый). Посмотрев премьеру, принцесса Кунигунда отписала супругу, баварскому принцу Максимилиану II: возможно ли, дескать, заполучить итальянца придворным капельмейстером? Принц отвечал дипломатично: доверяя Вашему вкусу, готов признать красоты оперы вивальдиевской — но в состоянии ли наш маленький двор достойно вознаградить песнопевца адриатического? Так ничем и кончилось... А случись Вивальди обосноваться в Мюнхене — не повернулась бы история музыки иначе?..

Душно, сауна... Приятель мой, преподаватель по классу фортепиано в южной стране, признавался в застолье: «Времени года здесь два: жарко и очень жарко. Когда очень — девицы являются на занятия практически голые. Чтобы играть с ними в четыре руки, приходится сидеть за одним роялем впритирку — а я ведь не железный! Стресс чистой воды,— добавлял он возмущённо,— и никакой тебе компенсации, надбавок к зарплате — ноль!»

Вот и сегодня... Кусок прозрачной ткани, что на ней, едва скрывает два наливных полушария. Почему так притягивают к себе взгляд? Может, изначальное впечатление новорождённого: нависающие громадные сосцы. Тяга к ним неутолима, они питают — а всё равно страшно. Сразу и впечатывается — сплав влечения и ужаса? Фрейдист нужен — объяснил бы... Отчего к старости желание их коснуться — неотвязнее? Не обладание — невинное наслаждение, побег в младенчество. Или просто — импотенция?

Куда деваться, если нет того давно и прочно — нет по определению? Невообразимо же: сие диво дивное салатной свежести... со мной, облезлым! Отправиться к жрице любви? Утишить тоску насущную, потребность тепла — за деньги? Ну, затем, собственно, придумана древнейшая профессия — только поможет ли?

Путешественник Уильям Бэкфорд:

Безмерно прельстительны те Каллипсо, слава об них несётся во многие земли христианского мира и приманивает охочих до лицемерия красы, до заигрываний завлекающих и наслаждений в Венецию. В распоряжении у особ оных изобилие лакомств — сыщёт любовник чего угодно для блаженства жизни, ни в чём не испытает недостатка. Жительствоуют благороднейшие из них в хоромах великолепных, где, по чести, сиятельных князей принимать можно, и, вступая во дворцы их, не усумнишься — попал в райские кущи Венерины. Куртизанка обольстит тебя струнами лютни своей, греющим сердце пением приятным. Послужит во искушениях сильнейших, и обретёшь в ней собеседницу велеречивую, искусную в риторике. Дабы влюблённость твоя возросла ещё более, тело ея умащено благовониями, а дыхание благоуханно.

Благоуханно? Разит нынче от иной жрицы, как из урны вокзальной с окурками! Уж лучше дать словам этим растаять в эфире: «тело ея умащено благовониями, а дыхание благоуханно». Удовлетвориться воображением...

И завертелось: в среднем две оперы в год, нередко — и четыре-пять, учитывающая переделки и попури.

Внесём ясность: тогдашнюю карусель венецианскую не стоит путать с оперой в нашем понимании. В XVIII веке в Светлейшей насчитывалось сорок театров, из них восемь — оперных.

Театр был поводом «на людей посмотреть и себя показать», местом встреч, к тому же общедоступным. Внешне сословные различия стира-

лись — всем поголовно надлежало надевать маску. Но кошелёк их выдавал. Патрициям воспрещалось находиться в нижнем помещении. Абонируя отделанные пурпуром и золотом ложи, они принимали там гостей, встречались с родственниками или занимались любовью. Попутно вкушали яства, а объедки бросали в партер. Внизу, куда за треть цены выпускали простой люд, раздавались перебранка, топот и свист, смачно плевали на пол. Рядом же была выкопана канавка-*canalon* — сходить при случае по нужде.

Чем привлечь внимание столь разношёрстной массы? Изощрялись художники, расписывая фантастические декорации. Благодаря движущимся лампионам, линзам и зеркалам возникали поражавшие глаз световые иллюзии. Стараясь потрафить публике, механики сцены щеголяли хитроумными приспособлениями, вознося героев на небеса или проваливая в ад...

Избалованной толпе требовались знаменитые или, на худой конец, новые голоса. Стоило вслед за нагонявшим зевоту речитативом начаться арии с патетическими жестами и чувствительными придыханиями — раздёргивались занавески в ложах, утихомиривался партер, и всяк внимал, придирчиво оценивая любимцев или незнакомцев. Знавшие себе цену дивы и кастраты частенько выходили из роли, чтобы окликнуть поклонников, поперекаться с оркестрантами, — выкрутасы «звёзд» сообщали действию дополнительную пикантность.

Не страдала отсутствием остроты и закулисная сторона театрального быта: инсинуации, дразги и раздоры, баталии между антрепренёрами, тяжбы с примадоннами обоего полу из-за умопомрачительных гонораров — словом, схватки не на жизнь, а на смерть, и по временам заканчивались они в буквальном смысле поножовщиной.

В эту пучину и окунулся Вивальди. Доказать, на что способен, добиться финансовой независимости... А также, чтобы побуждениям греховным не давать ходу?

Заведённым порядком вручают импресарию ключи от дома, где театр, в пользование безраздельное. Первым вступаю я в тёмную залу, самолично свечи запаливаю, располагаю пюпитры оркестровые на столешнице длинной. Визг и гудёж инструментов, покуда настрают их, хаос — «Дух Божий носился над водами...». И мало-помалу произрастает из хаоса благозвучие... Тружусь без устали: репетиции веду, улещиваю кастратов, уламываю пиитов, а ночью писать надобно — всегда поспевать в срок. Не лыщусь надеждою — снизойдёт на меня свыше, не ожидаю вдохновенья — до того ли: сочиняю споро — нельзя писцам за мною угнаться!

И приноровился продавать значки нотные. В Мантуе принц Филипп расщедрился на наряды и декорации, оперу мою карнавальную давали тридцать шесть вечеров кряду — и Генделя обставил, и в кассе позвякивает веселей.

*Раз принёс слуга письмо от Анны: «Высокочитимый учитель! Доверено мне ныне быть преемницею Вашей — *maestra*. Разрываюсь теперь на части, и редко доводится выходить из оспедале. Беспрестанно занимаюсь чадами моими, заботами их и сокрушениями и воспоминаю себя малолеткою — возвестили нам тогда про наставника нового падре Вивальди...*

Уроки, спевки, богослужения в церкви нашей Милосердия — пролетают дни, и подобен каждый минувшему. Лишь в нечастую минуту покоя приметно, яко сменяются за оконницами весна летом, осень зимою. И пригрезилось: зарисовать бы череду ту звуками! Всегдашний совет от Вас был: заносить фантазии свои на ноты. Вот и позаписывала некие и посылаю. Уж не осерчайте, дорогой падре, на досаждение в деяниях великих, и не обессудьте: сознаю со всею ясностью — для замышления такового почерк Вашей руки надобен! И не посмела б докучать, кабы не упование: простит Христос, ибо питаю неизменно чувствование горячее к учителю любимому. Присовокупляю тако же к сему пожелания доброго здравия!»

Заглянул я в листочки — и повергли вдругорядь во смущение неизреченное... Сперва сбивали с толку откровения ея, а чрез мгновенье уяснялось: чудо в них сокрыто! Многожды удавалось поймать мысль, ей блеснувшую, развернуть, перекроив слегка,— и, Бог ведает, раскупались концерты Вивальди с пылу с жару! А спустя время другие листки — будто уколёт куда вглубь, и постигаешь: нашлась тропа неторная, мелодия изначальная, истина!

Сходственно и в оных: своеобычный взгляд и оборот невиданный — живописует нотами она пастушку безутешную иль поселян, от раскатов громовых трепещущих!

Чего греха таить: коли не висел мечом дамокловым контракт, прилагал старания разгадать тайну. Искал внедриться в пределы сокровенные. Там меж явью и сном — источник неведомый. Благоволила порою Фортуна, и ухватывал нить связующую — с Божественным, со скрижалями, в коих гармония вечная. Однако ж недолго: поспешность одолевала, иссякал источник, звук откликнулся редко... Не смирялся, не останавливал усилий моих, рукою крепко набитой обтачивал драгоценные камушки, которые приносила подчас Анна и отдавала бескорыстно. А самому доискиваться сделалось нелегко... Утешение единое: когда ограниваю и оправляю те самоцветы, сверкают, переливаются оне ручьём лесным, и коренится в них чистота, растерял которую, расточил я по безумным будням моим.

Стихотворец Александр Пушкин:

Служенье муз не терпит суеты...

К возвращению композитора из Мантуи выходит в Венеции в 1720-м книжечка анонимного автора «Театр в модном духе, или Надёжное и лёгкое руководство, как сочинять и исполнять итальянские оперы на современный манер». Хотя памфлетист раздаёт рекомендации всем участникам театрального процесса, от либреттистов до билетёров, основная мишень его ядовитых стрел — персонаж Альдивива, анаграмма Вивальди.

Аноним:

Ежели кто желает соблюсти моду, нет тому нужды смыслить в законах композиции — употребить, к примеру, гармонию нефальшивую во многоголосии. Довольно, не мудрствуя лукаво, поошиваться возле кого-нибудь искушённого, будучи у него

скрипачом, иль на альте, иль даже писцом обыкновенным, — и вполне пусть берётся сочинять оперу самому. Главное — угождать певицам с подобострастием: клепать арии, почитай, безо всякого аккомпанементу, а то кропать потихоньку со скрипками в унисон — понеже хочется примадонне выводить колоратуры витиеватые без помех. И давать горлу ея роздых, почаще проигрыши диковинные вставлять — и чем оныя продолжительнее, тем лучше...

Для виртуоза, каковой следует поветриям модным, превыше всего — умение гладко выбриться да расчесать парик тщательно. Основательно владеть штрихом скрипичным ему не зачем, и такт держать вовсе не обязан — хватит, чтоб персты его ловко по струнам шныряли. Когда случается виртуозу сопровождать пение, пускай погоняет темп ничтоже сумняшеса, точно несётся вскачь, и пиликает громозвучно, нимало не заботясь единство составлять сопевающим. Зато напоследок недурственно скрипачу задвинуть каденцию продлинновенную и напичкать оную арпеджиями и аккордами — тем самым выпятит себя наперёд и стяжает лавры у публики...

Композитёр же модный должен обязательно преподнести опус свой некоей персоне сановной, приобщив посвящение пространное. Надлежит уверить персону высокопоставленную: в знак преклонения безграничного облобызает податель подношения ажно блох у псов его превосходительства!

Несомненно — удар ниже пояса. Даже принимая во внимание, что злоречием в тот век особо не брезговали. Кстати, памфлетист «позабыл» о многочисленных изданиях концертов, вероятно ему известных. Он обрушивается на концертмейстера, сочинителя опер и, в конечном счете, на импресарио — в этих ипостасях выступал Вивальди в театре Сант-Анджело.

Придворный поэт Апостоло Дзено:

Приспела пора положить конец махинациям шибко продувных антрепренёров вроде аббата Вивальди, коим ничто не свято, окромя наживы их.

Понимай как знаешь... Можно пережить, если бы диспут протекал исключительно в музыкальной плоскости, — отнюдь! Сатира была с подоплёкой. Бенедетто Марчелло, чья анонимность раскрылась довольно быстро, состоял членом Большого Совета Республики и Верховного суда. Аристократ указывал зарвавшемуся священнику место, брошюрка служила предупреждением: не ускользнуть искусствам изящным от бдительного ока властей! Памфлет фактически означал запрет на профессию, причём автор позаботился о регулярном переиздании книжечки. Последствия сказались немедленно: антрепренёры и владельцы стали бойкотировать Вивальди, театры Венеции для него надолго закрылись.

Тщеславие двигает мною? Желание неуёмное? Увидав «Агриппину», всё поставил я на кон — испробовать, по плечу ли с тем заезжим тягаться. И совладал с оперою. Представлял и в Сант-Анджело, и в Сан-Мойзе, и в Сан-Самуэле; раскуплены были ложи без изъятия, рукоплескали, «брависсимо» горланили — невзирая на злопыхания недругов моих.

А Марчелло ехидный не поленился диатрибу доскональную настроить. Поиздевался он над Альдививою всласть! Грамоте, мол, не силён, в латыни — ни в зуб ногой, а по части сочинительства и подавно! Ввернул и экивоков насчёт родителя-брадобрея, и про блох на собаках его превосходительства не преминул...

Что ж ты, мил-друг, не покажешь образчика? Не дашь своей оперы, каковая превзошла бы доселе виданное блеском ея? Увы, не сотворил. Ни единой. Подучил юрист-консультант несколько прописей контрапунктических, нахватался кой-чего средь господ благородных и готов не токмо кляузы в суде трактовать, а и про музыку разглагольствовать.

Разгадка нехитрая: у него — имя. Имя рода патрицианского, издавна занесённое в Золотую книгу Республики. Привилегия, дарованная ему рождением.

А мой отец и впрямь начинал цырульником. Меня отдал в учение в приход Сан-Джироламо. Пешим ходом добираться неблизко, страдал я в дороге одышкою. Под началом падре Лоренцо постигал Закон Божий, литургию, уложения церковные; ввечеру ж дома за скрипку принимался. Далее споспешествовал родитель у синьора Легренци в Сан-Марко уроки брать, да на беду — обстоятельства несчастные: почил маэстро Легренци скоро в бозе. Прочую премудрость довелось осваивать самоучкою...

Адвокату состоятельному Марчелло попроще было образовывать сыновей. Бенедетто в Падуе изучал право. Не окончив штудий, попал в Большой Совет; враз, когда возраст подоспел, — и в суд Верховный. Едва исполнилось двадцать пять, обладает уж и положением, и властью...

Не будучи магистром, спрашивал синьор Бенедетто совета про первый опус свой. Естественно, на совесть возился он с правилами, корпел изрядно. Однако ж лады его эолийский-дорийский — старая песнь, давненько из обихода выпали! Баловался сочинением между ябедами юридическими — хлеб ему тем не зарабатывать! Сообразно и указывает себя: «патриций-дилетант». И довольно, чтоб сентенции читать?

Всё ж в отрочестве, хоть скудно, и туго, и кашель замучивал, а полюбил я скрипку, путь к падре Лоренцо по мостам над каналами, *nebbia* — туман густой, в коем стиралась разность меж небом и землёю, и вспышки сплящие на воде, чуть выглядывало солнце. Чтò окружало в городе — зеленница с улочки Брагора, процессия величавая на праздник — была сфера родная.

С пасквилом словом переменялись кулисы в одночасье, и уразумел... Всегда в мыслях мелькало, да ведь вотчина моя — музыка, остальное ко мне якобы касательства не имеет... Уразумел про богатство и знать. И про бедных и бесправных, обречённых унижаться и приспособливаться. О малых сих, кому писан закон, и о власть имущих, кои обойдут закон легче лёгкого иль, в крайности, прикупят себе выгоды.

После навета приятели из цеха театрального, вчерашнего дня со мною якшавшиеся, норовят обходить сторонкой. И почуял: воздух стал чужой. Мягкий воздух родной Венеции — с малолетства подмога — отравлен.

Пертурбации и катаклизмы кровавые во имя свободы, равенства и братства... С высоты прогресса: что в итоге? Повременим насчёт свободы — слишком глубоко копать. И с братанием сложно, судя по цифрам убитых и замученных за отчётный период. Равенство? Да, на развитом Западе благодаря социальному вспомоществованию с голоду умереть не дадут. Только в стране, гражданином которой состою, больше половины наличного капитала — в руках одной десятой части населения. Там — обладатели состояний и домовладельцы, у них дорогие школы, больницы, доктора и прочие привилегии. Здесь — те, кто вынужден ломать спину, тянуть лямку, собственное жильё им не по карману. Между бедностью и богатством по-прежнему — пропасть.

Об этом распространяются в газетах, в повседневном же быту пропасти вроде бы нет — не замечали же наготу монарха в сказке Андерсена! — и бедных щадить, и богатых не раздражать. Если вскричит кто сегодня: «А король-то голый! Он — богач, а тот — бедняк!», — обвинят его, не колеблясь, в чёрной зависти. В зажиточной державе копаются люди в мусорных отбросах, ищут пустые бутылки, чтобы сдать их и получить взамен несколько центов. Но — отводят взгляд, будто уличённые в чём-то непотребном, — общество приучило нищих стыдиться своей нищеты.

Пока — весь прогресс. Скромно для трёхсот лет. А говорят, ничто не вечно...

L'Autunno¹

Поэтому, продвигаясь по этим лабиринтам, никогда не знаешь, преследуешь ли ты какую-то цель или бежишь от себя, охотник ты или дичь.

(Иосиф Бродский. Fondamenta degli Incurabili)

В Мантуе привели к Вивальди девчужку, звалась она (совпадение или Провидение?) опять Анной. Дома выламывалась без конца, морочила голову: хочу петь на театре — трава не расти!.. Мать её Бартоломея, в замужестве Жиро, решила посоветоваться, достойна ли дочь войти в храм Мельпомены.

Вокальные данные у Анны оказались не бог весть — впрочем, голос требовалось ещё поставить. Зато прелесть, природная грация бросались в глаза. По возвращении в Венецию композитор вызвал туда и Бартоломею с дочерью. Аннина — так он именовал девочку — начала заниматься пением. Вскоре к обеим присоединилась Паолина Тревизан, дочь Бартоломеи от первого брака.

¹ Осень (итал.)

Чутко, как ваятель из глины, лепил маэстро голосок, чтобы извлечь из юного горла силу, и мягкость, и гибкость. Учил выразительности, манере двигаться. Аннина самозабвенно поддавалась иллюзии сцены — рыбка очутилась наконец в своей водице. Когда повзрослела немного, стали сбываться мечтания, пришёл успех — потеплела к учителю, и в какой-то момент барьеры упали. Обаяние расцвета не стесняло на этот раз монашеское облачение.

Живая плоть: ток крови, жест и стать, блеск глаз, интонация — тварь земная в совокупности движений, звуков, запахов через и сквозь тело. Притяжение, отталкивание тел — поле, пронизывающее видимую реальность, клейкая паутина бытия. И нигде не липла она сильнее, чем в той Венеции — Бангкоке XVIII столетия. Лагуна вся чесалась зудом любострастия. Теснились друг к другу дома терпимости, гетеры демонстрировали в окнах обнажённую грудь. Монастыри превращались в эротические биржи, а в борделях передразнивался монастырский обиход: к содержательнице притона обращались «мать-игуменья», к шлюхам — «сестрицы». На площади Сан-Марко мамы предлагали дочерей на ночь за умеренную плату, и, сообщает современник, не было необходимости покупать kota в мешке (в данном случае — «кошку»): «Ощупывай товар сколь душе твоей угодно!» Профессионалки высокого класса, куда там просто усладить — судьбы вершили! От венецианской куртизанки Джульетты молодой Жан-Жак Руссо получил на прощание совет: «Брось женщин, займись-ка лучше математикой!» Он послушно двинулся в сторону отвлечённого, выбрал, правда, философию — и не прогадал.

Город в сумерках вечерних. Жёлтым теплом загораются окна, подсветка проявляет шероховатость древних стен, поблёскивают витражи ратуши. Уставшие продавщицы в магазинах напоминают манекены, сами же манекены просыпаются, настаёт час домовых, возвращаются суеверия ночи. Примелькавшиеся уличные таблички проговариваются зловеще, подступают с угрозой: «Переулоч кровавых сердец»...

Выпадает мне таковое и снова. Первая Анна была поначалу дитя, не ведала сокрытого в ней огня. Я же слыл о ту пору никем. Долгу сыновнему повиновался. Хоть влекло любить, решил про себя: «Покорись!» — и отрёкся, и частица меня омертвела... Теперь не тычусь более беспомощно в потёмках. Известен я Европе, девять князей состоят в корреспонденции со мною. Почто противиться тяге оной? Жели вложил Господь в душу — следственно, угодна она Ему. И Аннина — не дитя вовсе...

Потрогать сперва очами нежность лика, персей. Обонять аромат распустившегося цветка; коснуться, осязать шелковистость кожи. Уловить биение сердечка. Напоследок приникнуть к сокровенному в ней — означено то в писаниях священных у евреев: познать жёну. И услышать стон — отклик из недр существа ея.

Скрыты в веках мизансцены того действия, а могло быть и так. Судьба ниспослала диковинную зверушку. Пока доставало славы, влияния и средств удерживать её при себе. Но надолго ли? Не ровён час, сбежит на волю!

Поэтому больше, чем когда-либо, надо забить сутки до отказа: сценические прогоны, беседы с посетителями знатными, уроки в оспедале (там в который раз восстановлен, утверждён в правах — отцам-попечителям без него ни в какую!) И — писать непрерывно, заглушая душевную смуту... Ждать благодати Божьей — удел обеспеченных любителей вроде Марчелло. Вивальди же работал как мастеровой, плодовитость являлась условием существования. Если поджимали сроки, управлялся с полной оперой за пять дней!

Вот склонился над партитурой. Чем дальше, тем сильнее обуревает его возбуждение. Крупнее чёркает дизезы с бемолями, размашистее акколады у нотного стана, загогулины скрипичных ключей. Чуть что, пользуется сокращениями; пропушенные в спешке знаки сажает против правил в первом же свободном месте. Вдруг ломается перо, и в негодовании продырявливает Антонио бумагу насквозь — скорей, скорей, где новое?..

Дело разбухло до размеров мануфактуры, он подряжал шестьдесят три переписчика. Поставил производство на поток, на конвейер.

Скрипач Джузеппе Тартини:

Каждому должно собственным дарованием довольствоваться. Уговаривали меня с Венеции музыки в театр сочинять, сроду не давал согласия, ибо ведаю: глотку певца негоже путать с шейкою скрипичной. Вивальди возжелал хоть умри над обеими власть возыметь. Посему в театре всечасно овсистан оказывается, концертами, напротив, успехов порядочных достигает.

С чего ж мне идти на попятный? В охотку засунули б Вивальди, куда помещают виртуозов, — мол, персты у него бегают сноровисто, тут ему и торчать! Нет вам! Я постановил себе сочинять для лицедейств сценических и добился! Сородичи ведь по ремеслу смычковому — Корелли, к примеру, иль Тартини, не сказывая уж про Локателли расфуфыренного, — никто не превозмог! Пускай измышаются пасквилянты — гремели оперы мои во Флоренции и в Милане, в Праге и в Вене. Давал представления тако же в Риме, и в ложах сиживали кардиналы и посланники чужестранные, а папа римский позвал в покои свои в Ватикан, и дважды сподобился я играть пред ним.

Касательно же пиес инструментальных — заказывают их графы и маркизы иноземные, герцоги и папские легаты и уплачивают два цехина золотых за штуку! И преуспел лучше некуда, хоть и раздумывал подчас об Дрездене. Концертмейстером тамошней капеллы — бравый Пизендель. Ходил в выучениках у меня и понаторел в ариях итальянских. Теперь, дошед сюда слух, от него Сенезино сладкогласный в восхищении! В Дрездене — Фаустина Бордони, кою знавал совсем юною. И Франческо Верачини. Вот кто и впрямь razzo saro — взбалмошная башка! Спор

у них разразился, сказывают, склока театральная. Меж ним, Сенезино и Хейнихеном, музикусом неким доморощенным. Франческо наш в сваре ожесточённой до того разбушевался — выпрыгнул в гнев на мостовую аж со второго яруса! Переломал кости, всеконечно, да, поди, и не срослись оне по-людски — охромел...

Скрипок накупил себе дюжину; две средь них, вельми несхожие, именами величает: одну — «Савлом», другую — «Павлом». В довершение, когда из Британии морем плыл, угодил Франческо в бурю ужасную — чудом остался живой! Похождения занимательные Верачиниёвы — оперу цельную складывать можно... Однако прекратил я помышлять об Саксонии: в Венеции всё накатано, в добрые года прибыток мой — поболее всех венецианских патрициев!

Капельмейстер Йохан Кванц:

По причине писания каждодневного и непомерного впал Вивальди напоследок в дерзость и легкомыслие равно в сочинении, аки в игре, отчего снискивали последние концерты его менее похвал, нежели прежняя.

«Священной Римской империи немецкой нации» принадлежали в XVIII веке земли германские и австрийские, без малого вся Италия, Богемия, степи мадьяров и прилегавшие к Венецианской республике территории восточнее Адрии. Будучи капельмейстером у принца Филиппа в герцогстве Мантуя, Вивальди уже служил дому Габсбургов. Потому и вошёл, вероятно, в состав венецианского посольства, направлявшегося в Триест — предстоял визит самого императора.

На официальный приём делегации отведено было три дня. Помимо протокола, Карл VI в продолжение двух недель часто встречался с Вивальди лично. Автор преподнёс императору собрание концертов под названием «La Cetra» — «кифара», а тот одарил композитора деньгами, золотой цепью, наградил медалью. Более того: предложил посетить его в столице.

И Вивальди едет в Вену. В соответствии с достатком — в собственной карете (даже Гендель экипажем не располагал). С ним — Паолина, сводная сестра Аннины, и двое слуг. Верный долгу благодарности, берёт с собой и семидесятичетырёхлетнего Джованни Баттисту, чтобы насладился отец гордостью заслуженной: первенец Антонио выезжает за пределы Италии в принадлежащей ему карете по особому приглашению императора. Сын приюльника выбил из убожества, вырвался из обречённости низкого сословия, доходами не уступает благородным, газетные писаки от Санкт-Петербурга до Парижа и Лондона сообщают о нём, употребляя эпитеты «всемирно известный», «знаменитый».

Обязан этим Антонио не случайности появления на свет в аристократическом клане, не покровительству титулованных особ — исключительно себе, фанатическому упрямству, своей воле. Современники судачили об одержимости, полагали маньяком, он же сознавал: лишь непрестанный труд принесёт плоды, которых не может дать ему имя. Кстати, итальянцам очевидно было: имя — с чужеродной примесью. Встречались

среди однофамильцев генуэзские мореходы, сенаторы и генерал, попались и сицилийцы. А прямые предки пришли из Брешии, относившейся некогда к Ломбардии, — недаром вивальдиевскую манеру прозвали «ломбардской». Ломбарды, или лангобарды, — тевтонские племена, в их языке слог «виг» обозначал борьбу, «вальд» — силу. Вместе получается: «борьба сильная, упорная, тяжёлая». Вивальди свою борьбу выиграл.

Дошло сюда известие печальное: незапятнанного судью Бенедетто Марчелло, нагонявшего страх на преступивших закон, Бог прибрал. Мне усопший причинял урон изрядный, а всё жаль: начиналась судьба по предназначению неукоснительному, яко у знатных в обычае. Мыслилось ли — не пойдёт она неомраченно и упокоится сынок Агостинов рано для лет своих?

После книжонки злополучной недолго отправляя он должность прежнюю. Что-то не сладилось — наверное, не снискала сатира Бенедеттова одобрения в собственном семействе. Невзирая на нея, сопроводил меня любезный брат его Алессандро рекомендациями отменными к графине Боргезе, присовокупив к «маэстро» словечко «*fatoso*» — «прославленный»... Срок истёк, и Бенедетто в Верховный суд заново не выбрали. Получил предписание губернатором в Истрию — ни то ни сё, по сути почётная ссылка. Верный привычке, истово отдался службе: бичевал порок, искоренял безалаберность... Надорвался ли впоследствии от ретивости иль воздух тамошний оказался плох, а захворал чахоткою и умер вскорости.

Прискорбно весьма: струнами внутренними чувствительными точно обладал он. Бенедетто именно почуял, сколь Фаустинка Бордони одарена, когда была та малолеткою. И испытал любовь к ней — а более, сдаётся, к голосу ея дивному. Известно ж: способен голос заманивать, очаровывать... Бордони теперь повсюду блистает: и в Лондоне у Генделя, и в Дрездене у супруга своего Гассе.

А Марчелло, голубая кровь, — с очевидностью не токмо ехидство, казуист праведный в нём помещались. Явил и самолучшие грани человеческие. В синагоге в старом гетто позаписывал напевы древние и сочинил на них «Псалмы» — казистая музыка, мастеровито сработано!..

И позднее случилось ему — молва пошла — чьим-то голосом плестись. Однажды услышал под окнами палаццо: девица поёт в гондоле — и вмиг сражён был наповал, заворожён тем звуком. Стремглав сбежал вниз, за лодкою погнался, выведал про особу подробнее. Уяснилось: молodka оная, Росанна, — происхождения низкого, бесприданница. И не находил Марчелло себе места с того часа! Кодексом старинным возбраняется патрицию брак с простолюдинкою. Однако ж презрел Бенедетто утерю прав, привилегий сословных — обвенчался с нею тайно и поплатился на следствием порядочным...

Ежели глумился надо мною в книжечке — Бог судья тому судье, да упокоится душа грешная с миром!

Nebbia, пресловутое марево венецианское — не видел, увы, не был в лагуне. Но и там, где живу, пара месяцев из двенадцати погружены обычно в промозглый туман. Он сочится с веток, клубится в неверном

свете фонарей, размывает очертания, по ночам серебрит инеем крыши. Город — тускло подсвеченная сцена, и скользят прохожие тенями за кисейным занавесом.

В сувенирных лавках попадают иногда шары, наполненные жидкостью, а в ней — насекомые. Таким насекомым и чувствую себя в эту пору. Кто-то огромный разглядывает шар, внутри которого я плаваю в тумане.

Ординариус Альберто Джентили:
Турин, август 1930 года

Дорогой друг!

Вы припомните, конечно, перипетии, связанные с Монферрато. Банкир Роберто Фоа сделал тогда возможным приобретение раритетов, посвятив благотворительный акт памяти сына Мауро, умершего в годовалом возрасте. Мне уже выпадал случай выразить Вам глубокую признательность за ценную рекомендацию. Думаю, мы сойдёмся во мнениях: речь идёт об эпохальном открытии.

Почему через четыре года возвращаюсь к той же теме? Интуиция Вас не подводит: история имела продолжение! Изучая фонд монастыря Сан-Карло, я обратил внимание на то, что каждая единица собрания тщательно пронумерована. Но в наличии были исключительно чётные тома, а все нечётные отсутствовали! Напрашивался вывод: передо мной — только часть фонда! Сохранилась ли, где находится вторая половина?

Шаг за шагом удалось отследить пункты перемещения рукописей. Сразу, как известие о кончине Вивальди достигло Венеции, их закупил патриций Якопо Соранцо. Затем манускрипты приобретает граф Джакомо Дураццо — интендант придворного театра в Вене и позже королевский посол Габсбургов в Венеции. С тех пор они передавались из поколения в поколение по наследству, пока Марчелло Дураццо не отписал свою долю монастырю в Монферрато. Остался ли в живых ещё какой отпрыск семьи, владел ли кто другой частью? К поискам подключился — ни много ни мало! — государственный тайный розыск, и нам повезло: в Генуе обнаружился последний потомок знатного рода, маркиз Джузеппе Дураццо.

Увы, рано обрадовались! Сеньор Дураццо оказался редким экземпляром. Уединившись в родовом гнезде, он отгородился от внешнего мира — встретиться с ним не представлялось возможным. Дураццо поддерживал контакты с единственным человеком — своим исповедником падре Ольдра. Благодарение Богу, этот иезуит и сам питал любовь к музыке, поэтою сочувственно отнёсся к моим злоключениям. Ходили слухи — в доме Дураццо хранится богатая библиотека, в том числе и какие-то манускрипты, — однако никто не знал ничего определённого: панически боясь грабителей, маркиз перекрыл доступ в библиотеку даже домашней прислуге. Воображаете, скольких тру-

дов стоило добиться разрешения осмотреть книгохранилище? В конце концов я проникнул-таки в святая святых и был вознаграждён сторицей: недостающие тома находились здесь!

Попытки разговора о продаже манускриптов приводили маркиза в ярость: ведь монахи из Монферрато уже посмели посягнуть на реликвию семьи Дураццо!

Дорогой друг, не стану утомлять Вас дальнейшими подробностями. Три года прошло, прежде чем старец дал уговорить себя поставить подпись под контрактом! Согласно этому документу Национальная библиотека получала право на приобретение рукописей. Опять бросились разыскивать филантропов; к счастью, фабрикант Филиппо Джордано сумел выделить необходимые средства. По стечению обстоятельств и он посвятил свой дар памяти сына Ренцо, умершего в возрасте четырёх лет.

Итак, облагодетельствовал нас Джузеппе Дураццо от щедрот своих и завершилась история ко всеобщему удовлетворению? Пагубное заблуждение! В договоре предусмотрена особая клаузула: библиотеке разрешается исключительно хранение фонда! Издание рукописей, а тем паче исполнение содержащихся в них произведений, Дураццо своим волеизъявлением запретил, причём навечно!

Недавно маркиз упокоился. Припомним всегда актуальную латынь: «De mortuis nil nisi bene». Предстоит открыть следующую главу эпопеи — последнюю ли? Не знаю, какими ухищрениями удастся расположить к себе богиню Фемиду. Тем не менее моё намерение добиться отмены возмутительной оговорки непоколебимо. Готов учинить святотатство, нарушить священную волю покойного — с единственной целью: музыка, заключённая в старинных переплётах, должна зазвучать!

Искренне Ваш...

L' Inverno¹

Всё источает холод...
(Иосиф Бродский. *Fondamenta degli Incurabili*)

К открытию карнавала в Ферраре намечалась опера Вивальди. Руководить постановкой должен был он сам. Заблаговременно вёл переговоры, переписываясь по этому поводу с маркизом Бентивольо, выступавшим в роли посредника.

Неожиданно некто снова возлагает на себя миссию осадить предприимчивого священнослужителя. Обеспокоились не надзорные органы Светлейшей Республики — встревожилось высшее духовенство: кардинал Томазо Руффо специальным вердиктом воспретил композитору въезд в Феррару.

¹ Зима (итал.)

Сохранились письма, в которых Вивальди хочет объясниться или оправдаться, пытаясь предотвратить угрожающее разорение:

«В виду стольких усилий затраченных случилось бедствие невыразимое: представление в Ферраре загублено теперь бесповоротно. Днесь позвал меня папский нунций, именем его преосвященства кардинала Руффо объявил запрет въезжать в Феррару — посему якобы, что я, будучи священником, не служу обедни, а тако ж из-за дружества с певицею Жиро...

Особливо огорчительно: его преосвященство приписывает тем бедным девицам пороки, в коих их отроду никто на свете не обвинял. В продолжение четырнадцати лет посещали оне многие дома европейские и везде оставляли впечатление немалое добропорядочностью своею, то ж могу заметить и об Ферраре. Всякие осемь дней каются на исповеди и причащаются. Памятуют о немочах моих, ходят за мною с рачением бесшменным. Токмо никогда не жительствоваю я у сестриц Жиро — вольно брехать зложелателям, сколь им заблагорассудится. Вашей милости известно: дом размеров почтенных в Венеции, который обходится мне в две сотни дукатов,— одно, а дом Жиро, расположенный в отдалении изрядном,— совсем иное».

Об удалённости — лукавство: обиталище маэстро в три этажа и жильё Жиро находились в соседних приходах. Насчёт сестёр — вероятнее всего, правда: просто те жили чаще у него. По крайней мере, у молодого Гольдони этот факт сомнений не вызывал. Свидетельством тому — мемуары драматурга; приведём в сокращении отрывки из обеих их версий, несколько отличающихся друг от друга.

Комедиограф Карло Гольдони:

Имея в том нужду безотлагательную, искал Вивальди поэта переписать скриттуру Дзену для подопечной своей. Иначе сказывая: испакостить драму особым манером, дабы вставить туда арии, певицею некогда разученные... Мне препоручили занятие сие... Повстречал он меня с прохладцей, почитая неискушённым, что было отчасти и верно. Охотно дал бы молодому-зелёному разом от ворот поворот, но донеслась до него новость про шумный успех «Беллизара» моего...

Глянув с улыбкою сочувственной, он вымолвил: «Пожалуйте, вот пьеса, каковую переделывать желательно,— драма Апостола Дзено под названием "Гризельда". Видите, здесь, примерно, за лёгкой сценкой следует распевная ария, однако ж мадмуазель Аннина оную... не может... стерпеть не может!» (По-видимому, следовало уяснить себе: с арией той у ней зазвездка.)

[— Взгляните, синьор: дуэт с Гризельдой! Любопытная сцена, умилительная. Сочинитель замыслил тут арию патетическую, а мадмуазель Жиро не выносит переживания томного, ей бы взамен чувствования, страсти — положим, восклицаний, меж собою не связанных, воздыханий прерывистых, телодвижений, — разумет ли синьор?

— Сдаётся, не худо уразумел я синьора. Выпадала порой честь слышать мадмуазель, и заметил — голос у нея вроде не шибко силён? — Нешто дерзает господин возводить хулу на выученицу мою? Ей всякое по силам!]

«Согласен, будь по-вашему, попробую исполнить пожелания синьора. Дозвольте взять либретто с собою». — «Никак нельзя, сударь, — возразил Вивальди, — речитативы докончить надобно!»

Мало-помалу начинал я злиться и ответил с решимостью: «Повелите подать сюда чернил! — А сам вынул из кармана письмецо некое и оторвал от него незаписанный листок. — Ежели спешно столь синьору, пусть одолжит драму в помещении сём ненадолго — и получит сразу, чего требуется». — «Неужто прямо мигом?» — «Именно, синьор любезный, незамедлительно!»

[«Не сердчайте, — говорит он несколько миролюбивее, — садитесь, будьте так великодушны, к столу, вон там бумаги и перьев вдоволь. И не извольте торопиться!» Засим открывает молитвенник и, расхаживая взад-вперёд, бубнит псалмы.]

Я взгляделся со вниманием должным, постаравшись вообразить явление сценическое явственно, переменял словоизречение, чтоб вышли наперёд страстность, действие и агитация, и показал аббату.

Держа псалтырь в правой руке, взял он в левую мой листок и прочитал. Едва закончив, забросил книжку в угол и заключил меня в объятия.

[Вивальди читает, морщины на челе его разглаживаются. Издавая звуки ликующие, швыряет молитвенник на пол и призывает мадмуазель Жиро.]

Мадмуазель Аннина вошла с сестрою Паолиной. Зачитав громко мною написанное, композитёр вскричал: «Сию минуту сложены стихи оные!»

[«Узрите, — восклицает он, показывая в мою сторону, — персона редкостная, пиит первостатейный! Синьор сотворил арию, с места не сходя, — и четверти часа не минуло!»]

Снова стиснул в объятиях, присовокупляя поздравления свои: стану впредь другом-приятелем закадычным, стихотворцем доверенным, и никогда более не разлучиться нам с ним...

В рассуждении сего принял я и далее калечить драму Дзенову, переиначивая ея по усмотрению Вивальди. Оперу представили, и пошла она с успехом.

Кардинал Томазо Руффо:

Лета 1738-го от Рождества Христова повелеваем урядить указ о том, что особам духовного звания участие в непристойностях карнавалных, равно и прочих позорищах всяческого роду, наистрожайше возбраняется...

Я родился в стране, которой правил Людоед. Благодарение судьбе, он вскоре околел, и моя семья не успела угодить к нему в котёл.

Но оставалось Учение Людоеда. В школе расписывалось оно радужными красками: не сегодня-завтра наступит светлое будущее всего человечества. Сделавшись постарше, начал помаленьку сомневаться. А родители втолковывали: сомнения надо держать при себе. Вслух же можно излагать исключительно истины, завещанные Великим Людоедом. И пришлось усвоить эту науку.

Скажем, на праздновании революционной годовщины председательствующий произносит речь во славу Учения, члены коллектива присягают на верность ему. Лишь один сидит в углу и молчит. Оратор спрашивает его: «Вам, товарищ, сказать нечего? Нет у вас разве своего мнения?» А тот: «Вообще-то есть у меня своё мнение... Да не согласен я с ним, категорически не согласен!»

Потом удалось сбежать в страну, где сейчас проживаю. Желаящих употреблять в пищу человеческое мясо тут преследуют по закону, ловят и сажают в клетку. Я обрадовался и решил: предосторожности с оглядкой можно забыть.

Не ошибся ли? Учение, известное мне с детства, у местных жителей непопулярно, зато есть Вера. Сравнить, разумеется, бессовестно — Вера лучше. Пускай кое для кого непорочное зачатие, воскрешение и райская обитель звучат сказкой. И всё-таки надежда имманентна человеку, а первые христиане были рабами, обездоленными, нуждавшимися в утешении, хотя бы и загробном. Увы, позже верхушка присвоила право на утешение, превратив надежду в идеологию. Как всякая идеология, и эта узурпировала таинство, породила конформистов и фанатиков.

С тех пор много воды утекло. Проблема, пожалуй, в другом. Аршин любого учения, любой веры прям, на то он и аршин. Людям же свойственно блуждать извилистыми тропами, спотыкаться и падать. Такой они породы: человек «внутри себя искривлён» (Мартин Лютер); «Из того кривого дерева, из коего особь человеческая соделана, ничего вправду прямого не смастеришь» (Иммануил Кант). И вынужден смертный скрывать свои зигзаги и шатания, клясться: ни в жисть, мол, не отклоняюсь от Веры (линии) истинной! Нестыковка прямоты учений с кривизной человека ведёт к ханжеству и двуличию. Их называют также «двойной моралью», и в этом понятии узнаёт профессор К. пресловутую науку о том, что можно, а чего нельзя говорить вслух...

Стремясь любой ценой спасти постановку в Ферраре, Вивальди закликает Бентиволио: «Вообразите ж теперь сей удар тяжчайший: контракты более чем на шесть тысяч дукатов, заключённые мною для опер оных, давят грузом неподъёмным; сотню цехинов вынужден был уплачивать вперёд. Повязанный по рукам и ногам условиями подписанными, ввергнут я в бездну несчастий! Посему обращаюсь к Вашей милости и умоляю покорнейше довести до сведения его преосвященства Руффо: запрет таковой угрожает делу моему крахом неотвратимым! Коль не уступит он,

пусть бы позволил, в крайности, сдвинуть сроки представлений, дабы избежать мне издержек и убытков, проистекающих из обязательств, на меня возложенных!»

Напрасно! Противник непреклонен. Бентивольо отвечает: «Кардинал Томазо Руффо повелел изложить Вашему преподобию рассуждение следующее: ежели даже его святейшество самолично востребует переменить решение, скорей отречётся кардинал от сана, чем возьмёт назад вердикт свой».

Втайне ожидает изнурённое, теряющее силы существо: обойдётся мир с ним мягко, пощадит. А мир оборачивается колючей, враждебной изнанкой... Мúка, до тонкостей в разных осязалах знакомая,— болезнь, от которой мнил избавиться,— вернулась вновь. Днём — дурной морок усталости, бессильной горечи, ночью — унижительное сознание поражения. Вспыхнувшая едва надежда скукожилась, потухла, и любопытства щепотки, неистовства ненасытного при пробуждении: «Жить, жить!» — как не бывало... И никогда больше не будет?

Парламентарий Шарль де Бросс, 1740:
Вивальди уж состарился...

И сегодня это не лучший комплимент, а в XVIII веке звучало, надо думать, приговором. Ему многое удалось, рыжему падре, сейчас же не прочь Антонио остановить время. Чтобы длилось вечно: заказы, деньги, престиж... И не желал Вивальди замечать очевидного: он вышел из моды, победы праздновали конкуренты. Ещё наезжали к нему по знакомству иноземные князья, только почва ушла из-под ног — и наличествовала ли она вообще в лагуне?

Де Бросс:

К изумлению безграничному, не пользуется Вивальди в Венеции славой, каковая причитается ему заслуженно. Здесь всему полагается быть новёхоньким. Сказывают, его творения приелись и прискучили, и посему написанное в году прошедшем, дескать, не стоит ни гроша.

Человек бросает родной город, просторный дом на canale Grande и едет в неизвестность. Спасается от кредиторов, неоплатных долгов, в которых неповинен. Нет больше ни матери, ни отца. Воспитанницы повзрослели. Ветреная публика отвернулась, ей подавай свеженького. Сотоварищи бывшие предьявили иск в суде. Оставаться — ради чего? «И вострепегало сердце его бежать куда зря» — в надежде: не поздно, кто-то ждёт, где-то звезда не померкла... Увы, гласит мудрость: надежда — добрый завтрак, но неважный ужин.

Давеча давали в Вене оперу мою «Кандаче, или Истинные друзья». Прохиндеи театральные запомнили композитёра указать в программке

сопроводительной, да и без того знамо имя в столице — Карл VI персоной собственной оказывал мне честь! Вельможа некий поведал впоследствии под секретом строгим: «С падре Антонио беседовал император в обе недели более, нежели с министрами со всеми за месяца многие!» Ведь Карл — истинный знаток искусств: и в сочинительстве искушён, и зачастую вёл оперу капельмейстером — слышал сие от Кальдары... Ах, тёзка, Антонио Кальдара, уж четыре годка он усопши, а отслужил в Вене, почитай, лет двадцать. Давно усилиться бы поискать удачи в тех краях — у Габсбурга, видать, оценивают музы́ки достойнее, не чета Венеции кичливой! Так Кальдары нет — опочил навеки! Может, ныне подвернётся случай во главе придворной капеллы встать? Сам повелитель выказывал знаки благорасположения бесчисленные!

Вивальди едет тем же маршрутом, что и десять лет назад к императору, — через Клагенфурт и Грац. В Граце будет остановка, он увидит Аннину, и все помыслы там. Уже второй сезон она у братьев Минготти. Эти импресарио сколотили бродячую труппу, взяли Аннину на контракт, кочуют по городам и весям. Вестей от неё нет, ему мерещится неладное. Едет на перекладных — карета пошла в уплату по векселям. И прислуге пришлось дать расчёт, с ним одна Паолина.

Нерадостно свидание в Граце. Высвободился зверёк — иначе быть не могло... Сердцу же невмочь подчиниться — болит: слюбилась Аннина с одним из Минготти, тот молодой да ушлый, природа берёт своё, и пиетет к учителю побоку.

— Ах, дон Антонио, милый, окончилась песнь! Досадно рассказывать, токмо не избежишь: состаримшись вы, а мне в самый раз устроить себя безбедно. Кто ведает, сколь доведётся петь на театре? Доколе ж о возвышенном радеть? Пора помыслить об замужестве. Ходила я в ученицах у синьора именитого, послужила и наложницею, а теперь довольно, всякой канители предел положён! По гроб пребуду благодарная, и останемся в приятельстве, нешто не так?

— Вне сомнения, в приятельстве, по гроб... А Паолина-то где будет?

— Сестрица здесь по хозяйству нужная, у меня ж и сверх того хлопот полон рот: арии разучивать, спектакель представлять...

— Бога ради, Аннина, возьми ж в разумение немощи мои телесные — без подмоги Паолининой никак не сладить!

— К чему препирательства, достопочтенный мой? Коли в том закавыка — не стану перечить. Ежли сродственица сама согласная, быть по сему! Поезжайте с нею в Вену, да хранит вас Господь!

Дорогой на постоянных дворах — тревожные новости: император якобы занедужил и плох. По прибытии — неопределённость, гадания. И, наконец, — крушение, обвал: Карл умер.

Будто изымал рок намеренно почитателей и покровителей венецианца из числа живых: пять лет назад скончался принц Филипп, сейчас — и сам император, а вся ставка была на него. Объявлен официальный траур: никаких балов, представлений, развлечений публичных — до истечения года после кончины.

Надвинулись тягучие, серой пеленой затянутые дни, и не отзывалась душа, как оглохла. Вивальди с Паолиной снимают комнаты в Шорном переулке у вдовы Валлер. Из окон виден театр, что у Каринтийских ворот — в нём аплодировали недавно его операм. Композитор пытается править начатые партитуры, лишь мало сил и давит беспросветность. Из дому не выйти — в Венеции в последние годы мог передвигаться большей частью в гондоле, а тут ещё и стынь вездесущая до костей пронизывает.

Между тем сбережения на исходе. Нечем платить вдове, и приближается Рождество. Он посылает Паолину разыскать, кто делает лютни и скрипки, и звать в гости.

— Воистину великодушно — изъявил почтенный мастер Штадльман готовность снизить до хворей моих!

— Боже правый, мог ли помыслить — почесть выпадет неслыханная повстречаться с Вивальди знаменитым!

— Но откуда изъясняется господин столь чудесно на наречии италианском?

— В года молодые странствовал я далёко за Альпы, подмастерьем трудился в Кремоне, посещал Венецию сказочную, и девицам музицирующим внимать посчастливилось в оспедале Милосердия! Кабы токмо не препятствие досадное: услыхать — пожалуйте, а увидеть никак — спрятаны прелестницы позадь ограждения решётчатого! Ах, происшествия давнишние!

— В свой черёд обязан я господину премного! Уразумеет ли сударь милостивый положение затруднительное? Император дарил меня благосклонностью своею, приготовляя я оперу для сцены придворной. Нынче горе непоправимое, по причине коей возвещено повеление высочайшее: ждать назначено... Словом, согласится ли господин принять скрипку, которую владею, под заклад? Натурально, на срок обозримый?

— Ох, застиг маэстро врасплох! Конstellляция конфузная до чрезвычайности, замешательство полнейшее... Скрипка из рук Вивальди достолавного — ей же цены не исчислишь!

— Положительно не имел намерения во смущение вводить, любезный Штадльман! Размыслите без малейшей неловкости, располагаете ли возможностью некоею? Окажусь при средствах — внесу плату безотлагательно!

— Ах, высокочтимый синьор, об чём толковать, должно тут пособить, сам Бог велел! Всенепременно выручу, за честь почту великую... А скрипку возьму покамест на сохранение, укрою от взоров посторонних, оберегать буду, аки зеницу ока!

— Весьма благодарен я мастеру достопочтенному — одолжение важнейшее!

— Да не отяготятся раздумья ваши заботами низменными, драгоценный дон Антонио! Желаю поправления совершеннейшего... Понадоблюсь ежели — готов служить!

Невольно привелось разлучиться с «Серафиною» возлюбленной. Упования все — возвратилась бы ко мне чем заранее! А ныне — что осталось у меня и кто ж? Единственно Паолина. Прислужницей верной и си-

делицей преданной, всякое побуждение угадывающей. И так всегда рядом — не могло того когда-нибудь не стать... Безропотно разделила ложе, будто хлеб преломила со страждущим. Нет в ней благоухания молодости, зато и не отчуждается, обнимает теплом материнским, даёт прибежище и приют. Аннину полюбил яко добычу завоёванную, сестрицу же ея — склонностью своей сердечной. Мудро ли сказано: неверные, мол, для любви, верные — век с ними вековать? Ежели восхощет кто из грядущего прознать про жития наши, почудятся тому сквозь завесу столетий лишь очертания зыбкие на давнем маскераде...

Добрая душа Штадльман не скряжничал, щедрой рукою выложил за «Серафину». Можно раскошиться — наняли экипаж и покатали по граду престольному. Зажигались весело фонари, освещая строения помпезные. Во хвалу Христа-младенца благовестили колокола святого Штефана торжествующе. Повёз возница в Пратер, где прогуливалась принаряженная публика... Засим — дома с Паолиною, и согрелся подле нея.

Девушка в поезде: сгруппировалась уютно со своим ноутбуком в кресле напротив, коленки к подбородку подтянула. Читает с экрана — взгляд пытливый, раскрыт в будущее. Я ей невидим — уже в аннигиляции. И сама закрыта наглухо, не проникнуть в её мир — мы на разных орбитах. Старость: траектории пересекаются всё реже...

Метель заносит перспективу, упраздняет цвета, кроме двух-трёх: белым набрасывает хлопья, серым штрихом — или вороньими лапками? — очертания дерев. Ещё только — манящая чернота воды... Звук обёрнут в вату. Снег покрыл крыши — неотличимы стали, слились с небом. Стрельчатые башни кружевные, отрезанные от громады собора, висят в воздухе, как мираж. Дрёма, протрация...

В феврале следующего 1741 года герцог Ульрих фон Мейнинген сделал в дневнике пометку о просителе Вивальди, добивавшемся аудиенции — очевидно, чтобы предложить на продажу свои композиции. Но в приёме было отказано.

Паолина уехала — на Великий пост в театрах перерыв, сёстры собирались в Венецию, — «обещаюсь воротиться к дону Антонио, беспременно к нему ворочусь...». И настала весна, и уступила лету.

В трудах, в любви, в служении людям или Богу — ищут связь с жизнью, а через неё — с чем-то большим, неизреченным? Он искал подтверждения и оправдания бытия в музыке — нашёл ли?

Композитор Игорь Стравинский:

Этого Вивальди чересчур переоценивают. Скучный человек, бывший в состоянии один и тот же концерт сочинять шестьсот раз подряд.

Та, в кою вкладывал усилие, чувствование, — покинула... Мнят, угадают у старых желаний неистовства — хорошо бы! Прельщался я, лелеял

постичь тайну дочерей Евиных, молил Бога, и давал Он не скупясь, однако ж и по-иному оборотил: впиваются демоны из преисподней когтями, пытаются вожделениями, изменою и разрывом... Выпало на долю услышать сирен, Одиссея соблазнявших?

От прежней оперы до очередной; концерты — в Амстердам, в Прагу слать, в оспедале по контракту; оратории, серенады, коловерченье будней: раздоры закулисные, козни, препирательства со власть держащими... Случалось явственно, не единожды: обволакивало облаком волшебным, звучало ладно так, стройно — поспешай токмо пером! А потом рассеивалось, исчезало, и понуждаем был выдавливать ноты — сколь за лета долги: миллионы, мириады? И вижу внезапно: разорён дотла... Зачем утратил грёзы отроческие и дар Божий? Слыш знаменит и почитаем, богатство имел основательное, а выпытываю душу — стенает: не жилось ей счастливо, вольготно на свете... И под конец — одинок неизбежно.

Погоды здешние мерзкие — каково теперь в Венеции моей солнцепоклонной? Я задыхаюсь в каморе, подобной склепу, и сны в постеле холодной изводят тяжкие, страхотные. Вставить по нужде — печали прихлыывают враз, буравят сожалениями горькими... Тут всё ж таки забылся крепко, покойно, и снилось: помещение театральное, ложи в мерцании свечей трепетном. Дева подходит, пригожая, весёлая, садится близко, завлекает ласками горячими. Говорю ей: «Немыслимо ж, я — старый!» А она прекословит: «Велика беда, ежели полюбился мне, полюбился!..» Нет, не раз рождает нас жена, но всякий час, когда берёт в руку свою и возвращает в русло, воссоединяет с теплом живым.

Отглядываю прошедшее: анфилада покоев, двери различные. Отворил одну, там обитали страсти мои — осела тягость на сердце. Другую, где опера: сперва — фурор, под занавес — горечь. И потекло время вспать — к порогу начальному. Занимается свет и озаряет тельце скрипки округлое — лаком блещет. А рядом — канифоль янтарная, чтоб натирать ею волос смычка. Дух, привычный с ребячества и милый: пахнет смолою, аще пинией, нагретою солнцем, и ветром солёным с моря. Бежит навстречь малец, рыжий весь, хватает, тащит далее, и вот: иной предначертан мне путь! Разверзаются хляби, и полыхает, куда взгляд достаёт, всеохватный огонь...

Поднёс слуга зеркало к больному, не затуманилось оно дыханием.

«Июля 28-го в лето Господне 1741 преподобный Антониус Вивальди, аббат в миру, скончался...» Запись в кладбищенском реестре: «...от воспаления». Буквальный перевод — «...от внутреннего пожара».

Хроника Марко Градениго:

Аббат Антонио Вивальди, несравненный скрипач, коего оценивали высоко благодаря композициям и концертам, зарабатывал во дни свои пятьдесят тысяч дукатов и свыше; вопреки тому из-за транжирства чудовищного умер он в Вене в жалком ниществе.

Coda¹

Ибо мы уходим, а красота остаётся.
(Иосиф Бродский. *Fondamenta degli Incurabili*)

Тело предали земле на погосте возле кирхи святого Карла — вообще-то туда свозили после казни убийц и прочих злоумышленников. Кладбище это впоследствии срыли. Спустя несколько лет сгорел в Венеции театр Сант-Анджело, церковь Милосердия была перестроена. Постепенно исчезли кулисы, в которых протекла та жизнь, словно некто заметал её следы. Замолчала и музыка его.

Чудесное воскрешение произошло в XX веке — не без приключений. Французский музыковед Марк Пеншерль, призванный на мировую войну, носил с собой в вещмешке пачку исписанных листков — им предстояло составить первую серьёзную монографию о композиторе. В 1916-м мешок разорвало снарядом; сам боец, к счастью, уцелел и долго восстанавливал книгу... Благодаря розыскам ординариуса Джентили находки из Генуи и Монферрато хранятся в каталог в память Мауро и Ренцо. «Просто ушли они вперёд и не вернутся больше в дом. Но в вышине, где день сияет в солнце, — там мы нагоним их потом», — так у Рюккерта в «Песнях об умерших детях»... Возрождение стало действительно сенсационным: в последней трети века Вивальди уверенно занял в разделе классики первое место, обойдя и Моцарта, и Бетховена по числу записей, исполнений в концертах (разумеется, к такого рода статистике нельзя относиться без ухмылки).

Среди первоисточников, исчисляющихся сотнями, относительно немного манускриптов, написанных его рукой. Данное обстоятельство можно объяснить вполне банально, тем не менее, остаётся привкус тайны... Нет и авторских рукописей «Четырёх времён года» — стёр некий дух свидетельства их земного происхождения? А оригиналы концертов, предназначенных для лучшей ученицы, существуют, причём с необычайным посвящением — в обозначение инструмента вписаны заглавные буквы: «Viola d'AMore». Виола любви с инициалами Анны Марии.

Её искусство описывалось неизменно в восторженных тонах. Выдающимся современникам приютская сирота, судя по отзывам, ничуть не уступала — а в чём-то их даже превосходила. Помимо скрипки она владела клавесином, лютней, теорбой, гобоем, виолончелью, мандолиной и той самой виолой... Средняя продолжительность жизни у слабого пола составляла в Италии в XVIII веке тридцать шесть лет. Женщина, никогда не носившая фамилии (в документах — «Анна Мария на скрипке»), жила со своей музыкой до восьмидесяти семи, семьдесят из них — в ospedale.

Пора профессору К. прощаться. Лишь досказать, прежде чем снять маску: цветистые фрески во вновь отстроенной церкви Милосердия — аллегория Триумфа Веры. Неподалёку от Святителя художник Джамбаттиста Тьеполо изобразил распеваящий осанну небесный хор, рядом —

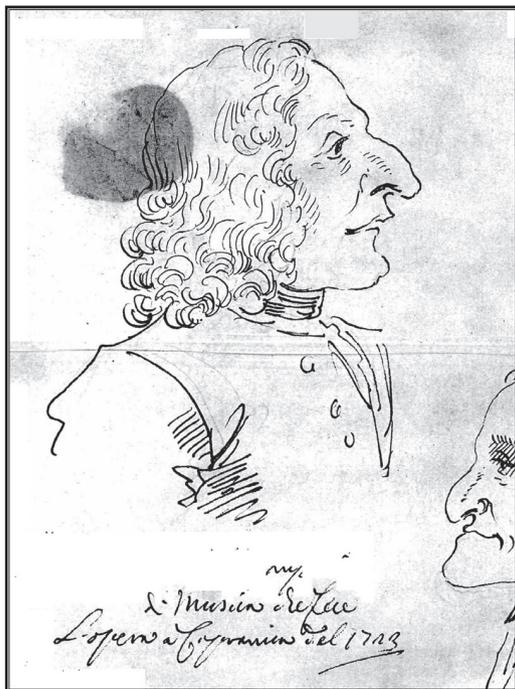
¹ Заключение музыкального произведения (итал.)

тех, кто стучит в литавры и гудит на контрабасе. Тщательно выписана симпатичная ангелица, чей смычок, оторвавшись от звенящей струны, гордо взмывает ввысь.

Анна прослужила ещё с десяток-другой лет при церкви, а затем вернулась на место в райском оркестре — просто вознеслась под купол к давним друзьям, ангелам и херувимам.

И пребывает поныне: не здесь, не сейчас.

Май 2014



Единственный прижизненный портрет композитора, не вызывающий сомнений у исследователей — карикатура, выполненная во время репетиций оперы Вивальди в Риме. Художник — Пьер Леоне Гецци (Pier Leone Ghezzi, 1674–1755). Подпись под рисунком: «Рыжий падре, автор оперы, дававшейся в театре Капраника в 1723 году» (оригинал хранится в библиотеке Ватикана)

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА

/ Париж /



ВЕЧЕРНИЕ ЗАПИСКИ

«Пишите просто собственные записки, не гоняясь за фантазией и не называя их романом, тогда ваша книга будет иметь интерес всякой летописи и произойдёт ещё та выгода, что вас будут читать люди не с намерением читать роман...». Кто это написал? А.С. Пушкин в последнем номере своего «Современника». Так что будем продолжать.

«Всякая всячина». Так назывался журнал, который выпускала Екатерина Вторая со своими, кстати, очень симпатичными пьесками (она, правда, просила, чтобы её простили за незнание русских «падежей»). Я в своё время выписывала разные поразившие меня цитаты, жалко выбрасывать. Тут нет никакого дневникового замысла, никакой хронологии, или тематического единства. Пишу подряд.

Жена Набокова Вера (урожденная Слоним) в письме 1958 года (жаль, не записала, кому адресовано) по поводу романа «Доктор Живаго»: «...“Лолита” всё ещё в списке бестселлеров, хотя скоро её, вероятно, вытеснит эта жалкая и ничтожная книжка безвестного Пастернака. Коммунисты преуспели в проникновении своей ничтожной стряпни в клуб лауреатов нобелевских премий. Массовый психоз идиотов, предводительствуемых прокоммунистическими подлецами».

Фёдор Тютчев (в письме 1857 года): «В истории человеческих обществ существует роковой закон, который никогда не изменял себе. Великие кризисы, великие кары наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражается по большей части при первой робкой попытке возврата к добру, при первом искреннем, быть может, но неуверенном и несмелом поползновении к необходимому исправлению. Тогда-то Людовики Шестнадцатые и расплачиваются за Людовиков Пятнадцатых и Четырнадцатых». (Вспомнил Борька¹ — наизусть, когда говорили о Ельцине.)

¹ Борис Козовой (род. 1965г.) — сын Ирины Емельяновой и Вадима Козового.

«Чтобы любить другой народ, надо прежде всего любить свой». (Боря Подольский¹ в разговоре.)

«Сатурн, пожирающий своих детей». (Крученых² о переделке БЛ³ своих ранних стихов.)

БЛ в письме (сестре?): «...жестокость несчастной России в том, что избранник её уже не спасётся с глаз ее. Он попадает на римскую арену, обаянный ей зрелищем за её любовь... Что же сказать мне, любовь к которому затруднена ей так чрезвычайно, как любовь Германии к Гейне...»

Пушкин: «...с улиц пыльных сметают грязь. Полезный труд./Но позабыв своё служенье/ алтарь и жертвоприношение/ жрецы ль у вас метлу берут?». Так должна была я ответить БЛ, когда он разглагольствовал о том, как они — он, Маяковский, Асеев и др. — «испортили русский стих», а (, мол,) лучше бы они «шили костюмы или подметали улицы». Но мне было только девять лет и я плохо знала Пушкина.

Перечитывая «Спекторского» (это уже мои мысли). Немного найдется в русской поэзии стихов такой плотности, каждая строфа забита «под завязку», как нынче говорят, реалиями и символами. Особенно две последних главы. И когда Д. Петровский⁴ говорил, что Пастернак пишет «вражеским шифром», в этом есть смысл. Ключи к шифру: уборка, ремонт, ломбард, склад (выброшенных и невыкупленных вещей). В начале романа приехавшая сестра (идеалистка, из народоволок) считает, что надо просто убрать, навести порядок, расставить вещи по местам, и жизнь наладится. «Здесь сотню лет полов не мыли!». Известно, как сам БЛ ценил людей ловких (ЗН⁵), умеющих навести порядок. «Зина за три дня вставила стекла!». Ахматова говорила Чуковской, что БЛ любит жену за то, что она прекрасно моет полы. Но уборки недостаточно. Нужен РЕМОНТ. Идёт 1913 год, бурный ремонт России, «ходило море земляных работ» — роман Спекторского и Ильиной идёт на фоне рушащихся стен. Но ремонт — это и надежда на будущее. (БЛ просил не прекращать ремонта дачи даже во время своей смертельной болезни. Он любил саму атмосферу «ремонта».) Однако «прошли дожди событий», и хаос ремонта превращается в хаос разрухи. «Пещерный век на пустырях щербатых»... Удивительно, что это было напечатано! Вещи Ильиной отданы в ЛОМБАРД — на время. Это «породистый инвентарь», прошлое, старая культура, «их приданое» и «горы пыльных беспросветных книг». Но уже не вернется никто. Никто не выкупит. И прошлое из ломбарда поступает на

¹ Барух Подольский — известный филолог, автор учебника иврита. Провел 5 лет в мордовском лагере по статье «сионизм». Умер в Израиле в 2011 году. Друг Ирины и Вадима.

² А. Крученых — поэт-футурист (1886–1968).

³ БЛ — здесь и далее — Борис Леонидович Пастернак.

⁴ Дмитрий Петровский (1892–1955) — поэт. Об истории его отношений с Пастернаком см. книгу Н. Громовой «Узел», М., 2006.

⁵ ЗН — тут и далее: Зинаида Николаевна Нейгауз, вторая жена Пастернака. Ей посвящена книга «Второе рождение».

СКЛАД. Его разбирают: «предметы обихода шли рабочим, а ценности и провиант — казне». Как распорядилась казна этими «ценностями» — известно. Воистину, в этом «Медном всаднике», как называл Пастернак свою поэму, и пророчество, и просто краткий курс русской истории, которая «не в том, что мы носили, / а в том, как нас пускали нагишом». (Формула из того же «Спекторского».)

Французский журналист (Франсис Ланглуа, «Фигаро»), молодой человек, пять лет бывший корреспондентом в России, уезжая, прощается со страной. (Перевожу с французского): «Я приехал в Россию совершенно свободным от «пещерного антипутинизма», готовый видеть самое лучшее. Но за эти годы я пережил: 1. газовую войну с Украиной (2006); 2. взрывы национализма (Кондопога); 3. травлю иностранных корреспондентов, закрытие Британского совета и пр. 4. охоту на грузин (2006); 5. убийства Политковской и Литвиненко; 6. войну с Грузией (2008). Полное отсутствие гласности, блокада информации никогда не позволят победить коррупцию. «Тлеющий Кавказ», рост национализма и пещерного расизма, и главное — нравственная «целина» населения, в таких условиях проблема неразрешимая. Огромные заброшенные территории (Сибирь и Дальний Восток), физическое вырождение и демографическая и экологическая катастрофы... Уезжаю я глубочайшим пессимистом насчёт России и её будущего».

БЛ (Примечание к «Вёрстке», 1956 год): «...(общество?) таит под бытовой поверхностью покоя, полного сделок с совестью и подчинения неправде, большие запасы нравственных требований, лелеет мечту о другом и не знает о своих тайных замыслах. Но стоит поколебаться устойчивости общества — стихийное бедствие или военное поражение пошатнут прочность обихода, и тогда тайные нравственные залегания вырываются наружу». Увы!

Толстой: «Для этого нужна энергия заблуждения» (о революциях). Шкловский взял заголовком к своей книге «Энергия заблуждения». «Всю ночь читал Коран. Ощущение войны». (Борька напомнил.) «Что делать, что делать?». Надоело слышать. Спросите лучше: «Что делать с собой?».

8 февраля. Метель, позёмка, красота! Встретились с Борей и Аленой¹ у Третьяковки. Посмотрели выставку рисунков, потом — экспозицию, посвященную 650-летию Рублёва. Троица, Звенигородский чин, несколько икон из кремлёвского музея. Как ни хороши эти иконы, не могла сдержать дурных чувств. Почему-то выставка «под благословением патриарха» при участии Чаплина, Кураева и прочих мракобесов накладывает лапу и на Рублева. Гиды постными елейными голосами повествуют о божественной благодати, «православном сиянии». Но ведь это музей пока ещё! Две кликуши в длинных юбках падают на колени, умильно взглядывают в сторону моей, такой «православной» физиономии: «Так хочется приложиться, правда?», «Идите в церковь!»... Но им и в голову

¹ Борис Владимирович и Елена Марковна Дубины, друзья Вадима и Ирины.

не приходит, что кто-то не хочет «приложиться»: «Да-да, здесь совсем как в церкви!». Дожили! Взяла книгу отзывов, написала: «Удивляет, что посетители музея падают на колени... Когда я бываю в музее арабского искусства, я никогда не служу намаз. И в Лувре перед мадоннами свечи никто не зажигает. По ка е щ ё это музей!». Боря и Алёна тянули меня к выходу. На воздухе, окунувшись в мягкую метельную красоту, успокоилась. Царство Берендея... Белым-бело. Только фонари, красивые, стильные, облепленные хлопьями, чуть желтеют. Метель — она вне времени.

Пётр Сувчинский¹ в статье о Блоке: «При трагическом мироощущении нет связи, а есть только разрывы, надломы и концы. Точно смерть много раз примеривается, целится, в ослабленных предвещающих признаках врывается в человеческую жизнь: разлука, измена, болезнь». Вот и Вадик² не помнил, не хотел помнить детства, юности — оборвано... Ранение, арест, эмиграция. «Примерка». Недаром он свою книгу назвал «Поэт в катастрофе».

Тургенев (в письме к графине Л.) о русском языке: «Русский язык удивительно хорош по своей честной простоте и свободной силе. Странное дело! Этих четырёх свойств — честности, простоты, свободы и силы нет в народе, а в языке они есть».

Перечитывая «Доктора Живаго» (это опять мои соображения). Роман выстроен лучше, чем мне раньше казалось. Не обращала раньше внимания на эти мастерские *реплики*, подхватываю, почти как у Толстого (сын Анны в эпилоге романа играет в детскую железную дорогу). На первых страницах — самоубийство отца. Мальчик издалека видит остановившийся поезд. Поезд — место встреч и гибели. Железная дорога-нить, на которую нанизано повествование. «Скорый» и самоубийство (издалека) — в начале. Потом Брестский вокзал, железнодорожник Тиверзин. Вагон с глухонемым. Теплушки на Урал. Бронепоезд Стрельникова. Как рондо — опять «скорый», увозящий Лару. И в конце — замызганный набитый трамвай.

Но по-прежнему раздражают «народности»: все эти «энти», «эфти», поговорки («Жужелица — конская строка?»), имена, по-прежнему испытываешь неловкость. Отсюда и пьеса — Ветхопещерников! Иоанникий! Стратон... Почему БЛ туда тянуло?

(Как Д. Быков написал в своей книге: «не лезет ни в какие ворота... ни фарс, ни трагедия... балет!») Не замечала, что в романе так много текстов из молитв и стихирей на старославянском. Стало быть, верно, что знал наизусть службы, что с детства впечаталась красота православного

¹ Пётр Сувчинский (1892–1985) — музыковед, философ, близкий друг композиторов И. Стравинского, С. Прокофьева и др., живший много лет в эмиграции и умерший в Париже. В 20–30 годы играл важную роль в пропаганде идей евразийства. Его статьи опубликованы в сборнике «Пётр Сувчинский и его время», М., 1999.

² Вадик — Вадим Козовой (1937–1999), поэт, эссеист, переводчик и специалист в области французской литературы XIX–XX века. Муж И. Емельяновой. «Поэт в катастрофе», изд-во «Гнозис», 1994.

богослужения (няня водила в церковь Флора и Лавра, крестила по «упрощенному» обряду). Помню, гуляли как-то вечером по Измалкову, я сказала: «Да, на земле мир, в человеках благоволение», он так обрадовался: «И ты это знаешь?» А я думала просто рассмешить — «в человеках»!

Гёте: «Стихи не делаются из воздуха. Все мои книги — из действительности». (История с Фредерикой Брион и «Фауст».) Достоевский — Мережковскому: «Чтобы стихи писать, страдать надо». (Часто повторял Н.И. Харджиев о Вадиме.)

Толстой (в записи Гольденвейзера): «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совместно сочинять про какого-нибудь Ивана Ивановича и Марью Петровну. Нельзя уже писать — «она распустила волосы...». Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что с ними было».

Розанов на ту же тему: «Интимность всегда с вами. Паутинки быта... снежинка одна во вьюге... Переписки, письма — золотая часть литературы. Дай Бог этой форме воскреснуть в будущем... Вместо ерунды в повестях печатайте дело. Лучше в отдельных книгах — воспроизвести чемодан старых писем. Вот и зачитался бы с задумчивостью иной читатель». Этим и занимается Наташа Громова¹, перед которой я просто преклоняюсь.

Майя Кучерская, критик, в статье о моей книге «Пастернак и Ивинская» (Вагриус, 2006): «Драгоценна расстановкой акцентов. Эта книга учит неосуждению. Особая правда — не историческая, но высшая».

С. Аверинцев² о БЛ: «Пастернаку не угрожает опасность стать музейным экспонатом. Бывают времена, от него отказываются, коробят его «нелепости», «провалы вкуса», но через некоторое время именно в них (например, даже в уподоблении солнечного дня гигантской яичнице) открывают нужную, как воздух, поэзию». И Шаламов пишет (в письме): «Черт знает что он сделал! Столько нового втащил в поэзию!»

«Меня будут упрекать за смелость до тех пор, пока, поняв до конца, не упрекнут за робость». Анатолий Франс. (Мейерхольд взял эпитафией к своей книге «О театре».)

БЛ о христианстве (письмо к балерине Улановой): «...поклонение этой силе тысячелетия было религией, и опять ею станет. Мне эта сила дорога в её угрожающей противоположности той, тоже вековой, лживой и трусливой придворной стихии, нынешних форм которой я не люблю до сумасшествия...»

¹ Наталья Громова — литературовед, специалист по истории советской литературы, автор ряда книг о писателях и их судьбах.

² Сергей Аверинцев (1937–2004) — крупный учёный-филолог, историк культуры, христианский философ.

Корней Чуковский (дневник без купюр): «Зачем он (БЛ) так болтает, он же нас всех подводит, насколько Зоценко лучше ведёт себя, выступил, обещал исправить ошибки». О Шолохове: «Обаятельный, блестящий, родной». О Федине: «Милый-милый... Чудесные глаза». О министре культуры: «Умный, родной».

Евгения Владимировна (первая жена БЛ) пишет ему в 1959 (!) году из дома творчества в Коктебеле: «Я остаюсь ещё на месяц. Можешь ли ты выслать денег?». Что это: избалованность, эгоизм или просто непонимание положения? В 1959 году власть, мстя за роман и Нобелевскую премию, объявила Пастернаку экономическую блокаду, переводы запрещены к публикации, договора расторгнуты, в получении гонораров за роман через инюр-коллегию отказано... Вопрос стоял просто о выживании. Иностранному издатель посылал иногда деньги через знакомых журналистов. Я встречалась с ними в метро (помню итальянца Гаритано, немца Руге), они передавали мне деньги для БЛ в конвертах, иногда экземпляры романа. За мной следил КГБ (за эти «подвиги» я и была арестована как «контрабандистка»), это было опасно. ЗН впоследствии назовет эти деньги «грязными», однако на них жили. А Евгения Владимировна хочет еще месяц беззаботного купанья!

Нет, права была Ариадна (А.Эфрон), писавшая мне о «семье»: «Ах, Господи, кого из них могу хотеть увидеть! Встречаться с ними не хочу ни с кем».

Розанов о Германии: «В жизни каждой нации, даже самой счастливой и удачливой, возможны трагические страшные минуты... Когда она окружена со всех сторон поднявшимися волнами злобы, гнева и криков "не уважать"! Вот это — "не уважать!" — перекинувшись через Канта, Фихте, Шеллинга дойдёт до монолита, где стоит Гете, и отступит назад...».

Розанов о французах: «Их наивность. Наивность, т.е. прежде всего неискорченность, нерастленность крови, расы (а сколько в Европе ползло "худых слухов"!)... что-то весёлое и открытое, а главное — совершенно детское, совершенно безыскусственное и доверчивое было в лицах и движениях (матросская эскадра в 1897 году в Петербурге) многих... Русский, кроме того, что он прямо говорит и делает, вечно что-то ещё около этого думает... От этого он так неуклюж, связан в движениях, пьяный — вечно ломается. Народ с бесчисленными "задоринками" в душе, может быть, и хорошими, но часто — скверными. Что-то неясное, тёмное есть в нём, затаивающееся, "народ-мистик"... "Пуд соли надо съесть с человеком" по пословице, прежде чем окончательно убедишься, что это точно не мошенник... Этой, может быть, глубокой, но неприятной неясности нет во французах. Говоря или делая что-нибудь, француз, очевидно, около этого ничего и не думает; это не легкомыслие — это просто ясность природы...». С поправкой на время, прожив во Франции почти 30 лет, не могу не согласиться.

БЛ в письме Шаламову (получив его лагерные стихи): «Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота ещё не делает Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком».

Прочла книгу А. Эткинда «Хлыст», на полях пометки Вадики карандашом. Работа колоссальнейшая, сведения собраны чрезвычайно интересные. Но язык!! «Модификация деривации перцепции кастрации в дискурсе...» и т.д. Тут и до «латентной сексуальности пяточка» и «фекально-анального комплекса кролика» (В. Руднев в книге о Винни-Пухе) недалеко. А в сущности, к чему сводится? Рогожин (из семьи скопцов) ходит всё время с ножом, хочет кастрировать Мышкина. Мышкин, увидев нож, падает в припадке, перед ним все «кружится» («кружение» хлыстов). А о Блоке! Видно, что не любит. Правильно писал Тынянов — ну, кто помнит «Катилину» или статьи последних лет? Разве Блок — в этом? Тогда все интересовались сектами, в воздухе было. Но Эткинд выживает какие-то странички, где Блок вспоминает, что в детстве ездил на «мерине», стало быть, кастрированном жеребце, и во всей его поэзии главная тема — скопчество, кастрация, революция — кастрация... Можно доказать, что и Ленин — скопец, на Волге вырос, там хлыстовские скиты были. Но мне больше нравится «Ленин-гриб» (Курехин¹).

Вчера президент России принял Н.Д. Солженицыну², о чём было объявлено и показано по всем каналам. Вручает Путину новые книги мужа и тоном «спокойного достоинства» просит включить в школьную программу «Архипелаг» и увеличить с 2-х до 6-ти, часы преподавания литературы в школе. «Без знания прошлого оно может повториться». С такими же благими целями ходят либералы и на путинские чаепития. Но разве ей не приходит в голову, что просить царя об изменении школьного расписания — унизительно? Впрочем, дело не в этом, в тоне. Вот Гоголь пишет, как Чичиков меняет тон в общении с Коробочкой: «Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнёт и не поймет всех его особенностей. Он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом. У нас не то: у нас такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим 200 душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их 300... Словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки». Вот этот тонкий оттенок — раболепства и сознания своей миссии, униженности и высокомерия, только мы его чувствуем. Ничего не изменилось почти за 200 лет.

Я — человек необидчивый, в чём вижу свою главную добродетель. Это очень сближало меня с нашим любимым Марксом (так шутя мы называли отца Вадима. «Да пошли они к черту, говнюшки!», — так он отмахивался от недоброжелателей). Он с тайным восхищением говорил мне о своей жене, нашей бабушке, как раз «обидчивой»: «Ты не представляешь, какая гордыня!». Не обиду — но недоумение вызывают некоторые оскорбления в адрес нашей семьи. Была в книжном магазине «БиблиоГлобус», бросилась в глаза книга Бориса Соколова: «Кто вы, доктор Жи-

¹ Сергей Курехин (1954–1996) — джазовый музыкант-авангардист. «Ленин-гриб» — сюжет-мистификация на телевидении (программа «Пятое колесо», 1991 год).

² Встреча, о которой идёт речь, состоялась 5 ноября 2012 г.

ваго?». Перелистала. «Ивинская, раздобревшая после двух родов... Видно, что и в военные годы ей жилось неплохо...». И так далее. Кто вы, господин Соколов? Почему такая брезгливость, почему взят такой хамский тон? Я его не знаю, с мамой он был незнаком. Посмотрите на фотографию 1943 года — измученная, забывшая о своей внешности женщина, на руках двое детей, муж скончался, мать в лагере (в Сухобезводном). Выкапывала картошку на колхозном поле по ночам, была донором (ради карточки), кормила вшей для противотифозной сыворотки, в теплушках добиралась до этого Сухобезводного, чтобы вытащить умирающую мать... «раздобревшая после двух родов». Тут какая-то непонятная физиологическая ненависть. Вызывает только недоумение. Почему? Впрочем... «Да пошел он к черту, говнюшка!»

Конечно, легко не обижаться на какого-нибудь Соколова, которого я не знаю. А вот Вячеслав Всеволодович Иванов, когда-то мы звали его Комой... Его воспоминания (они были опубликованы сначала в «Звезде») называются «Перевёрнутое небо», вышли отдельной книжкой, тоже стоят в магазине на «пастернаковской» полке. Перелистала... Горько, больно. Сколько мы с ним вместе пережили осенью 1958 года, во время «нобелевской» травли Пастернака! Вместе ездили в Переделкино, возили БЛ письма поддержки, гуляли с ним по поселку, где все дышало угрозой, страшные дни «античности или ветхого завета», как БЛ писал об этом времени. Ведь Кома даже стихи мне посвятил: «По испытанному вместе / вы мне больше, чем сестра. / Нас сблизала боль известий, / поезда и вечера./ Надвигавшееся горе/ так объединило нас, / как бывает только в споре / с... (далее забыла)». И я написала ему в ответ стихи (писала уже в камере на Лубянке), где тоже были и поезда, и вечера... И к маме (так мне казалось) он относился с симпатией, с сочувствием. И вот читаю в книге, что Ивинская была двуличным Арлекином, что она «использовала ситуацию в своих целях, вовсе не заботясь о безопасности Пастернака»... «своими кознями Ивинская способом злоречия, приближающимися к клевете (а что за язык, господи!), хотела очернить друзей, чтобы приблизить Пастернака к себе...». И это мама, всегда стремившаяся всё сгладить, всех примирить! Как будто не сам БЛ написал: «Друзья, родные, милый хлам, / вы времени пришлишь по вкусу...».

За поддержку Пастернака Кому уволили из МГУ, где он преподавал. Это было зимой того же 58-го года. Заседал расширенный «учёный совет», где это всё решалось. Я мерзла, ждала его у входа в старое здание университета на Моховой, во дворике, темно уже было, снег валил... Он вышел, уже исключенный, я взяла его портфель, допоздна гуляла по зимней снежной Москве, договаривались даже, как вести себя на следствии, если нас арестуют... Помню, он сказал: «Как хорошо, что всё это случилось, когда мы еще молоды...». И так измениться! Оплевать своё лучшее, может быть, время, то самое «воспоминание», необходимейший компас в жизни, о котором говорит Алеша Карамазов в «речи у камня». Конечно, годы, ведь за 80 уже. Но, как сказано в молитве, «не отверзаеши меня во старости...»

Или Евгений Борисович Пастернак, ладно, пусть земля ему будет пухом, он столько сделал для памяти «папочки», подвиг. Но какая-то неостывающая ненависть к бедной ОВ. Натыкаюсь на примечания в пятитомном СС. Цитирует письмо БЛ в Грузию к Н.А. Табидзе: «Тут было несколько страшных дней. Устроили заседание в союзе писателей типа 37-го года, с требованием расправы, высылки, кары... Присутствовала и ОВ». На этом обрывается, можно подумать, что и ОВ была заодно. Но ведь в письме БЛ дальше идет запятая: ...присутствовала ОВ и АВ (Старостин), пришедшие в ужас от происходящего и которым не дали говорить». Но ЕБ счёл нужным иначе расставить акценты, вроде и не искажил ничего, однако... Не говоря уже о прямом подлоге, когда он в сборнике «Письма к сестрам и родителям» приводит английский текст БЛ: «Я хотел бы взять с собой ОВ и Ирину», а потом свой перевод: «Я не думаю брать с собой ОВ...». Почему он в своей обиде на «папочку» перепрыгнул через истинную разлучницу — ЗН — и выместил праведный гнев на той, которая, казалось бы, является справедливым возмездием? Потому что она была из «другого круга»?

Наташа (Громова) рассказывала о своем плане фильма «Полоний и Гамлет», который она хотела бы сделать. Мне очень понравилась идея. Гамлета, как известно, чтобы убить, Клавдий посылает на корабле в Англию. С ним плывут Розенкранц и Гильденстерн, потом история с пиратами, подменой письма и прочее. Это тема, а вариация, которую предложила Наташа, такова: в Англию из Франции в 1935 году плывут Пастернак и Щербаков (член ЦК, ответственный за советскую делегацию на парижском конгрессе), что чистая правда, так и было. В это время Пастернак был, как он сам писал, в состоянии полупомешательства, глубочайшей депрессии, такое впечатление он произвёл и на сестру, и на Цветаеву (ушел из кафе за папиросами и не вернулся), да и выступление его было странным, выпадающим из общей «линии». Всю ночь в каюте он не давал Щербакову спать, длился бесконечный бессвязный монолог (его надо придумать), настолько безумный, что, вернувшись в Ленинград, Щербаков сообщил Зинаиде Николаевне, о душевной болезни ее мужа, чтобы она приняла меры. «Этот диагноз, — как вспоминал впоследствии сам Пастернак, — спас меня тогда». Спасительное безумие Гамлета, защитная маска.

Я предложила добавить для сюжета Эренбурга и Бабеля, Розенкранца и Гильденстерна, покорно выполняющих волю короля. Можно добавить и такой нюанс: язык Гамлета у Шекспира отличается от языка остальных персонажей, он слишком «культурный», полон разных отсылок — Ниобея, Геракл, нимфы, Дидона, судья Израила и т.п., ведь Гамлет был очень образован, учился в Виттенберге. Французский язык Пастернака, на котором он написал текст своего выступления в конгрессе, был тоже слишком старомодным, литературным, и Бабель (или Эренбург?), прочитав, посмеялись и посоветовали ему выступать с речью на русском. В диалоге в каюте (Пастернак — Щербаков) можно подчеркнуть эту разницу культур, довести до абсурда. Ну, и как эпилог — «театр террора», 1938 год, когда БЛ берётся переводить Гамлета (многие считают, что это лучший его перевод, да и время для перевода выбрано не случайно!), говоря уже голосом Шекспира — тут

и «Дания-тюрьма», где правит убийца, которому «все лижут руки», и бессилие героя что-либо изменить, его отчаянье: «А я, тупой и жалкий выродок, слоняюсь / в сонливой лени... Что ж, я трус?». В этом самобичевании много личного.

Да, хорошо бы сделать такой фильм, но Наташа слишком занята, на неё всё время сыплются из разных сундуков вдруг обнаруженные архивы, интереснейшие дневники, письма, а кто как не она способен по-настоящему такие материалы обработать? А материалы такие, что и Шекспир бы призадумался...

Вернулась домой и перечитала «Гамлета». Да, вот это язык, какая ёмкость фразы, какая мускулатура текста! Иногда даже слишком круто (дыхание опережает слово). Заодно и для себя открыла новое в сюжете, раньше не задумывалась. Фортинбрас (это тень из будущего) идет с 20.000 солдат (за счёт казны, между прочим) завоевывать «кусочек Польши», по сути, «из-за выеденного яйца», лишь бы «другим не досталось». Это почему-то восхищает Гамлета, он в этом захвате видит «вопрос чести». Бедная Польша! Вечный «кусочек»! А как кончается пьеса? Конец датской династии. Будут править норвежцы. Передел Европы. И «безвольные страдают больше всех»... Не к себе ли обращал Пастернак этот несправедливый упрек?

Внезапная перемена погоды. Холод ночью, горячей воды нет, обещан целый день дождь и грозы, а мы уже договорились поехать в Переделкино, ведь у меня совсем не остается времени. Ливень (иногда даже градины сыпались) просто пронизывающий, ветер, зонты ломаются, но мы мужественно добрались до кладбища. Все это небольшое, некогда зелёное уютное пространство перед старой церковью занято стройкой — и я, и спутницы мои содрогнулись. По образцу храма Христа Спасителя воздвигается несоразмерное монструозное сооружение — «храм Георгия Черниговского». (Это уже третья церковь на очень небольшом, метров 500 пространстве. Столько прихожан???) В старую колычевскую все-таки зашли, я хотела незаметно положить на столик «для поминаний» те иконки и крестики, которыми меня наградили в Киеве и в Грузии, здесь они более уместны, чем в моём атеистическом доме, но довольно симпатичная служительница с радостью подхватила их, тут же приложила: «Ой, это из Лавры! А это от святой Нины! Отдайте мне, я за вас помолюсь». Отдала ей. Неужели в нынешней России возможна простая искренняя вера? Где же она скрывалась до путинского посвиста? (Об одиночках не надо мне говорить, всегда есть и будут праведники.) Раз велено, повалили все молиться. А если бы не велено? (Помню, у Андрюши, нашего младшего сына, в детском садике, где всегда были проблемы с «обслуживающим персоналом», нянечкой работала молодая славная девушка. Как-то раз прихожу, её нет. Заведующая в ответ на мой вопрос объяснила: «Она однажды меняла постельки, наклонилась, а у нее крестик свешивается» — «Ну и что?» — «Так ведь она с молодежью(!) работает, вредное влияние может оказать. Пришлось уволить». Вот так было совсем недавно! Поверишь ли после этого

бабушке — моей ровеснице! — в платочке?) В благодарность за мой подарок повели нас за алтарь, к особо чтимым иконам, разрешили поставить свечки. Что делать, поставили.

У мамы на могиле прибрали, вырывали крапиву, протерли надписи, совсем не видны. У «крутых ребят», что купили старый участок рядом с нашим и где похоронен их пятимесячный ребенок, все обустроено на славу, мраморный столик, скамейка, над покойным младенцем эффектное надгробье. На этом столике мы и разложили наше угощение, открыли вино, Мите поставили рюмку. Всё-таки это хороший обычай, пусть и языческий, если помолчать, подумать, вспомнить, рождается какой-то отклик, легче на душе. Но дождь усиливался, рискнули зайти в ресторан «Дети солнца», где на веранде нам дали даже пледы, и не привыкшие к таким скромным посетителям элегантные официанты, тем не менее, подали чай и печенье.

В Шереметьеве. Как обычно, доехали с Сашей¹ до площади Маяковского и — в пробку. Ни туда, ни сюда. Просидели полчаса, Саша не может вернуться, я схватила чемодан и пешком по снегу на вокзал. Успела. В аэропорту обошла газетные киоски. Вот что встречает пассажира из-за границы на первых же шагах в России: издательство «Яуза-пресс». Книги: Мухин. «Правда о Холокосте». Аннотация: «Нам твердят о 6 миллионах, но мы в свободной стране, а не на продажном Западе, можем сказать правду». Петухов. «Если бы Сталин был жив». «Клеветникам Сталина». И так далее...

Самолет был полупустой. Я сидела в проходе, подошел парнишка, лет 20, сел к окошку, вежливо попросил пропустить, всё по-русски. Он всё вертелся, хотел заговорить, слышу — легкий акцент. Оказалось — итальянец, Андреа, из Венеции. Полюбил Россию, выучил русский в университете, получил стипендию на год для стажировки в России. Бедная Венеция! В свое время каждый западный город имел «побратима»: Гавр — Петербург, Марсель — Одессу, Лимож — Гродно (это было при СССР, но до сих пор в домах лиможских «побратимцев» стены завешены белорусскими вышивками), Венеция — Астрахань! Он провёл год в Астрахани. Жил в общежитии: «Да, я там научился материться». Он был единственным иностранцем в городе, на него ходили смотреть. «Странный город. Крепость красивая. Но целлюлозный комбинат... Люди жёлтые, женщины старые, в два раза старше выглядят, чем на самом деле. И экология. Никогда не буду есть рыбные астраханские консервы! Рыба отравлена. Я там чуть не умер, не зная... А в университете очень много пьют».

Он летит в свою Венецию, у него в Париже пересадка. «А что вы дальше будете делать? У вас такой хороший русский!» «Я хочу вернуться в Россию. Я очень её люблю. Только не в Астрахань».

«И мщенье, бурная мечта ожесточенного страдания». Кто это написал? Пушкин? (Спросить у Борьки.) Да, Алеко, Арбенин. Тонко чувствовали оттенки страстей наши классики. Но вот за что мстит, например, Путин Ходорковскому? (Поправка на век.)

¹ Александр Чапкин, художник. Он и его жена Маша — близкие друзья Вадима и Ирины.

Вечный вопрос: насколько Цветаева была в курсе дел своего мужа, его работы на НКВД? Как писал Д.В. Сеземан в своей книге: «Confessions d'un métèque: 75 ans d'errance entre Moscou et Paris», Цветаева не была сумасшедшей и понимала, что деньгами, которые приносил Сергей Эфрон, оплачивалась его работа на эту организацию. (Как пишет тот же Сеземан, работали не ради денег, но деньги брали.) Но она наверняка не имела представления о характере работы — убийствах, слежках, провокациях. Даже Аля (А.С. Эфрон), помощница отца, мне кажется, довольствовалась «их» версией, искренне верила отцу. Помню, она говорила о смерти сына Троцкого в больнице якобы от аппендицита (на самом деле это было убийство): «Пока они (друзья Троцкого) искали хирурга-троцкиста, началось воспаление, когда нашли, было уже поздно».

Цветаева демонстративно не читала газет («Читатели газет — глотатели пустот»), а ведь Сталин распорядился печатать в коммунистических западных газетах отчеты о процессах, речи прокурора, признания обвиняемых. Хорошо, не читала. Но даже не читая, не могла о процессах не знать, в русских кругах происходящее в СССР не могло не обсуждаться. И ей, с её умом, верить чудовищному сталинскому спектаклю? Как трудно всё это понять. Теперь с чувством стыда (за неё) читаешь стихотворение «Челюскинцам», в котором она восхищается, что спасена со льдины была даже собака. «На льдов произвол / ни пса не оставили!», «Да здравствует Советский Союз!» А что испытала она, прочтя (или рассказал кто-нибудь) в речи Вышинского, обращенной к замученным обреченным людям: «Расстрелять как поганых псов!». Вспомнила ли «Челюскинцев» и спасенную собачку?

Особенно страшно читать в показаниях Сергея Эфрона (об этом есть в книге И. Кудровой «Гибель Цветаевой»), что он «устно сообщал работникам НКВД о том, что Клепининым нельзя доверять». Это о людях, с которыми делили кров в Болшеве, вместе обедали по воскресеньям на террасе, своих «боевых соратниках»! А честь бывшего белого офицера, героя «Лебединого стана», да просто порядочного человека, для которого невозможен донос? Да, его пытали, мучили, кто может выдержать оруэлловских крыс? Но ведь сообщал — до ареста, до пыток. И Аля встречалась с агентом НКВД Зинаидой Степановой в «Метрополе», и рассказывала о разговорах на даче... Невозможно это понять.

В «Записных книжках» Чехова некий «гимназист» выражается так: «Всё это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности». Мне кажется, многие мемуарные книги последнего времени можно так определить. И мои в том числе.

Гоголь в «Записках сумасшедшего» от 86 марта: «Уже, говорят, во Франции большая часть народа признает веру Магомета».

А сколько гениальных подробностей рассыпано в отрывках, неоконченных пьесках. Вот, например, сердцеед Собачкин перечитывает обращенные к нему любовные послания: «Я очинь здорова... видела вас в тигантере...». Черт возьми! Правописанья нет! Вот еще другое: «Я для вас вышла подвязку». Что-то буколического много, Шатобрианом пахнет.

Нужно поискать чего-нибудь сильного, где виден кипяток, кипяток. «Жестокий тиран души моей!» Вот как надо писать! Чувствительно, а между тем человек не оскорблен.

Мы в юности так же классифицировали поклонников.

Кажется, Розанов, не любивший Гоголя, обвинял его в том, что силой своего слова он слепил из русского этноса всех этих Чичиковых, Коробочек, Губернаторов, Ноздревых, и по этой гениальной матрице и стал оформляться великий народ. Два века почти прошло, сейчас смотрю на киевский Майдан и не могу отделаться от параллели: Сорочинская ярмарка, где бродит Басаврюк, ищет свою свитку, пан голова (Янукович), дьячок (Яценюк похож), на дне майского пруда томится прекрасная паночка с загадочной темнотой внутри... (написано осенью 2013 года).

Прочитала у Синявского о знаках препинания — какой писатель какие предпочитал. Ну, Маяковский — Цветаева — тире, это известно, задерживали опережающее дыхание. Розанов и его кавычки — столько об этом написано, тот же Синявский, его обожавший, немало страниц посвятил этим кавычкам. О себе он пишет: «Я тоже люблю тире. Но важнее двоеточие: в нём дано направление фразы, уводящей вглубь текста. А ещё я люблю скобки. Не то что люблю, а хочется постоянно говорить в скобках, забываясь куда-то между слов, глубже, в нору... В прозе скобки могут сыграть не подсобную, а первую скрипку, образуя пещеры, запруды, ущелья...». Я не могу физически удержаться от скобок, так и тянет спрятаться. А вот Вадик всё время пользовался точкой с запятой. Какой-то совершенно архаический знак, 19 век, в нынешней прозе не встретишь. Ну поставь точку посередине своих бесконечных периодов! Нет, я ещё не все сказал...

Известное выражение из письма Пушкина к Вяземскому, когда он благодарит за посланные стихи: «Критику отложим до другого раза. Ныне каждый порыв из вещественности драгоценен для души». А ныне? Мне особенно нравится, что Пушкин, так любивший французские изящные термины, поставил здесь не «материальное», «материю», а это косолапое русское — «вещественность».

Вообще удовольствие от чтения этих писем трудно переоценить. Можно узнать даже удивительные вещи из *la vie quotidienne*. Вот Пушкин без конца жалуется на свою «аневризму» и пишет, что некий молодой врач из Пскова, правда, спьяну, предложил ему операцию, сказав, что иначе он до 30 лет не дотянет. Но разве тогда делали операции на сердце? Да еще в Пскове? Или его мечта поехать в Лондон и увидеть «паровые корабли». А это 1824 год. Но почему же в России и в Крымскую войну через 30 лет был только парусный флот? Ведь если о «паровых кораблях» знали даже в Михайловском!

БЛ в письме к Нине Табидзе в декабре 1955 года, когда окончательно выяснилась трагическая судьба Тициана, утешая ее, пишет: «О как давно почувствовал я сказочную, фантастическую ложь и подлость всего, и гигантскую, неслыханную, в душе и голове не уместяющуюся преступность!» В этих замечательных письмах (они не раз опубликованы,

их стоит читать и перечитывать!) иногда встречается цифра 25. «Вот уже 25 лет как я нахожусь в фальшивом положении...» То отчуждение началось с начала 30-х годов.

Три (на мой взгляд) главные темы этих потрясающих писем:

1. поддерживал, сам уже не веря в спасение Тициана, в ней надежду, писал письма Берии, Сталину, радовался непроверенным слухам (искренне ли?) о том, что Тициан жив... «Ложь во спасение».

2. денежная помощь. До самой своей смерти в 1960 году регулярно отправлял ей деньги, то под видом гонорара, то «якобы мне переплатили в "Заре Востока"», то просто денежный перевод и ласковая записка при нём... В отчаянье, если нет денег и вынужден задержать перевод.

3. смешное. Так и слышу недовольное мычание БЛ: «Да вы с ума сошли!» Грузинские поэты, да и сама Нина Табидзе, со всей грузинской щедростью засыпали его подарками: с оказией или просто с проводником. «Пришло два вагона от Чиковани, как хорошо, Нина, что вы не прицепили к ним свою платформу!». Бутылки с вином, фрукты, сулугуни, чурчхела — всё от щедрой грузинской земли. Но эта обаятельная широта имеет свои неудобства, БЛ всё хочет объяснить, что «не надо, хватит»... Он должен ехать на вокзал, встречать поезд, который должен прийти в 10 утра, а приходит в час ночи. Чтобы не огорчать посылавших, пишет: «Я очень хорошо провел эти неожиданно свободные часы...». Можно себе представить! Каждый раз с этими дарами что-то приключается: то он кладет бутылки с вином на подоконник, а за ночь вылетают пробки, и ему приходится мыть окно и пол; то Ливанов, споря с Нейгаузом, разбивает бутылку чачи об угол стола, и как деликатно пишет БЛ, «мы всю неделю дышали ароматом винограда...»

Что меня ещё заинтересовало: отношения с Чиковани, с его женой, были не просто теплыми — это было глубокое взаимопонимание на уровне поэзии, общих взглядов на её задачи, их переписка — Гёте и Шиллер. А вот весной 1959 года, когда БЛ был в Тбилиси и Чиковани был еще жив (он умер в 1966 году), они не встретились.

Неужели Чиковани боялся поддержать гонимого друга? О встречах с Леонидзе, Гудиашвили — известно. А о Чиковани — ни слова. Обидно.

Сам БЛ этому удивлялся: «Я живу в совершенной тишине и одиночестве... Вероятно сюда дали знать писателям...» (это уже из писем к ОВ).

Письмо Белинского к Гоголю по поводу книги «Выбранные места из переписки с друзьями». В школе мы этот манифест революционного демократа учили наизусть, это входило в общий тогда курс обличения самодержавия. Потом, в 70-годы, когда начались мистические поиски русской духовности среди интеллигенции, это письмо квалифицировалось как пошлость «западника». (Кстати, среди тех, кто заново перечитал «Выбранные места» и считал эту книгу трагической и глубокой, а Белинского демагогом, был и Вадим.) Перечитала Белинского заново. Очень под многим можно подписаться, надо снова включать в школьные программы. Стяжательство, сервиллизм, невежество духовенства, «попов», как он их именует. О глубокой религиозности народа-«богоносца» — «У нас эта болезнь называется *mania religiosa*, русский человек земному богу подкурит больше, чем небесному, да еще через край хватит...», «Религиозность не привилась даже среди духовенства —

отдельные исключительные личности ничего не доказывают». «Вольтер, силой насмешки понизивший уровень фанатизма, больше христианин, чем русский православный». «Христос до тех пор был спасением людей, пока не стал церковью». И вопль, такой искренний: «Но Христа, Христа-то зачем вы сюда примешали!» Боже, когда смотришь на эти физиономии под митрами, Чаплины, Гундяевы, Кураевы... Только катакомбное христианство возможно сейчас.

Европа отмечает столетие начала Первой мировой войны. Много интересных книг выходит. А мне вспоминается фраза БЛ из «Повести». Летом 1914 года герой едет с семьей Фрестельнов, где он служит гувернёром, в их имение в Тульской губернии. Он смотрит в окно вагона, подставляя волосы «под прыжки встречного ветра...». Мимо лакированных дверей купе проходит обер-кондуктор, будит пассажиров... проплывают платформы, ограды парка, «как снятое с шеи ожерелье». И в конце: «Так передвигались люди тем последним по счёту летом, когда жизнь ещё обращалась к отдельным, и любить что бы то ни было на свете было легче и свойственнее, чем ненавидеть».

Париж — Москва — Париж, 2010–2014



Елена МЕНЕГАЛЬДО

/ Пуатье /

СЕРДЦЕ И ДОЛГ

Русский юноша в Париже 30-х

Я с детства слушала рассказы матери, Дианы Петровны Никифоровой, об ужасах гражданской войны, которые она пережила в Николаеве совсем ещё ребенком, о дальнейшей её жизни в изгнании. Судьба привела её в Пекин, затем в Париж, «столицу русской эмиграции». Её воспоминания вдохновляли меня при написании книги «Русские в Париже» (Hélène Menegaldo. Les Russes à Paris 1919–1939. Ed. Autrement). Однако эпизоды более личного характера туда не вошли и долгие годы хранились в магнитофонных записях. Мне захотелось воскресить образ Вениамина Кондратова, не дать кануть в Лету тому трогательному роману, который только успел завязаться между Дианой и юным гардемаринном, — жизнь молодого героя трагически оборвалась. Мать всю жизнь помнила о нём, загадочность его исчезновения не давала покоя её душе. Её рассказ лег в основу ниже следующего текста, я лишь придала ему более литературную форму.

* * *

В дни, когда я познакомилась с Вениамином, повсюду говорили о похищении генерала Кутепова. В газетах печатались снимки храброго русского офицера, ещё молодого, жены и маленького мальчика, сидящего в кабинете отца перед его портретом. Кутепов вышел из дома, дошел до угла улицы — и как сквозь землю провалился. С тех пор — ничего: никаких известий, требований, улик... словно и не было никогда генерала Кутепова в Париже. Его жена пошла по инстанциям, требуя более активного расследования, напоминая, что Франция обещала обеспечить безопасность её мужа. Журналисты откликались на фантастические заявления так называемых очевидцев с богатым воображением, на потребу ищущих сенсаций читателей. Жандармы исследовали подвалы и колодцы парижского района, но труп не находился. «Дело Кутепова» превратилось в скандальный фельетон, где был и чемодан с двойным дном, и агенты, тоже двойные, но не ключ к загадке. За всем этим маячила «рука Москвы»; подозрительны стали все эти «русскоф» — нарушители спокойствия, хотя бы и жертвы.

По правде говоря, я не слышала об этом генерале и ничего не знала о политической жизни русских эмигрантов во Франции. Позднее именно Леонтий Пашутинский¹, за которого я вышла замуж в 1935-ом году, объяснил мне подоплёку этого дела, поскольку он был близок к генералу Миллеру, — тоже похищенному, в 1937-м, — заменившему Кутепова во главе РОВСа, Русского общевойскового союза, основанного Врангелем. Оба генерала, знаковые фигуры борьбы против красных, возглавляли потенциальную армию, сформированную из белых ветеранов, обосновавшихся во Франции, и представлявшую опасность для советского режима. Устранить их значило обезглавить эту «теневую армию». Её самые активные участники — молодые идеалисты, нетерпеливо ждущие освобождения России от «большевицкой чумы» — тренировались для заданий в советской России. Фотографии «наших жертв, погибших за общее дело», — юношей и девушек чуть старше меня, попавших в руки палачей ГПУ, — иногда появлялись в эмигрантской прессе, что оправдывало — в глазах симпатизирующих коммунистам — деятельность советских секретных служб на французской земле.

Далекая от всяких интриг, я открывала «русский Париж» культуры и искусства в обществе влюбленного в меня проводника Вениамина Кондратова. Это было тонкое, очаровательное, предупредительное и деликатное существо. С ним я, наверное, сумела бы избавиться от моих фантомов, обрести равновесие и радость жизни, которых мне всегда не хватало. Он был безумно влюблен в меня, писал мне по десять открыток и более в те дни, когда мы не виделись; разносчик «голубых конвертиков» пневматической почты то и дело поднимался ко мне на шестой этаж. Я уничтожила всю свою переписку и все бумаги, все стихи, но сохранила его открытки. Он выбирал их ради забавного сюжета или чтобы «напомнить мне об артистах, которых мы видели вместе», любимые нами парижские уголки — вроде таинственного и романтического фонтана Медичи в Люксембургском саду. Или виды Корсики, чтобы я заранее познакомилась с чудесами «острова красоты», куда он надеялся меня повезти летом 1930 года — моим первым французским летом, подальше от душливой атмосферы Гранд Отеля, где я жила в Пекине, первом большом городе моей эмиграции. Стараясь развлечь меня и смягчить разлуку, Вениамин рассказывал — непременно с юмором — о своих буднях, о забавных случаях и встречах, переписывал стихи друзей и ноты модных песенок. Предвкушая удовольствие, я ждала почтальона.

¹ Леонтий Пашутинский (1903–1963) — отец автора, гимназистом защищал Киев от петлюровских войск, был в числе других дружинников арестован 14-го декабря 1918 года, заключен в Педагогический Музей и оттуда вывезен в Германию в лагерь для русских военнопленных, затем в Англию. В июле 1919-го года прибыл в Архангельск, где принимал участие в борьбе с большевиками в качестве танкиста, произведен в прапорщики и награжден Георгиевским крестом 4-ой степени. При вторжении большевиков в Северную область привез генерала Миллера на своем танке на борт ледокола «Козьма Минин», который доставил беженцев в Норвегию. Позже отправился в Крым (август-ноябрь 1920). После эвакуации и пребывания в Турции до 1924-го года жил в Королевстве С.Х.С. (Югославии). В Париже был активным членом Общества Северян (членский билет №104, подписанный генералом Миллером).

Вениамин был «гардемарином», совсем молодым курсантом флота, остатков русской эскадры, посаженных на мель в Бизерте. С ней он прошел весь путь от Севастополя до Константинополя и потом до Бизерты¹. Это вовсе не был роскошный вояж, он был ничуть не похож на мое путешествие из Тяньцзиня, несмотря на кораблекрушение, не предвиденное компанией.

Условия эвакуации были ужасны. Все корабли, реквизированные генералом Врангелем, от крейсеров до подлодок и торговых судов, были перегружены. Солдаты толпами стояли на палубе, они не могли двигаться вплоть до прибытия в Константинополь. Не хватало пищи и воды, царил страх нарваться на мину или подвергнуться атаке. Гардемарины пополнили экипажи, заменили матросов, ушедших к большевикам, помогали в машинном отделении. Они выполняли всякую работу, верные идеалу службы, внушенному во время учебы в Морской школе в Севастополе, когда еще была надежда возродить императорский флот на Черном море, частично уничтоженный «революционными матросами». Большинство кораблей, погибших в Бизерте, вышли с верфей Николаева.

У меня есть фотография его корабля, полученная в обмен на мою, которую Вениамин поместил на видном месте, среди фотографий своей эскадры, на мемориальной стене маленькой комнатки парижского пролетария.

В Бизерте, где закончилось ужасное плавание, кадетов, гардемаринов, моряков и военных «устроили» в старом заброшенном форте, населенном огромными клопами, сосавшими из них последние силы. Гражданское население занимало разваливавшиеся бараки соседних лагерей, в том числе недоброй памяти Сфаят. Жизнь налаживалась. Несколько выпусков гардемаринов вышли из воскресшей Морской школы², кое-кто получил стипендию французского правительства для продолжения учебы в метрополии. Но в 1924 году час русской эскадры пробил: признание Францией СССР поставило вопрос о собственности на корабли, которые пообещали Франции за оказанную помощь. Одни затребовали Советы, другие достались Франции. Последние члены экипажей, прежде всего молодые, покинули Тунис. Франция помогла им добраться до приемного лагеря в Марселе; оттуда они надеялись попасть в Париж.

И тут горькое разочарование: даже для молодого выпускника Сорбонны — русского — было практически невозможно найти что-нибудь подходящее; русским предлагали работу на заводах или в шахтах. Стать шофером такси считалось достижением. Вениамин и работал шофером ночного такси в маленьком парке, что для неженатого мужчины было вы-

¹ 21 ноября 1920 года ушедший из Крыма флот был реорганизован в Русскую эскадру, насчитывающую 32 корабля, на борту которых было 5 849 человек, в том числе 700 офицеров, около 2 тысяч матросов, 250 членов их семей, морское духовенство. Переход Русской эскадры из Константинополя в Бизерту, французский порт в Тунисе, приютивший беженцев, происходил с 8 декабря 1920 года по февраль 1921 года.

² Морской кадетский корпус, вывезенный из Севастополя, — самое крупное учебное заведение для русских в Африке.

годно: посадочные выше, а ночной тариф — вдвое дороже. Он ещё мог остановиться в *Ротонде* и встретиться с друзьями-поэтами, или даже побывать перед сменой в кино или театре. В организации труда ещё была определенная свобода: шофер, хорошо работавший и скопивший немного денег, мог взять отпуск «за свой счёт» или иметь свободное время для учёбы (ещё до оплачиваемых отпусков).

Однако экономический кризис давал о себе знать. На севере Франции шли забастовки, «беловейки», трудившиеся для больших магазинов, смешливые и разбитные, дефилировали на бульварах, требуя повышения зарплаты. Это были ещё смиренные дети, не прибегавшие к насилию; их поддерживала парижская толпа, воодушевленная тем, что видит сразу столько хороших девушек. Чувствовалось, однако, что ситуация может мгновенно перевернуться. Удивляясь отказу коллеги — с его «старой тачкой» — подвезти его однажды вечером домой, когда он возвращался с моей улицы Вовнарг в свой далекий Отей, Вениамин с юмором писал: «Какое нахальство! В такой будничной день и при настоящей работе, когда клиенты (я, например) ценятся на вес золота. Нет, я был возмущен. Никакого уважения к ночному тарифу».

Призрак безработицы, страх перед несчастным случаем, столкновения с неделикатными клиентами, отказывающимися платить, — такова повседневность шофера русского такси, изнанка блестящего фасада «мировой столицы». Вениамин писал мне: «Пассажиры попадают сегодня все какие-то особенные, — ни одной порядочной физиономии. <...> В субботу *particulièrement* по дождю работать было отвратительно. Машина скользит и все норовит пройти по тротуару с прохожими; через стекла ничего не видно, и я в тот день особенно беспокоился, что в Париже не хватит для меня фонарей».

Парижская полиция была скоро на руку штрафовать, особенно русских шоферов, за всякое нарушение, вроде задержки движения или посадки клиента по-чёрному, вне стоянки, что могло привести к штрафу, к потере лицензии или разрешения на работу... Вениамину выпали крупные неприятности из-за... Анны Павловой, знаменитой балерины, великолепной исполнительницы «Умирающего лебедя», чей парижский сезон начинался каждый год в начале мая в театре Шанз-Элизе.

Утомленная бесконечными гастрольями по всему миру вместе с балетной труппой, покрытая шарфами и пледом — от переохлаждения, — «сама Павлова» тут же уезжала в гостиницу на такси. Вениамин её знал, он был её «парижским шофером», но то, что он однажды «подхватил» Анну Павлову у выхода — вне зон стоянок такси — привело к тому, что его вызвали в суд. «Утром на другой день ездил в *Pantin*; говорил, доказывал, клялся, создавал впечатление, что я прав, и мне кажется, что моё дело будет улажено. И довольно. Больше не езжу под театр *des Champs-Élysées*; а Anne Павловой никогда не забуду — из-за неё чуть не поймал два штрафа. И на спектакли её не пойду, — пусть меня не спрашивает. *Il n'y a rien à faire*».

Но несколькими днями позже он покупал билеты... в театр Шанз-Элизе на «Князя Игоря», поставленного парижской Русской оперой... Дру-

гих встреч балерины и её шофера не произошло, поскольку в следующем году ни она, ни он уже не были в мире сём, чего мы не могли в тот миг себе представить.

Обычно мы виделись в пятницу в конце дня — ему нужно было немного отдохнуть. Вениамину давали выходной каждые восемь дней, но могли его перенести или отменить, — если на этом маленьком предприятии кто-то из шоферов заболел, например. В таком случае Вениамин начинал томиться и писал (по-французски): «пусть скорее пройдут эти тоскливые дни одиночества, эти дни разлуки — целая вечность, пока я дождусь встречи с тобой». «Мои счастливые минуты, а они бывают так редки в жизни, определяются теми днями, когда я вижу тебя, моя милая девочка... À bientôt, my beautiful sweetheart. <...> С тех пор как я тебя встретил и полюбил (не смейся, пощади мое бедное сердце!), я нашёл смысл и красивое в этой жизненной суете».

К счастью, Вениамин, безупречный работник, пользовался расположением патрона, который ему иногда позволял пользоваться машиной. Он свозил меня в лес Фонтенбло, а в другой раз — на 1 мая — патрон ему сказал: «Вам я не могу отказать». Тогда он сфотографировал меня сидящей на капоте автомобиля с пучком ландышей на свитере.

Один раз он пригласил меня на бал, организованный русской знатью под покровительством великой княгини, имени которой я не помню. Это *был гала-концерт*, сначала известных артистов, цыганских хоров и других, и буфет, чтобы выручить денег, а потом собственно бал, где я танцевала так много фокстротов, что на следующий день Вениамин осведомлялся о состоянии моих ног! Вспоминаю, как он был горд мною, одетой в роскошное стразовое платье и белую шубку. Видно было, что его знают в этой среде. Он представил меня княгине, которая смерила меня критическим взглядом — откуда эта выскочка? — но я хорошо видела, что она ревнует к моей молодости и костюму. Вениамин читал «Последние новости», газету Милюкова либеральной тенденции, он не был монархистом, но, конечно, сохранил связи с выпускниками морской школы Севастополя и Бизерты, — монархистами и, разумеется, противниками большевиков.

Вениамин обожал Корсику и знал её хорошо, побывал там не раз. У него были там русские друзья, поскольку большая группа старых офицеров и матросов из Бизерты попала на Корсику после кораблекрушения, — тогда они попытались достичь Бразилии на борту старого корабля, оставшегося от русской эскадры. Вениамин договорился с хозяином об отпуске, тот ему обещал предоставить автомобиль — и, следовательно, работу! — по возвращении, и организовал нашу поездку через Корсиканский офис. И во время ночных перемещений, за рулём он мечтал об этом путешествии, «когда мы будем вдвоем нос к носу, без наблюдающего глаза, без никого».

Его последняя открытка, написанная 16 мая 1930 года, оказалась очень коротка, что было на него не похоже. В ней уточнялись детали

нашей будущей встречи. Потом пришла «пневматичка»¹ — несколько поспешных строк: «я должен ехать, это мой долг, это вопрос чести, я обязан...» — и всё. И потом молчание. Навсегда.

Что почувствовал он, получив приказ отправиться на задание? Какая мука, отчаяние... какая ужасная ирония судьбы! Он знал, что его ждёт. Пойти на верную смерть, сейчас! Я не знаю, в какой организации он состоял, он мне ничего не рассказывал. Несомненно, в морском отделе Воинского Союза². Кутепов создал «внутреннюю линию», организацию тайной борьбы, в действительности полностью контролируруемую ГПУ. Вениамин, не имевший привязанностей — он потерял всю семью, — захваченный идеалом освобождения России от советского ига и верный клятве молодого офицера, находил смысл жизни в принятом на себя обязательстве, — до встречи со мной. Мечтая о Корсике, он писал мне: «через два месяца я буду самый счастливый человек в мире». Если он был ещё жив, то — в подвалах ГПУ, униженный, подвергнутый пыткам. Надеюсь только, что его застрелили на границе и что от всего остального он был избавлен.

¹ Пневматическая почта, пневмопочта или подземная почта: (тире?) письма в закрытых капсулах перемещались действием сжатого или, наоборот, разрежённого воздуха по системе трубопроводов, соединяющих почтовые отделения данного города. В Париже эта система до 1984-го года выгодно и дёшево дополняла еще мало развитую телефонную сеть. Использовались специальные бланки, голубого цвета, которые почтальон срочно доставлял на дом: «голубенькие» письма » или «пневматички», особенно ценимые влюбленными.

² В эти годы произошло обновление национальной идеи; помимо «внутренней линии» генерала Кутепова, главы РОВСа, были фашиствующие младороссы и НТС, Народно-трудовой союз, стремившийся приобрести сторонников в СССР.



Ара МУСАЯН

/ Париж /

ПО-РАЗНОМУ О РАЗНОМ

* * *

Откуда могли взяться на Руси — обезьяны? А ведь, исконно русское слово. Как бы заготовленное на тот день, когда заморские купцы ввезут сюда диковинное животное.

Или, быть может, в Библии о них упоминается, как о львах, слонах, китах — тоже сроду в этих краях не виданных, но для которых необходим был перевод.

На деле, все произошло несколько иначе: имелся глагол «обезьянничать», а когда появилось экзотическое животное, так дьявольски ухищряющееся подражать нашему собственному на каждом шагу попугайству, то, как и в случае попугая, назвали животное, чем попало — своим.

* * *

Как в компьютере используется лишь процент заложенного в нем потенциала, так и в полных собраниях сочинений писателей задействованы лишь какие-то доли неизведанных возможностей языка.

Откуда и обнадеживающая бесконечная перспектива творчества — для новых и новых поколений писателей.

* * *

Творцы — это когда мы сами для себя становимся загадкой: самопишущие аппараты, дивящиеся своему на бумаге собственному извержению — *свершению*.

На божий свет являемся — желанными. В литературу — *вламываемся* сквозь дубовые, наглухо закрытые двери.

* * *

Новый папа любит бедных, т.е. тех, кто не нужен никому — кроме него самого, давно уже никому не нужному.

* * *

Чего стоит такая *случайная* поистине «авантюра», как мое русское писательство? Другое дело профессия, дело, предприятие — методичное с начала до конца. Не скажи мне Боков «в этом есть что-то *ценное*», прочтя одно из моих самых первых шести подражаний Понжу — «Велосипед», не было бы и ввек писателя — Мусаяна. Никто другой не сказал бы мне этих слов. В моем окружении был лишь один — *читатель*.

* * *

Творчество: что ни день, покупать мимоходом лотерейный билет, и каждый раз, выигрывать. Не миллионы, но *выигрывать*.

* * *

Грех гордыни. Долго противимся, наученные опытом, сдерживаемся, но вскоре сдаемся, умиленные ежедневным в нас проявлениям гения, которым так и не терпится поделиться с ближними...

Пока не услышим песняра, делящегося напрямик по радио о таких же своих внутренних переживаниях и умилениях, сопровождающих его собственные «гениальные» творения. Сразу гаснет в нас пыл самомнения.

.

Жабья зобастость *Я*. Спесь — пена, вылившаяся за борт кастрюли и заразившая все вокруг запахом гари.

* * *

Благо, есть люди, довольствующиеся славой издателей-«продюсеров» — таких как мы — *фигляров!*

* * *

Суффикс *-ство*, и *сущ.* — ствол.

Существо — то, что призвано стоять. *Лежащее* — камни, океан, и даже высокие горы не есть существа.

Исключается слово и в применении к растениям, хотя это живые организмы и устремлены ввысь — но лишь как к источнику их существования.

Для пресмыкающихся особенно удачным оказалось слово «тварь»: то, что *сотворено* (со стороны) — не «само-стоит».

Существо, стало быть — человеческое, могущее не только стоять на ногах, но и — *восставить*.

* * *

Власти считают свое дело сделанным, выполненной возложенную на них (кем же это?) миссию, коль скоро обеспечено в среднем минимальное образование населения — откуда и специальная, местами первая статья гос-

бюджетов. Преступления рассматриваются лишь как *отступления*, «исключения», подтверждающие всеми соблюдаемое правило общежития: люди не на каждом шагу задирают друг друга, до убийств доходит лишь в самых крайних случаях (с массой смягчающих обстоятельств), и не так уж часто бьют — любя.

Среднее, а тем более, высшее образование — вторично и второстепенно: предназначено придать видимость блеска горстке будущих властителей — тел и умов.

Непрестанная борьба общества против своей элементарной (взрывоопасной) частицы.

* * *

Ерванд Кочар — живописец «в пространстве», со временем логично приступает к скульптуре. В моих глазах долго оставался автором статуи герою армянского эпоса — Давиду Сасунскому, на привокзальной площади, в Ереване, а вчера по армянскому телевидению — озарение...

То малое, что было суммировано в трехминутной программе свидетельствует о феномене в живописи и скульптуре, — о котором, увы, никто, кроме заглядывающих изредка в телевизионные программы страны, так, наверняка, и не узнает.

* * *

Настолько влюбиться в рисунок букв, чтобы всю жизнь лишь и заниматься чистописанием! — Средневековые рукописи.

* * *

Внешние условия жизни — проходят, оставляя в нас лишь со временем все более смутные воспоминания. Единственное неизменное — я, пока мы себя помним.

Гегель (по радио): «Душевные ранения не оставляют шрамов».

* * *

Как объясняется — знают лингвисты — отсутствие формы «состой», от «состоять», в смысле: на службе, в рабстве и т.д.?

Одним ли отсутствием употребления?

Или какой-нибудь негласной, но таки цензурой? — Откуда и эвфемическое «служи» (на благо родины), «работай» (на прокормление семьи).

* * *

Нужна пауза — перед очередным подвигом в плане, интересующем нас в первую очередь, — так отдых нужен земле. Беда, если остается малейшая память, след о последнем, нами написанном. Необходима *дистанция* (расстояние и — «сброс напряжения»): именно так, а не иначе забиваются голы.

* * *

Из письма к коллеге

«...а у меня вдруг проблема с поговоркой «Волка бояться в лес не ходить» — нарочно не ставлю знаков препинания, однако запятая разумеется, а я бы еще добавил вопросительный или даже восклицательный знак: «Волка бояться, в лес не ходить!» По-французски перевели: «Боисься волка, не ходи в лес». — Явная недооценка тонкостей народной мудрости...»

* * *

Встретился предмет — русский язык, которого — в какой-то момент — захотелось исследовать все ресурсы, сияния, игру.

* * *

Официальные факты, акты не интересуют литературу. *Выслушать* кое-кого на этот счет еще можно, но уж никак не *читать* о том, как вас преследовали власти некоей тоталитарной «социальной формации» — агенты, гебисты, менты. Литература исследует *свободные* — любовные, либо насильственные человеческие деяния, а агенты госслужб несвободны были действовать с вами иначе — разве что в эпоху начавшегося разложения названной системы. Нигде — ни в какой стране, кроме «страны советов» — противостояние индивида и государства не выросло, как в России, до масштабов *художественной темы*.

* * *

Живем с видимостью — *ослепительной* — полового раздела женщин и мужчин, а на деле — бесплотные лишь самосознания.

* * *

Каин «не отвечал» за брата, и кончил тем, что убил.

Социалисты считали себя ответственными за всех, а кончилось теми же «братскими» кровопролитиями.

* * *

Язык, в семействе музыкальных инструментов, что — орган: большинство не успевает исследовать его несметные возможности, дабы высказать что-нибудь достойное о самом себе.

* * *

«Она ему *д...а*». — Женщина дарует то, что не нуждается ни в каких уточнениях, *дополнениях* — во всяком случае, на русском.

По-французски (правда, в изысканном стиле): *elle lui accorde les dernières faveurs* — «она ему *пожаловала последние щедроты*».

* * *

Как футболисты, познающие вершины славы, и о которых четверть века спустя помнят лишь имя, клуб, страну;

как актеры, оперные певцы, даже самые дивные из див (о, Полин Виардо!), слава которых тоже не длится,

так и писатели, даже перечитываемый на днях автор бессмертных «Бувара и Пекюше», кроме разве самого первого из всех, Гомера — всех нас ожидает забытье. Исключение — актеры *кино*: Аллен Делон, «На ярком солнце».

* * *

Со временем все переходит в повод для хохм (насмешек, не обязательно злых): партизаны, что спасали отечество, государи, родители...

И наоборот — тираны, изверги обретают что-то *отвратно человеческое*.

* * *

Классовая вражда — ненависть, на фоне *зависти*: не борьба.

* * *

(Теория): разница между двумя соседними индивидами больше, чем между родами — между двумя картофелинами, которые я сейчас чищу и каждая представляет ножу особого вида или силы сопротивление, чем между человеком и обезьяной, картофелем и яблоком — к примеру.

* * *

Сегодня вышел на прогулку совсем не в тот час, к тому же, суббота — в аллее не одни бегуны или отдельные, как я, прогуливающиеся: в десяти шагах за мной симпатичная семейка с ребенком в колясочке. Вот уже почти полкилометра, как эти голоса, шаги, скрип колесиков занимают весь мой центр внимания, не дают собраться с мыслями. Идем, что называется, в шаг, у меня он чуточку сонный после долгой неудавшейся сиесты, они — видимо, тоже, в надежде, что я сверну при первой возможности — воздерживаются от сложного на этой и так узкой дорожке — маневра обгона. И вспоминается утром прочитанный рассказ:

«Хорошо бы в общественных садах отвести аллейки для тихого гуляния, с двухместными скамейками, стоящими на расстоянии 2 метров друг от друга, причем между скамейками насадить густые кусты, чтобы сидящий на одной скамейке не видел, что делается на другой. На этих тихих аллеиках установить следующие правила:

- 1) На аллейки запрещен вход детям, как одним, так и с родителями.
- 2) Запрещен всякий шум и громкий разговор.
- 3) К мужчине на скамейке

имеет право сесть только одна женщина, а к женщине только один мужчина. 4) Если сидящий на скамейке кладет рядом на свободное сидение руку или какой-нибудь предмет, то подсесть нельзя.

Отвести также аллеи для одиночного гуляния, с креслами на одно лицо. Между кресел кусты. Воспрещен вход детям, шум и громкий разговор» (Д. Хармс).

* * *

Чем издалече нацелен взгляд, тем он проникающ в суть вещей. Накопившаяся в полете сила инерции.

* * *

Одни изобретают, другие — забредают. В итоге, кое-кто что-то *обретает*.

* * *

Бульканье — нечто газообразное бурно пронизывает жидкость, булькает, бурлит. Не напоминает ли это нам нечто более близкое, интимное: постоянное проникание в нас окружающего воздуха? Наконец, ответ на вопрос: зачем мы мучаемся всю жизнь — напрягаемся дышать, — для кого, с какой целью. Все ясно: не мы дышим, в нас нечто пропускается, надувает и спускает камеру легких в силу чисто механических — сил и причин.

Огонь, воздух, вода, земля. «Огнем» сквозь «земное» дно океана проталкивается в «водную» среду газ, тут же образуя пузырь с непроницаемой оболочкой (библейская «глина»?), в котором давление отныне ищет разрежения, как все в природе «ищет» равновесия (откуда пульсация, обусловленная вариациями внешних условий: давление, температура, но и «обменом веществ», т.н. дыханием, питанием: химические процессы, участвующие, «используемые» для снятия первоначального давления, — куда надо добавить взаимодействие «пузырей», изначально двойное: *пожирание* одних другими и *слияние* двух, где оба исчезают во множестве новых пузырей, происходит временное разрешение проблемы избытка давления за счет его разделения на большее количество единиц).

Вся история «жизни» — в *полонении* (заполнении и заключении) газа в оболочку, находящуюся в среде, где его высвобождение требует проявления инициативы. «Освобождение» происходит в конце «жизни». Но ценой, за время жизни, порождения все новых пузырей, со временем специализирующихся, колонизирующих весь океан и вскоре — сушу. Дальнейший этап — колонизация космического пространства. Человечество научилось любить свою телесную тюрьму, умеет от нее в любой момент освободиться: наркотики, религия, стрельба. Дабы все не началось с начала, как в случае с Сизифом, ищет «бессмертия» этой высшей формы жизни, и уже ничто не может ей грозить, если она научится обживать новые планеты.

* * *

«Пария» — или:

у кого нет сил — заниматься тяжелой атлетикой, *проворности* — быть футболистом, *ума* — шахматистом, *денег* — теннисистом, альпинистом — на покупку билета до подножия Эвереста, найма носителей, *велосипедистом* — на оплату «услуг» медицинской бригады;

и который вынужден выдвинуть собственный вид — редко, но иногда-таки единогласно принимаемый как олимпийский.

* * *

Половой акт — единственное действие, в котором мы прямо сообщаемся с покинутой некогда нами природой; видеть, слышать, дышать — тоже в какой-то степени «действия», но многое в них пассивно, автоматически; и уже не идем на охоту, а ходим на работу или, если и рискуем чем-то, то уже вне контекста природы — играя на бирже, в казино; пищу принимаем тоже как автоматы, регулярно, в определенные часы, в пластиковых («полиэтиленовых») мешочках, пластиковых тарелках с пластиковыми же ножами и вилками, а скоро и вообще перейдем на таблетки (все мы, ведь, в конечном счете «космонавты»). Убивать запрещено религией, остается женщина — неиссякаемый и невредимый источник природности. А для тех, кому это противно — мистика, прямое общение с тем, что творит бесконечно природу.

* * *

Как постоянно нам надо *действовать*, чтоб оставаться в живых: двигаться, чтоб не атрофировались мышцы, питаться; каждые три секунды — вбирать в себя и выбрасывать определенный объем воздуха!

* * *

Есть от моего русского писания удовольствие сродни с перебиранием струн на гитаре — *гусях*, но не в этом главное.



Дмитрий ЗАМЯТИН

/ Москва /

О МГНОВЕННОСТИ БЫТИЯ

Три случая, о которых стоит рассказать. О не ускользании бытия, но о его мгновенности, пустотности и ничейности.

I

Привокзальная площадь города Иваново, какое-то небольшое кафе со стойкой, где отпускают водку в розлив. Человек передо мной в очереди заказывает сто грамм бесцветным голосом. Скорее даже, беззвучным образом, привычным очертанием губ. Сам он также невзрачен, «без свойств», но именно поэтому человек вообще.

Взяв стопочку, он никуда не отошёл — в сторонку ли, к столику ли, к окну. Я не понял, что произошло. Но момент бытия был, было бытие, сосредоточенное в руке рабочего человека.

Возможно, так стреляли из кольта на Дальнем Западе, я не знаю — пытаюсь найти сравнение. Это и не показ фильма в ускоренном виде. Что-то было, но — как ничто.

Человек поставил на стойку пустой стопарик и отошёл. Буфетчица даже не успела распахнуть полученную мелочь по своим денежным местам. Но у неё был свой мир, в котором опустошённый водочный стопарик вкупе с приложенной к нему временно рукой из-за прилавка был, наверное, просто природой, фоном, средой.

II

То было в Москве, на выходе из метро «Нагорная», ранней весной. Время к вечеру, люди с работы, пригревшее солнышко, анонимность коробочно-спально-промышленного пейзажа.

Народ кучковался вдоль линии торговых киосков, у автобусных остановок, всё время что-то менялось, подходили и уходили автобусы, менялись люди. Не менялся один человек.

«Офисный планктон», костюм с галстуком без имени и судьбы, он запрокинул голову вверх, к солнцу. В рот вставлялась время от времени бутылка пива. Голова, соответственно, опускалась, потом поднималась вновь, кадык медленно передёргивался.

Он всё же стоял в стороне, хотя и невдалеке от парочек, соображавших на троих или же семейных группок. И его не было здесь.

Я не знаю, что было в его жизни, кроме вечера этого дня на выходе из метро «Нагорная» с бутылкой пива. Глаза его были не пустыми, а игольчатыми. Может быть, он медитировал глазами.

Единственная реальность, которая обозначала место для него — мерно, автоматически циркулировавшая вверх-вниз бутылка. Пустынные очертания клерка фиксировали дальнейшую нигдежность, ненайденность потустороннего пяточка у окраинного метро.

III

Домашний кот порой не менее силен в телекинезе, нежели завзятый визионер. Так как-то случилось, что кот был в передней, входная дверь на мгновение — открытой, а в её проёме, на лестничной клетке, в полуметре — слюнявая морда пожилой бульдожихи из соседней квартиры, шествовавшей к себе после дворового моциона.

Ещё здороваясь с соседкой, я ощутил спиной необратимые изменения в строении Вселенной, пространство было уже не то.

Не было ни истошного мяуканья, ни «пулемётного» ахающе-хрипящего рычания. Бульдожиха вместе с хозяйкой чинно прошла к себе, я же, обернувшись, закрыл, уходя, свою дверь.

Закрыл, да не закрыл. Мне казалось, что пространство квартиры стало параллельным миром, или зеркальным, или анти-миром. В любом случае, он был создан моим домашним котом без какого-либо участия земного времени. Это было укрытие уничтоженной вечности двух случайно встретившихся взглядов.

Борис МАРКОВСКИЙ

/ Корбах /



ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ МАНДЕЛЬШТАМА

(Заметки о поэзии, дневниковые записи)

Не повинуется мне перо: оно расщепилось
и разбрызгало свою черную кровь.

О. Мандельштам. «Египетская марка»

ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ

К полуночи я наконец добрался домой...

Стоял холодный бесснежный январь.

Я шел по спящему городу, упрямо повторяя врезавшуюся в память строку: «Я развернул пальто, как парус»¹...

Именно этой зимой я начал писать заметки о Мандельштаме. Даже название придумал: «Чёрное солнце Мандельштама». Не солнце Эреба, не образ, отсылающий к Нервалю, которого обожала Ахматова, а, по словам Надежды Яковлевны, — *черный бархат всемирной пустоты, черный лед стигийского воспоминания, черная Нева и черные сугробы революционного Петербурга...*

Этот образ («черное солнце») встречается также в стихах Виктора Гюго: «Un affreux soleil noir d'où rayonne la nuit» («Ужасное черное солнце, излучающее ночь...»).

«БРЕД СОБАЧИЙ!»

В «Дневнике одного гения» Сальвадор Дали без особого почтения отзывается о своих соотечественниках, у которых завелась «дурацкая <...> мода, когда все кому не лень воображают, будто гении <...> это человеческие существа, более или менее похожие на всех остальных простых смертных. Всё это чушь».

Мандельштам (если верить Кузину) тоже любил повторять: «Чушь! Бред собачий!»

¹ Стихотворение Ю. Боброва.

В мемуарах, помеченных октябрём 1970 г., Б. Кузин вспоминает, как Мандельштам, прощаясь, кричал ему, высунувшись из пролётки: «Борис Сергеевич, не носите крахмальные воротнички. Их нельзя носить. Они вас погубят»¹.

Не погубили! Кузин, несмотря на три года лагерей и шестнадцать — ссылки, всего десять лет не дожил до перестройки.

ИТАЛИЯ

Новый год встречал у Левита-Броуна.

В Вероне шёл дождь. Мы сидели на кухне, говорили о погоде, потом — о стихах.

— Я не большой поклонник Блока, — несколько агрессивно заметил Броун.

Меня это удивило. А как же:

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух...

— Красиво... — процедил Броун, после чего неожиданно замолчал.

В это время небольшая черная кошка с уродливо торчащим животом, не спеша, прошла по балкону.

Я налил себе чаю.

Ну что ж, Бунин тоже не любил Блока.

И Арсений Тарковский под конец жизни с горечью произнёс: «Я не люблю Блока. Знаете, разлюбил... Почувствовал ужас перед "И перья страуса склоненные / В моем качаются мозгу..."»².

«ДОМАШНЕЕ БЕССМЕРТИЕ»

«Наконец мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье, — пишет Мандельштам в статье "Слово и культура". — Воду в глиняных кувшинах пьем как вино».

Интересно, что и в его стихах (самых разных лет) постоянно возникают образы, так или иначе связанные с водой: «Прозрачный стакан с ледяною водою...», «Словно темную воду, я пью помутившийся воздух...», «Хорошая, колючая, сухая / И самая правдивая вода...», «кривой воды напьюсь...» Вплоть до: «Скольжу к обледенелой водокачке / И, спотыкаясь, мертвый воздух ем».

¹ Ср.: «Не носите эту шляпу, — говорил О.М. Борису Кузину, — нельзя выделяться — это плохо кончится». *Мандельштам Н.Я.*, Воспоминания.

² *Тарковский А.* «Пунктир». 1982.

А вот цитата из «Египетской марки» (1928):

Семья моя, я предлагаю тебе герб: стакан с кипяченой водой.
В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся
домашнее бессмертие.

Пушкин в отличие от Мандельштама пил другие напитки: «Я воды
Леты пью...»¹

«ДИКОЕ МЯСО»

В статье «Преодолевшие символизм» Жирмунский называет Мандельштама «фантастом слов».

У Гоголя (если я ничего не путаю) есть рассуждение о природе фантастического, где он утверждает (цитирую по памяти), что на грушевом дереве могут расти золотые плоды — груши, но никогда — яблоки.

Меня всегда поражала, несмотря на чудовищные семантические (читай: тектонические) сдвиги в стихах и, особенно, в прозе Мандельштама («В ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост»²) невероятная, абсолютная, беспощадная точность его метафор. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить хотя бы «мраморную плаху умывальника» из «Египетской марки».

«ВЕТЕР ЛЕТАРГИИ»

По просьбе дам,
хвостом помазав губы,
я заговорил на свеже-рыбьем языке!

А. Кручёных

Перечитываю Алексея Кручёных. Какая прелесть! Цитирую наугад:

«Очевидно, с каждым веком подрастает некая сила, подобная ветру, которая все упорнее мешает поэтам стрелять прямо в цель и требует изощренной баллистики».

(Терентьев)

...Поскольку мистика символистов кончилась трагично, к ним применимы слова поэта А. Чачикова:

Проезжий фокусник увез мою жену,
Влюбленную в египетские тайны...

...Р. Якобсон поэтому имел полное право писать: «по существу всякое слово поэтического языка в сопоставлении с языком практическим — как фонетически, так и семантически — деформировано!»

«Вокруг земли <...> дует ветер летаргии».

(Терентьев)³

¹ Пушкин А. Домик в Коломне.

² Мандельштам О. Четвертая проза.

³ Кручёных А. Кукиш пошлякам.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Еще об Италии...

В полтретьего ночи мы с Борисом встречаемся на кухне. Этакое *броуновское* движение. Броун, не торопясь, ополаскивает заварочный чайник. Меня, честно говоря, уже воротит от чая. Но... мы не можем разойтись по комнатам, поскольку продолжаем говорить о Георгии Иванове. Каждый спешит произнести вслух любимые строки.

Я:

...Зимний день. Петербург. С Гумилёвым вдвоём,
Вдоль замёрзшей Невы, как по берегу Леты,
Мы спокойно, классически просто идём,
Как попарно когда-то ходили поэты.

Левит-Броун:

Мне весна ничего не сказала —
Не могла. Может быть — не нашлась.
Только в мутном пролёте вокзала
Мимолётная люстра зажглась.

Только кто-то кому-то с перрона
Поклонился в ночной синеве,
Только слабо блеснула корона
На несчастной моей голове.

Засаеваем, так сказать, *пшеницей* ледяной новогодний *эфир*. Кстати, «эфир» — одно из любимейших слов Г. Иванова.

«ЗВУКОВЫЕ ПОВТОРЫ»

Осип Брик в статье «Звуковые повторы», опубликованной в 1917 году, писал:

Разбирая звуковую структуру поэтической речи, преимущественно по стихотворным произведениям Пушкина и Лермонтова, я обнаружил звуковое явление, которое назвал повтором.

Сущность повтора заключается в том, что некоторые группы согласных повторяются один или несколько раз, в той же или измененной последовательности, с различным составом сопутствующих гласных.

Он приводит множество примеров:

и **к**р**о**вь ш**ир**о**к**ими струями
на чеп**р**а**к**е его видна.
(Лермонтов, «Демон»)

Или:

как **взор грузинки** молодой.
(Лермонтов, «Демон») и т.д.

Перечитывая статью, вспомнил пушкинские строки:

Во глубине **сибирских** руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш **скорбный** труд...
(«Во глубине сибирских руд...»)

А также — вторую строфу из стихотворения Мандельштама «Декабрист»:

Честолюбивый сон он променял на **сруб**
В глухом урочище **Сибири**
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в **скорбном** мире.

И у Пушкина, и у Мандельштама эпитет «скорбный» произрастает из «фонетической» Сибири, отчего воздействие его усиливается многократно.

«ТОСКА ПО МНОГОСЛОВИЮ»

«Карамзина спрашивали, откуда у него такой дивный слог. Из камина, батюшка, сказал он. "Напишу, и в огонь, напишу снова и снова — в огонь"», — я обнаружил эти слова в 8-м томе Собрания сочинений Бориса Хазанова, которое готовил к печати для издательства «Алетейя» на протяжении двух последних лет. В эссе «Тоска по многословию».

В позапрошлом году я приезжал к Хазанову в Мюнхен. Поезд пришел с опозданием. Я почему-то ожидал увидеть гиганта. Увидел человека небольшого роста (казалось, он никуда не спешил), с любопытством разглядывающего толпу.

«ВЛАДЕЛЕЦ ШАРМАНКИ»

Из прозы Цыбулевского («Владелец шарманки»):

— Я верю в сны как в художественные произведения.
— Сон как рукой сняло, и во сне сняло рукою — это что — все одна и та же рука?

Хозяин сладко зевнул, гость вышел и стал прогуливаться по саду меж двух рядов цветущих деревьев. За оградой — луг с пасущимся конем.

— Что может прийти в голову в такое утро при виде полоски воды, обрамленной лугом?

«Я видел озеро, стоящее отвесно» (Мандельштам). И еще: «Круглый луг, неживая вода» (Ахматова). Вспомнил — как сотворил. Природа не может и шелохнуться без строки поэта.

«Я ухо приложил к земле» (Блок) — какая прекрасная буквальность! И он приложил ухо к земле — и сердце — терапия такая — тут в саду дор. мастера с переносными на балконе дорожными знаками: идут работы — объезд.

Дом. Сад. Пчелы. Цветенье. Низкорослые деревья. Деловое жужжание пчел. А горький запах откуда? Оттуда — от ореховых листьев — настой в воздухе.

И дождь перед дождем — яблоневого цвета — ураганный.

Капли первые в лоб, как в окно.

Женщина-Дон-Кихот ждет Росинанта в поле — она далеко — он еще дальше — белый на зеленом — она — оранжевая. И озеро, стоящее отвесно.

Гром. Гром покати́л. С чем его сравнивали до колесниц, до телег? — ведь не с чем! И колесо выдумали, и колесницу изобрели благодаря грому.

Поле опустело.

Не забыть бы, что трава в тот день была осыпана белыми лепестками.

«Сон как рукой сняло...» О чем это я? Да всё о том же: «вспомнил — как сотворил».

«В РОСКОШНОЙ БЕДНОСТИ...»

Гвоздь вечера — Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме.

Дневник А. Блока

«Если бы залы Эрмитажа вдруг сошли с ума, если бы картины всех школ и мастеров вдруг сорвались с гвоздей...» — так начинает Мандельштам один из своих пассажей в «Разговоре о Данте». Чуть дальше он вспоминает о «неизносимых швейцарских башмаках с гвоздями».

О гвоздях говорит в «Шуме времени»: «...держали большую лавку финских товаров <...>, где пахло и смолой и кожами <...> и много было гвоздей» и в «Четвертой прозе»: «Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом ворохом пахнущего щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде».

И еще:

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

(«Квартира тиха как бумага...»)

А вот знаменитые стихи 36-го года:

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий...

.....
 Там, где огненными щами
 Угощается Кашей,

 Камни трогает клещами,
 Щиплет золото гвоздей.
 («Оттого все неудачи...»)

Откуда столько гвоздей?

Разгадка в «Шуме времени»: «Я тогда собирал гвозди: нелепейшая коллекционерская причуда. Я пересыпал кучи гвоздей, как скупой рыцарь, и радовался, как растет мое колющее богатство».

ВЫБОР

Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено.

О. Мандельштам. «Скрябин и Христианство»

Телефонный разговор, состоявшийся между Сталиным и Пастернаком, прерывается на самом интересном:

Пастернак. Хотелось бы встретиться с вами, поговорить.
 Сталин. О чем?
 Пастернак. О жизни и смерти...

Именно об этом всю свою жизнь говорил Мандельштам. О жизни и смерти! Ни о чем другом. В конце концов он швырнул в лицо злодею отлитые из бронзы слова: «Власть отвратительна как руки брадобрея...» («инстинкт самосохранения давно отступил перед эстетикой»¹) и совершенно сознательно выбрал для себя «жизнь, полную смерти»², набросил ее себе на плечи, как гоголевскую шинель.

ДУЭЛЬ

27 ноября 1913 г. в «Бродячей собаке» Мандельштам вызвал Хлебникова на дуэль. «Я как еврей и русский поэт считаю себя оскорбленным...» и т.д.

Дуэли входили в моду.

Незадолго до этого на Черной речке стрелялись Гумилёв с Волошиным. Никто никого не застрелил, однако поссорились на всю жизнь.

Виктору Шкловскому и Павлу Филонову (секундантам Хлебникова и Мандельштама) удалось дуэль предотвратить.

¹ Бродский И. Сын цивилизации.

² Аннинский Л. Осип Мандельштам: «...но люблю мою бедную землю...».

...Много лет спустя, уже в Москве, Мандельштам пытался выхлоптать для Хлебникова комнату (как всегда, безуспешно), а однажды, случайно встретившись с ним в Госиздате, потащил обедать к знакомой уборщице, работавшей в Доме Герцена.

Уборщице кто-то сказал, что Хлебников — странник, и она почти-тельно называла его батюшкой. Хлебникову это понравилось¹.

О несостоявшейся дуэли Мандельштама с А. Толстым ходили легенды.

...Осип Эмильевич искренне был поражен, как это Толстой не вызывает его на поединок, хотя бы на рапирах, которые наш прирожденный дуэлянт своевременно раздобыл в бутафорской Камерного театра.

Ожидая секундантов, Мандельштам рьяно тренировался...²

Перефразируя дневниковую запись Жюль Ренара («Дуэль всегда немного похожа на репетицию дуэли»), возьму на себя смелость предположить, что и человеческая жизнь со всеми её надеждами и разочарованиями порой напоминает репетицию спектакля, который вот-вот должны отменить из-за невежества публики, финансовых неурядиц и бесконечных актёрских склок.

«ВТОРАЯ РЕЧКА»

27 января 1837 года в районе Чёрной речки состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.

27 декабря 1938 года в лагере «Вторая речка» умер Осип Мандельштам.

I

Церковная хрупкая свечка
горит и горит, не сгорая...
Зловещая Черная речка
и черная речка Вторая.

Монету — орел или решка —
подбросил, со смертью играя...
Зловещая Черная речка
и черная речка Вторая.

Плохая, должно быть, примета —
играть рукояткой узорной
упавшего в снег пистолета
на речке январской и черной.

¹ Старкина С. Велимир Хлебников.

² Мариенгоф А. Бессмертная трилогия.

Нечаянный выстрел, осечка,
и эхо вороньего грая.
Зловещая Черная речка
и черная речка Вторая...

II

Не чужа огромной страны,
он бредил ключом Ипокрены
и видел кровавые сны —
грядущие казни, измены.

Он был собеседник ничей.
И вот отыскалось местечко —
болотистый мутный ручей,
Вторая, декабрьская, речка.

ДЕТСКИЕ СТИХИ

Я совсем маленький. Мама кормит меня из ложки манной кашей и, чтобы ускорить процесс, нараспев (с выражением) читает стихи:

— Ты куда попала, муха?
— В молоко, в молоко.

— Хорошо тебе, старуха?
— Нелегко, нелегко.

— Ты бы вылезла немножко.
— Не могу, не могу.

— Я тебе столовой ложкой
Помогу, помогу.

— Лучше ты меня, бедняжку,
Пожалей, пожалей,

Молоко в другую чашку
Перелей, перелей.

Много позже (уже в зрелом возрасте) я узнал, что это стихи Мандельштама. Оказывается, впервые я познакомился с его поэзией почти 60 лет назад в далеком 1954 году, пяти лет от роду.

«Я НЕ УВИЖУ ЗНАМЕНИТОЙ ФЕДРЫ...»

Читал ли Мандельштам «Федру» Расина? Аверинцев не придавал этому особого значения:

Одни интерпретаторы склонны априорно ожидать от поэта в каждой строке чудес эрудиции, другие, напротив, ссылаются на отложившиеся в анекдоты отголоски пересудов о пробелах в его познаниях, задают провокационные вопросы, вроде такого, например: а дочитал ли он до конца хоть «Федру» Расина, ту «знаменитую «Федру» <...> — которую возвел в ранг одного из абсолютных ориентиров вкуса и нескончаемыми аллюзиями, на которую в таком изобилии насыщал свои стихи и прозу?¹

А вот Жирмунский, по свидетельству Л. Гинзбург, был почти уверен, «что Мандельштам не читал “Федру”; по крайней мере, экземпляр, который Виктор Максимович лично выдал ему из библиотеки романо-германского семинария, у Мандельштама пропал, и скоро его нашли на Александровском рынке»².

Он же впервые обратил ее внимание на странность стихов:

И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне...

«Какие могут быть у оссиановских дружинников шарфы?» — недоумевал он.

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

«...кто осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека не должен стоять на земле как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует?»

О. Мандельштам, «Гуманизм и современность»

Перелистывая книгу Рюрика Ивнева «Богема», наткнулся на замечательный диалог:

- Осип Эмильевич, куда вы?
- Милый Рюрик, если б у меня был дом, я сказал бы, что иду домой.
- <...>
- Но вы же где-то ночуете?
- Мандельштам:
- Иметь крышу над головой не означает, что ты имеешь дом.

Как известно, Мандельштам никогда не имел ни постоянной крыши над головой, ни, тем более, дома (квартира в Нащокинском не в счёт)...

Вполне возможно, что страсть к перемене мест Мандельштам унаследовал от матери, которая была одержима почти маниакальной страстью к переездам. «Причины были самые неожиданные, но выяснились они обычно только к весне, после очередного осеннего переезда. То ее

¹ Аверинцев С. Судьба и весть Осипа Мандельштама.

² Гинзбург Л. Записи 1920–1930-х годов.

не устраивал этаж, то детям было далеко ездить в школу на Моховую, то мало было солнечных комнат, то неудобной оказывалась кухня...» — вспоминал брат поэта, Евгений. О мандельштамовской «детской тоске по дому, от которого всегда бежал...» рассказывает Марина Цветаева в мемуарном очерке «История одного посвящения». Да и сам он постоянно говорит об этом.

В стихотворении «Паденье — неизменный спутник страха...» (1912) Мандельштам восклицает:

Твой жребий страшен и твой дом непрочен!..

В другом стихотворении («1 января 1924») пишет:

Мне хочется бежать от своего порога.

Наконец, в широко цитируемом восьмистишии, написанном в 1937 году «Я скажу это начерно, шепотом...», он как бы подводит итог всему ранее сказанному:

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и прижизненный дом.

И все-таки, напоследок — строка из стихотворения «Мне скучно здесь...» (1916):

Нас дома ждет Эдем...

...Перед самой гибелью (в 1938 г.), прощаясь с Ахматовой на Московском вокзале, Мандельштам произносит удивительные слова: «...всегда помните, что мой дом — ваш»¹.

РАЗЛУКА

— Сколько времени ты мог бы любить женщину,
которая тебя не любит?
— Которая не любит? Всю жизнь...

Оскар Уайльд

После долгого отсутствия вернулся домой в пустую неприбранную квартиру. Зашел в ванную. Из-под полотенца выпорхнула моль. «Ну вот, хоть кто-то живой есть в доме». Как ни странно, почувствовал себя не так одиноко.

Из письма:

...вдруг остро ощутил абсолютную бессмысленность всего происходящего, всей моей жизни, включая наш, если так можно выразиться, брак, всех этих бесконечных потуг, направленных на достижение цели...

¹ Ахматова А. Листки из дневника. Воспоминания об О.Э. Мандельштаме.

Вспомнил строку Мандельштама: «Нет стройных слов для жалоб и признаний»¹ и слова Ахматовой, обращенные к нему: «Никто не жалуется — только вы и Овидий жалуетесь»².

Отдернул занавеску, посмотрел в окно, потом — на календарь. Если верить тому, что написано — суббота, 3-е августа, год 2013-й.

СЕНТЯБРЬ

В хорошую я попал компанию: профессор Секундо, доктор Шульц, медсестра Фатима и одноглазый карлик Густав в очках, с бородой и усами, напоминающий одновременно Солженицына и Достоевского.

Карлик с важным видом рассказывает по палате, на нем зелёная майка и синие трусы. У него крепкий торс, мощные волосатые руки. С утра, нахлобучив на голову непомерно большие наушники, он садится за стол и целый день слушает классическую музыку. Перед ним гора компакт-дисков, он их перекладывает с места на место, как карты Таро...

Я в Марбурге. В глазной клинике, где мне сделали операцию по удалению катаракты, после чего глаз ослеп. Теперь врачи пытаются восстановить зрение. Была вторая операция. Потом третья... Я уже немного вижу.

У меня ноутбук. На нем — Хичкок, Балабанов, Бергман.

Больница напоминает сумасшедший дом или (что нагляднее) один из кругов ада. Мимо проносятся ангелы в белых халатах, похожие на оперных злодеев (может, все-таки черти?).

...Внезапно двери распахиваются, и в коридор на электрическом (чуть не написал: стуле) самокате въезжает огромный и очень важный немец, чем-то похожий на режиссёра Хотиненко. Правой рукой он сгребает со стеллажа кучу окровавленных пробирок и уносится прочь...

СЕНТЯБРЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вчера сделали укол (прямо в глаз), после чего в течение дня ужасное черное пятно («черное солнце») болталось в левом глазу, приводя меня в ужас — вдруг оно останется там навсегда. Оказалось, это всего лишь пузырьёк воздуха. Со временем пятно исчезло.

...Пожилый турок лопочет что-то невнятное на своем ужасном немецком, что-то связанное с «урологией», где он провел последние три дня, тычет пальцем себе в пах, рассказывает какие-то пикантные подробности...

¹ Мандельштам О. «Змей» (1910).

² Гинзбург Л. Записи 1920–1930-х годов.

У Балабанова (в «Кочегаре») и у Бергмана (в «Молчании») обнаружил один и тот же приём. Герои в схожих обстоятельствах (почти слово в слово) говорят одну и ту же фразу: «Здесь невыносимо жарко».

Балабанов умер как-то внезапно, нелепо, ему и 55 не было. Успел сыграть в своём последнем фильме, где его персонаж предсказывает собственную смерть.

Посмотрел еще раз «Фанни и Александр» Бергмана. В память врезались слова из пьесы Стриндберга, прозвучавшие в конце фильма:

Все может быть, все возможно и вероятно, времени и пространства не существует, на тонкой канве действительности воображение плетёт и вяжет новые узоры.

«СЛИШКОМ МНОГО ЦИТАТ!..»

Есть свирель у меня из семи тростинки цыкуты...
Публий Вергилий Марон. «Эклога II»

Немногочисленные друзья, которым я давал читать эти заметки, все как в один голос убеждали меня: «Слишком много цитат!..» Я сокрушенно кивал головой, но изменить ничего не мог.

Откуда эта потребность подбирать чужие слова? Свои слова никогда не могут удовлетворить; требования, к ним предъявляемые, равны бесконечности. Чужие слова всегда находка — их берут такими, какие они есть; их все равно нельзя улучшить и переделать. Чужие слова, хотя бы отдаленно и неточно выражающие нашу мысль, действуют, как откровение или как давно искомая и обретенная формула. Отсюда обаяние эпитафий и цитат.

(Из дневников Лидии Гинзбург)

Цитата — *цикада*¹ — цыкута.

Из письма:

...Для того чтобы добиться признания в эпоху заката эры Гуттенберга, одного участия в литературной поножовщине явно недостаточно. Надо либо научиться извлекать выгоду (в том числе материальную) из политических междоусобиц, либо потакать читающей комиксы толпе («Это солнце ночное хоронит возбужденная играми чернь...»²), либо... обладать «гениальной способностью быть бесконечно скучным», как сказал по другому поводу Вадим Шершеневич (не путать с Виктором Шендеровичем).

¹ «Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает. Эрудиция далеко не тождественна упоминательной клавиатуре, которая и составляет самую сущность образования». *Мандельштам О.* Разговор о Данте.

² *Мандельштам О.* «Когда в теплой ночи замирает...»

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В конце октября вернулся в Киев. Поселился на улице Бассейной рядом с магазином «Феллини» (торговля обувью), в трех шагах от Бессарабского рынка.

Возле подъезда печальный чёрт с осыпавшейся с плеч позолотой сидит на корточках в позе роденовского мыслителя. На мемориальной доске надпись: «В этом доме жила Голда Меир».

Льет дождь.

Редкие прохожие прячутся под зонтами...

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

Когда-то, очень давно, написал стихотворение, посвященное Мандельштаму, эпиграфом к которому послужила строка И. Анненского:

ПАМЯТИ О.М.

Желтый пар петербургской зимы...

И. Анненский

О, эта каменная желтая бравада!
Широких улиц темный разговор...
Из проруби времен, из третьей песни «Ада»
он выбрался — с трудом — на гибельный простор...
Над Петроградом медленные ночи,
и волосы Невы по каменным плечам
разбросаны...

И только совсем недавно из книги О. Лекманова «Осип Мандельштам: Жизнь поэта» узнал, что с вырванным из «Аполлона» листком, где было напечатано стихотворение Анненского «Петербург», Мандельштам не расставался на протяжении всей своей жизни.

ПЕТЕРБУРГ

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.

Уж на что был он грозен и смел,
 Да скакун его бешеный выдал,
 Царь змеи раздавить не сумел,
 И прижатая стала наш идол.
 Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
 Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
 Только камни из мерзлых пустынь
 Да сознание проклятой ошибки.
 Даже в мае, когда разлиты
 Белой ночи над волнами тени,
 Там не чары весенней мечты,
 Там отравы бесплодных хотений.

(И. Анненский)

ЧЕРНОВИКИ

Чрезвычайно любопытны черновики Пастернака: между первыми набросками и конечным результатом разница примерно такая же, как между каракулями трёхлетнего ребёнка и рисунками позднего Леонардо.

О чем бы я ни думал, мысли постоянно возвращаются к Мандельштаму.

Кто-то (не помню кто, чуть ли не Вознесенский) заметил, что у Пастернака нет слабых строчек. Конечно, есть. Например:

Забором крался конокрад,
 Загаром крылся виноград...

(«Цыганских красок достигал...»)

«...поэзия Пастернака <...> безвкусна потому, что бессмертна»¹, — так, несколько путано, выразился Мандельштам.

«ВЫСОКОЕ КОСНОЯЗЫЧИЕ»

Георгий Адамович в статье «Несколько слов о Мандельштаме» вспоминает строку Блока (он считал Блока «гением интонации»), которая, по его мнению, «вернее всего определяет сущность мандельштамовской поэзии, хотя у Блока она относится к женщине: “Бормотаний твоих жемчуга...”». Далее Адамович приводит несколько строк Мандельштама:

Декабрь торжественный струит свое дыханье.
 Как будто в комнате тяжелая Нева,
 Нет, не Соломинка, — Лигейя, умирание —
 Я научился вам, блаженные слова...

¹ Мандельштам О. Заметки о поэзии (1923).

И в заключение пишет:

«Это действительно — “высокое косноязычие”, по Гумилеву, да и можно ли было бы косноязычие это прояснить?»

НОЯБРЬ

Из письма:

...Ты обижаешься, что я редко пишу. Причина проста: вот уже пятнадцать лет я вынужден ежедневно просматривать десятки (а то и сотни) страниц чужих текстов (вместо того чтобы писать свои!). Кроме того, приходится заниматься версткой. Таким образом, выработалась устойчивая идиосинкразия к печатным знакам.

Как нитки ожерелья, строки рвутся,
и буквы катятся куда хотят...¹

Да и никаких особенных новостей у меня нет.

В конце ноября два дня провел в Петербурге. Ночевал в огромном сером здании, в котором когда-то жил Довлатов.

Вспомнил Коктебель (по дороге мы с тобой поругались). Я занес чемоданы и пошел к морю, на набережную. Едва присел на скамейку, появился Андриевский (как чёрт из табакерки) и ни с того ни с сего процитировал Довлатова: «Лежу совершенно один, с женой...»

Я долго смеялся.

Говорят, Виктор Некрасов в последние годы жизни обронил: «Я могу читать только двух писателей: Бунина и Довлатова».

Пиши...

P.S. Мне так не хватает тебя, особенно, когда ты рядом.

БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ

Уже кипит в сердцах обида...
Б. Лившиц «Эсхил»

«Я учусь у всех — говорил Мандельштам, зорко поглядывая по сторонам, — даже у Бенедикта Лившица»².

С Лившицем он сдружился настолько, что тот в своих мемуарах называл его «товарищем по оружию».

Именно Лившиц весной, когда Мандельштамы перебирались из Киева в Москву, ходил с ними в загс и присутствовал при регистрации их брака.

«Бритый, с римским профилем, сдержанный, сухой и величественный, Лившиц в Киеве держал себя как “мэтр”: молодые поэты с трепетом знакомились с ним, его реплики и приговоры падали, как нож гильотины: “Гумилев — бездарность”, “Брюсов — выдохся”, “Вячеслав Иванов — фи-

¹ Рильке Р.-М. «За книгой», перев. Б. Пастернака.

² Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1999.

лософ в стихах". Он восхищался Блоком и не любил Есенина. Лившиц пропагандировал в Киеве "стихи киевлянки Анны Горенко" — Ахматовой и Осипа Мандельштама. Ему же киевская молодежь была обязана открытием поэзии Иннокентия Анненского¹.

Скорее, товарищем по несчастью был ему Мандельштам: 21 сентября 1938 года Бенедикта Лившица вместе с Юрием Юркуном и Валентином Стеничем расстреляли по ленинградскому «писательскому делу».

...Плыви, плыви, родная феорида,
Свой черный парус напрягай!²

КЛОЧЬЯ ДЫМА

«Безнадежно. Читаешь все, и ничего не запоминаешь. Как ни напрягаешься, все ускользает. Только кое-где остается несколько клочьев, едва различимых, как клочья дыма, указывающие, что поезд прошел».

Жюль Ренар, «Дневники»

Начать с Лаокоона, затем плавно перейти к Гессе, не забыть Бурлюка, вспомнить о Феллини и лишь затем, вздохнув полной грудью, произнести:

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...³

Или — совсем уж невозможное:

Пою, когда гортань сыра, душа — суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознание:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?⁴

NINIL REPUTARE ACTUM...⁵

Последняя цитата:

...перечитывать себя без тени нежности, без чувства отцовства, с холодной и критической остротой, в жестоко творческом ожидании смешного и уничижительного, с полным безучастием, с рассудительным взглядом, — значит, переделать свой труд или предчувствовать, что можно переделать его совсем наново⁶.

¹ *Терапиано Ю.К.*, Встречи: 1919–1971. М., 2002.

² *Лившиц Б.*, «Эсхил».

³ *Мандельштам О.* «Сохрани мою речь навсегда...»

⁴ *Мандельштам О.* «Пою, когда гортань сыра, душа — суха...»

⁵ Ничто не считать законченным (*лат.*)

⁶ *Валери П.* Об искусстве.



Камиль ЧАЛАЕВ

/ Париж /

ПОХВАЛА ПРАВУ НА ДВИЖЕНИЕ

«Нужно крепко подумать перед тем, как ничего не сделать!»
Юрий Васильевич Титов

Достаточно сложная задача для человека моего поколения, прожившего практически половину жизни в эмиграции — поделиться воспоминаниями о музыкально-духовном художественном пространстве русского Парижа, о людях, которых я знал и знаю в нём два с лишним десятка лет, уложившись при этом в ограниченное число страниц и написав рассказ в короткий срок.

Сложность заключается не в том, что я, с одной стороны, не писатель, а с другой — и не журналист; также вовсе и не в том, что с годами изгнания, будь оно добровольным или вызванным иными обстоятельствами, материнский язык не то что отходит на второй план, но скорее принимает очертания окаменевшего седимента, некоего ископаемого птерозавра, поскольку оторванность от живой языковой среды несёт в себе неизбежную потерю быстроты реагирования, а также размытие систем аналогий, в иноязычной среде не имеющих эквивалентов, а в тамоязычной — или утерянных, или резко неактуальных (наш язык устарел).

Короче, надо начать всё по порядку, но будет много разветвлений и отсылок, а также диахронических срезов, потому как формат, мне предложенный, пока кажется достаточно широким, в нём можно будет отдать течению отглагольных образований, не заигрывая с оконными комментариями фейсбука, лапидарным информативным полем твиттера или птичьим языком эсэмесок.

«Глаголом» был назван квартет, в котором в 1992 году участвовали приехавшие в те времена во Францию Наташа Орлова (сопрано), Алексей Васильев (контр-тенор) и Александр Гранде, (тенор). Виконт Франсуа Морис Бриан де Лобриер — бретонский виолончелист-любитель, основатель и директор своего собственного бюро путешествий — поменял однозначную свято-католическую веру на неоднозначную свято-православную. Он в шутку называл это «сменой повара», усмехаясь, у православных,

мол, подают лучшие блюда. Франсуа пел на службах на улице Петель, в церкви МП (Московского патриархата), и ходил в хор к регенту Евгению Ивановичу Евцу, а после его ухода на пенсию, к его сыну, Василию Евгеньевичу, где мы с ним познакомились уже в 1989. Вообще МП была в большом почёте у части видной русской аристократии во Франции. Во многом из чувства противоречия и желания справедливости, потому что некоторые её сильно поносили или относились свысока. Думаю, на нас, новоприбывших, возлагались надежды именно в связи с надеждой на реабилитацию «*homo sovieticus*». Благодаря дружбе и поддержке Лобриеров была декларирована в префектуре «Новая Свободная Академия» со статутом ассоциации 1901 года (поныне здравствующая и вполне активная, нашими трудами). Вообще Франсуа сыграл неопределимую роль в моей судьбе, в частности в тот момент, когда мне пришлось менять легальную позицию иностранного студента богословия на какую-то иную; по моей просьбе он меня «прописал» по своему парижскому адресу на авеню Бурдон, в 16-м округе, где вскоре прописалась и Св. Академия. Это был отважный шаг семьи Лобриеров, все-таки я их не подвел, хотя меня после моих религиозных блужданий конца нулевых Франсуа обозвал простым и ёмким — *апостат*, поскольку я тогда увлекся синагогальным пением, дирижированием и пытался углубиться в доктрину иудаизма. Он до сих пор меня приветствует словом *шалом*, вот получил от него только что эмейл о том, как холодна и длинна зима в Бретани, и как трудно свыкнуться со старостью.

Франсуа старался устраивать «Глаголу» выступления. Мы спели в замке его зятя на свадьбе одной из его четырех дочерей, потом съездили в Голландию на фестиваль... Один раз мы выезжали со двора улицы Дарю, из собора Святого Александра Невского, направляясь в замок Шантийи на концерт, и сидели всем квартетом у Франсуа в машине. Выезжая, он не посмотрел направо, не уступил дороги, и не ожидавший никого слева автомобилист ударил ему в капот. Так что добирались мы до Шантийи на такси. Про качество пения «Глагола» я сегодня ничего совершенно объективного не скажу, думаю, это было достаточно неуравновешенное тембрально и вокально соотношение четырех различных подходов к музыке и пению. Но, в общем, это не играет особой роли. В том же 1992 году 50-ти летнего Анатолия Васильева пригласили во Французскую Комедию поставить «Маскарад» Лермонтова, куда, в свою очередь, он меня позвал сотрудничать, так как мы уже работали вместе в 1987 в Москве и 1988 в Авиньоне. Я же, ничтоже сумняшеся, запросил в администрации для моей работы вокальный состав, коим образом весь «Глагол» получил документы и стал занят в спектаклях на протяжении практически всего сезона 1992–1993 и в начале следующего, но не переходя на 1994 год.

Печатные следы этого события сохранились в архивах, старожилы помнят скандал в зале главного Театра страны, а также статью в «Фигаро» господина Marcabru под заголовком «Смертельная скука»; я из этого предприятия кроме перевода моего положения в свободные артисты,

зарплат, вступления в Общество драматических композиторов, авторских прав и дружбы с некоторой частью труппы, особенно с дополнительными, певшими под моим руководством в финальном хоре, сохранил и сберег главное приобретение — мою любовь к танцующей Сабине, севшей тогда ко мне в машину и с тех пор продолжающей рядом со мной жить. 22 года спустя первоначальные чувства мутируют в иные формы, люди стареют, но тогда был явный ход судьбы. Опять же, догадываюсь, что эта страсть, переросшая в сотрудничество, а спустя 11 лет и в женитьбу, позволила мне в тот момент не перейти на другой берег того потока, в который, ища брода, я всё же однажды погрузил стопу... Так что весь период начала 90-х прошел под знаком романа Глазунова на слова Лермонтова. Его пел в апофеозный момент спектакля Алексей Васильев в сопровождении оркестра, в прессе тогда писали «театр с акцентами оперы Монтеверди», это была реакция на звуковую палитру моей транскрипции и тонкий голос молодого в то время контр-тенора:

Когда печаль слезой невольной
Промчится по глазам твоим,
Мне видеть и понять не больно,
Что ты несчастлива с другим...

По привычке, по долгу службы и из любопытства я довольно долго занимался исследовательской деятельностью своих собственных пределов, физиологических и психических. Мое знакомство с кислотным дождем привело к выпадению из серо-буро-малиновой Москвы, доживавшей последние годы Советской власти, в конце 80-х. В Париже познания в параллельном мире неформалов позволили мне войти в круги процветавшего в те времена сквотерского (интернационального) движения, познакомиться и подружиться с некоторыми его видными представителями. Многих из них довелось хоронить и отпевать, по долгу службы и памяти, в частности, совсем незнакомого мне Бориса Окуджаву. В те годы не стало последовательно Юры Гурова и Коли Любушкина, позже не смог перенести возвращения дух Алеши Хвостенко, после неудачной попытки самоубийства не выдержало сердце у Александра Путова, потух и горько скончался Виталий Стацинский, в прошлом году от той самой болезни ушел «Толстый» — Владимир Котляров, умерший у меня на глазах, и совсем недавно Слава Савельев. Доброе слово моему крестнику Александру Бутузову, по прозвищу Фагот, он ни разу в жизни не выехал из Москвы, но мы много общались по интернету. На 94-м году жизни преставилась профессор Нина Рауш фон Траубенберг, взявшая на себя после де Лобриера бремя президентства в нашей Ассоциации. Она была видным детским психологом, университетским светилом, эксклюзивной разработчицей во Франции теста Роршаха.

Русская Франция... Некоторые здравствуют и продолжают творить по сей день: патриархи 1928-го года рождения Юрий Васильевич Титов, Валентин Самарин (Тиль), Оскар Рабин... «Враг народа» и историк эмиграции, художник Валентин Воробьев, занимает здесь особое положение, благодаря своей любви к жанру исторического нелицеприятия. Вечной

памятью отзовутся прямо или косвенно связанные с моей творческой и духовной деятельностью поэтесса Наталия Горбаневская и блестящий сценограф и архитектор Игорь Попов, которого не совсем верно было бы относить к эмиграции, но скорее к поребрикам театрального мира, с ним мы сотворили вместе целых три спектакля во Франции, и не из самых последних, хотя с разрывом в 10 лет между «Маскарадом» и «Амфитрионом», а потом, спустя еще 5 лет, Терезой Философом в театре Одеон-Бертье. Поживём-увидим, кого из художественной эмиграции скосит косящая на следующем своем витке.

После окончания эпопеи с Французским театром у нас начались сложные будни. В это время я старался участвовать как можно активнее в музыкальной жизни страны. Ансамбль «Глагол» меня немного разочаровал, и после серии спектаклей и нескольких выступлений у Оливье Морана, верного друга, покровителя и наставника по французским реалиям общественной жизни, распался. В 1994–95 пришлось проучиться пару лет в Институте координации Акустики и Музыки, IRCAM, где я стал первым и единственным студентом из бывшего СССР в то десятилетие. Об этой чести мне поведал Michael Fingerhut, директор Иркамовской медиатеки; недавно он пересылал мне свой доклад, сделанный по-английски для слета музыкальных библиотек в Москве, где я нашел эту информацию. Участь в «иркамамбере», как называл его мой ныне тоже покойный друг, свободный электронщик и французский музыкант американского происхождения Джон Ливенгуд (John Livengood, 1953–2006), игравший еще в 70-е годы в альтернативной французской группе Red noise. С Джоном мы начали сотрудничать с 1995 года, в момент мастеринга заказанного о. Игорем Верником Requiem aeternam, где женскую партию спела чистым голосом Anne Vaquet, дочь знаменитого виолончелиста Мориса Баке, женатого на русской (а мужскую — ваш покорный слуга).

Когда я жил в Москве, в советское время, законы гласили, что люди с моим диагнозом не имеют, по определению, права водить автомобиль, а также ездить за границу. Кроме того, как выяснилось позже, при попытке поступить в духовную семинарию в Одессе, именно 7-я статья оказалась главным для поступления препятствием, ибо была вписана в военный билет, а вовсе не моя паспортная, по отцу, национальность (лакец), как думалось изначально. Соответственно, я был годен к нестроевой службе в военное время. Но задолго до этой попытки поступления мы все же побывали в 1983 году в Париже, в составе Рок-Ателье с постановкой «Юноны и Авось» театра Ленкома, ведь разрешение на выезд зависело только от одной подписи такого-то главврача, которая была дана всем, без исключения, артистам труппы. И нынче этот спектакль является культовым, хотя из старой команды остался, кажется, один только певец, Александр Садо...

Последние пятнадцать лет у меня вообще нет телевизора, а информация просачивается через воздух, радио, поступает через интернет, через блоги Фейсбука в последние годы. Проанализировав таким образом свои 25 лет в Париже, я обнаружил, что первое, сделанное мною по приезде — это поступление в семинарию, или, точнее, в Свято-Сергиевский

богословский институт, ведь мне дали от ворот поворот в Одессе. Но конечно, это поступление состоялось значительно позже, когда мои клерикальные амбиции сошли на нет; главное из того, что меня интересовало в институте, были пение и устав, преподаваемые мудрым Николаем Михайловичем Осоргиным, регентом и профессором, в интимных кругах прозванным Колясей. Для нас, пользовавшихся в России сборником духовного пения в эмиграции (Лондон, 1962), его фамилия, так же как и имена полного певческо-регентского семейства отца и сына Кедровых, была хорошо известна заочно и являлась в какой-то мере гарантом аутентичности. Эти люди были хранителями культуры и наследниками духовности, вылетевшей каким-то образом когда-то в трубу, если не в мясорубку. Но, как часто говаривает Юрий Васильевич Титов, «Бог играет человеком, а человек играет на трубе!»

В Одессу же я вернулся в 2004 году и стал ездить туда постоянно, даже однажды на машине, найдя счастье в деятельности по музыкально-звуковой терапии с детьми-инвалидами (церебральный паралич, Дом Ангела, Пушкина, д. 51, фонд Будущее, директор Борис Литвак, депутат, скончался он недавно, на 85-м году жизни).

Ну и вполне естественным было моё желание получить водительское удостоверение, потому что я уже водил машину, полу-самоучкой, по улицам Москвы, наблюдая во времена Ленкома за ездой другого Юрия Титова, барабанщика Рок-Ателье, моего со Смяном сокрёстного. Титов водил машину по-армейски спокойно, быстро, но мягко. Я также присутствовал на курсах вождения некоего Вити-гонщика, у которого мне понравилась манера сидеть далеко от руля и держать его двумя выпрямленными руками. Научился я водить в нормальной парижской автошколе, в 6-м округе на улице Ренн, где жил на 7-м этаже в комнате для прислуги прямо над школой, перед тем как вынужден был съехать оттуда на Базу в Леваллуа, а моим «монитором» был некто Субейран. Помог мне в оплате этих курсов, а деньги были по тем временам для меня, едва вышедшего из статуса студента богословия, немалые, Александр Евгеньевич Погорецкий, чью светлую память я хотел бы особенно почтить в этом автобиографическом очерке. Этот человек родился в Тунисе, в семье русского инженера-белоземigrанта, потерял довольно рано отца, бывшего значительно старше своей жены и, соответственно, матери Александра. Погорецкий отлично рисовал, молодому человеку прочили художественную карьеру, он даже поехал учиться в Школу искусств в Лозанне. Как видно, карты легли иначе, и из послушания матери, и по необходимости иметь стабильный заработок, положение (уж эта situation!) и серьезную работу, Александр поступил служить (так он называл работу) страховым агентом, причем, простым клерком, и на этой должности дослужился до пенсии. Этот человек знал всех и вся в первой и второй, военной и послевоенной эмиграции, навещал одиноких бабушек, ездил из далекого пригорода на все службы в церковь при РСХД, где был одним из столпов прихода, того самого, который меня тогда принял к себе в качестве певца, псаломщика и помощника стареющего протоиерея Игоря Верника, с которым мы очень подружились. Исторической правды ради скажу, что до меня на этом мес-

те был отец иерей Всеволод Дунаев, прослуживший тридцать лет. Я приехал в Париж примерно через неделю после его ухода на пенсию и вот уже двадцать пять лет там подвигаюсь.

Погорецкий помогал всем, кто у него что-то просил, благодаря его деньгам я смог оплатить автошколу, а потом приобрести свой первый компьютер, Classic II Apple 4/40, его старожилы помнят, этот Мас был похож на минитель, такой странный предмет, использовавший чтобы наводить справки, заказывать билеты и еще что-то, «розовый минитель» его называли, когда искали соответствующие услуги... На Мас я начал делать ноты.

Спустя десяток лет после моего приезда Алик Погорецкий, 1926 года рождения, постарел, ходить ему становилось все труднее, а позже у него перестали разгибаться на левой руке два последних пальца. В этот период Владимир Емец, появившийся в 1994 году, продал мне задешеву Ладу, трёхку зеленого цвета — я немного водил именно такую машину, за долгие годы до того, в Москве (без прав) — и с этого момента начал отвозить Александра после служб домой по дороге в Gennevillier, куда он переехал после смерти матери. Спал блаженный Александр не раздеваясь, да и ходил последние годы в том же костюме, в котором ложился прикорнуть, а может, даже и в плаще. Хотя в его гардеробе и были красивые и новые вещи, он их явно презирал, кроме особенно торжественных случаев, концертов с хором Олега Лаврова. Тогда он надевал тёмно-синий костюм, обязательный на концертах для мужчин этого православного хора.

Один раз Алик Пого, как его называли по свойственной в эмиграции привычке укорачивать имена (иногда это намертво приклеенные с детства прозвища) пришел на показ фильма, снятого мною в качестве зачетной работы второго года учёбы в Ecole Pratique des Hautes études в Сорбонне, где я изучал документальное кино и познакомился с великим Jean Rouch. Нам выдали для этого 16-ти миллиметровый Beaulieu и трехминутную бобину цветной обратимой пленки Kodachrom, задачей было правильно заправить пленку и снять вживую, без монтажа, историю с разными планами. Камера тарактела, план длился 30 секунд, естественно, без звука. Но качество изображения получалось какое-то совершенно особенное, свойственное только пленочным фильмам.

Героем моего зачетного фильма стал Александр. Мы приехали на русское кладбище на Sainte Geneviève des Bois, и Погорецкий в своем обычном протёртом когда-то зеленоватом плаще, который он вообще редко снимал, даже летом — указывал на казацкие и деникинские могилы, крестился на памятник Воинской Славы, двигал рукой, кивал в какую сторону идти, чтобы обнаружить ту или иную гробницу, а я все это снимал. Кладбище он знал, как свои пять пальцев, там же, в могиле его родителей, он и был похоронен в 2003-м году. Смерть забрала его в комнату старческого дома Земгора, куда его устроили, когда он уже совсем не был в состоянии за собой ухаживать, один раз просто упал в комнате в домике при церкви РСХД, обустроенной для его проживания между службами, и насколько я помню разговоры, пролежал так два дня, ибо падение это случилось в будний день, никого вокруг не было, да и кричать у него не хватало сил.

В это же примерно время, в конце 90-х, в другой корпус удалось устроить Юрия Васильевича Титова, вырвав его из когтей французской гуманной психиатрии с её психотропными тиморегуляторами, после которых художник вообще не мог говорить, вид у него был совершенно одичалый, он находился годами в Белом доме, гигантском психдиспансере в Neuilly sur Marne. Вот для всего этого очень пригодились права на вождение машины, я тогда, кажется, ездил по 100 километров в день по одним только пригородам. Не говоря о начавшихся путешествиях в Швейцарию, где довелось поработать певцом в небольшом профессиональном ансамбле солистов Séquence. Также я оказался однажды на машине в Турции, 12 сентября 2001 года, но об этом как-нибудь в другой раз. И вообще, вся моя езда посвящена общению с окружающим миром.

Это, в общем, я к тому, что без права на передвижение, мне кажется, вообще не о чем было бы написать. Развеселая сидячая сквотская жизнь как-то медленно и натурально отпала, полностью исчезнув к нулевым годам. Алёша Хвостенко, с которым мы успели соорудить два достаточно оригинальных диска, один из которых «Говорящие Птички» с участием гитариста Алексея Довшана, был спродюсирован Олегом Белоконом, а другой, «Три песни старца», уже был выпущен в Москве, в отделении «Выход» Олега Ковриги — так вот, Хвост как-то стал сдавать физически и психически, ему осточертела полунищенская богемная жизнь, он запросил и наконец получил российский паспорт, как известно, за личной подписью тогдашнего президента (он же и нынешний), и с отъездом этого харизматичного лидера больше не осталось центростремительного начала в Париже.

Хвост умер в Москве достаточно быстро, через пару лет после возвращения, от пневмонии, этот эпизод всем известен, да и что лишнее говорить, об этом писаны книги, в частности, по прекрасной инициативе Ларисы Волохонской, известной во всем мире переводчицы, в тандеме с Richard Pevear, его биография была переведена на английский язык; она же — сестра Анри Волохонского, принявшего активное участие в одной из моих акустических пьес, присутствующих во второй половине альбома «Три песни старца», с чтением сделанных им русских переводов Псалмов Давида. Книга воспоминаний «Про Хвоста» (1940-2004) вышла в издательстве «Пробел» Дмитрия Плигина в 2010 году, в неё вошли статьи разного формата сорока трех авторов, в том числе отрывок из книги Александра Путова «Реализм судьбы», где художник в достаточно саркастической тональности описывает совместное с Хвостом путешествие в Мюнхен, к Анри Волохонскому.

К моменту выхода этой книги Путов был уже на том свете, а его историографическое творение находилось в длительном редактировании. Книга мемуаров вышла в Москве, в издательстве «Новое Литературное Обозрение», в 2012 году. Вся эта эпопея с Сашей Путовым, начавшаяся после 15 лет отсутствия отношений, в 2008, в связи с поисками портретов Юрия Васильевича Титова для готовящейся персональной его выставки (так и не состоявшейся по финансовым соображениям, за отсутствием средств, неожиданно и вопреки договору затребованных в оплату за по-

мещение, первоначально обещанно галереей бесплатно) — также могла бы никогда не состояться, если бы у меня не было автомобиля и, соответственно, permis de conduire.

Мне часто приводилось совершать в один день поездки Париж — Ренн (Плелан) — Париж, столица Бретани все же удалена от столицы Франции более чем на 400 километров. Это и послужило изоляции такого общительного человека, как художник Путов, чувства, в общем, достаточно для него умозрительного, или мне это просто мерещится, потому что ездить к нему в какой-то момент стало обычным делом. Весь 8-й год я такими поездками занимался, а летом состоялся полет в греческий Эпидаврос к Анатолию Васильеву, где мне привелось опять же поработать его шофёром, а заодно снять 30 часов материала о его полномасштабной постановке «Медеи» в античном амфитеатре на шесть тысяч мест, при участии звезд греческого театра и задействованном в постановке крупном фестивальном бюджете.

Резюмируя вышесказанное, я ещё раз убеждаюсь в том, что самое интересное в моей жизни (а это именно то, что связано с жизнью друзей) произошло в движении, а остальное относится к станциям. Наверное, час ещё пробьет, во всяком случае, хотелось бы в отведенный краткий срок и при обязательном формате отправить похвалу судьбе за то, что она мне позволила видеть, ходить, слышать и двигать руками, а также играть на скрипке, преподавать музыку, имея внутреннее состояние Искусства как битвы.



Екатерина ЛОБОДЕНКО

/ Париж /

МАД, ЛИНСКИЙ И ДРУГИЕ

Русская карикатура во Франции в период между двумя мировыми войнами

Красноармеец, избивающий женщину, олицетворяющую собой Россию. Ленин, гордо возвышающийся над горой трупов. Гигант-безумец Сталин, превративший людей в послушных муравьев... В 20–30-е годы нашего века такие забытые сегодня рисунки звали к читателю со страниц русской эмигрантской прессы, «перекрикивая» советские пропагандистские афиши и ещё не успевшие стереться из памяти открытки на тему Первой мировой войны. Вдохновившись эстетикой последних, эмигрантские карикатуры продолжили начатую ещё в России борьбу с единственным, но крупнейшим врагом — большевизмом...

В конце 1917 — начале 1918 года в России прекратили существование более тысячи крупных и мелких периодических изданий, представлявших так называемую «буржуазную прессу» (от популярных, «центральных», как «Новое время», «Биржевые ведомости», «Копейка», до малоизвестных, «провинциальных», как «Одесский листок» или «Екатеринославские губернские ведомости»). Для большинства их авторов — редакторов, журналистов, иллюстраторов — эмиграция стала логическим следствием неприятия новой власти, а также единственной возможностью спасения не только собственной жизни, но и жизни своих «творческих детищ» — газет и журналов, возрожденных за границей.

Во Франции в межвоенный период выходило около 300 периодических изданий (при том, что многие из них просуществовали совсем недолго). Свыше 2000 сатирических рисунков, созданных более чем 30-ю художниками, увидели свет на страницах этой разноформатной прессы, не считая многочисленных карикатур, циркулировавших в виде открыток и отдельных рисунков. Основными темами данных, вполне заслуживающих определения «шедевры», произведений, актуальность и острота которых ощутимы до сих пор, стала Советская Россия, а также жизнь в эмиграции. О некоторых из них и пойдёт речь ниже...

Возрождение русской политической карикатуры в изгнании («Общее дело», «Бич»)

8 июня 1920 года французская ежедневная газета правого толка «Ля Видуар» (*La Victoire*) опубликовала на первой странице карикатуру одессита Михаила Дризо (МАДа), уже успевшего сделать себе имя в России, в частности, благодаря сборнику острой политической сатиры на большевиков «Так было», вышедшему в 1918 году. На рисунке в «Ля Видуар», озаглавленном «Английские лейбористы познают Россию» («L'enquête des travaillistes anglais en Russie»), посреди русского поля, усеянного крестами, смерть-скелет с косой обращался к делегатам-англичанам: «Передайте Ллойдю Жоржу, что жатва удачна», тем самым акцентируя крайнюю безвыходность ситуации в России. Несколькими днями позже, 11 июня, на сей раз русский ежедневник «Общее дело», основанный в Париже ещё в 1910 году публицистом В. Бурцевым, также на первой странице опубликовал карикатуру МАДа «Большевистские делегаты», в которой речь шла о стремлении большевиков (у МАДа — с ножом и окровавленными руками) наладить отношения с европейскими странами.

До конца 1920 года политические карикатуры МАДа, ставшего ведущим художником газеты, регулярно печатались в «Общем деле». Их темами были — голод в России (образы обездоленных крестьян в лохмотьях), большевистский террор (поддерживаемый Троцким, Ленин выступает в роли самого главного палача, кровожадного тирана-самозванца, восседающего на троне и развешивающего красные флаги на кладбищенских крестах), крах промышленности и сельского хозяйства (заводы в руинах, об-



1914—1917 г.г. — Предвзвиз союзника.

МАД, «Россия». «Бич» №1,
август 1920 г.

манутый голодный рабочий, крестьянин в лохмотьях посреди неурожайного поля). МАД высмеивал также лживость внешней политики большевиков. Его красноармеец, полная противоположность советским плакатам того времени, — безграмотен, бесчувствен, представлен не иначе как вор и убийца, выстилающий черепами дорогу для палачей русского народа — Ленина и Троцкого. Большевистский голубь мира высиживает боеголовки, а большевик рубит шашкой дерево мира. МАД разоблачал также напускную мощь большевиков: в карикатуре «Большевистский меч» из огромных ножен («Эй, вы! Видите, какой у меня огромный меч?») большевик вынимает сломанную рукоятку. В августе того же 1920 года из-под руки МАДа появился на свет первый персонаж русского эмигранта: в русском беженском лагере в Египте, прислонившись к своей палатке, сидит, изнемогая под солнцем, беженец в лохмотьях под пристальным наблюдением облизывающегося льва. Этот образ противопоставлялся художником соседней картинке, изображающей, по принципу «а тем временем», роскошный прием, организованный в Лондоне в честь большевиков.



А. Шарый (Ю. Анненков).
«Апокалипсис».
«Сатирикон» №1, 1931 г.

Тема изгнания и политическая сатира МАДа нашли свое продолжение и в первом в эмиграции сатирическом журнале-еженедельнике «Бич», издаваемом в Париже с августа по октябрь 1920 года уроженцем г. Николаева, близким другом МАДа, художником и журналистом Михаилом Линским (М. Шлейзингером). Мастер шаржа, М. Линский уже успел зарекомендовать себя как один из авторов киевского «Зрителя» и одесского «Крокодила». В рубрике «Наши в эмиграции», открывающей парижский «Бич», он опубликовал ряд юмористических портретов политических деятелей: А. Руманова, А. Коновалова, генерала Врангеля, А. Чермоева, а также сатирические портреты Маркова 2-го, Махно, Петлюры. В разделе «Те, о которых говорят» — шаржи на Ленина, Троцкого, Красина,

Буденного, Чичерина и др. Особенно показательно карикатура М. Линского «Святой Ленин и его «архангелы»», одновременно раскрывающая отношение эмигрантов к советскому правительству и антигуманную природу политических идей Ленина и его «блаженных», «непорочных» и «херувимоподобных» соратников, расположившихся возле святых скрижалей с заповедями, выправленных на «новый» лад: «I. Не укради. II. Не убий. III. Не прелюбодействуй. IV. Не чти отца и мать своих... V. ... VI. Не пожелай жены ближнего своего, ни дома его... VII. Помни день субботний...».

Помимо криминальной сущности большевиков, Линский разоблачал также шаткость их внешней политики и террор, царящий в СССР («Вы русскую газету читаете? — Да. Как вы догадались? — По волосам видно...»). В карикатуре «Царские генералы за работой» художник высмеивал предательство белой идеи («Так это просто: нужно только перешить генеральскую шинель красной подкладкой вверх, а черным сукном вовнутрь...»). Досталось от Линского и беженцу-эмигранту за его несовершенный французский, за бескомпромиссность, за пустословие и за утопичную надежду на скорое возвращение на родину. В своем прогнозе на 1925 год, данном еще в 1920-м, художник настаивал на том, что все останется по-прежнему: «...генералы откроют контрольные пункты для беженцев, хотя дальше уже некуда бежать... дельцы будут пытаться устроить вторую закладную под своей шалаш... <...>, и по-прежнему кадеты будут устраивать совещания с целью координировать действия членов партии».

Что же касается МАДа, то его карикатуры в «Биче» продолжали выделяться беспощадной критикой советского строя и жестокостью в изображении персонажей. Особенно это коснулось образа России, превратившейся на страницах журнала из процветающей страны (представленной в виде красивой сильной женщины в национальном костюме) в иссохшую старуху в лохмотьях, избитую и изуродованную большевиками. Россию у МАДа символизировали также руины (сухое дерево, развалины города, домов, заводов), часто изображаемые как детали на заднем пла-

не большинства рисунков, но также и как основная аллегория в центре ряда карикатур. Смерть, черепа, скелет с косой, кровь и виселицы символизировали террор и голод. Композиция этих рисунков, а также манера представлять угнетателя — угнетенного, врага — жертву, жизнь — смерть напоминали антинемецкие сатирические открытки, циркулирующие в Европе во время Первой мировой войны (рисунки художников П. Шатийона, А. Фэвра, А. Зислэна и др.). Подобно немецкому солдату, в вороньем порыве грозно нависшему над телами своих жертв, на рисунках МАДа взгромождается кровожадный тиран-большевик, подчеркивая тем самым тезис о том, «что самый переворот 25 октября 1917 года, свергнувший власть Временного правительства и установивший власть Советов, был совершен немцами через их агентов, на их деньги и по их указаниям», и стал логическим следствием «великой войны».

Уделяя много внимания изображению русского беженца-эмигранта, МАД сохранил все тот же резкий тон: «Те, кто не хотели служить, — охотно прислуживают!»; «Те, которые безропотно дают опустить себя под землю в России, брюзжат, когда им приходится спускаться под землю (в метро) в Париже». Но не обошлось в его рисунках и без сопереживания эмигрантам. Его беженец робок, поджар и успел обежать вокруг света: «Астрономы открыли новое тело, вращающееся вокруг земного шара. Наблюдать можно только невооруженным глазом — вооруженного оно не любит». В сатирической трактовке МАДа, «интернационал» — не коммунистическое объединение, а русские беженцы, военные и гражданские, разного происхождения, возраста и пола, рассеянные по свету и надеющиеся на скорое возвращение в покинутую ими Россию.

Помимо сатирических рисунков Линского и МАДа в «Биче» публиковались карикатуры М. Александрова, Н. Яловикова, М. Михайлова, В. Белкина, Н. Сушкова, А. Горкина, А. Савицкого...

«Последние новости»: 20 лет политической хроники в карикатурах

Ежедневная общественно-политическая газета «Последние новости» была основана в Париже в 1920 году бывшим лидером кадетов, историком и публицистом П. Милюковым. Она оказалась одним из немногих эмигрантских изданий-долгожителей, просуществовавшим до 1940 года. С 1925 года в «Последних новостях» печатались карикатуры, основными авторами которых стали уже известные М. Линский и МАД, а также А. Шеметов (Шем) и Ф. Рожанковский. Перепечатывались в «Последних новостях» также сатирические рисунки из советской прессы.

Что же касается перечисленных выше художников-сатириков, то их перьям или карандашам принадлежали в газете и политическая карикатура, и смешные сценки из жизни эмигрантов. Острому осуждению подвергалась идеология большевиков (так, в карикатуре «Неделикатный вопрос», М. Линский симпровизировал интервью Чичерина: «Чичерин: "...и еще отметьте, что мы заключили дружественный союз со всеми народами Европы!». Интервьюер: "Кроме русского?"»), буквальное порабощение большевиками интеллигенции, НЭП и голод. Линский продолжил здесь начатую им в «Биче» «портретную галерею нынешних правителей Рос-

сии» (Калинина, Бухарина, Сталина, Каменева, Зиновьева...), а МАД обратился к уже затронутым им в «Общем деле» и «Биче» темам большевистского террора, бедности и дефицита, прилагая к этому тему безграмотности, хулиганства, беспризорничества и иронизируя над феноменом «пятилетки». Большевик МАДа туп и бесчувственен к любому, даже малейшему проявлению красоты, а русская культура — это удел эмигрантов, а не Советов. С гневом МАД возвратился и к аллегории руин, говоря о разграблениях и разрушениях большевиками русских церквей.



Даешь "charme slave"!

Ф. Рожанковский.
«Даешь "charme slave!"...».
«Ухват» №2, 1926 г.

Основной упор в карикатурах МАДа для «Последних новостей» был сделан на деформации лиц, на подчеркнuto гиперболизированном уродстве, на уничижительных сравнениях. Так, к примеру, советская Фемида — тучная одноглазая женщина, Троцкий — то мнимый больной, то лохнесское чудовище, а ряд советских политиков — либо маленькие наполеоны, либо послушные марионетки в руках Сталина. Речь идет о политике безрассудства, сотворяемой кучкой глупцов, живущих в страхе перед так называемыми «вождями» — Лениным и Сталиным, а также перед постоянной угрозой доносов («Надо показать разницу: при прежнем режиме насилия Пушкина убили, а при свободном советском строе Маяковский мог сам застрелиться...»). В сатире МАДа наблюдается эволюция от осуждения сталинского террора («Когда табличка с фамилией какого-нибудь товарища снимается со стенки, это значит, что товарищ с этой фамилией уже поставлен к стенке») до откровенного публичного обвинения Сталина («Судите меня! Я застрелил Аллилуеву! Я зарезал Фрунзе! Я убил Кирова! Я...». «Что случилось? Что это такое?..» — Доктор по ошибке впрыснул ему не то средство из аптеки ГПУ»). МАД не удержался и от высмеивания культа личности Сталина («Это — лучший проект памятника Лермонтову, удостоившийся первой премии». «Позвольте... Ведь это — товарищ Сталин». — «Да, конечно, но у него в руках томик стихов Лермонтова»).

Приход к власти Гитлера и предчувствие войны также нашло свое отражение в карикатурах МАДа для «Последних новостей». Художник неоднократно сравнивал Сталина с Гитлером и политику советских коммунистов с политикой немецких национал-социалистов — фашистов («Юлиус Штрейхер назвал Гитлера величайшим врачом. Какая досада!..» — «Почему досада? Какое вам дело до них?..» — «Досада, что мы не догадались раньше назвать так товарища Сталина»), открыто обвиняя обоих, объявляя их преступниками («Нас сравнивают с гангстерами...» — «Какой абсурд. Гангстеры свою карьеру в тюрьме кончают, а мы её там начали...»).

Затрагивая тему эмиграции и эмигрантской жизни, М. Линский и МАД увлекали читателя в «русский Париж» многочисленных кабаре, ресторанов и лавок, в то, что французы нарекли «mode russe», задавшей тон парижским увеселениям первой половины 20-х: «Скажите, где здесь русский рес-

торан?» — «Видите, вон там старинная церковь? Так там русского ресторана нет, но зато во всяком другом здании вы найдете сколько угодно...». Не забыли они и о мировом рассеянии русских эмигрантов («Моя жена — латышка, мой старший сын — поляк, моя дочь — эстонка, мой второй сын — литовец, а я сам — румын»), и о проблемах адаптации и социальной трансформации в изгнании («Чем ниже мы опускаемся [по социальной лестнице], тем выше приходится подниматься [по лестнице обычной]!..»), о таком желанном и «дорогом» виде на жительство — *carte d'identité* («Улыбаться!? Я снимаюсь для карт д'идентитэ, за которую надо заплатить сто франков»), и о неугасающей надежде на возвращение в Россию («Вы увидите: через полгода мы будем в России!» — «Вы это говорите уже десять лет». «И еще десять лет буду повторять, потому что я в этом уверен!..»).

Карикатуристы с присущим им юмором и иронией изображали ностальгию эмигрантов, их затруднительное материальное положение («декаданс») и их общественную деятельность («Союз возвращения на родину», к примеру, представлен как мельничный жернов в виде спасательного круга, а «Союз национальной молодежи» — не что иное, как собрание стариков). При яростной борьбе с денационализацией, которую русские эмигранты вели с самых первых дней изгнания, очаровательно выглядят их языковая «ассимиляция»: «Тут, визави вашего антрэ, есть гарсоньерка мебели с комфор модерн, кабинэ де туалетом, шоффажем, ассенсером и дешевым луайе без бая»... — «Не говорите при консьержке...» — «Ах, она ведь не понимает по-русски!..». Здесь же и напускная франсизация имен и фамилий «для пущего благородства», переросшая в анекдот: «Не знаю, должен ли я явиться в префектуру, когда вызывают на букву "Д" или на букву "С": моя фамилия — де Сидоров». Не забывали художники-сатирики и хозяев-французов, абсолютную несхожесть их картезианского мышления с широкой русской душой (причем, французская консьержка чаще всего изображалась пожилой тучной длинноносой дамой, совершенно бесчувственной к «*charme slave*»: «Я ничего не понимаю в русском календаре: Новый год у них через тринадцать дней после нашего, Пасха — через семь дней, а терм иногда через неделю, иногда через две, а иногда они сами не знают когда!..»).

«Иллюстрированная Россия» — летопись изгнания

«Иллюстрированная Россия» — «самый большой и самый распространенный еженедельный литературно-иллюстрированный русский журнал за рубежом», как о нем заявляла сама редакция, выходил в Париже с 1924 по 1939 годы, сначала как двухнедельный журнал, а затем как еженедельник. Его редактором и издателем был М. Миронов, публицист либеральных взглядов, бывший сотрудник дореволюционных изданий «Биржевые новости», «Русское слово» и «Наш путь». За 15 лет существования журнала было выпущено 748 номеров, представляющих собой историко-культурный и общественно-политический слепок жизни русской эмиграции во Франции и в мире. Над его созданием трудились не только талантливейшие журналисты и литераторы (И. Бунин, З. Гиппиус, Б. Зайцев, И. Шмелев и др.), но и художники (К. Коровин, М. Добужинский, А. Яковлев, Ф. Рожанковский, И. Билибин, А. Бенуа, П. Матюнин (ПЕМ) и др.).

Сатирический рисунок впервые появился на страницах «Иллюстрированной России» в 9-м номере журнала 15 декабря 1924 г. Все началось с небольшого формата карикатуры В. Белкина «20-й визит», изображающей одинокого эмигранта, докучающего своей знакомой, а также с первого «эпизода» сатирического фельетона в карикатурах (говоря современным языком, истории в комиксах) «Ив. Ив. Беженцев» художника АГНА. Этот последний, помещенный на целую страницу журнального формата того времени, был посвящен жизни и приключениям в Париже русского эмигранта Ивана Беженцева. Герой проходит классические этапы эмигрантской жизни: приезд в Париж (где он к огромному удивлению встречает русских носильщиков и шоферов такси), поиск жилья (он поселяется в отеле в маленькой комнатухе, и проворные кошки воруют его скудный завтрак, а строгая француженка-консьержка запрещает жечь примус), освоение новой страны и её языка, поиска работы (как и большинство его соотечественников, он мечтает найти работу у французских автомобилестроителей), ностальгии. Эту же тему продолжил и другой фельетон в карикатурах «Похождения четы Ивановых и их друга Синюхина в Европе» М. Линского, опубликованный в журнале в 1926 году.

С января 1925 г. в «Иллюстрированной России» печатались карикатуры МАДа, под которые также отводилась целая страница. Эти рисунки представляли собой сюжетный рассказ (в среднем, из шести связанных между собой картинок) о жизни в эмиграции, либо же о жизни в советской России. «Эмигрантские» карикатуры художника посвящались профессиям в изгнании («бывший министр путей сообщения» стал шофером парижского такси, «бывший генерал» работает поваром в русском ресторане, «бывший редактор» продает парижские газеты, «бывший санитарный инспектор» стал подметальщиком, «бывший финансист, специалист по займам» просит займы, «бывший хирург» работает в мясной лавке, «бывший дипломат» стал портье в отеле...), освоению французского языка и французской культуры («Не говорите метр д'отелю «шер метр» — так вы можете называть адвоката. Но не советуем вам женщину-адвоката называть «ма шер метресс». Когда вы видите в меню ресторана слово «кот», не пугайтесь: это не кот и не кошка. Кошка называется «льевр». «Пардон» и «мерси» — чисто французские слова, но если вы будете их произносить очень часто, все догадаются, что вы русский»), ностальгии («По ней тоскуют в знойной Африке, на парижских мандардах. Тоскуют на живописных берегах Босфора, в шумных немецких пивных, в далекой Мексике, но нигде не тоскуют по России так сильно, как в СССР»). Русские эмигранты часто сравнивались с французами: «Когда француз пьет, это значит, что он веселится. Когда русский пьет, это значит, что у него горе. Когда француз надевает фрак, это значит, что у него хороший гардероб. Когда русский надевает фрак, это значит, что у него нет гардероба. Когда француза помнёт автомобиль, это называется несчастным случаем. Когда это случается с русским, это называется удачей».

Помимо плутоватых Ивановых и любителя крепких напитков Синюхина, М. Линский создал на страницах «Иллюстрированной России» ещё одного героя эмигранта — Ивана Ивановича Беженцева, несколько раз Беглецова. Внешне этот персонаж походил на героя-эмигранта МАДа — тощий, грязный, в лохмотьях и потрепанной шляпе, сгорбленный от страха перед неизвестностью и от неловкости из-за шаткости своего эмиг-

рантского положения. Несколько раз оба художника называли его Иваном Ивановичем Оптимистовым, намекая на веру эмигрантов в возвращение на родину и в одночасье высмеивая эмигрантскую бездеятельность в этом направлении («Мы всегда лезли в воду, не спросив броду. Море нам было по колено. Мы не остерегались девятого вала. А теперь мы сидим у моря и ждем погоды»). Особым сюжетом выступала политическая и идейная разрозненность «русского Парижа», главного средоточия русских беженцев: «В Париже десятки тысяч русских эмигрантов. Вы видите их везде. На рю де Моску вы можете встретить тоскующих. На «Национальной площади» — надеющихся. На «Дороге восстания» мечтающих. На «Бульваре дворца» — вспоминающих. Но «Площадь согласия» русские эмигранты тщательно избегают».

В 1928 году в «Иллюстрированной России» из-под карандаша МАДа родился образ ребенка-эмигранта Пети Беженцева. В 1931 году успевшего подрости Петю сменил Кока Мад. И Петя, и Кока — дети, растущие в эмиграции, то поколение, которое быстрее всего рисковало потерять свои корни. На страницах журнала рассказ велся от лица этих детей, и рисунок был стилизован под детский. Основная тема этих карикатур-комиксов — русский язык, столь важный в борьбе против денационализации: «Мой папа сказал, что подрастающее поколение ничего не знает из русского языка, и что это последняя злость дня в газетах, и он мне объяснил, как надо разговаривать на нашем собственном языке, и какие слова настоящие русские. По-русски не говорят «ажан», по-русски надо говорить «полисмен». По-русски нельзя сказать «ассенсер», по-русски это называется «лифт». <...> Еще говорят «синема», а надо по-русски сказать «кино». По-русски нельзя сказать, что Жорж живет «анфас», надо сказать, что он живет «визави». Я сказал, что папа любит пить «фин», так он рассердился, потому что русское название этого — «коньяк». А когда я ему сказал «merci bien» за урок, он еще раз рассердился и сказал, что по-русски говорят просто: «Merci!» В этих рисунках отражалось также восприятие ребенком-эмигрантом русской культуры и её соотношение с французской: «Позавчера мы видели на рю Дарю настоящего француза. Ей богу! Все очень удивились. <...> У французов принято христосоваться не на Пасху, а в будние дни. Я видел в метро, в кафе, на улицах везде». И бесконечные проблемы, с которыми сталкивались взрослые эмигранты в повседневной жизни: «Папа не знает, можно ли заложить в ломбард карт д'идентитэ. Это самая дорогая вещь, какую он теперь имеет. <...> Папа написал своё подоходное заявление и сказал, что это очень выгодно, что он так мало зарабатывает».

Сатира на «Советы» или «Совдепию», как презрительно называли СССР карикатуристы-эмигранты, была представлена в «Иллюстрированной России» в рисунках МАДа, П. Кандаурова и М. Линского. Как и в случае с беженской тематикой, эти карикатуры состояли, как правило, из нескольких небольших рисунков, объединенных общим сюжетом и занимающих целую страницу. В них сквозила надежда на временность большевистской власти и прочитывалось неприязненное отношение к ней эмигрантов. Художники развенчивали большевистский террор и безбожничество, критиковали бескультурие большевиков (аппаратчик, солдат, служащий), их глупость и безнравственность: «Граждане, новая жизнь

требует перемены старых названий и в шахматах. Королей больше нет, поэтому эта фигура должна называться «наркомом». Вместо королевы будет «содком» (на советском жаргоне — содержанка комиссара). Слово «офицер» нам ненавистно. Вместо офицера будет, конечно, «военком». А не лучше ли, вместо ляды будет «Балтфлот»? Пешка? В СССР нет пешек. Пусть вместо пешек будут «товарищи». «А вместо коня? Что будет вместо коня?» — «Ну, конечно, осел, товарищ инструктор!..» Или другая карикатура, с еще большим презрением изобразившая большевика и ту непреодолимую пропасть, отделявшую его от мира цивилизации и разума: «Жил-был русский интеллигент и был большевик. Пришел большевик к интеллигенту, отнял у него одежду, обувь. Отнял книги и пенсне. И спросил тогда большевик свою жену: «Ну, что, похож теперь я на интеллигента?» — «Ах, нет», — ответила жена, — «ты забыл отнять у него лицо...». Что же касается советской женщины, то она изображена как некрасивая, грубая, лишенная шарма и вкуса.

Особенностью карикатур МАДа для «Иллюстрированной России» стало фантастическое представление советских политиков в роли эмигрантов. К примеру, в эмиграции, опираясь на свои «качества», «тов. Сталин-Джугашвили будет украшением Монматра, тов. Чичерин будет торговать нотами. Тов. Стеклов откроет, конечно, institut de beauté. Тов. Зиновьев пристроится при интернациональной компании. Тов. Дзержинский займется разменом. Тов. Радек найдет себе место на Foire de Neuilly. Тов. Луначарский устроится в единственном красном театре Парижа (Moulin Rouge). Тов. Красин получит место на автомобильном заводе, где он сможет надувать хотя бы шины. Тов. Троцкий поселится на острове св. Елены».

Художники-эмигранты также неоднократно сравнивали жизнь в изгнании с жизнью в СССР. Несмотря на многие лишения, жить в эмиграции оказалось все же безопаснее. В этом ключе МАД создал первые портреты потенциальных невозвращенцев, как, к примеру, товарищ Ячейкин: «Тов. Ячейкин, член компартии, получил командировку в Париж для ознакомления со всеми отрицательными сторонами гнусного буржуазного режима. В Париже к нему был прикомандирован тов. Гипсун с rue de Grenelle, который должен был сопровождать его повсюду. «Тьфу!» — плюнул тов. Ячейкин, увидя богатые магазины, наполненные роскошными товарами. «Тьфу!» — плюнул он, увидя рабочих, похожих на буржуев, сидящих в кафе за рюмкой вина. «Тьфу! Тьфу!» — отплевывался он, глядя на хорошо одетую, нарядную публику на бульварах. «Тьфу!» — при виде огромного ресторана, где кормят до отвала. «Тьфу! Черт!» — снова плюнул он, посмотрев на чистые улицы и высокие частные дома. И с особой злостью сплюнул тов. Ячейкин, когда ему показали самодовольного гражданина, несущего свои сбережения в сберегательную кассу. «Я вижу, дорогой товарищ, как вам противна гнилая европейская буржуазная культура», — сказал тов. Гепсун. «Да нет же!» — ответил тов. Ячейкин, — «я плююсь потому, что вижу теперь, какая гадость у нас в СССР!».

Социальная карикатура («Ухват» и «Сатирикон»)

С марта по июнь 1926 года в Париже вышло 6 номеров сатирического журнала «Ухват» под редакцией поэта Д. Кобякова. Каждый новый но-

мер журнала был посвящен определенной проблеме: жизни в эмиграции, *charme slave*, семья и детям и т.д., и был богато иллюстрирован сатирическими и юмористическими, как черно-белыми, так и цветными, рисунками А. Шема, А. Ремизова, Ф. Рожанковского, П. Минина, Б. Пикельного, N. Niso (Ю. Анненкова). В журнале печатались произведения Н. Тэффи, Дона Аминадо, Саши Чёрного, А. Яблоновского и других авторов.

Центральной темой, пронизавшей номера «Ухвата», стали «золотые двадцатые» — с их страстью к развлечениям, куда органично вписалась экзотическая русская культура, нашедшая пристанище в шумной и многоликой столице Франции. Русская культура подавалась французам à la carte — во многочисленных кабае и ресторанах — часто в упрощенном, схематическом виде: цыгане, водка, балалайка... Это нравилось потребительскому французскому обществу того времени, ставшему неоднократно объектом критики русских художников. Так, Ф. Рожанковский в карикатуре «Даешь *charme slave!*» изобразил европейского буржуа-обжору, окруженного танцовщицами-джигитами, и «русскими» атрибутами — самоваром, балалайками, красавицей в кокошнике и красной икрой.

Что же касается героя-эмигранта, то для художников-сатириков «Ухвата» его «политическая физиономия» была сопряжена с образом мечтателя-болтуна, присевшего в калошу, пустослова, неспособного освоить французский (а для карикатуристов-«сатириконовцев» — это еще и спиритист). Б. Пикельный в карикатуре «Свободомыслящие» вывел на сцену двух ложных патриотов: «И вот я и говорю: каждый эмигрант, имеющий меблированную квартиру с удобствами или без, волен спасать родину по своему усмотрению». Та же идея встречается и в фельетоне К. Лоренского «О русских изобретениях (Популярные заметки для детей, профессоров и шоферов)», также опубликованном в «Ухвате»: «...Патриотизмом называется такой случай, если кто-нибудь уехал в иностранную страну, а потом много плачет и рассказывает иностранцам, что он очень несчастный, и что в Москве совсем нет трамваев, а все ждут вождя. Иностранцы сначала очень слушают, а потом им не хочется больше слушать. Патриоты просят, чтобы иностранные жители вооружились и пошли завоевывать Россию, где и насадили бы хорошие порядки, как раньше».

Многие карикатуры «Ухвата» посвящались семье. В эмиграции жизнь продолжалась, заключались браки, иногда про расчету (эмигрант-киностатист: «Передо мной лежали два пути — либо в киногении выйти, либо на этой голландской вобле жениться... Рубикон брошен!»), рождались дети (бабушка при виде новорожденного внука: «Если мне не изменяет память — это мальчик»). Молодые семьи ощущали на себе наступление финансового кризиса (молодой отец, просматривая газеты: «Tiens! Хорошо, что мы с Мариетт от второго ребенка воздержались... Цены на детскую присыпку вдвое подскочили!») и безработицу («От труда на бирже до биржи труда — один шаг»). Но жизнь в эмиграции, какой бы несчастной она ни была (к примеру, эмигрантская квартира у Ф. Рожанковского: на стене — одинокий портрет царя, из окна видна Эйфелева башня, на столе стоит пустая тарелка, а на примусе грустно жарится яичница), казалась все же лучше, чем в советской России, погрязшей в алкоголизме и «грешащей» чрезмерным раскрепощением нравов.

Многие их этих тем были продолжены их авторами в возрожденном в эмиграции одном из самых популярных в дореволюционной России сатирических журналов, еженедельнике «Сатирикон». Он выходил в Париже с августа по октябрь 1931 года (28 номеров) под редакцией М. Корнфельда и при участии литераторов И. Бунина, А. Куприна, В. Ходасевича, Дона Аминадо, Саши Черного, а также художников Ф. Рожанковского, Е. Лурье (Лори), М. Добужинского, В. Белкина, Б. Пикельного, Ю. Анненкова (псевд. А. Шарый, Р. Шварц, Н. Ильин), Г. Шилтяна, и др.

Помимо традиционной линии, посвященной жизни в эмиграции (тяжелое финансовое положение эмигрантов, эмигрантские профессии, ностальгия, шаржи на видных деятелей эмиграции), карикатуристы журнала обращались к проблемам бедности в советской России, к вопросам внешней политики большевиков и отношения к ним Европы, а также к «столпам» советского строя, которые художник А. Шарый (Ю. Анненков) подытожил двумя словами: «морг» и «крематорий». Не остались без внимания «сатириконовцев» и такие светские темы, как женская красота и коварство, чувства или их отсутствие («Напрасно ты беспокоишься, он вернется!» — «Это-то меня и беспокоит!..»), а также психология обоих полов («Подумай, еще каких-нибудь двенадцать дней назад я была влюблена в него, как кошка... А теперь я его видеть не могу!» — «Да, я тебя понимаю... Мужчины, они страшно непостоянны!..»).



МАД. «Наш Париж. Что мы слышим о нём и что видим». «Иллюстрированная Россия» №2 (87), 1927 г.

Особенно остро в журнале ставился вопрос о сохранении русской культуры в изгнании и о борьбе с денационализацией (из ироничного разговора эмигрантов в метро: «Двенадцатый год под землей ездим,

а они еще говорят, что мы от земли оторваны!..»). Многие карикатуры «Сатирикона» и «Ухвата» объединяли в одном рисунке символы русской и французской культур (к примеру, березки, избы и деревенская баба в национальном костюме рядом с Эйфелевой башней; или еще: балалайщик, красавица в сарафане с длинной косой и самовар на фоне Сены и Собора Парижской Богоматери), противопоставляя их в ностальгическом порыве друг другу. Впрочем, постепенно карикатурные герои-эмигранты хоть и болезненно (и не без иронии своих создателей-художников!) свыклись с мыслью о том, что их очаг отныне в изгнании («Так как волею судьбы наш Николенька должен стать парижанином, то я решила пригласить Марью Ивановну давать ему уроки французского языка: она очень недурно говорит по-французски!», — восклицает мать милого ребенка в русской косоворотке). Герои-эмигранты 30-х осознают, что прежней Россия уже никогда не станет, и что «домой» они больше не возвратятся, как, впрочем, и те, кто послужил прототипами этим образам...

* * *

Современному читателю трудно представить творческий размах и популярность русских художников в эмиграции и, тем не менее, многие из них оставили неизгладимый след как в жанре газетной и книжной графики, живописи, так и в передовой в то время области — кинематографе. Что же касается М. Дризо (МАДа), то за всю свою долгую, почти 40-летнюю карьеру в эмиграции, его карикатуры увидели свет в 12 русскоязычных и в 25 французских газетах и журналах. М. Линский, помимо «Бича», «Последних новостей» и «Иллюстрированной России», сотрудничал как карикатурист в газете «Еврейская трибуна» и в литературно-политическом еженедельнике «Звено», рисовал театральные афиши, создавал учебные фильмы, писал сценарии к художественным фильмам. С киноиндустрией, а после и с телевидением, связал свою жизнь «сатириконовец» Е. Лурье (Лори), эмигрировавший в 1940-м в Америку. Внучатый племянник К. Брюллова П. Минин работал художником-постановщиком на парижских киностудиях. Ю. Анненков (А. Шарый) иллюстрировал книги и журналы, для французских театров оформил более 60 пьес, балетов и опер, а также декорации и костюмы более чем к 50 кинофильмам. Во французских изданиях часто печатались репродукции его пейзажей, портретов и интерьеров в характерной декоративно-плоскостной манере, со свободой цветовых пятен и цветных контуров. Карикатурист-«сатириконовец» Г. Шилтян, уехав в Италию, писал жанровые и аллегорические картины в манере, близкой к сюрреализму, оформлял книги и оперы. А. Шеметов (Шем) помимо активного сотрудничества в эмигрантской прессе, заведовал отделом графики в рекламном журнале компании Air France, иллюстрировал книги, в том числе детские, рисовал плакаты и декорации к фильмам. Как художник-иллюстратор Ф. Рожанковский долгое время сотрудничал с французским издательством «Фламарион», а затем со многими американскими издательствами. Оформил более 130 книг для детей, иллюстрировал книги для взрослых, выпустил несколько сборников эротических рисунков.



Виталий АМУРСКИЙ Кристина ЗЕЙТУНЯН-БЕЛОУС

/ Париж /



«ИЛЛЮСТРАЦИИ, СТИХИ И ПЕРЕВОДЫ — ЭТО ЧАСТИ ОДНОГО ЦЕЛОГО...»

(Беседа с Кристиной Зейтунян-Белоус)

Кристина Зейтунян-Белоус, можно сказать, типичная «русская парижанка». Родилась в Москве в 1960-м году. Во Франции оказалась в 1966-м, то есть ребёнком. Таким образом, русский язык дома и французский в школе, в окружающей жизни (а вместе с языком — привычки, мироощущение) оказались для неё в известной мере равноценными. В Париже окончила лицей, получила высшее гуманитарное образование в l'École Normale Supérieure... Пишет стихи и по-русски, и по-французски, стала известной во Франции переводчицей благодаря вышедшими тут (главным образом, в парижском издательстве Albin Michel) книгам Андрея Белого, Андрея Битова, Сергея Довлатова, Владимира Маканина и других писателей. Знание языка, конечно, формирует, но не обязательно определяет отношение к той или иной культуре. Кристина не просто знает русский язык, знает русскую классику и то, что было создано в русском литературном пространстве за последние десятилетия, внимательно следит за новыми публикациями — она любит русскую литературу. Именно эту любовь она вложила и в свой, растянувшийся на годы, труд в двуязычном информационно-культурном журнале для преподавателей и студентов «Lettres russes» («Русская литература»). Именно этим, подчас незаметным, но важнейшим моментом — любовью, на мой взгляд, определяется главное — удача. Удача не как синоним финансового, коммерческого успеха — речь не о них, но в смысле творческого самоудовлетворения. Перевести так, как ты сам/сама не просто понимаешь, но ощущаешь текст, чувствуешь его особую энергию и подспудную вибрацию — отнюдь не всегда очевидно. Слова подчас, как будто, простые, понятные, но что-то такое спрятано в них, словно ускользает, убегает...

Вот почему свою беседу с Кристиной я начал с вопроса:

— Когда и как вы определяете, что сделанный перевод можно считать завершённым? Не мучают ли вас сомнения такого рода, которые, как я знаю, посещают подчас вашего коллегу, Андрея (Андрэ) Маркови-

ча — смысл их в следующем: да, перевод сделал (Пушкина ли, Достоевского), но... надо будет вернуться к работе, сделать её лучше. Так же как Андрей, перевернув последнюю страницу переведённого текста, или позднее, когда перевод уже опубликован, не посещает ли вас мысль — «надо бы сделать лучше»?

— Любой уважающий себя переводчик сталкивается с подобными сомнениями, приходится иногда принимать некоторые решения в ходе работы, например, когда надо найти способ передать нечто «непереводимое», а затем, спустя некоторое время опять начинаешь мучиться раздумьями. Я недавно переделала уже практически переведенный роман («Асан» Владимира Маканина) и всюду использовала настоящее время, и перевод стал живее и по духу (а не по «букве») ближе к оригиналу, где, как часто у русских писателей, прошедшее время преобладает, но часто перемежается с настоящим. Срок уже поджимал, но к счастью, издательство «Галлимар» пошло мне навстречу и отодвинуло дату сдачи.

Я, как правило, делаю сначала черновой, но довольно продуманный перевод, затем перечитываю его параллельно с русским оригиналом (бывает, иногда что-то пропускаешь), и наконец перечитываю только перевод, желательно пару раз. В конце уже ничего не видишь и не замечаешь, настолько погружаешься в текст. К счастью, ещё есть гранки и возможность что-то исправить буквально в последнюю минуту.

Я несколько раз возвращалась к своим старым переводам в связи с переизданиями и очень многое меняла. Например «Лаз» того же Маканина впервые вышел в издательстве Belfond в 1991 году, а затем его переиздал «Галлимар» в 2007 и я там очень многое изменила и улучшила, то же самое произошло с переизданным рассказом Михаила Шишкина «Урок каллиграфии», версия, изданная в коллективном сборнике Fayard в 2005, думаю, лучше первой версии 1997 года. Что касается перевода стихов, у меня иногда получается несколько версий перевода одного стихотворения, и я порой не могу решить, какая лучше. «Реквием» Ахматовой я переводила несколько раз и, возможно, ещё перепишу перевод при случае, если найду издателя. Окончательного «идеального» перевода не может существовать по определению.

— Многие переводы, выполненные вами, были сделаны по заказу. Это понятно. Коммерческая сторона деятельности любого издательства — фактор естественный. Но всё-таки переводчик, как актёр, может отказаться от предложенной ему роли, если не чувствует, что она даёт ему возможность проявить свой талант, свои возможности. Вам приходилось оказываться в схожих ситуациях?

— Да, безусловно, я несколько раз отказывалась от переводов. При чем первый раз это произошло, когда мне очень нужны были деньги (это всё же мой хлеб насущный). Книга как раз называлась «Мужики и бабы» (роман Бориса Можаяева — прим. В.А.), я почти согласилась, но, как всегда, решила прочитать книгу перед тем, как подписать договор. Я книгу

дочитала... до предпоследней главы и решила отказаться: я просто её совсем не «почувствовала», мне было неинтересно её читать, я с ужасом себе представила, как я её буду переводить, умирая от скуки и раздражения, хотя она наверняка кому-нибудь могла понравиться, это была не «моя» книга, и взяться за её перевод было бы нечестно по отношению к автору и к себе самой.

Чтоб перевести книгу, необходимо, чтобы она тебе чем-то понравилась, или чем-то задела твой интерес, или поставила перед тобой какую-то задачу. Необязательно, чтобы это была хорошая книга. Можно даже перевести книгу, которая вызывает внутренний протест (как добропорядочный актер играет злодея). Главное, чтобы было интересно её переводить. Когда книга тебе что-то приносит, чем-то тебя обогащает, её легче пропустить через себя.

Художественный перевод — это все-таки творческий процесс, «просто за деньги» лучше переводить статьи или вовсе нечто не художественное, хотя тут тоже лучше в чужой огород не соваться. За технический перевод я бралась всего один раз, в начале своей карьеры перевела на русский пособие по технике безопасности для автомобильного завода. Очень надеюсь, что обошлось без жертв...

— Какую или какие книги из переведённых вы считаете для себя наиболее важными и интересными (разумеется, не ставя знак равенства между важностью и интересом), что однажды хотели бы перевести?

— Все книги, которые я переводила, были мне чем-то интересны. Некоторые конечно интереснее и важнее, но все их не перечислишь. Могу назвать поэму «Первое свидание» Андрея Белого, я двенадцать лет искала для неё издателя и много энергии вложила в перевод, а в 2010 году получила за него премию «Русофония». «Крейцерова соната» Толстого стоит для меня отдельно, я великих классиков прозы до этого не переводила, мне кажется, я нашла новый подход и всё же осталась верна оригиналу. Есть книги, которые мне помогли продвинуться, улучшить свою технику перевода, как например «Андерграунд» Маканина или «Бессмертный» Славниковой, потому что они сначала плохо «ложились» на французский, пришлось отходить от текста и искать другие пути. Могу ещё назвать «Вальпургиеву ночь» Венедикта Ерофеева, очень жаль, что пьесу поставили только в Страсбурге, хотелось бы ещё что-нибудь перевести для театра... Есть книги, которые мне было особенно приятно переводить: Довлатова или варианты «Мастера и Маргариты» и «Белой гвардии» Булгакова, так как Булгаков и Довлатов были среди моих самых любимых авторов еще до того, как я стала переводчиком. Всегда интересно переводить увлекательные книги, где много событий, но также интересно переводить и более серьёзные — с точки зрения языка — произведения. Больше всего я люблю переводить поэзию, все поэтические сборники и антологии, которые я переводила, для меня особенно важны. Очень хотелось бы найти издателя для сборников стихов Гумилёва, Соколуба и Заболоцкого, для антологии поэзии первой эмиграции и для

антологии символистов (давний совместный проект с Элен Анри, вроде нашли издателя, но потом сорвалось). Недавно, наконец, нашла издателя для Ходасевича и Кузмина, но он их издаст только в 2016 и 2017, надеюсь, к тому времени не передумает...

— *Наша беседа, Кристина, началась с темы переводов. Разумеется, она сама по себе многогранная, имеющая немало сугубо профессиональных аспектов. От неё перейду к вашей работе художника... Не случайно для многих, знающих вас, вы не только переводчик, но и художник. Подчас даже определение «художник» опережает «переводчик». Уточню: художник книги, график. Я знаю, что ваша мама — прекрасный художник, на выставках работ я бывал... Можно ли считать, что хотя она живописец, именно от неё вы получили тягу к линии, цвету?*

— Безусловно, моя мама, художник Наталия Белоус, меня практически всему научила. Конечно, я ещё ходила на курсы и в лицее училась на художественном отделении, но мама мой первый и самый важный учитель, и я с раннего детства мечтала стать художником, руководствуясь её примером. Но мы очень разные. Мама чистый живописец, хотя у неё также замечательная графика, а я скорее график, хотя живопись у меня тоже есть. У нас очень разные стили, и это замечательно, потому что никогда не надо никому подражать, даже самым близким и любимым художникам. Но чувство цвета и линии я унаследовала от мамы. У нас вообще в семье много художников со стороны мамы. Мамина сестра, Елена Белоус — скульптор, её дочь — моя двоюродная сестра — художник и иконописец. Дедушка хорошо рисовал, его отец — мой прадедушка, а также один из братьев бабушки тоже были художниками, можно считать, что это семейная традиция.

— *У вас есть любимые художники книги?*

— Очень люблю русскую графику конца 19 и начала 20 века. Среди моих любимых иллюстраторов Чехонин, Добужинский, Нарбут. А также Библибин, Бакст, Лансеро, Бенуа, Остроумова-Лебедева, Кругликова... всех не перечислишь. Мне близка японская графика. Высоко ценю англичан, особенно Бердслея и Артура Рэхема. Из современных иллюстраторов, мне интересны, в частности, Владислав Ерко, Ольга и Андрей Дугины, Геннадий Спирын, французы Жан Баптист Монж и Ерле Ферроньер, недавно скончавшийся Жан Жиро, известный под псевдонимом Мебиус, и многие другие.

— *В области книжной графики, как известно, наиболее интересные поиски и находки всегда были связаны с изданиями для детей. И в России, и во Франции, и в других странах. Интересными, но может быть (как мне кажется), не самыми удачными по проникновению в исторический контекст и в душу текста, можно считать иллюстрации к вашему*

переводу на французский язык книжки Осипа Мандельштама для детей «Клик и Трам. История двух трамваев» (*Ossip Mandelstam, Klik et Tram. Histoire de deux tramway*) болгарской художницы Нелли Димитрановой (*Nelly Dimitranova*), вышедшему в 2002-м году в коллекции Anatolia издательства Дю Рошэ (*Éditions du Rocher*). А вот ваши собственные иллюстрации к этим же стихам Мандельштама, украсившие «Два трамвая» в московском издательстве ОГИ (2012), я нахожу очень удачными. Не только потому, что они как бы плотнее, ощутимее связываются с содержанием, передают эпоху 30-х годов прошлого столетия, но более оригинальны по решению — использованию силуэтов и цветных пятен... Если можно, немного подробнее об этом...



К. Зейтунян-Белоус.
Обложка книги, вышедшей
в изд. ОГИ, Москва, 2012

— Перевод детских стихов Мандельштама французское издательство мне заказало уже после договора с художником. Признаюсь, я ужасно сожалела, что не смогла проиллюстрировать эту книгу, ведь Мандельштам мой любимый поэт. И вот такая удача, десять лет спустя возникла идея издания детских стихов Мандельштама в московском издательстве ОГИ, для которого я уже иллюстрировала несколько книг, и мы заключили договор. Мне показалось, что силуэты подойдут лучше всего, чтобы передать дух эпохи и оставить простор детскому воображению. Я сначала думала создать чёрные силуэты на цветном фоне, так как речь шла о двухцветной печати, но потом всё же решила, что цветные

силуэты лучше подойдут, и издательство согласилось на цветную печать. Кстати, идея цветных полос на страницах принадлежит издателю, Елене Свердловой, мы с ней вместе работали над проектом.

— Компьютерная техника, которой вы пользуетесь, по существу является, выражаясь условно, дублёром того, что известно как процесс монотипии, с той разницей, что художнику не приходится иметь дело с краской и бумагой — их заменяют находящиеся в программе компьютера необходимые компоненты. Такая смена художественных инструментов, на ваш взгляд, не приведёт ли однажды к тому, что у художника (по меньшей мере, работающего в книжной графике) исчезнет навсегда общение с реальными карандашом, кистью, красками?..

— Вообще-то я чаще всего работаю традиционно тушью и акварелью на бумаге. Затем сканирую свою графику и иногда дорабатываю её на компьютере. Иллюстрации некоторых книг я выполнила полностью на компьютере. В частности, иллюстрации к сказкам Пушкина (в издательстве «Летний сад», на французском), которые нарисованы на графическом

планшете в программе Painter, и иллюстрации к книге «В стране фей и эльфов» (издательство ОГИ), где использована техника коллажа, но это скорее исключение. Компьютер всего лишь инструмент для правки и компоновки рисунков, выполненных вполне традиционными методами. Кисти, тушь, краски и карандаши остаются незаменимыми даже с программой Painter, которая их довольно удачно имитирует: все же чувство живого материала передать невозможно. Из трёх книг, которые я иллюстрировала в 2013 году, одна сочетает фотомонтаж и нарисованные силуэты, а две другие это просто рисунки тушью на бумаге. В одной я, правда, некоторые элементы рисовала отдельно, а затем компоновала и дорабатывала на компьютере, но в другой компьютер я просто использовала для сканирования перед отправкой в издательство.

— Возвращаясь к вашим силуэтным работам для «Двух трамваев» Мандельштама, хотел бы спросить: имел ли для вас значение опыт таких больших художников, как Георгий Нарбут и Елена Кругликова?

— Нарбута и Кругликову я не зря назвала среди моих любимых художников. Но мои силуэты немного другие. У меня много иллюстраций в технике силуэта, в частности, иллюстрации к книге «Письма о любви от нуля до десяти» Сюзии Моргенштерн (в том же ОГИ), серия иллюстраций «книжный Петербург» для журнала *Lettres russes*, а также много силуэтов в моей собственной не иллюстративной графике.



К.Зейтунян-Белюс. Иллюстрация из книги
С. Моргенштерн «Письма о любви от 0 до 10»,
изд. ОГИ, Москва, 2008

— Есть ли, по вашему мнению, некая параллель между работой переводчика и иллюстратора? Я задаю его, вспомнив прочитанные однажды слова Натальи Горбаневской о сделанном вами: «Естественная для художницы чистота рисунка — но рисунка в первую очередь словесного образа, а также рисунка синтаксического и, что важно в верлибре, рисунка следования стиха за стихом»¹.

¹ Два крылышка К. Зейтунян-Белюс. Хищные дни. Насекомые: Стихи. — Париж, 2000. Наталья Горбаневская, Русская мысль №4329, 3.08.2000.

— Можно сказать, что иллюстратор переводит книгу на язык графики, но у него гораздо больше свободы, чем у переводчика. Иллюстрации разных художников к одному и тому же тексту отличаются значительно больше, чем разные переводы этого самого текста, хотя переводы тоже порой очень сильно отличаются, но всё же они сотканы из слов и должны передать определённый смысл, а иллюстрации можно выполнить в любой технике, в любом стиле, на любой отрывок текста. Иллюстрации скорее схожи со стихами на заданную тему, чем с переводом. А перевод можно сравнить с актерской работой или с игрой музыканта. Впрочем, в моём случае, графика и живопись, иллюстрации, стихи и переводы — это части одного целого, грани моей души.

— *Вскоре после ваших «Двух трамваев» (в смысле, с вашими иллюстрациями), московское издательство «Самокат» выпустило «Два трамвая» Мандельштама с «трёхмерными» декорациями Анны Десницкой. Художница в данном случае использовала по-своему опыт прекрасного чешского мастера Иржи Трнки, а «трёхмерность» некоторых (театральных по своему характеру) страниц соединила со страницами с традиционной графикой. Мне, признаюсь, нравятся обе книги. А как вы относитесь к «трамваям» Десницкой?*

— Мне очень понравились её иллюстрации, они очень оригинальны и совсем непохожи на мои. Вообще сейчас много хороших иллюстраторов. К сожалению, появляются также чудовищно безвкусные иллюстрации и обложки, особенно в современной России, и с этим трудно бороться.

— *Ну, и последний вопрос, Кристина. О ваших собственных стихах. Пишутся ли? Как с тем, что уже написано — готовите ли новую книгу?*

— Пишу понемногу, меньше, чем хотелось бы, возможно, 2014 окажется более плодотворным. О книге думаю уже давно, но это не так просто, легче чужие произведения пробивать в издательство, чем свои собственные. Последнее время, как ни странно, часто пишу стихи о Париже. Вот как раз о трамвае:

Парижский трамвай был ликвидирован как класс в 37 году
Его недавно реабилитировали
белый с зеленым
похожий на инопланетную стрекозу
курсирует по окраинам
с задумчивым видом
До центра ему не добраться
101 километр
(его парижский эквивалент)
трамвай ещё ограничен в правах
но уже набирает силу
трамвайный бунт
трамвайный бум
трамвайные будни в Париже
ещё впереди



Галина БЕЛОВА Наталья ЭНКЕ-КРУГЛАЯ

/ Париж /



УЕХАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА

Воспоминания об актёре Льве Круглом

Я прожил уже треть восьмого десятка.
Звонит какая-то журналистка:
— Это Лев Круглый?
Отвечаю: — Да, Лев Борисович.

Из записок Л.Б. Круглого

«Лев Борисович! Дорогой! Вы загубили свою жизнь!» — слегка подвыпивший организатор встречи в подмосковной Лобне в октябре 2007 года расчувствовался во время банкета после гастрольных выступлений Льва Круглого. Спьяну, как говорится, но ведь от души!

Уехав на Запад в 1979, он, как все тогда, сжигал за собой мосты. Прыжок в пустоту, в неизвестность. Семья Круглых уехала искать не «славы и денег», как ехидно писала о них газета «Советская культура». Уехали, чтобы сохранить человеческое достоинство, чтобы прожить жизнь людьми, а не сверчками, которым полагается «знать свой шесток».

Французы говорят: «Partir, c'est mourir un peu» (уехать — это немножко умереть). Тогда не могло быть речи о «немножко», тогда было жестко — навсегда.

Вот уже три года, как Льва Борисовича нет с нами. В сегодняшней России происходит его «возвращение»: фильмы с его участием появились на экранах после долгого лежания на полке, о нём можно прочитать и в Википедии, и в киноэнциклопедии. Однако о его жизни в эмиграции мало что известно. Отсюда такой взгляд на актёра-эмигранта: уехал — загубил себя.

Наталья Владимировна Энке-Круглая — жена и сценический партнер Льва Борисовича, и никто лучше нее не может рассказать об этих годах, наполненных работой, путешествиями, встречами. Да и мне — их подруге — есть, что вспомнить. Так получился этот рассказ на два голоса.

Дебют в эмиграции

Наталья Владимировна: — Мы эмигрировали в 1979 году. В конце года приехали в Вену. И тут же мы пошли в русскую православную церковь. Нам объяснили, что там при церкви очень хорошее есть русское общество, есть русская библиотека. Познакомились там с замечательными людьми, и тут же нас спросили, а не могли бы вы, раз вы артисты, что-нибудь нам сыграть? И Лев Борисович сказал: да, он может сыграть «Кроткую».

Это был огромный роскошный зал с гобеленами. И мы пришли — и никого нет. Никого нет, и 5 минут до начала спектакля. Входит какой-то человечек маленького роста, почему-то в шубе из лисьего меха, видно, так и приехал из России. И Лёва говорит: «А где же все?». Он говорит: «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, сейчас у них детский праздник кончится, и они все придут. Не волнуйтесь, будет полный зал». Лёва подумал, сейчас придут малые дети, а он будет играть «Кроткую» Достоевского!

Но, слава богу, дети пришли не все. Немножко их было в зале, а зал был, действительно, битком набит. И Лёва играл в этот день очень хорошо, очень вдохновенно. И было две таких детали, которые мне врезались в память. Когда он говорил, со скрипом открылась дверь в соседнюю залу, в которой была чернота, совершенная чернота. Никакого света не было, там ничего не горело, и дверь с диким скрипом открылась так, что просто холодок, мурашки пошли по телу. А второе — когда он взял икону и стал говорить: вот с этой вот иконой она сейчас, вот сейчас отсюда прыгнула, — и Лёва вспрыгнул на окно (а там был довольно высокий подоконник), и просто было ощущение, что он сейчас откроет окно и просто выпрыгнет. Это был первый наш спектакль за границей.

Париж и первые друзья

Наталья Владимировна: — А когда мы приехали в Париж, то нам тоже помогли снять зал маленький у Бретонского центра в переулочке на Пигаль — маленькое помещение, по-моему, человек на 80, на 100 — не больше. И мы пригласили всех, кого мы знали. На этом вечере кто был? Ну, конечно, Некрасовы, конечно, вся редакция «Русской мысли» во главе с Ириной Алексеевной Иловайской, Синявские, Максимовы Володя с Танечкой, Целковы, Заборовы, конечно, Наташа Горбаневская была и много-много других людей. Надо сказать, что был полный зал, и два вечера Лёва играл «Кроткую» с Александром Куреповым (я тогда еще не вошла в «Кроткую»), и два вечера — «Бедные люди». И мы на все деньги от спектакля, которые у нас остались, устроили банкет по окончании выступлений. Там все-все остались, собрались, и вот тогда мы как бы вошли в эту среду. Поэтому сразу у нас появилось много знакомых, много друзей.

«И мы на все деньги от спектакля, которые у нас остались, устроили банкет...». До чего же характерно! Чаще всего именно так и бывало, что весь скудный гонорар тратили на угощение друзей. Да и вообще, почти

всё, что эти нерасчетливые и непрактичные люди зарабатывали, уходило на постоянно приезжающих гостей, квартировавших или просто приходивших «посидеть».

Что до самого Льва Борисовича, ко всем французским разносолам он относился скептически. За всё время жизни во Франции так и не удалось его заставить даже попробовать устриц или лягушачьих лапок, а из всего богатства французской кухни, пожалуй, единственным, что завоевало его сердце, была картошечка-фри. Борщ, сосиски или домашние котлеты, пирожки с капустой — в своих гастрономических пристрастиях он остался консерватором, русским до мозга костей.

Он был немногословен и, на первый взгляд, колюч и замкнут. Но только на первый взгляд. Человека, прежде чем допустить до себя, до общения, до принятия в свой круг, ему надо было рассмотреть со всех сторон, препарировать, раскусить, и только потом делиться с ним сокровищами своего опыта, своих жизненных наблюдений, воспоминаний. Ему хотелось, чтобы все вокруг него — друзья, родственники, друзья родственников, родственники друзей, друзья друзей, местные и приезжие, постоянные и заезжие — все были веселы и беззаботны. Хорошая компания, добрая и умная беседа за обильным столом — что ещё нужно?! В эту скромную (по нынешним московским понятиям), заставленную по всем стенам книжными полками квартиру слетались Некрасовы-Кондыревы, Максимовы и Гинзбурги, Есаяны и Стацинские. Здесь жили, столовались, гостили, ночевали, а то и злоупотребляли гостеприимством друзья и знакомые со всего света, в основном театральные и киношные, а также художники и литераторы, журналисты и балетные, да и просто «из публики» — всевозможные знакомцы, полужнакомцы и незнакомцы прошли через этот монтрёйский дом. И как же тянулись к этому теплу все, знавшие его и его семью!

Друзей не обманывала его напускная суровость, хотя малознакомых могла и обезкуражить некоторая резковатость суждений. Но уж если вокруг были «свои», а хозяин в ударе — вечер оборачивался праздником, который хотелось длить и длить, чтобы не кончался. Театральные байки и анекдоты сыпались безостановочно, и оба — он и его жена, — как будто соревнуясь, подхлестывали свою память, выжившая из неё все новые и новые забавные или поучительные эпизоды, и благодарные гости поглощали с жадностью эту манну, вперемешку с дивными кулинарными творениями Натальи Владимировны. И поводы всегда находились: дни рожденья, праздники или просто приезд какого-нибудь именитого гостя — столько причин собраться «посидеть». И каждые посиделки — счастье.

Ему нужно было быть полезным. В недоброй памяти 90-е, когда было всё трудно в России, и многие остались без работы, без зарплаты, Лев Борисович затеял фонд. Он назывался «Прямая помощь», и предназначались собранные средства конкретным многодетным семьям. Практически все здешние друзья Круглых участвовали в сборе пожертвований, давали — кто сколько мог. Это были и Некрасовы, и Янковичи, и очень многие другие, участвовала и Ирина Алексеевна Иловойская, участвовал право-

славный фонд помощи верующим. И всех этих людей Лев Борисович каждый месяц объезжал, собирая по крохам со всех концов города эту лепту, которая переправлялась потом в Москву. В начале 90-х курс иностранных валют стоял высоко, и даже такие, казалось бы, смешные суммы, как 10–20 франков на семью были для многих огромным подспорьем. Тогда ещё поезд ходил Москва — Париж, поэтому к праздникам, в придачу к этим деньгам, покупались всякие игрушки, сласти, и Лев Борисович мотался на вокзал, отвозил к поезду эти большие коробки. После этого Круглые получали замечательные рисунки от детей и письма от их родителей. Это длилось несколько лет, до тех пор, пока не сошла на нет надобность в этом вспомоществовании.

Ему нужно было радоваться. Приехал человек в Париж, ну, как его не взять под крыло? Ему же нужно всё показать, всё рассказать, отвезти-привезти, поделиться Парижем, зарядить и заразить этим городом. Он колесил по Парижу и пригородам со своими гостями, не считаясь со временем, сжигая огромное количество бензина, чтобы те увезли с собой в Москву, в Тель-Авив, в Мюнхен или Нью-Йорк немножко теплой безалаберности русской парижской жизни. Он дарил Париж.

Он дарил Францию тем, кто хотел её принять и полюбить. Пока здоровье позволяло водить, он мог погрузить в машину семью и пару-тройку друзей и вывезти всех в приятный летний день в ближний пригород — Версаль, Фонтенбло, Рамбуйе, Сан-Лис, Шантийи... Люби и знай свой край! Или прокатиться к заброшенной римской дороге, еле различимой в поле, полюбоваться руинами амфитеатра галло-римской эпохи, полузаросшего травой. Съездить поклониться могиле Ван Гога или в Живерни к Моне. В любое время года сделать подарок близким и друзьям — просто посадить их в машину и отвезти в такое место, куда ни на какой электричке или автобусе никогда не доедешь. Просто «погулять» — так это называлось.

А весной... Ну, откуда он знал, что именно в такой тёплый денек надо непременно быть именно в этом лесу? Но кто-то нашёптывал ему, что именно здесь, именно сегодня под сводом едва распутившихся крон будет виться легкий лиловатый гиацинтовый дым, от которого мы будем ходить пьяными и счастливыми. Это эфемерное цветение, длящееся считанные дни, он дарил нам просто так, от хорошего настроения. И пока мы с упоением носились по синему от цветов подлеску, набирая охапки дурманно пахнущих диких гиацинтов, он сидел себе в складном креслице возле машины, что-то почитывая, с довольной усмешкой сытого кота наблюдая нашу счастливую возню. И хитро прищурившись, деланно-сердито бурчал: «В ножки, в ножки!», и мы, с восторгом включаясь в игру, принимались шутовски кланяться и петь осанну «барину-батюшке», изволившему оказать нам божескую милость.

Медон

Наталья Владимировна: — В тот вечер после нашего первого выступления нам сказали: «А не хотите ли вы поехать в Медон, там, под Парижем, есть центр изучения русского языка. Не хотели бы вы

там сыграть «Бедных людей»? Мы сказали, с удовольствием, и через какое-то время поехали, и Лёва сыграл «Бедных людей», к нам подошел отец Рене Маришаль и сказал: «Не хотите ли вы у нас остаться и преподавать? И жить». Ну, это было просто счастье! Квартира появилась через два с половиной года. Два с половиной года мы жили в Медоне, уже надоев всем, потому что все кошки со всего района пришли к нам жить, понимая, что это очень выгодное место. Ёжики ночью приходили и требовали молока, и Лев Борисович, чертыхаясь, вставал и наливал молоко в какую-то мисочку, иначе же ёж подбрасывал её носом и гремел так, что выходили отцы, пока её не наполнят. И кошки!.. пока сына не ухитрилась родить восемь котят на груди у Никиты, нашего сына, и у него немедленно началась аллергия, и он стал задыхаться.

И тут отцы сказали — нет. Забрали всех кошек, когда нас не было, и увезли в какой-то центр, приют какой-то. И вечером, когда Никита вернулся из университета (он там изучал греческий и латынь) и узнал, что увезли всех кошек — и маленьких, и больших, он немедленно поехал и вернул всех обратно, и тут я поняла, что нам больше не жить в Медоне. Пошла к отцу Рене, упала ему в ноги и сказала: «Ну, отец Рене, вы видите, он вегетарианец по убеждению, потому что он любит животных, ничего нельзя сделать. Это не против вас, он просто не мог это пережить, что животных усыпят или что-нибудь с ними сделают». Отец Рене очень нейтрально сказал, да-да-да, я понимаю. Но, в общем, мы поняли, что пора бежать, что уже два с половиной года — это действительно, наверное, большая нагрузка.

Сколько помню, всегда в доме у Круглых жили животные. Без этого, кажется, они не мыслили существования. Любовь к животным — семейное, генетическое. Даже при выезде из СССР среди малочисленного багажа было главное — собака Даша. Которая, кстати, плохо перенесла самолёт, и все скудные валютные запасы (аж целых 200 долларов на всю семью, которые родина напоследок позволяла обменивать отъезжанцам) были «съедены» тут же лечением животного. При всей своей нероскошной жизни они изрядную долю доходов тратили на прокорм и лечение своих многочисленных питомцев. Три кошки — Стёша, Рыжик и Машка запечатлены на картине на Круглого, нарисованной Александром Зиновьевым, висевшей в гостиной. Собака Даша, которую после её смерти сменила Агаша, тоже пуделиха, названная в честь Агафьи Тихоновны, привезённая щеночком в шапке из Москвы. Животных никогда не дрессировали и нещадно баловали. Им было позволено всё, поэтому зачастую застольная беседа заглушалась Агашиным гавканьем. Да и по телефону поговорить иногда бывало затруднительно, и тогда Наталья Владимировна извинялась: — Погоди, сейчас пойду, убью собаку. И в трубке слышались долгие увещевания: «Агаша, как тебе не стыдно? Прекрати немедленно!».

Даже мерой таланта при обсуждении фильмов или спектаклей служил «псόμεтр», когда об игре какого-нибудь совсем уж бестемперamentного или слишком рассудочного актера говорилось «холоден, как собачий нос».

Медон. Трудовые будни

Наталья Владимировна: — Медон. В общей сложности, лет семнадцать, наверное, мы там проработали, поставили больше 100 спектаклей, как сказал отец Маришаль, который возглавлял это. Это были не целиком спектакли на два с половиной часа, а обычно — одноактные пьесы. Ну, положим, «Свадьба» Зощенко, «Сильное чувство» Ильфа и Петрова. Одноактные. Или, просто акт, скажем, из Грибоедова. Вот такие — на час с небольшим, спектакли были всегда в костюмах, всегда с музыкой, с замечательным исполнением — очень способные, талантливые люди. Особенно итальянцы, всегда приезжали такой группкой — школа итальянских переводчиков из Рима. И очень талантливые англичане. Лев Борисович читал там всё время лекции. Надо было каждый день — это разговорная практика русского языка. Мы грамматику не преподавали, а просто должны были с ними четыре часа в день разговаривать на темы, которые мы сами давали. Потому что все они уже переходили на последний курс, поэтому прекрасно уже знали, читали уже Толстого, а когда спросишь какие-то простые вещи: как в комнате называется покрывало, скатерть на столе? — они ничего этого не знали. Поэтому эти курсы были очень важны, именно это был разговорный язык. По-французски там нельзя было произносить ни звука, ни слова. Поэтому мы его и не выучили в результате, потому что мы всё время работали с русским языком — все годы. Все спектакли, которые мы привезли с собой, мы играли в Медоне, потому что там был очень хороший маленький зал. И начали мы свою жизнь, в общем, с Медона.

Дранные чемоданы в первом классе

Наталья Владимировна: — Первая работа Льва Борисовича — он был упаковщик в газете «Русская мысль», а я там заведовала архивом. Это был основной источник доходов. Спектакли всегда были бесплатными. И потому что было очень много в Медоне студентов, у нас и пошли спектакли. Посмотрели студенты, приехали туда к себе, рассказали, и нас приглашают. Оплачивают нам дорогу, оплачивают нам гостиницу. Мы поехали и в Мадрид играть, мы поехали в Амстердам играть, мы поехали в Лондон и в Кембридж играть... это шло от наших спектаклей, которые мы играли в Медоне.

Не помню её фамилию, помню только, что звали её Мария, она была из русских испанцев, зав. кафедрой русского языка в Мадриде. И она говорит: «Вы только нас простите, мы очень бедные, мы не можем вам за спектакли заплатить, просто какие-то небольшие суточные, но самолёт мы оплачиваем и оплачиваем самую лучшую гостиницу». И вот мы приезжаем в аэропорт и встаем в очередь. Ободранные какие-то чемоданчики у нас и одежда плохонькая. И Лёва свой билет даёт, а она говорит: «Première classe» (Первый класс) и так оттесняет нас. Лёва думает, ну, да, сейчас идёт первый класс, а потом, значит — мы. Опять сует билетик, опять говорят — нет, первый класс. Наконец, осталось три пары,

из них — в роскошных совершенно каких-то шубах дамы и мы слевой. Оказывается, это у нас был «Première classe». Прилетаем: самая лучшая дорогая гостиница в Мадриде. Швейцар, который нас встречает, несёт наши чемоданчики скудные. На следующее утро приезжает за нами роскошная машина, и он наши чемоданчики, поскольку там одежда эта тяжёлая, везёт, видимо, жутко удивляясь. Вечером эти драные чемоданчики он опять принимает, на следующее утро он их опять куда-то везёт и опять принимает. Наконец, Лёва не выдержал и говорит: «Маш, а нельзя сделать так, чтобы в следующий раз ты бы нам по третьему разряду гостиницу и самолет». «Нет, — сказала с гордостью Мария, — мы обязаны вас по высшему разряду встретить».

Но, надо сказать, в Мадриде были неудачные спектакли, потому что молодёжь совершенно не приучена. Мария нам потом рассказала, что просто нет у них такой практики, они на спектакли не ходят, тем более, на такие серьёзные спектакли.

Ничего-ничего, ну, посмотрели один раз, может, кому-то и понравилось из них. Лев Борисович всегда считал, что если в зале сидит хоть два, хоть три человека, которым интересно смотреть, то уже стоит играть спектакль. Это было его credo.

О, эта свобода, которая внезапно свалилась на них! И, прежде всего, свобода передвижений. Можно сесть в машину и — «в любую сторону твоей души». За годы жизни в Европе где только не побывали они — и семьей, и с родней, и с друзьями. Свобода колесить, видеть, узнавать, любоваться, восхищаться. И всё это — не группой по расписанию и под надзором, а неспешно, по своему хотению, с заездами в заманчивые городишки и деревеньки, случайно встреченные по пути. И в гости ездили немало не только по Европе, но и в Израиль, и в Новый Свет. Была бы у Круглых такая возможность, живи они в СССР или в России?

Эфиопский поэт Пушкин в Санта-Барбаре

Наталья Владимировна: — В 1999 юбилейном пушкинском году в США играли в ряде городов, это, во-первых, в Нью-Йорке, во-вторых — в Сан-Франциско, и самое главное, что мы приехали в Соединённые Штаты Америки по приглашению самого мэра города Санта-Барбара. А там считалось, что Пушкин — это не русский поэт, а эфиопский, но к мэру пошли наши друзья, с которыми мы познакомились в Вене, и они уговорили: сказали, что только два существуют в мире артиста, которые могут Пушкина прочесть в Санта-Барбаре. И мэр сделал приглашение. И мэр просидел, не понимая ни звука по-русски, весь концерт, смеялся, а после этого ел с удовольствием пирожки, красную икру и бутерброды. И после спектакля Лев Борисович к нему подошел и сказал, что приглашает его в Париж. Тут я дрогнула, подумав, да, мэр Санта-Барбары придет в наш Монтрёй в нашу квартиру, и что я тогда буду тут с ним делать? Кроме того, что я умею готовить борщи и русские пирожки. Это было очень смешно.

Галина Викторовна и граф Толстой

Наталья Владимировна: — Студенты нас очень любили, ходили за нами по пятам, потому что мы их всё время развлекали — занимались театром, и Лёвины бесконечные рассказы и байки помимо уроков. И студенты, конечно, к нам были очень привязаны.

Галина Викторовна Некрасова — это наш большой друг, вдова Виктора Некрасова. Мы очень дружили с этой семьёй, очень часто у них бывали. Обычно наши посещения были где-то к десяти часам вечера, потому что Виктор Платонович обычно спал. А вот потом уже, когда поспит, уже встанет, и вот тут ему хочется ужинать и разговаривать. И это были самые замечательные часы нашего общения. А Галина Викторовна была украинская актриса и тоже преподавала, так же, как и мы. Обычно мы ставили спектакли, а она ставила концерты. Галину Викторовну звали Галина Дикторовна за глаза, потому что она всё время говорила: — Ты неправильно это произносишь, надо произносить вот так — ты-ты-ты, дыды-ды. И студенты подшучивали над ней.

А студенты были самых разных возрастов — были итонские ребята, совсем ещё школьники, совершенно потрясающие, воспитанные просто до неприличия. И, кроме этих маленьких, были даже старички, которые просто любили русский язык и приезжали каждый год на стаж и с удовольствием играли у нас в спектаклях. Я помню, что у нас был такой граф Толстой, который приехал из Англии, и у него была очень плохая память, он запомнить текст никак не мог. Мы тогда Гоголя ставили, ему дали в «Ревизоре» какую-то роль — ну, никак он не мог запомнить. И вдруг Галина Викторовна подходит ко мне и говорит: «У меня будет концерт, и граф Толстой будет читать стихи». Я говорю: «Ну, Галь, какие стихи? он два слова не может выучить, я его с голоса учу». «Ну, посмотришь», — говорит Галя. И вот мы приходим, и выходит этот граф. А граф был красив, высок, строен. Он выходит, складывает руки и читает:

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.

Все начинают уже хохотать. Потом он так же, абсолютно не поведя бровью, говорит:

Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет
Пиф-паф, ой-ёй-ёй —

тут он ложится на пол плашмя и дочитывает: «Умирает зайчик мой».

Пауза. Я говорю: — Ну, а дальше?

Он, лежа, говорит: — Дальше нет.

Я говорю: — Как нет? Есть!

Он говорит: — Что есть?

Я говорю: — Привезли его домой, оказался он живой!

Он вскакивает, этот человек, и кричит: — Боже мой, какая радость! Я сейчас приеду в Англию и расскажу! Мои же дети этого не знают!

Большое событие — «Женитьба»

Наталья Владимировна: — И в 1981 году произошло такое большое событие в нашей театральной жизни — Вета Иверни подсказала нам такую идею: «Поставьте спектакль на двоих». «Как это — на двоих?» «Да, — говорит, — вот, «Женитьбу», например». И в это время был режиссер во Франции, который потом уехал в Америку — Эрнст Хейфец. И он с нами какое-то время работал, потом уехал, и мы кончали этот спектакль самостоятельно.

Когда мы сыграли в первый раз в Монжероне в русском центре, созданном Аликом Гинзбургом, спектакль «Женитьба» — это было для нас огромное событие. Мы в первый раз сыграли созданный здесь большой спектакль. Лёва играл все мужские роли, а я — все женские. Потом Володя Максимов снял большой зал на 500 мест на Йена. Мы отмечали 50-летие Льва Борисовича и 30-летие его появления на сцене. Был полный зал народу, мы никогда не думали, что столько народу придёт. Был роскошный буфет, который готовили сами — Галина Некрасова, Ниссен и много-много женщин. И Лёва играл Чехова, и мы играли кучки из «Женитьбы», которую мы только что сделали. Это был Лёвин вечер, единственный раз, когда мы играли в таком огромном зале, битком набитом.

Швейцария. Таможня и куча денег

Наталья Владимировна: — В Швейцарии мы играли почти каждый год. Там есть замечательный человек Жорж Нива, который был деканом в университете в Женеве, который нас приглашал каждый год. И сыграли мы там, действительно, все.

И в Цюрихе, помню — там жила миллионерша русская, которая рассказала нам свою историю. Папа у неё работал, по-моему, в посольстве, когда у папы кончился срок, он с мамой уехал в Россию, а она решила остаться — в 17 или в 18 лет. И вышла замуж за какого-то миллионера, немолодого уже, родила ему двоих детишек, и он отдал ей несколько ресторанов и отелей — хозяйствовать. А она — русская душа — без конца приглашала туда всех русских со всех городов. И мы тоже попали в это число, поскольку в Женеве играли, кто-то ей сказал, что есть артисты, и она нас тоже пригласила. В роскошном совершенно отеле мы жили.

И появилась она — вся в огромных бриллиантах, в огромной белой шляпе, и повела нас на спектакль и сказала: «Лев Борисович, понимаете, у нас очень бедные тут люди, так что не обижайтесь. Будет очень много студентов, денег, может быть, вы заработаете не много, но что можем — то можем».

Когда мы кончили играть «Женитьбу», она сняла с головы свою белую шляпу роскошную, бросила туда 100 швейцарских франков, что по тем временам было очень-очень много, и пошла по рядам. И мы слышали только — звякала мелочь, в общем, набрался целый мешок денег. И вот, мы едем в Женеву. Подъезжаем к Женеве, и идет проверка. У нас проверяют документы. Во-первых, с документами — так: у нас написано, мы — политические беженцы.

- Где вы родились?
- В Москве.
- Пауза.
- А где живете?
- В Париже.
- А где сейчас работаете?
- В Мюнхене.
- А куда вы сейчас едете?
- В Женеву.
- Зачем?
- К друзьям.
- Покажите чемоданы.

Мы открываем чемоданы. Первое, что видит таможенник, это икона, вырезанная из «Огонька», но наклеенная на старинную дощечку. Он забирает эту икону. Говорит: — Откройте сумку. Лев Борисович открывает сумку, и там мелочь — полная сумка. Мелочи огромное количество, потому что молодёжь, которая сидела, они ещё хохотали и со звоном все туда кидали. Он забирает эту сумку с деньгами, наши документы, эту икону и уходит надолго. Поезд стоит. Все ждут. По расписанию он должен уже уйти. Потом приходит этот совершенно красный молодой (молодой попался совершенно глупый) таможенник, который упёрся и решил что-то всё-таки такое у нас найти. А все ему вокруг что-то уже шепчут, что, ну, ладно, пропусти. А он всё куда-то бегаёт звонить, видимо, проверяет, работаем ли мы в Мюнхене и какое мы отношение к Парижу имеем. Поезд простоял 30 минут из-за нас.

«Фиктивный брак» под водочку

Наталья Владимировна: — А действительно, мы в это время работали в Мюнхене. Лев Борисович работал на «Свободе», а я преподавала разговорный русский язык в американской школе. И там у нас была замечательная компания. Все к нам приходили. Там жили Володя и Ира Войновичи в то время, там жили Александр Зиновьев с Олей, Эрик Зорин с Людой, Паничи. В общем, все у нас собирались очень часто. А главное, когда мы уже приехали в Мюнхен работать, Володя Войнович сказал: «А почему бы вам не играть мою пьесу здесь?». (Он написал «Фиктивный брак» по заказу, к Новому году, для Би-Би-Си, и спектакль этот мы записали, и он пару раз прошёл по радио.) И мы стали играть его в этой школе американской, где всё время каждые полтора месяца менялся состав, и мы очень часто его играли и с успехом, и с удовольствием. Очень симпатичный спектакль, по-моему. А там мы выпиваем водку вдвоём в течение всего спектакля, и огурчики лежат как закусочка, и каждый раз, когда Лев Борисович спрашивал после спектакля: «Ну, какие будут вопросы?», обязательно первый же вопрос был: «А пьете вы настоящую водку?». И комментарии: «Да, конечно, настоящую: видите, она вся красная стала», — это про меня в конце. Он говорил: «Ну, конечно, настоящую. Иди сюда». И наливал в стопочку воду из нашей бутылки, и часто эти американцы подыгрывали и говорили: «Крепкая!».

Свобода лучше, чем «Свобода»

Наталья Владимировна: — Как Лева оказался на «Свободе»? Объявила нам об этом в «Русской мысли» Ирина Алексеевна, сказала, что приглашают Льва Борисовича. И он посоветовался с Виктором Платоновичем Некрасовым. И Виктор Платонович очень советовал поехать. Лева там как журналист и как диктор работал. Один раз, я знаю, был случай, когда ему дали об Александре Исаевиче Солженицыне какой-то материал, и он сказал: «Я этот материал читать не буду. Такие вещи нужно проверять, когда вы пишете об этом человеке». И ему все сказали: «Ты с ума сошел! Тебя сейчас выгонят. Вообще, тут не принято». Там же американское начальство. Он сказал: «Я читать этот материал не буду, его надо переделать весь». И через три дня ему принесли материал, уже проверенный, совсем другой, тогда он его прочёл. Так что он с самого начала вёл себя так. Поэтому Лева занял там сразу какое-то особое положение, с ним считались, но и, наверное, недолюбливали, я так думаю. И он, естественно, в ответ недолюбливал. Поэтому ровно через три года, потому что надо было три года отработать, мы оттуда уехали прямо день в день, как только истек срок контракта. Говорят, что это был чуть ли не единственный случай в истории «Свободы», когда человек ушёл по собственному желанию в никуда, не получив никаких денег, ничего. Потому что можно было, говорили ему: «Лев, ты дурак, ты заболел — возьми лист больничный, а потом продли себе его, и гуляй под их окнами, чтобы они видели. И они потом, чтобы избавиться от тебя, сами тебя уволят, и получишь такие деньги — будь здоров!». А мы уехали просто в никуда.

Когда Круглые вернулись из Мюнхена, Ирина Алексеевна Иловайская предложила им работу на экуменическом радио, где совместно вели передачи четверо православных и четверо католиков. Существовало радио «Благовест» семь лет с ежедневным часовым эфиром Круглых. Эта радиостанция вещала на весь Советский Союз и даже дальше, потому что приходили письма в дирекцию даже из Китая. Сначала записи велись на радио Нотр-Дам — в субботу и воскресенье оно не работало, студии были свободны, поэтому они пусkali к себе «Благовест». А через несколько лет Круглым пришлось уже ездить в Брюссель на двое-трое суток, где они записывали свои программы на целую неделю вперед.

«Благовест», архиепископ Люстиже и Иоанн-Павел II

Наталья Владимировна: — Мы столкнулись с такими потрясающими авторами, с такими текстами. Мы прочли, наверное, всего Александра Меня — всё, что было издано, напечатано. Мы прочли очень много Папы Римского — энциклики его, выступления. Очень много, ну, представляете, если семь лет каждый день по часу. Первая часть нашей передачи была религиозная, а вторая часть была художественная, где мы читали очень много литературы — русской и советской, на религиозные темы, там были тексты Солженицына, был рассказ Григоренко — совершенно замечательные его воспоминания. Огромное количество стихов, конечно, русских звучало. Где сейчас все эти записи, я не знаю, но это было ог-

ромное количество уникального материала. Сначала редактором у нас была Ирина Алексеевна Иловайская, но потом уже, где-то ко второй половине, она целиком всё это переложила на плечи Льва Борисовича. И Лёва уже сам составлял эти программы, эти тексты, распределял их, и мы втроем (ещё сын помогал нам, потому что нужен был мужской еще один голос) всё это записывали.

И в субботу и воскресенье приходил на радио Нотр-Дам записываться архиепископ парижский кардинал Жан-Мари Люстиже. И с этого момента началось удивительное наше с ним общение, можно сказать, дружба. Первое, что мы ему предлагали — выпить кофе или чай горячий, потому что мы приходили туда на несколько часов работать, приносили с собой термосы, бутерброды, угощали его. Приходил скромный человек, невысокого роста, в черном строгом пальто, только с маленьким крестиком на отвороте. Удивительно улыбчивый, удивительно приветливый. Всегда первый вопрос: «Как вы поживаете? А что в «Русской мысли»? Что, вообще, вокруг происходит?». И после этого мы расходились по разным студиям писать свои передачи. Иногда приезжие редакторы из России или просто наши друзья говорили: «А можно, мы пойдем, послушаем, как вы работаете?». И когда приходил кардинал Люстиже, после этого на вопрос: «А кто это?» — мы отвечали, что это архиепископ парижский, они говорили: «Да, ну? Перестаньте». Потому что он настолько не был похож на архиепископа, как мы себе представляем, на кардинала. Он был очень-очень скромный, очень простой, очень приветливый человек.

Нет, «Благовест» не был случайностью, понятно, почему выбор главного редактора — Ирины Алексеевны Иловайской пал на Круглых. Не секрет, что после развала СССР православие попыталось заполнить образовавшийся идеологический вакуум. Вчерашние коммунисты вдруг оказались стоящими в храмах со свечками, неумело крестясь, а рейдеры и бандиты обвешивались пудовыми крестами на золотых цепях в палец толщиной. Вся эта внезапная и показная воцерковленность была совершенно чужда Круглым. Лев Борисович был христианином в самом подлинном смысле этого слова: он считал, что с Богом надо быть наедине.

В эмиграции его религиозные убеждения только крепили. И Ирина Алексеевна Иловайская всё про него и Наталью Владимировну поняла и однажды сказала: «Ребята, я просто чувствую вас, чувствую расположение ваше. Вам обязательно нужно креститься». И они оба сказали: «Хорошо». Наталья Владимировна сшила крестильные рубахи, и они крестились в церкви в Булонь-Бийанкур у своего любимого отца Николая Озолина. И Ирина Алексеевна была их крестной матерью. Крестным отцом они предложили было Виктора Платоновича Некрасова, на что он сказал: «Ребята, дорогие, я же неверующий. Я крещённый, но я неверующий, я не могу быть. А вот, кто будет совершенно счастлив, — так это Тэнцы». И было предложено Нино Тэнцу, и он сказал — с удовольствием. Но именно в день крестин его вызвали по службе, а приехала его жена — Наташа. И оказалось у Круглых две крестные мамы, а крестный папа был в это время в командировке.

Для Круглых было насущной потребностью, куда бы ни ехали, непременно заходить в любую встречную церковь. Лев Борисович любил беседовать со священниками, и эти беседы давали ему понимание религии и укрепляли его в вере. Вера его была глубока, но без показухи. Никто не видел его демонстративно осеняющим себя крестным знамением или отбивающим поклоны. Единственное внешнее проявление — всегдашние на руке четки, которые он постоянно задумчиво перебирал.

И вот однажды, кажется, в начале 90-х, произошло событие: советское телевидение вело прямую трансляцию пасхальной мессы и крестного хода из Рима. Ведущими, помимо двух московских журналистов, были Ирина Алексеевна и Лев Борисович. После этого Папа Иоанн-Павел II пригласил их на аудиенцию, и когда Ирина Алексеевна представила Льва Борисовича, сказав, что он артист, Папа воскликнул: «О, я тоже артист!». Кароль Войтыла в юности играл в театре рабочей молодёжи. На следующее утро Папа пригласил их в свою папскую часовню в Кастель-Гондольфо, где находится знаменитое распятие Дали. И Лев Борисович вспоминал, что во время службы Папа сел, повернулся к ним и стал на всех смотреть. И было ощущение, что он знает про каждого такое, чего они сами про себя не знают, и как бы спрашивает — а вы выдержите?

Итальяночки-гондолы

Наталья Владимировна: — Италия — это просто сказка. Замечательный совершенно человек Витторио Страда — славист, известный во всем мире, зав. кафедрой в университете Венеции. И он нас приглашает со своей замечательной супругой Кларой, говорят: оплатим дорогу, маленькая гостиница, а так — денег нет, все университеты бедные. Так всегда было — дорогу оплатим, гостиницу оплатим, самолёт, а вот уже за спектакли не можем никак. Неважно. В общем, приехали мы туда, и там совершенно случайно оказался Ефим Эткинд из Франции. Они оба взрослые, здоровые — Витторио и Ефим Эткинд. И вот они садятся в первый ряд. А зал большой, прямо выходит окнами на Гран Канале — такие золоченые решётки снизу доверху. Они как задник у нас, мы играем спиной туда. Зрительный зал такой длинный, и в первом ряду сидят эти два здоровых человека и с первой секунды начинают смеяться. Так бывает, знаете, вот с первой минуты, как только мы начали, начинается смех. И весь зал, естественно, заразился, и, естественно, от зала заразились мы. К тому же на словах «Ах, эти итальяночки, эти гондолы» сзади нас по Гран Канале проплыла гондола. Живая. И вот такого успеха, не в смысле, сколько нам аплодировали, а в смысле нашего внутреннего успеха, такого спектакля, я думаю, может быть, один-два было в нашей жизни. Какого-то упоения, когда ты на сцене чувствуешь, что такое счастье, что тебе всё удаётся, что всё легко, свободно.

Достоевский и жара

Наталья Владимировна: — Надо сказать, что уезжали мы с тремя чемоданами. Я везла свою швейную машинку: я немножко шью, поскольку я когда-то кончила театрально-художественное техническое училище, и думала, что, может быть, придется этим зарабатывать в Париже. Эту

швейную машинку всю расковыряли — искали, видимо, там какие-то бриллианты. Испортили её. Надо сказать, что когда мы уезжали, Лёва был ещё известен в Москве, потому что он снялся более чем в тридцати фильмах, поэтому его на улице узнавали. И бежал солдатик. Понимаете, мы уезжаем в эмиграцию, вроде как нас надо ненавидеть, а солдатик всё совал листок бумажки — подпишите автограф.

Я говорю к тому, что никаких костюмов мы с собой не взяли. Просто належке — какие-то две подушки, чемодан книг Никиты — всякие его словари драгоценные, и вот, швейную машинку я везла. И собаку везли в клетке. Вот и всё. Поэтому пришлось срочно, когда мы эти спектакли затеяли в Париже, то надо было Лёву одеть. Я побежала на *market aux puces* — на блошинный рынок — и купила, уж что там попало. Всё это было очень тяжелое, суконное. В «Бедных людях» у него обязательно должна быть на рубашке жилетка, потому что там игра с этой пуговкой, которая отскочила. Потом мундир, и потом ещё накидка. Там шинель, но шинель мы не нашли, значит, была такая суконная накидка. И вот, летом, когда мы приехали в маленький город София-Антиполис на юге Франции, неподалеку от Монако, собирается всемирный коллоквиум по Достоевскому. И приезжают со всего мира слависты. Жара 40°. Решено было, что Лёва играет один акт из «Кроткой» и один акт из «Бедных людей». Ну, можете себе представить славистов, которые сидят на жаре на улице (там не было зала, просто навес такой небольшой), они сидели в шортах и в маечках. А Лёве надо было надевать вот это всё, что я перечислила. И я помню, что я стояла со стаканом холодной воды, потому что думала, что вот он сейчас упадет, и что делать? А он играет себе, и ничего. Потом вышел, говорит: «А я даже и не почувствовал». Ну, мокрый был весь, просто можно было выжимать его всего вместе с шинелью.

Нет, конечно, можно угадать ход мысли лобнинского устроителя-доброхота, сокрушавшегося по загубленной актерской карьере Льва Борисовича. Ему не понять, что и во Франции русский актер Круглый, без знания языка, без стационарного театра, без режиссера смог жить, в том числе, и насыщенной актерской жизнью.

Сегодня, когда всё в России меряется рублем, когда успешность человека оценивается в звонкой монете, многим невдомек, что бегство Круглых из «Союза нерушимого» не было погоней за славой или «длинным евро». Им не объяснишь, что жизнь и вне России продолжается, и жизнь эта может быть наполненной, осмысленной, богатой впечатлениями, нужной и интересной. Что всё зависит от содержания, которое человек вкладывает в понятие «жить».

И подтверждение этому — слова Леонида Хейфица в статье в «Литературной газете» (июнь, 1997), вспоминавшего о творческом вечере Льва Круглого в российском посольстве при ЮНЕСКО в Париже: «Ты, Левочка, — писал он, — был удивительно красив и прост, и интеллигентен, и глубок, и сердечен <...> Я не дама и не мастер на комплименты, я просто работяга-режиссер и низко кланяюсь тебе, и счастлив, что годы не только не деформировали тебя, что случилось со многими и «здесь», и «там», не состарили и не опустошили, а утвердили в тебе настоящего артиста».

Юлиана ДАНИЛОВА

/ Москва /



«ЛИЧНАЯ ПРАВДА» ЮРИЯ ХОЛОДОВА

Проза Юрия Холодова интересна уже тем, что написана первоклассным музыкантом (он Лауреат Международного конкурса, Народный артист Украины, Лауреат Государственной премии им. Т.Г. Шевченко), осознающим все тонкости своего исполнительского амплуа. Его литературное творчество как никакое другое тесно связано с личностью самого автора, оно соразмерно его мироощущению, оно срослось с его восприятием жизни. В его произведениях есть «личная правда», без которой, по словам И. Тургенева, «все в искусстве ничтожно».

Мировосприятие писателя формировалось под воздействием общения с природой, с особенностями народного быта и окрашено зарождающимися ростками душевного волнения при виде соблазнительных красот украинских пейзажей. Его детство прошло в тихой провинциальной глуши лесостепной полосы Украины, в благодатных Гоголевских местах на Полтавщине, где он впитал в себя яркие, навсегда сохранившиеся впечатления от обаятельных картин украинской природы. Подростком он бродил на зорьке «по безлюдью, прислушиваясь к ликующим звукам жизни, приумножающимся все новыми голосами». И позже, уже юношей, увлекшись охотой, продолжал свои странствия по завораживающим перелескам, рощам, чистым озерам и луговинам, где поскрипывает коростель-пастушок, где перепела зовут тебя на праздник жизни: «пить-пой-дем, пить-пой-дем», на Киевщине, куда был отправлен в столичную спецшколу для продолжения музыкального образования по настоянию властной и не терпящей возражений бабки, бывшей певчей церковного хора.

Все это отразилось в его ранних произведениях, отмеченных романтикой восприятия окружающего мира. «Сельский этюд», «Августовский мотив», «Вариации на старую тему», «Летом в Гидропарке», «Димкина любовь». От этих страниц веет пленительной свежестью. Их нельзя читать без того отрадного ощущения, которое вызывает в нас сама природа и неприятельный быт его романтических героев на фоне ее царственных красот. Патетически настроенный «каторжник» Трофим, хозяин островной сто-

рожки, дающей приют израненным и заблудшим душам. Дед Всеволод, народный умелец и знаток народных песен, ставший отшельником, творящим свои праведные законы. Слово "пришедшая из шуршащих на ветру ковыльных степей, неся в себе их вольный чистый дух", сельская матрона Настя Архиповна с ее удивительной покорностью принимать свою нескладную жизнь как данность. Юный горожанин с его колдовской страстью к таинственной деревенской красавице. Тонкий знаток всех рыбацких премудростей страдалец Гриша-маленький, вызывающий зависть и восторг всего берегового содружества. Автор словно живет со своими героями одной жизнью. Он сам страстный рыбак и охотник, он сам исповедует их жизненные ценности, их стремление к благородным идеалам и справедливости.

Романтическая настроенность не позволяет человеку быть лживым или жестоким. И со временем автор уходит от своих охотничьих страстей, от «ожившего в душе темного духа предков». С горьким неприятием он вспоминает «последний восторженный крик бекаса, мчащегося в солнечных лучах чистым августовским утром, рубиновые капли на нежном оперении еще теплых длинноносых комочков или полный ужаса и удивления взгляд подранка красавца коршуна».

А потом приходит время консерваторских занятий, и молодым романтиком всецело овладевает музыка. Вживание в композиторские замыслы. Как проникнуть и передать тончайшие оттенки творческой мысли великих лицедеев, всецело владеющих душами слушателей? Они — его учителя, его наставники. Это его литературные институты. Он стремится глубже проникнуть в великими образцами повествования, воспринять все кажущиеся ему намеки, он учится передавать мысли их создателей. Часто он читает в музыкальных произведениях обещание чего-то особенного, непостижимого, какого-то безумного наслаждения, смущающего его, заставляющего воспринимать окружающий мир с помощью художественного чувства. Под влиянием общения с великими образцами композиторского наследия продолжает формироваться чувство красоты. Образный мир выдающихся музыкантов обогащает его собственный художественный мир. Все это рождает музыкальную ткань его прозы, особенный музыкальный ритм, который пленяет читателя. «Заколдованный» сюжет его «Элегии» или «Да саро» в первой редакции (Да Саро — музыкальный термин, букв. — от головы (итал.), предписывающий повторить пьесу или часть формы с начала), повествующий о любви и творчестве — этих удивительных, возбуждающих волнение и муку событиях души. Проникнутая драматизмом история жизни и любви столь разных по мироощущению «физика» и «лирика» — «StoryCorps» (так называется американский проект по сбору историй частной жизни представителей нынешнего поколения). «Шестое чувство» — не что иное, как, по мысли автора, вдохновение, рождающее смутный восторг, то особое сценическое состояние, которое в одночасье может вызвать совсем иное — живое, трепетное, наполненное любовью звучание музыкального инструмента. Эти произведения автобиографического характера дают читателю уникальную возможность проследить генезис личности художника.

Первые рассказы Юрия Холодова о музыкантах вскрывают их неуживчивость с суровой действительностью, их столкновение с жизненными коллизиями и неприятие их. Таковы герои автобиографических рассказов

«Встреча», «Романов», «Кирюша», рассказов о не сложившихся судьбах его коллег — «Странные люди», «Инесса». Тема разлада с внешними условиями существования людей, одаренных творческой энергией и острой впечатлительностью, многократно звучит у таких мастеров слова, как Э.Т.А. Гофман (так же, как и автор, музыкант и литератор), И. Бунин, В. Набоков. Окружающая героев реальность разрушает мечту, веру в добро, в светлые идеалы.

С возмужанием, достижением зрелости как исполнителя, с расширением круга общения в его произведениях появляются иронические нотки. Автор сочетает самые высокие движения души с обыденной повседневностью, великое и прекрасное — с ничтожным и пошлым. Сочетание «возвышенного и житейского, идеального и реального», по мысли Б.Пастернака «подобное мажору и минору в музыке», гармонично для писателя. Рассказы «Этот струнный квартет», «Тихая музыка», «Дирижер», «Париж, Париж...», «Все окей!» привлекают комическими штрихами в описании героев и жизненных ситуаций, порожденных нравами и порядками их окружения. Однако эта «мизантропия» несет в себе доброе начало. Его герои близки и понятны автору, и его иронический тон воспринимается читателем с улыбкой и соучастием. Это мягкий юмор. Автор в большой степени одарен чувством меры и равновесия. Ему не свойственна патетика восторга или жесткая сатира. В то же время его пронизательный взгляд охватывает всю гамму человеческих взаимоотношений в реальной жизни, и это помогает рассказать правду о своем времени, не подчеркивая свою приверженность ни к обсуждению социально-политических процессов, ни к «умственному аскетизму», ведущему к уходу от вопросов, волнующих современного человека.

Умение характеризовать своего героя, его типические социальные и индивидуальные качества, его внутренний мир ярко проявилось в рассказах об иммигрантах, написанных уже после переезда в США для воссоединения с женой, работавшей в одном из американских университетов, и где он продолжил свою исполнительскую деятельность. Как живые предстают перед нами и умело приспособившийся к местным условиям, но сохранивший прежние независимые черты характера жизнелюбивый Рой в рассказе «Конец июля в Солт Лейк Сити»; и смешное семейство иммигрантов из рассказа «Прекрасный розмарин», сначала с опаской и недоверием, а потом и с юмором воспринимающие «тонкую организацию» богатого и образованного американского обывателя. Надолго запоминаются глубиной и человечностью своих переживаний и престарелые обитатели дома для неимущих, из повести «Реквием», которые делятся с автором яркими воспоминаниями о многотрудной жизни на родине, обретая свой долгожданный покой в комфортных условиях американского быта. Обращают на себя внимание и по-разному устраивающие свою новую жизнь героини повести «На задворках», где, поднимаясь над вроде бы примитивным бытописанием, автор затрагивает острые социальные проблемы нашего времени. Вызывает искренние симпатии читателя и бывший журналист, ныне успешный бизнесмен-экскурсовод, постоянно обремененный заботами о сво-

их подопечных и обласканный компанией туристов-одесситов, сохранивших всем нам хорошо знакомый специфический житейский юмор, из рассказа «Слушайте сюда!».

В его произведениях всегда есть подтекст, тонко улавливаемый проныцательным читателем. Это и трудности приобщения к требованиям все больше проникающего в нашу жизнь бизнеса для потомственной интеллигенции в рассказе «Замок для бизнес-дивы». Это и скрытая насмешка над многочисленными любителями туризма в рассказе «Неугомонная», которые, как заметил когда-то Тургенев в своих письмах «Из-за границы», «не умеют путешествовать с пользой и толком, и как арестант в «Мертвых душах» удовольствовался замечанием, что в Вельегонске тюрьма почище будет, а в Царевококшайске еще почище, так и туристы наши только и могут сказать, что Франкфурт город побольше будет Нюрнберга, а Берлин еще побольше». Это и губительное влияние власти денег и бытовых удобств на художника, превращающее его в погоне за благами в ремесленника, а затем приводящее к постепенной деградации его личности, в рассказе «Странные люди». Наконец, это намек на затянувшуюся болезнь Украины в рассказе «Летом в Гидропарке», где талантливый профессионал своего рыболовного дела, умелец из народа, поражен разрушающим его внутренним недугом. И, конечно, это написанная с позиций вполне определенной художнической версии пронзительная история жизни и судьбы героя фактически документального рассказа «Доходяга», посвященного памяти отца писателя, испытавшего на себе все безумие мира — унижения фашистских лагерей и мытарства последующей вынужденной иммиграции. Даже в глубокой старости, когда наступают провалы в памяти и теряются воспоминания, осознание попранного человеческого достоинства остается неизлечимой душевной травмой, последним кровоточащим пристанищем угасающей души.

Посвятив большую часть своей жизни элитарному камерному жанру и воспитанный на классических образцах квартетного искусства — одного из безусловных вершин мировой музыкальной культуры, Юрий Холодов остается в своем литературном творчестве приверженцем классического стиля, полагая, что достоинства и духовные ценности предыдущих веков должны быть сохранены и приумножены в современном искусстве, зачастую проникнутом коммерцией либо идеологией. «*Vestigia semper adora*» (лат.) — «Всегда благоговей перед следами прошлого».

Его проза несет в себе гуманное начало. Она — против бездуховности нашего жестокого мира, подавляющего чувство прекрасного, на котором покоится творчество, составляющее для художника смысл человеческого бытия («Художник», «Там, где светло», «Дома и люди»).

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

/ Бостон /



ВРЕМЯ ПОЭЗИИ И ПРАВДЫ

О ежегоднике «День поэзии» за 20131

Прислали на рецензию сразу два поэтических альманаха за 2013 год: калифорнийский ежегодник «Связь времен» и всероссийский «День поэзии». Хороший повод для размышлений и сопоставлений. В обоих виден приоритет «прямого высказывания». Даже в стихах американских русских поэтов, представленных в альманахе Раисы Резник², преобладают классически ясные построения, отсутствует то, что можно назвать поэтикой косвенных намеков, метафор, некоторой поэтической бессмыслицы, отличающей как современную американскую, так и русскую поэзию. Вообще говоря, в русской стихотворной традиции есть и то, и другое. И трудно указать ту грань, когда поэзия становится совсем уж птичьим языком, донельзя зашифрованным и понятным только самому автору, или наоборот превращается в ужасную банальщину и прозаизм³. Наверное, все дело в таланте... В своем разборе главное место уделю российскому «Дню поэзии», обращаясь к американскому альманаху только для сравнения.

В российском ежегоднике собраны стихи 126 поэтов из разных мест — столичных Москвы и Петербурга, нестоличных Иркутска и Хабаровска, Воронежа и Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска и деревни Бахта Красноярского края, из маленьких городков и поселков средней России, а также из Казахстана и с Украины. Очень много поэтов из Петрозаводска, что легко объясняется тем, что куратором и выпускающим редактором этого номера стала Елена Пиетилляйнен, главный редактор журнала «Север». И напечатан ежегодник там же, в издательстве карельского журнала. Еще цифры: у ежегодника четыре главных ре-

¹ День поэзии. XXI век. 2013 г., Москва-Петрозаводск, изд-во ж. СЕВЕР, 2013, составил Аршак Тер-Маркрян.

² В журнале «Дружба народов», № 6 за 2014 год в подборке современных, в основном нью-йоркских поэтов, составленной Андреем Грицманом, представлена другая линия русской американской поэзии.

³ С другой стороны, что такое «Рождественский романс» (1961) Бродского как не некоторый, на первый взгляд, вполне бессвязный и малопонятный текст? При этом можно наслаждаться музыкой этих гениальных стихов, их завораживающим ритмом. Совсем недавно прочитала блестящий комментарий Олега Лекманова к этому стихотворению, переводящего метафоры и недомолвки поэта во вполне реальные обозначения. Восхищена комментарием, хорошо, что он есть, но удивительно, что даже без него эти стихи производят впечатление, как, скажем, картина Тарковского «Зеркало», также построенная на часто непонятных символах и метафорах...

доктора — Наталья Гранцева, Елена Пиетиляйнен, Сергей Мнацаканян и Андрей Шацков, все четверо — поэты, авторы сборника. Не могу не назвать составителя «Дня поэзии» — поэта Аршака Тер-Маркарьяна. Не могу не назвать еще и потому, что в своей судьбе он несет географическую многоохватность сборника — живущий в Москве армянин, чей дед Нерсес «рыжебородый, / как ветвь абрикоса, / в Эчмиадзинской церкви служил», Аршак Тер-Маркарьян оплакивает в стихах своих красавиц-дочек, Елизавету и Анаид, похороненных на берегах Дона (см. «Плач о дочерях»).

Среди расположенных по алфавиту фамилий есть никому не известные и такие, которые знает каждый: Евгений Евтушенко, Евгений Рейн, Лариса Васильева, Марина Кудимова, Новелла Матвеева, Владимир Костров, Глеб Горбовский, Юрий Ряшенцев, Игорь Шкляревский, Кирилл Ковальджи, Александр Гродницкий...

Российский поэт — особенный, в нем бродит некрасовское: «Иди в огонь за честь отчизны, за убежденья, за любовь». В сборнике мало чистой лирики. В нем звучат «гражданственные» мотивы. Во времена, такие как сегодня, не могут стихи российского поэта не отражать неблагополучия общества, в них поневоле звучат тревога, страх, неуверенность в будущем страны и мира. «Ощущение Апокалипсиса» называется стихотворение москвича Александра Асманова, Александр Ивушкин из Волоколамска удивлен, что «Жизнь человечества бьется о рифы, / словно она никому не нужна», Дмитрий Вересов из Петрозаводска пишет о своем веке и своем поколении, озирающем «чужое столетье», Дмитрий Мизгулин из Ханты-Мансийска впадает в уныние от «беспощадно железного» мира «в преддверии судного дня», Евгений Каминский из Санкт-Петербурга грозит времени кулаком на манер своего безумного тезки из пушкинской поэмы: «У, времени языческая власть! / У, гнет временщиков! Ни скинуть бремя, / ни выпасть из времен...», а Геннадий Красников из Москвы констатирует: «человечество сходит с ума / со звериным восторгом». Но человечество человечеством, а на первом плане все же свое, родное, — Россия. И здесь искра надежды порой высекается, казалось бы, среди сплошной темноты. Вот начало стихотворения московского поэта Валентина Сорокина:

На Руси родиться — распроститься
С радостью и с дедовским крестом.
На Руси родиться, как явиться
Атаманом или же Христом...
На Руси мятеж короче лета,
Он к зиме кончается тоской.
На Руси благодарят поэта
Гробовую крепкою доской...

Читаешь — и вспоминаются саркастические и горькие строчки «Русского бога» Вяземского: «К глупым полон благодати, / к умным беспощадно строг». Но стихотворение князя Петра Андреевича не имеет «выхода», кончается парадоксом: «Бог в особенности немцев». Современный же стихотворец завершает свои стихи так:

«Потому
и быть на свете русским —
Доля атамана и Христа!..»

И получается, что «быть русским» выпадает не просто бунтовщику или смиреннику, но высочайшим носителям «бунтарских» или «смиреннических»

начал — предводителю-атаману или самому «сыну человеческому» — Христу. Что это, если не апофатика — возвеличивание от противного? Нечто похожее можно усмотреть в стихотворении Натальи Гранцевой «Дива», где заглавие обозначает отнюдь не актрису, не примадонну, а нечто совсем другое, — что именно, можно понять из первой же строфы:

Россия сошла с исторической сцены
Под слезы восторгов и грохот оваций
И скрылась осмеянной жертвой измены
В кругу умирающих цивилизаций.

Не будем расшифровывать, жертвой чьей измены явилась Россия и по какой причине ей пришлось покинуть круг активных «игроков», главное в стихах — та радость, с которой бывалые пророки кричат вослед ушедшей: «Она проиграла! Она не вернется!» Стихи эти представляют собой некую развернутую «театральную» метафору, несущую в себе мысль о России и постигшей ее судьбе. И опять хочется вспомнить классика, на этот раз Федора Тютчева, с его бессмертным «Кончен пир, умолкли хоры», тем более что в стихах петербурженки есть схожие образы:

«Конец представленью! Безумства иссякли! / Высоких светильников меркнет блистанье / Всемирное общество суперспектакля / Выходит из зала во мрак мироздания». Сходство с Тютчевым — скорей всего, не случайное — усиливается этим выходом из зала «во мрак мироздания» /, «где звезды играют...». В стихах классика тоже два мира — дольный, с опустевшей пиршественной залой, и горний, с чистыми звездами, глядящими вниз, на толпу. И снова у современно-го автора апофатическая концовка — вера, несмотря на глумливый «победный» хохот неверующих: «И фениксом веры в ночи умираю». Феникс, как известно, птица необычная, — сгорая, она возрождается из собственного пепла, так что в контексте поэтического высказывания его «умирание в ночи» — равносильно будущему возрождению «дивы» — России.

Да, Россия — в беде, в лихолетье, в раздразе, но живущий на две страны замечательный Геннадий Русаков не хочет «помереть» в нелюбимой стране (речь идет об Америке), стремится к своему, «пристрастному и неправому» народу:

чтоб из моих бессмысленных Неметчин
вернуться мне на отечский порог.

Не к благополучию собирается возвращаться поэт, отнюдь:

К ее раздорам и усталым людям.
К былому ощущению беды.

Сходное чувство владеет израильтянином Евгением Мининим, с его правдивой констатацией: нет, он не из праведников, которым снится Гефсиманский сад: «Мне тоже снится... / Но не этот... / Летний...».

Характерно, что мотивы смерти-бессмертия своей собственной личности, выходящие на первое место в американском альманахе, в российском «Дне поэзии» отступают перед трагической темой судеб страны. В обоих сборниках не так много исторических стихов, которые могли бы дать освещение и объяснение сегодняшним дням. Истории 18–19-го веков посвящена подборка Александра Городницкого («Ода империи», «Казанское кладбище»). Знаменателен конец последнего стихотворения, повествующего о расправе большевиков над мятежными матросами Кронштадта, где автор предлагает искателю Российской Свободы:

Пусть ищет ее посреди безымянных могил,
За Царским Селом, на Казанском смиренном кладбище.

В стихах москвички Надежды Кондаковой упомянуто другое кладбище — Бутовский полигон, страшное расстрельное место, где в безымянных могилах десятки тысяч убиенных сталинским режимом. Здесь убито множество священников, пострадавших за то, что они «служители культа». Можно ли — даже спустя годы — простить убийц, простить — как учит евангельская проповедь? «Нет», — говорит поэтесса: «вновь недостойна Причастья, / гневом палима — душа».

Стихи о любви. Щемящее стихотворение — уже немолодой поэтессы, пишущей о себе, восемнадцатилетней: «Я вброд переходила реку. / Мне было восемнадцать лет. / Я улыбалась человеку, / которого на свете нет». Поэтесса — а это Лариса Васильева, — не в силах решить заданную ей в начале жизни загадку: «Кто скажет, что все это значит, — я до сих пор к нему иду!» Правда, случаи «чистой лирики» единичны. Чаще тема любви сопрягается с темой неблагополучия, неустроенности жизни. Любовь в этом случае воспринимается как единственная опора, как то, что послано судьбой для выживания. Так звучит эта тема в подборке москвича Виктора Кирюшина:

Жизнь в который раз идет по кругу
И яснее ясного уже:
Нужно лишь тесней прильнуть друг к другу,
Чтобы устоять на вираже.

Или — в женской вариации — в стихах Валерии Салтановой из Ростова-Дону:

Мой любезный, мой свет, мой сокол,
Тот, с которым полет — высоким
И безбрежным отныне стал,
Становище. Становье. Стан...

Спасает не только любовь — но и память, воспоминания детства, оставшиеся для многих самым ярким и незабываемым временем:

Задыхаюсь от нежности к этим годам,
И в былое опять возвращаюсь упрямо...
В нем — цвели георгины по дачным садам
И спускалась с крыльца синеглазая мама.

Это стихи московского поэта Андрея Шацкова. А его земляк Валерий Дударев вспоминает «тетушкин погреб святой», где хранились «варения, сало, капуста»... Поразительно, как стойки детские вкусовые ощущения, какой след они оставляют в душе. Вот и ставшая москвичкой Наталья Чистякова вспоминает деревенскую еду из прежней жизни:

Я соленую капусту
Обожаю до сих пор.
С алой клюквой и с грибочком,
Огурцами и лучком.
Ах, огурчики из бочки,
Чай, заваренный с медком!

Прочитала недавно в статье¹, посвященной современным американским авторам российского происхождения о том, как популярна у них тема «русской еды» — и это легко объяснить: она, эта еда, во-первых, очень вкусна, а во-вторых, — пришла из их детства.

Стихи о деревенском детстве часто сопровождаются плачем по современной деревне, «где давно уже не пашут / где по две недели пьют / то ли плачут то ли пляшут / то ли песенки поют» (Валерий Лобанов, город Одинцово Моск. обл.).

Неудивительно, что именно деревенский пейзаж и картины родной природы для многих россиян до сих пор олицетворяют родину, Россию:

Улыбается яблоко, хоть и слеза — по щеке,
И река расцветает кувшинками, чайками, бликами.
И степенное стадо в рассветном бредет молоке,
И колодец скрипит, и клубнику пахнет, клубнику.
(«Родным». Евгений Юшин. Москва)

Тема «дома» и «воспоминаний детства» объединяет россиян с русскими американцами, а вот разговор о «поэте» и «поэзии», пожалуй, специфичен именно для российских поэтов. Прагматичная Америка — для поэтов мачеха. Нет здесь такой профессии. А вот кое-кто из россиян не забыл еще те времена, когда поэт мог, хоть и скромно, но кормиться своим ремеслом. Однако можно ли «стихоплетство» назвать делом? И что это за человек такой — поэт? Вот самопризnanье «ветерана» цеха, который вот уже не один десяток лет выглядит как молодой, — Юрия Ряшенцева:

Я ничего на свете не умею.
На удивленье. Только рифмовать.

В наш век информации и компьютера поэт чувствует себя виноватым в своей «бесполезности»².

Но что поделаешь, если есть люди, «говорящие стихами», и это для них, как и для Владимира Шемшученко из Санкт-Петербурга, «последний шанс / Не превратиться в камень».

В мой анализ не поместились ни поэт «жирафьей породы» москвичка Юлия Покровская, ни ее землячка Елена Кацюба, с ее необычной фонетической поэзией, ни Ирина Егорова-Крекнина из города Саров Нижегородской области. Впрочем, скажу об одном стихотворении этой последней под названием «Мое чудище». Так и осталось для меня загадкой, что за «чудище» имела в виду поэтесса, — уж не ель ли, силой поэзии возведенную в ранг «живых»? Так я когда-то приводила маленького сына на сырую лесную полянку — поглядеть на крокодила...

Ничего не пишу — за неимением места — об интересных статьях, посвященных старым и новым поэтам: Державину и Хераскову, Лермонтову и Тютчеву, Заболоцкому и Маяковскому, Андрею Вознесенскому, Борису Корнилову, Ярославу Смелякову, помещенных в ежегоднике. Они здесь бесспорно на месте — как свидетельство продолжения традиций и неустанного, кропотливого исследовательского поиска.

И в заключение хочу сказать вот что. Для меня, как и для многих россиян, возрождение «Дня поэзии», казалось бы, навсегда оставшегося где-то в 1960–1990-х годах, — очень хороший знак. Значит, не заросла еще поэтическая тропа в России, живут и творят в ней поэты, ежегодно представляя плоды своих трудов на читательский суд. И это радует.

¹ Сара Азарнова. Русские идут! Побережье. Антология (литературоведение). Филадельфия, №21, 2012, ред. И. Михалевич-Каплан.

² Впрочем, и в 19-м веке «бесполезность» профессии писателя тяжело переживал Толстой, на время даже отказавшийся от создания художественных произведений.



ВАСИЛИЙ ЧЕРНЯВСКИЙ

/ Киев /

ЦЫГАНСКАЯ ИГЛА

Её прабабка была не просто цыганкой. Она была аферисткой высшего разряда. Приворот-отворот — от ворот поворот, у неё почти никогда не закрывался рот, у неё были огромные горящие, как раскалённые сковородки, глаза, и нос, покрытый отвратительными бородавками разных размеров. Прабабка-то её и заварила всю эту кашу любовного содержания, а ревность в эту кашу, словно масло, уже клали по вкусу все, кому не лень. Те, кто играл в любовные игры и приходили к прабабке её, этой старой гадалке, за советом.

Уже потом я обнаружил это невероятное совпадение. Наши семьи (моя и семья цыган) будто шли по противоположным сторонам улицы жизни, время от времени запрыгивая то в один трамвай, то в один троллейбус. В одном из таких троллейбусов и встретились как-то её прабабка и моя. У моей ещё тогда была трагическая история любви, превратившейся в ненависть, и она всё пыталась из этого сделать комедию. Так и сказала моя прабабка её прабабке, мол: «Вынь из меня любовь эту, забыть его хочу!» А та ей и отвечает: «Завтра с баранками к вечернему чаю ко мне приходи — потолкуем...». Моя прабабка Виолетта с бубновым валетом в кармане да связкой баранок в хозяйственной сумке и пришла. Лучшего повода, как говорится, не наша.

— Здравсте! — говорит с порога. — Можно?

— Босоножки сними и через левое плечо брось, — отвечает ей цыганка. — Да не оглядывайся! А баранки тоже брось, но в печь — пускай подрумнятся. Не закат ещё...

Моя прабабка босоножки сняла, стала через плечо бросать, а они за её спиной рассыпаются да пылью пепельной на пол осыпаются. Прошлое, другими словами, забывается.

— Ну, садись, — говорит ей дальше гадалка, после того как та баранки в печь положила, — да сердце из груди вынимай.

— Чего? — не понимает моя влюбчивая родственница. А цыганка кулак сжимает и пробивает ей одним ударом грудную клетку. Прабабка моя только ахнула. А ведьма старая шуршит в груди у ней и аккуратно так сердечко вынимает. А на столе самовар как раз закипел. Вот цыганка

сердце это в кипящий самовар и бросает. И оно там варится. И вода в самоваре от этого бордовой становится. А прабабка моя сидит и глазками моргает только. Поварилось сердце в самоваре минуты три. Цыганка его достаёт и обратно в грудь прабабке моей заталкивает.

— Шрам, — говорит, — останется. А о нём, о любимом своём, больше и не вспомнишь никогда.

— О каком, о любимом-то? — опять строит дурочку из себя моя недалёкая родственница.

— То-то же и оно! — ухмыляется ей вдогонку цыганка.

А потом они всю ночь пили из этого самого самовара чай с баранками, которые окунали в варенье из сердец людей, разочаровавшихся в любви.

Как бы там ни было, прабабка моя потом всё равно здорово вляпалась, неудачно выйдя замуж. Да так забрызгала грязью карму, что мне тоже поначалу не везло в любви.

Это случилось во Львове. Гуляя по улице, я зацепился за трамвай. А она ехала в этом трамвае без билета. Её звали Шарлоттой, а мне кричали вдогонку: «Вот кретин!» На следующей остановке она вышла, и мы познакомились. Не то, что бы я влюбился в неё с первого взгляда. Просто у меня было плохое зрение. Мы гуляли до самого утра. Она всю дорогу засыпала у меня на плече и жутко храпела. Ближе к обеду я проводил её домой, до самой квартиры. Там она плюхнулась в кровать и окончательно погрузилась в сон. Я закрыл дверь с той стороны и побрёл на запах кофе, которыми были пропитаны утренние улицы Львова. Не знаю почему, но у меня было отличное настроение.

Через месяц я увидел Шарлотту в Кафе искусств. Я пил вино за столиком и выкладывал из оливок буквы. Она у стойки гадала прихожанам по ладоням рук и пяткам ног. Не знаю, как она меня заметила и узнала. Я в тот вечер даже себе казался незаметным и незнакомым.

— Куда ты пропал? — подседа она ко мне, и я разволновался.

— Стихи писал... — говорю и тут же начинаю врать, — тебе. А что?

— Быть этого не может! — нагло так восклицает она.

И я ей вина предлагаю выпить. И она соглашается. И выпивает всё вино, и буквы из оливок сметает со стола, заявляя при этом, что так бы и меня съела. У меня начинают дрожать колени, и я начинаю от этого читать стихи, чтобы волнение понапрасну не переводить. Потому что там, где волнение, там и вдохновение где-то рядышком ходит. И только весь этот поэтический вечер начал превращаться в первый поцелуй, как между нами скользнуло лезвие ножа, и меня за шкуру из-за стола вытащил громила-цыган.

— Это кто такой? — спрашивает он Шарлотту.

На что она искренне так отвечает:

— А я откуда знаю?

— Что всё это значит? — спрашивает он теперь уже у меня.

— Если бы я знал, — отвечаю.

И получаю по правой щеке. Больно. Но я подставляю левую, потому что чувствую себя почему-то в этой ситуации виноватым. Он ударяет ме-

ня по левой, да так сильно, что у меня срабатывает рефлекс, и я правой ногой бью его прямо в пах. Цыган падает и начинает скулить. И скулёж этот накладывается на вой милицейской машины, которая подъехала к кафетерии. Естественно, виноватым во всём в глазах милиционеров оказался я. Вот меня и забрали.

В камере я познакомился со спившимся батюшкой. Он всё исповедаться меня принуждал. Хорошим парнем называл. «Только доверчивый ты очень, — говорит. — Нельзя так». Вот я возьми и ляпни: «С цыганкой, — говорю, — связался. И душа теперь не на месте. Скачет всё внутри, беспокоится».

— Глаза у неё неживые, зеркальные глаза. Вот она душу твою и утянула. Иголочку эту возьми, сынок, и уколи ею прямо в хрусталик глаза цыганке этой при встрече. Чтобы отпустила она душу твою. Вот только отпустить то она отпустит, но ты ёмкость, в которую она её поместила, заberi. А там уже как Бог даст.

Выпустили меня на следующие сутки, и я долго в себя не мог прийти после этого разговора. Заболел, лежал дома и иглу в руках вертел. А когда совсем плохо стало, собрался и отправился в дом, где ютилась Шарлотта. Только вот квартира эта оказалась совсем не её. И люди в квартире этой выглядели ещё хуже, чем я. Стал я их расспрашивать, а они совсем не соображают. В Кафе искусств мне сообщили, что после того случая Шарлотта здесь не появлялась. Я возвращался домой совсем дряхлый и, как часто это со мной случалось, зацепился за трамвай. А в трамвае ехала она. На следующей остановке Шарлотта вышла и бросилась бежать. Всё, на что я был способен, — это пробежать за ней два квартала. Потом споткнулся о перебежавшего улицу чёрного кота и упал в лужу, из которой пил чёрный ворон.

— Накаркал? — огрызнулся я.

— Кар! — не стал отнекиваться черномазый, взмахнул крыльями и улетел. — Да нет у тебя её, — батюшка разъяряется. — Свистнула она душу твою.

— То есть, как это свистнула! — возмущаюсь я.

— А вот так вот и свистнула!

— А! — дошло до меня. — И что теперь делать? — я чуть не загрустил. А батюшка из-под рясы достает громадную такую цыганскую иглу и сообщает:

— Глаза у неё какого цвета, помнишь?

— Ну да. Такие же, как и у меня.

— Вот в том-то и дело, что зеркальные.

— То есть?..

— Не время задницу отмачивать, — услышал я приближающийся ко мне голос. Это был тот самый батюшка из камеры. Он рывком вынул меня из лужи, забросил себе на плечо, и кинулся вдогонку за цыганкой. Мне стало так неудобно, что я начал ёрзать у него на плече.

— Не суетись, — уговаривал он меня. — Всё будет по-церковному!

— И слава Богу! — замер я. Как вдруг батюшка, настигший Шарлотту, разогнался и рывком сбросил меня с плеча. Пролетев около трёх мет-

ров, я упал, да так близко от бегущей впереди меня Шарлотты, что умудрился схватить её за ногу, отчего она упала на землю. Шарлотта брыкалась и, задрав юбку, выудила из чулка нож. Полоснула меня по рукам, но я даже и не подумал отпустить её. Она резала мои пальцы, они кровоточили. Вдруг Шарлотта вскрикнула. Батюшка, выхватив нож из её рук, начал бормотать молитвы, и, заломив Шарлотте руки за спину, крикнул сквозь священный текст:

— Коли!

Я дрожащими кровоточащими руками вынул из кожаного ремня иглу и вонзил её в хрусталик глаза Шарлотты. Она завизжала. И от крика её у нас с бабушкой пошла кровь из ушей.

— Где ты прячешь их? — крича, спрашивал у неё священнослужитель. — Ну же, где? Сынок, бей во второй! — рявкнул он.

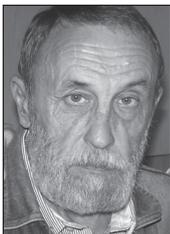
— Нет! — взмолилась она. — Они в шкатулке, на дне моей сумки.

Я принялся рыться в её грязном белье и на самом дне этого вонючего безобразия нашёл шкатулку.

— Не открывай при ней! — сказал мне бабушка. — Это всё! Беги! Убирайся из города!

— А вы?

— Я тебя прошу, сынок, вытри молоко со своих розовых губ. И проваливай! Ну же!!! — он швырнул в меня кадилон, которое угодило мне прямо в лоб. И я побежал, крепко сжимая в руках шкатулку, перепачканную моей кровью.



Михаил НАУМОВ

/ Берлин /

* * *

...Ведь дважды два всегда четыре?
Когда бы так. Но в этом мире
ничто не вечно под луной.
Однажды в собственной квартире
себя я в зеркале, как в тире,
на мушку взял... Господь со мной!
Осколки брызнули! Но в раме
двойник стоял. Он руку к ране
прижал, как будто бы просил
или приветствовал кого-то.
Не завершив пол-оборота,
он на пол рухнул и застыл...
На утро в ателье зеркальном
я в настроенье беспечальном
был — уплатил по всем счетам
и снова зеркало повесил,
и был я бодр, и был я весел —
я снова отражался там.

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства

И.А. Савкин

Дизайн обложки *И.Н. Граве*

Оригинал-макет *Б.Н. Марковский*

Издательство

«Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 53.

Подписано в печать 19.07.2014. Формат 66x88^{1/16}.

Усл.-печ. л. 22,8. Печать офсетная. Заказ 531.

Тираж 500 экз.

Мы – в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили – в Киеве,
Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке
или Мюнхене, мы – перенесенный в
ментальное пространство проспект,
как бы он ни назывался
в каждом городе, где когда-то
завязывались великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные
встречи...

